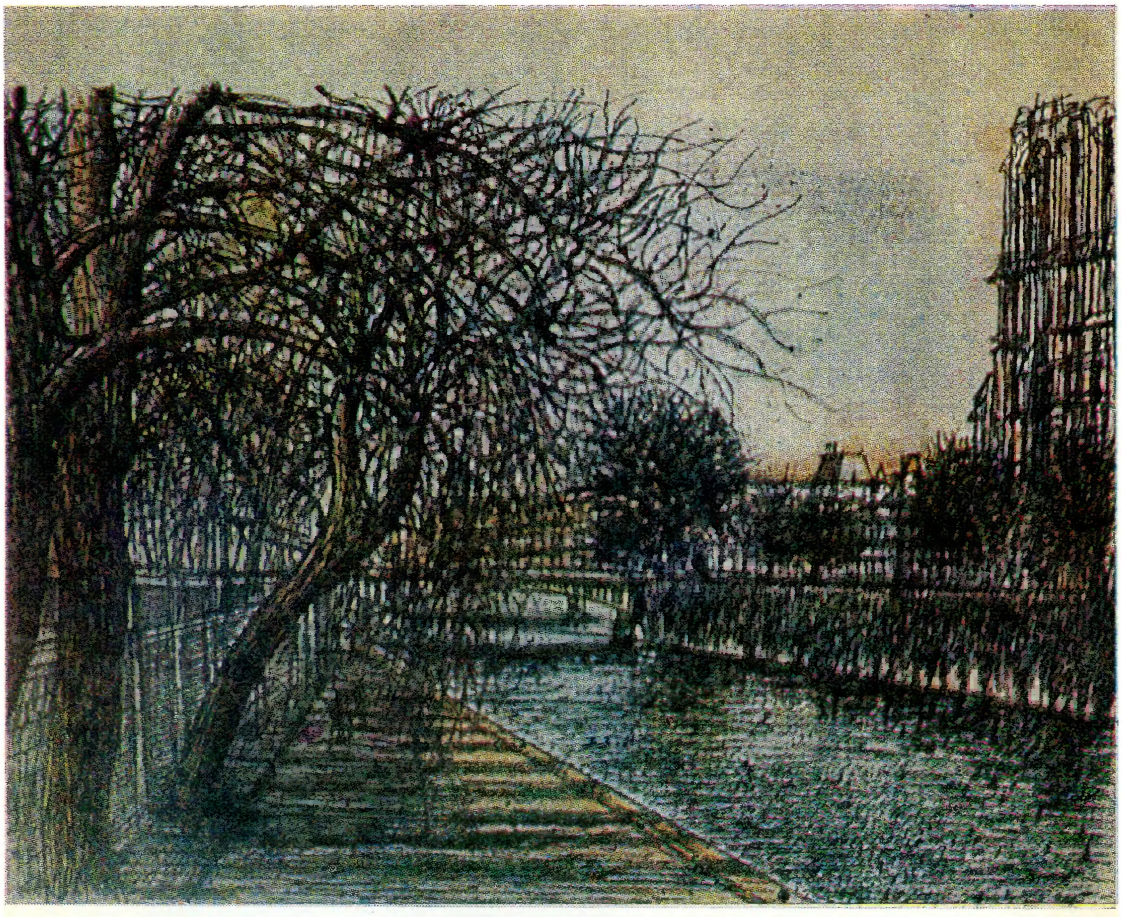
ISSN 0130 – 6545

3. 1982

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Сена возле Нотр-Дам

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

3 *март* *1982*

Содержание

ДОРОТЕ ЛЕТЕССЬЕ — Поездка в Пемполь *(Роман. Перевод с французского Тамары Ивановой)* 3

ХОСЕ АГУСТИН ГОЙТИСОЛО — Стихи из новых книг *(Вступление и перевод с испанского Сергея Гончаренко)* 59

Румынские рассказы *(Вступление Михаила Фридмана. Переводы с румынского Л. Десятниковой, Ж. Портной, С. Флоринцевой, С. Косенко, А. Старостиной, А. Зимелева)* 65

АЙИ КВЕИ АРМА — Целители *(Роман. Окончание. Перевод с английского А. Сергеева)* 105

Литературное наследие

ШЕРВУД АНДЕРСОН — Рассказы *(Вступление А. Старцева. Перевод с английского Н. Волжиной)* 165

Критика

МУХАММЕД ДАКРУБ — Арабская новеллистика сегодня *(Фрагмент из книги «Новая литература и революция». Вступление и перевод с арабского Э. А. Али-Заде)* 184

Наш календарь

НАДЕЖДА СТАНЕВА — Дневник с продолжением *(К 75-летию Эмилияна Станева)* 188

Трибуна переводчика

Созвучие традиций *(Русская и советская литература в Шри Ланке).* Сирил Перера — Из опыта переводчика *(Перевод с английского И. Дорониной).* Гунасена Витана — ...В сокровищницу нашей культуры *(Перевод с английского М. Салганик)* 196

Советская литература за рубежом 202, 228

Культура и современность

Н. Матяш — Свободная трибуна 203

Публицистика

Запад: права человека

УИЛЬЯМ АРНОЛЬД — Фрэнсис Фармер. В мире теней *(Перевод с английского Н. Толкуновой. Послесловие Андрея Толкунова)* 206

Антирубрика

ЭДВАРД ЛИР — КОРОЛЬ НОНСЕНСА *(Перевод с английского и вступление Сергея Таска)* 229

Наши гости

М. С. — Кришна Шринивас. Т. Незабытовская — Умашанкар Джоши (Индия) 235

К нашим иллюстрациям

Н. Апчинская — Жан Карзу 239

Среди книг

Издано в СССР

Лев Озеров — Защита поэзии ✦ В. Ельцов — Анатомия обывательщины 240

Издано за рубежом

Открытие романдской Швейцарии. Лев Токарев — Путешествие во времени. Никита Разговоров — Окольные пути истины. Н. Попова — Сны Коринны 244

Из месяца в месяц 251

На 1-й и 4-й страницах обложки — литографии французского художника ЖАНА КАРЗУ «Лето» и «Ванс».

© «Иностранная литература», 1982.

ДОРОТЕ ЛЕТЕССЬЕ

Поездка в Пемполь

РОМАН

Перевод с французского ТАМАРЫ ИВАНОВОЙ

Посвящается работницам Шаффото

Глава первая

Задыхаюсь, хочу глотнуть свежего воздуха.
До скорого. Целую. Маривон.

Правильно ли я поступила, оставив на столе эту записку? Разве я обязана отчитываться? И все же! Живем-то вместе: общий дом, работа, постель, ребенок, существует какая-то общность интересов. Мне ведь не понравилось бы, если б он уехал, не предупредив.

Возможно, я не лучшим образом объяснила свое состояние. Беда в том, что я и самой-то себе не способна его объяснить. Знаю только — мне необходимо побыть одной и отдышаться. Он угнетает меня. Даже дыхание мое мне не принадлежит, все исходит от него, и все так уныло. Я превратилась в ничто. Даже вспышки гнева и те я должна обуздывать. На заводе жду не дождусь конца смены, однако стараюсь быть вежливой, сдержанной, дисциплинированной. Затаиваю свою ненависть к деталям, которые день за днем проходят через мои руки. Конца-края этому не видно — словно держишь в руках один и тот же предмет. Ввинчиваю четыре винта, зажимаю болт. И никогда он не оказывается последним. Я ненавижу их, эти железки, которые поступают ко мне неведомо откуда и неизбежно ранят пальцы. Хоть я и сдерживаю ненависть, она становится все сильней. Я не даю ей воли. Приручаю. Когда непреодолимо хочется зарычать, позволяю себе всего лишь жалкую воркотню или какой-нибудь протестующий жест. Каким облегчением было бы свободно излить свой праведный гнев. Я чувствую, как он набирает силу, накаляется докрасна. Готова лопнуть от злости. До чего же я их всех ненавижу — тех, кто приковал меня к конвейеру. Моя ненависть необъятна, безмерна. Она переливается через край, целиком завладевает мной, убаюкивает меня мерзкими словами. Наконец-то я осмелела, дала волю своей злобе и сладострастно наслаждаюсь этим.

Никто, в том числе и он, мой муж, не знает, на что я способна — я, которая и мухи не обидит.

© Éditions du Seuil, 1980.

ДОРОТЕ ЛЕТЕССЬЕ — DOROTHÉE LETESSIER (род. в 1954 г.).
Молодая французская писательница. Работница по профессии, работает на заводе Шаффото в Сен-Бриё (Бретань), активист профсоюза, член бюро Всемирной Конфедерации Труда.
«Поездка в Пемполь» («Le voyage à Paimpol», Paris, Editions du Seuil, 1980) — ее первый роман, написанный после крупной забастовки на заводе Шаффото,— был с интересом встречен французской критикой.

Сперва он решит, что я просто пошла прогуляться и вернусь к обеду. Подумает: «Ей полезно пройтись. Будет лучше выглядеть, и настроение улучшится». Почитает газеты, потягивая пиво.

Потом накормит сынишку, успокаивая: «Мама скоро вернется и поцелует тебя, когда ты уже будешь в кроватке». Он не станет беспокоиться, пока не обнаружит, что уже восемь часов, а меня все нет и я не принималась за стряпню.

Надо было написать: «Не жди меня, сегодня я не вернусь».

А если вернусь?

Буду выглядеть идиоткой.

Потеряв терпение, он обзвонит всех моих подружек. Потом — ясное дело — вообразит, что со мной что-то приключилось: попала в аварию, похитили, изнасиловали или что-нибудь в этом роде. Наступит ночь.

Мне нравится воображать, как он мечется в одиночестве, стараясь понять, что же могло со мной произойти. Так ему и надо. Хотя бы ощутит мое отсутствие. Когда я дома, он меня попросту не замечает.

Я растворилась в пространстве. Мной овладел дух непокорности. Муж, такой сейчас далекий, такой жалкий, сбит с толку: «Куда подевалась моя жена? Я-то думал, что прочно запихнул ее между буфетом и кухонной раковиной, и вот — хватаю руками пустоту. Черт знает что!»

В общем-то должен быть благодарен, что я внесла хоть какое-то разнообразие в рутину нашей повседневности. А себе сделала подарок этой вылазкой в одиночку.

Потихоньку, не сказавшись, ушла из дому, без корзинки для провизии. Неслыханная дерзость!

Бросила его с ребенком, оставила наедине со всеми заботами. И радуюсь! Возможно, это заставит его задуматься. Ведь он так невнимателен, эгоистичен. Злится по пустякам, а когда ждешь от него ободряющего слова — молчит.

Конечно, не его вина: завод, усталость, бесконечные заботы, нервы напряжены. Надо бы и мне ему посочувствовать. Но я не могу вечно сочувствовать.

Еще минута — и я, чего доброго, начну каяться. Это я отравляю ему жизнь. Во всем виновата я. Не умею жить.

Нет, я не допущу угрызений, не сегодня... Хочу проветриться.

На конечной автобусной станции сажусь в первый попавшийся автобус и вот, вертя в руках билет «Сен-Бриё — Пемполь, 45 километров», проезжаю Северное побережье, такое печальное под дождем.

Автобус идет со всеми остановками, сорок километров — это не меньше двух часов. Не имеет значения, торопиться мне некуда, и отступать я не намерена.

Разглядываю новые домики, стоящие на ярко-зеленых лужайках. Почти все они одинаковы: белые, приплюснутые черепичными крышами; оконные проемы обложены темным камнем, крыльцо — из гранита. Соломенные шторы время от времени приподнимаются. Показывается женщина в замызганном халате. Ее глаза тупо вперяются в дорогу. Видно, что она разочарована. Ничто не изменилось. Ничего не происходит.

Несчастный случай, ребенок, упавший с велосипеда, дали бы ей повод выйти, вступить в разговор. Булочник проехал еще утром, и она уже купила свои обычные два фунта хлеба. Перекинулась словечком с другой покупательницей, своей соседкой:

— Не жарко сегодня!

— Ужасная зима! Может, хоть весна будет теплее после этих холодов!

— Да, уж хотелось бы!

На этом разговор заканчивается. Не следует особенно сходиться с соседями, а то как бы не влипнуть в какую-нибудь неприятность.

Представляю себе обои в цветочках, за входными дверями — тапочки, чтобы не испачкать до блеска натертый паркет, в котором можно увидеть свое отражение, словно в телевизоре. Женщина снует по чистенькой, заставленной гостиной, словно покупательница по мебельному магазину. Этот еще-не-оплаченный-купленный-в-кредит гарнитур столь же прекрасен, как и у других, драгоценен, как мечта детства, он готов принять воображаемых гостей. Но если кто и придет, хозяйка, боясь, что гость что-нибудь испортит, примет его в кухне. На низеньком, покрытом кружевной скатеркой столике гарнитура сверкает хрустальная пепельница — свадебный подарок. Хозяйке и в голову не придет положить в эту пепельницу свой собственный окурок, и она удаляется на кухню. Там мурлычет радио. Но сейчас не время сидеть сложа руки — у нее масса дел. Она запихивает почти чистое белье в стиральную машину и включает ее. Хватает половую тряпку, щетку-полотер и яростно трет жесткий линолеум — подделку под плиточный пол. Мысли ее витают неизвестно где.

В автобусе едут женщины, старик и дети, которые, не успев войти, через два-три километра сходят возле проселочной дороги или у маленького поселка.

Я настолько выбита из колеи, что меня поражает спокойствие окружающих, которые едут себе куда им надо, не обращая на меня никакого внимания. Никто ни о чем не спрашивает, не говорит: «Твое место на заводе. А сейчас тебе следовало бы находиться дома». Кому какое дело! Я путешествую инкогнито.

Стекла до того грязны, что сквозь них поливаемый дождем пейзаж кажется еще более мрачным, почти нереальным. Мне он отлично знаком: время от времени проглядывает серое море, темная трава, тощие колючие кустарники вдоль дороги, но сейчас я вижу все это как бы впервые. Я попала сюда чисто случайно, и под покровом зимы молчаливая и пустынная Бретань показалась мне неживой, точно декорация. Однако погруженная в летаргию местность навевает успокоение. Куда девалась зелень? Голые деревья не кажутся мне призрачными, одни хрупкие, другие могучие, они вполне реальны и мирно обрамляют поля и дороги.

У шоссе ютятся старые, полуразвалившиеся каменные дома. Черепичные замшелые крыши нависают над узкими окнами, украшенными — единственная допускаемая бретонцами роскошь — синими ставнями с облупившейся краской. В таких домах всего одна комната, где жизнь чуть теплится; блеклый свет едва освещает бетонный пол и тяжеловесную мебель. Тепло обутые старушки, словно в зимней спячке, плетут на коклюшках кружево. Сидя боком у оконца, они наблюдают за своим мирком, простирающимся от их порога до дороги.

Дальше их взгляд не проникает, его застит густой туман. Что творится там, за этой непроницаемой завесой?

Париж, площадь Пикадилли, Манхэттен. Перед моими глазами встает облик городов. Я скольжу от неоновой витрины к экстравагантным прохожим, от них — к сверкающим рекламам. Вдоволь насладившись всем этим светом и пестрыми огнями, я, как потерянная, очнулась на остановке автобуса. Пустая забегаловка с цинковой стойкой, потоки грязи из сточной трубы и тусклое ветровое стекло такси, в котором отразились уличные огни. Невидимка. Безответственная. Я словно бриллиант, скромно и одиноко сияющий в левом ухе нелепого человека. Каплей бесцветного лака стекаю с короткого ногтя несовершеннолетней девчонки. Бесполезная. Лишняя. Хрупкая.

Шофер наблюдает за мной в зеркало. Смущенная, я отворачиваюсь, сижу в автобусе одна — вот уже несколько километров никто не входит. Вероятно, на моем лице отражается растерянность. Никто не должен меня видеть. Меня обнаружили. Меня здесь нет.

Сидеть — само по себе удовольствие. Мускулы расслабляются один за другим, и ничего у меня не болит. Могу свободно скрещивать и опускать ноги, давать отдых рукам. Я потягиваюсь, выпрямляюсь. Ноготь, обломившийся до мяса, напоминает об ударе, но я теперь не ощущаю боли. Меня больше не трясет как в лихорадке, кожа не подергивается, она вновь становится эластичной, упругой. Слишком долго находилась я в непрестанном напряжении, опасаясь травм, наконец-то могу свободно вздохнуть. У конвейера же, если и можно присесть на железную или деревянную скамейку, все равно остаешься согнутой. Тело деревенеет от такого плохого с ним обращения. Когда, стараясь приспособиться к ритму машины и связанным с этим неудобствам, выбираешь наиболее подходящее положение, мускулы и нервы напрягаются до предела, приспосабливаясь к неумолимости механизма. Порой невозможно определить, кто кем управляет — машина действиями человека или он машиной. Все плавает в масле. В конце концов перестаешь понимать, что именно утомительнее всего.

Шофер отвел глаза. На следующей остановке, ворча, входит старуха, вся в черном. Она возмущена опозданием автобуса — ведь идет дождь.

Шофер шутит:

— Черт побери! Такая толстуха, как вы, не скоро растает.

— Негодник! — огрызается старуха.— Не хотела бы я, чтобы твоя бедная мать тебя слышала!

Я затаилась на своем сиденье. Душивший меня комок в горле исчез. Вспоминаю, что с самого отъезда ни разу не кашлянула. А ведь как намучилась с этим бронхитом, не дающим спать по ночам.

Сил моих больше уже не было, и я пошла за больничным листом к доктору, я ему сказала: «С ног валюсь, все тело сводит, любая мелочь раздражает, всё выбивает из колеи, плачу по пустякам, целый день стою у конвейера, темп бешеный — не угнаться, вздохнуть некогда, даже в уборную и то не отлучишься, а вечером, дома, надо заниматься хозяйством, ребенком, все это убивает меня, вы понимаете?» Нет, он ничего не в состоянии понять. «Надо найти другую работу». Воображает, что это так легко, но ведь у меня нет ни диплома, ни профессии. А стоять у конвейера тут ли, там ли — какая разница?

Унизительно раздеваться, обнажая в неуютной обстановке врачебного кабинета свое тело, чтобы доказать, что тебе невмоготу от той жизни, которую ты ведешь, что ты устала и тебе необходимо передохнуть. Доктор слушает, осматривает, выстукивает, ставит диагноз; с высоты своей учености и положения, позволяющего заказывать бумагу с личным штампом, он судит, имеешь ли ты право на недельный отдых. Неявка на работу — в социальном смысле дело серьезное, оно дорого обходится хозяевам, страхкассе, и самому государству, и даже всей нации.

А ежедневное хождение на работу, отчего мы тупеем, заболеваем,— разве это не бóльшее бедствие?

К счастью, у меня было пониженное давление, и я получила больничный лист в трех экземплярах с подписью и печатью. Некоторые мои товарки никогда не пропускают работу из страха перед доктором. Если «он» не найдет их достаточно больными, они со стыда сгорят. И вот, еле держась на ногах, с высокой температурой, они тащатся на завод. Им легче повздорить с мужем или начальником, чем обругать доктора. Он вроде бы может не только не признать болезни, но и наклúкать ее. Как будто от него зависит и наше плохое самочувствие, и здоровье. Словно бы наше естество ускользает от нас и становится таинственным предметом, который повинуется неведомым нам

законам. Если отвращение, усталость, жажда отдыха не отразились на деятельности моего сердца или пищеварения, остается только стыдливо одеться. 50 франков за консультацию ему не повредят. Сама-то я никого не интересую. Стетоскоп не улавливает моего отчаяния. Я просто-напросто мнительна. Предписания самые обычные: ампулы, капли, пилюли, рецепты, напичканные кальцием и витаминами. Сто франков аптекарю, а через неделю опять гни спину.

Я его все же добилась, отпуска по болезни, и сразу почувствовала облегчение. Неделя на сон, чтение; можно ничего не делать, мечтать, этого было достаточно, чтобы спасти меня от катастрофы.

Ребенок находился, как всегда, у кормилицы. Если бы сын был дома, я не смогла бы отдохнуть. Благоверный на заводе. Великолепно.

Но когда муженек возвращается, он находит, что хозяйство в развале и что по крайней мере за продуктами я могла бы сходить. И вот через два дня стоны, что это он работает, он измучен до предела. А я — женщина, околачивающаяся день-деньской дома, да еще без ребенка, и от меня никакого проку. Конечно, я должна отдохнуть, но всему есть предел — сейчас ведь не время отпусков. Да, не он оплачивает мой больничный лист, но я женщина и уже несколько дней не работаю, а значит, обязана блюсти очаг, копошиться по дому и не рассуждать.

Он завидует моей свободе. Я не работаю, посиживаю в тепле и этим как бы предаю его. Для того чтобы его умилостивить, не мозолить глаза своим бездельем, я все время должна суетиться — прибирать в комнате, вскапывать сад или готовить жаркое по-бургундски. Иначе мое бессмысленное сидение дома — эгоизм, достойный презрения.

С его точки зрения, я становлюсь странной. Ему не о чем со мной разговаривать, он оставляет мои вопросы без ответа, воображает себя непонятым. Мое желание говорить, смеяться, пойти куда-нибудь поразвлечься представляется ему подозрительным. Я должна бы оправдать свой отдых похоронным видом, а свободным временем наслаждаться тайком, иначе мой отдых воспринимается как нечто возмутительное и противозаконное. Мне бы залечь на весь день в постель и вонять формалином или еще лучше попасть в больницу — тогда, может быть, муж и смилостивился бы.

До чего же я устала!

Усталость не принимается в расчет. Контролер из страхкассы инквизиторски взирает на мою бледность и на все врачебные предписания. Я не имею права выйти на улицу когда захочу, должна запрашивать по почте разрешение на продление отпуска. Контролируемая, затравленная, загнанная — о какой уж тут свободе может идти речь! Одно хорошо: в эти дни я хоть не получу производственной травмы, а на заводе это легче легкого, особенно в моем состоянии. Могла бы свалиться в контейнер, а это произвело бы плохое впечатление. Нельзя мечтать. Нельзя забывать о заводе. Кончилось тем, что я подхватила бронхит и кашляю во искупление грехов.

Автобус подскакивает из-за гололеда и рытвин. Будь у меня побольше денег, я бы поехала поездом в Париж. Четыре часа я прожила бы никем не узнанной, разглядывая плексигласовые полки для чемоданов, где вырисовываются опрокинутые отражения других пассажиров.

Все возможно. На этот раз меня ничто не ждет, я не обязана никуда прибывать. Мое путешествие бесцельно, что называется бескорыстно, и я всегда буду восхищаться этой своей выдумкой. Цель не имеет значения, а то, что я покинула, с каждым километром все больше линяет под дождем.

Я переменила оболочку. Моя жизнь без меня — размытый образ, за которым я наблюдаю из мутного зазеркалья. Маривон уснула и

прошла сквозь зеркало. Маривон из страны чудес катит в Пемполь. Механические роботы движутся согласно рутине и не замечают моего отсутствия, не чувствуют моего равнодушного взгляда. Сцены повторяются, но занавес, зацепившийся за кулисы, никогда не опускается. Я удаляюсь от театра. А что, если я туда уже не вернусь?

Качу себе между небом и землей, не интересуясь ни землей, ни небом.

Путешествую по Транссибирской дороге, Москва — Владивосток, семь дней и семь ночей. В окна ничего не видно, кроме неведомых лесов, проплывающих мимо час за часом. Тайга... Тайга... Тайга... Тайга... Целая неделя безвылазно в узеньком купе, изысканном салоне тех далеких времен. Неделя без обязанностей, неделя без действий, без слов. Мерзну, несмотря на шубу из опоссума и шапку из серебристого волка, нахлобученную до самых глаз; я — подозрительная личность без определенных занятий, без семьи, без родины. Ради этого необыкновенного человека — большевика с зелеными глазами и горячим сердцем — я пересекаю огромную империю, пряча за кружевом белья последние перед восстанием прокламации великого Ленина. Прекрасная, как заря над степью, полная ненависти к презренному классу эксплуататоров, предвкушая власть Советов, Маривон Коллонтай путешествует без багажа.

Целую неделю, дав полную волю своему разыгравшемуся воображению, я могу свободно перевоплощаться. Не существовать реально. Не подвергать свои мечты опасности попыткой их осуществить. Но я ведь уже не в том возрасте, когда бродяжничают, ни о чем не задумываясь. В крайнем случае я могу бросить мужа, переменить работу и город и благородно оставить ребенка при себе. Но для чего? Я наизусть знаю свои возможности, своего ребенка, свой страх перед неизвестностью. Мне недостает мужества, но щепетильности — в избытке. Я до такой степени неотделима от своей жизни и любви, что они душат меня.

Прежде всего любовь к сыну. Он оправдание всему. И он же связал меня по рукам и ногам. Он протянул невидимую нить от меня в мир взрослых. От него я завишу с самого его зачатия, а он лишь обыкновенный мальчуган, каких в мире миллионы. Он переполняет меня чувством ответственности, забирает все свободное время. Я его мать на всю жизнь, а его ждут многие другие любови. В лучшем случае мы сумеем понимать и уважать друг друга. Но немыслимая тирания безграничной близости останется навсегда. Мой сын красив — беленький, веселый, ловкий. «Мама! Мама!» Его призыв адресован мне, и никому другому. Согласна, малыш, я и вправду твоя мать.

Я навсегда на двадцать четыре года старше его, опытнее в первой любви и первых драмах. Хронологическое развитие наших ролей навсегда запрограммировано. Он живет. Я не смогу стать ни его женой, ни дочерью. Мое неотторжимое от меня дитя будет переживать свои собственные оргазмы.

Фатальная история поколений. Я, сама чья-то дочь, повторяю ошибку. Я согласна умереть, произведя в свою очередь потомство. Следую по циклам от младенчества к материнству: дочь, жена, мать, потом покойница. Мой сынишка — будущее, которое мне не принадлежит. Те, кто говорит: «Мои дети для меня все», пугают меня. Я не хочу материнства, отдающего горечью. Хочу любви и взаимопонимания для каждого из нас в своей собственной жизни.

Ведь сын не выбирал меня. Его отец, пусть в самой малой степени, предпочел меня другим. И я хотела бы, чтобы каждый день он заново выбирал именно меня. А я все время около него — необходимая, близкая. Чувствую себя нелепой: не даю удовлетворения и в то же время занимаю слишком много места. Между нами столько неизбежного! Мы из одной семьи, вроде брат и сестра и чуть-чуть кро-

восмесители. Мы чересчур похожи, и наши дни одинаковы. Воскресенье и то у нас украл завод.

Он говорит: «Не люблю воскресений». Воскресенье — канун понедельника, оно уже носит траур по предстоящей неделе. Вы еще не стряхнули усталость, часы бегут слишком быстро, не решаешься ни за что приняться и кончаешь скукой. Мне так хотелось бы любить воскресное утро, когда молчит будильник, и полдень, когда можно себе позволить взглянуть на небо. Мы могли бы чем-нибудь развлечься: выдувать стекло, исследовать центр земли или путешествовать на воздушном шаре.

Но все напрасно, и по воскресеньям не размечтаешься. Мои воскресенья так неинтересны. Ощущаю себя одинокой. Подхожу к нему — хочу дотронуться, поцеловать, что-то сказать. Он отворачивается, а я все равно целую. Но настроение уже испорчено. Я стараюсь не смотреть на человека, который в ожидании понедельника коротает время за полицейским романом, и подавляю в себе желание крушить все вокруг и плакать, плакать. Я ленивая, капризная кошка, у которой лишь дурь на уме. Голова моя набита черт те чем. А ведь я тоже работаю на заводе и в классовой борьбе участвую, состою в комитете профсоюза, у меня много товарок и пристойных тем для разговоров. Вот только соблазнять и покорять мне теперь вроде бы ни к чему — хоть одной заботой да меньше. «Перестань жаловаться, Маривон, я тебя просто не понимаю. Пойдем-ка лучше в постель, а завтра пятница — все пойдет легче». Да, по пятницам у всех поднимается настроение, зато каждое воскресенье — обманутые надежды.

В воскресные вечера никто не занимается любовью. Уже чувствуют себя на заводе. Комок в горле. Боятся шелохнуться. Ускорить бег времени. Но ничто не поможет — утром в понедельник обязательно зазвонит будильник. Иногда от отчаяния целуются.

Заводская сирена звучит ровно в восемь. Я на своем рабочем месте, инструменты разложены, детали вот-вот начнут двигаться. Ждать больше нечего. Страдание изжито. Я должна вкалывать, а не думать. Чувствую жалкое удовлетворение. Ничто меня уже не отвлечет. Он в другом цехе тоже принялся за свою работу. Мы можем молчать.

Иногда мне хочется ошеломить его какой-нибудь чудовищной выдумкой. Сказать: «По дороге на рынок я прошла мимо туристского агентства, а там как раз записывали на круиз по Эгейскому морю, и я заказала два места для нас с тобой. Да, уверяю тебя, это правда, я дала аванс. Ты доволен?» Нет, он не любит путешествовать, не понимает, к чему это. Или объявить: «Дорогой, я должна признаться тебе в чем-то очень важном. Помнишь того журналиста, который брал у меня интервью во время забастовки, его зовут Жан-Франсуа, такой симпатяга. Мы с ним опять встретились... Пошли в ресторан, поговорили и кончили постелью».

Он не то равнодушно, не то оскорбленно буркнет: «Вот как...» — а я пожалею, что это неправда. Если мы в размолвке, мужчины для меня не существуют. Мне никого не хочется видеть, даже Жана-Франсуа.

Перебираю все эти печальные мысли, трясясь в старом, разболтанном автобусе, и только порчу себе удовольствие. Надо лучше использовать украденный отпуск.

Прибываем в Пемполь. Чудно. Сюда-то я и стремилась. Пемполь звучит как-то несерьезно, опереточно, Пем-поль, Пем-поль, Пем-поль, Пем-поль, Пемполь — какое-то круглое название, которое немыслимо прошептать. Пемполезка... Пемполь с его отвесными скалами... В памяти всплывает шутовской фольклор, и я невольно улыбаюсь.

Пемполь — ничто. Я не таскаю с собой мечты о колонизации. Этот маленький бретонский порт не вызывает у меня чрезмерного,

стародавнего восхищения. Я люблю свое побережье, живущее сегодняшним днем, оберегающее себя от опасных приливов и несчастных случаев на море.

Летом Бретань становится проституткой, живет на содержании у туристов и продается выскочкам и торгашам. Все здесь идет вкривь и вкось. Молодежь уезжает, часто навсегда. Но упрямые, словно сошедшие с газетных полос нетипичные бретонцы борются с ядерным безумием. А некоторые бретонки, сняв свои чепцы, требуют равного с мужчинами права работать в электронике или еще где. Не слишком-то верные заветам католицизма женщины не желают умереть или попасть в тюрьму из-за аборта. Круглые шляпы на улицах можно увидеть только в День благодарения или во время старинных празднеств. Все меньше становится рыбаков, но сабо и полосатые синебелые морские тельняшки еще встречаются. В кафе, переделанных под ночные клубы, автоматы крутят за монеты пластинки. Трещотки и бретонские волынки появляются во время субботних праздников. В Бретани живут как и всюду, и только отъявленные упрямцы считают ежедневный бифштекс незыблемой традицией. Сегодня нужно защищать совсем другое — право не стать одиноким или, например, право сесть на поезд, который, не останавливаясь, проходит мимо тебя в Плуаре. Сегодня старые железнодорожные пути заросли сорной травой, нет больше омнибусов, заброшены притихшие, ставшие ненужными маленькие станции. Еще не так давно поезд шел по побережью медленно и пассажиры могли спокойно любоваться полями артишоков, раскинувшимися до самого моря. Старожилы рассказывают, что на изогнутом участке пути можно было, побежав по прямой, обогнать поезд, а на подъемах все выходили из вагонов и толкали незадачливый состав, паровозик которого выбивался из сил.

Пусть моя Бретань не самая красивая и непорочная среди других земель, я безмерно люблю ее, несмотря на все недостатки и скачки климата. Я живу между пляжами и лесами, заводом и маленькими городками, где все знают друг друга. Люблю дома, пропитанные запахом капусты и свинины, которую едят на клеенках, «галеты-сосиски», завернутые в фольгу. Люблю здешних жителей, их не всегда доброжелательное любопытство — ведь они далеки от моды, поглощены своими бедами и, обрабатывая сады, никогда не знают, зальют ли их дожди или иссушит солнце. Но я ненавижу плохое вино, от которого мужчины соловеют. Не переношу тугодумия, замыкающегося в «так положено» и «люди говорят». К климату мне тоже трудно приспособиться — он какой-то размазанный, неустоявшийся, не способный быть по-настоящему теплым, вечно зависящий от ветров и непостоянства приливов.

Сейчас отлив. Автобус останавливается у порта. Я выхожу. Делать мне нечего. Это восхитительно, как запретный плод. У меня нет часов — неважно. Дождь вроде бы перестал. Но небо не прояснилось. Какая разница! Сегодня пусть хоть конец света, все четыре времени года совместились в моем сознании, а тело уже перестало испытывать нетерпение.

До чего по-глупому я завишу от барометра, надо положить этому конец. Я должна взять верх над серостью неба, дождем, туманами, давящими на меня, над опьяняющим ветром. Не буду больше поддаваться им — даю обещание, есть вещи посерьезнее, чем мрачные зимы и холодные весны.

Иду вдоль порта, дыша полной грудью. Чувствую, как йодистые испарения пропитывают весь мой организм. Я уверена, что хорошая прогулка лучше всей той химии, которой я напичкивалась целую неделю. Я это прекратила, и мне полегчало. Беда в том, что страхкасса не оплачивает глоток свежего воздуха. Мало того, это даже воспрещается: ведь выходить из дому можно только в строго ограниченное

время. Нелепо, заперев человека в четырех стенах, лечить физическую и моральную усталость. Вчера у меня не было сил пропылесосить комнату, а сейчас я, кажется, могу пройти пешком от Парижа до Бреста.

Разноцветные рыбацкие лодки и плоскодонные баркасы со святыми и девами Мариями на корме тесно прижаты друг к другу. В период бурь некоторые из них гибнут, но драма не выходит за пределы узкого семейного круга, миновали времена общенациональных пожертвований, к которым призывал Пьер Лоти со страниц «Фигаро». Все эти «Жанночки» застрахованы, а вдовы помещают на траурной странице местной газеты «Уэст-Франс» благодарность за полученные соболезнования.

Порт переполнен увеселительными яхтами, они причалены к металлическим понтонам. Задыхающиеся двигатели траулеров с хвостами тралов воняют мазутом, выпускают густой пар, безбожно трещат и мешают портовым спортсменам. Но стоит отчалить, поднять паруса — и ты уже во власти стихии. С наслаждением выслушиваю морскую метеосводку: «Фишер, Доггер и Фладен... Сила ветра от трех до четырех... На море легкое волнение. Юг Бретани... Север Ирландии... Сегодня и в ближайшие сутки безветренно... Антициклон с Азорских островов...» Длинная поэма, полная атмосферных чудес с выверенными до миллиметров центрами циклонов. Мурлыкаю от удовольствия, покачиваясь на легкой летней зыби. Я умиротворенно плыву к Галапагосским островам. Жена и дети оставлены на суше. Я свободен. Я чертовски ловкий, на что угодно способный парень. К черту — не получается! Ведь жена-то и есть я! Женщина не может сбежать куда глаза глядят, она на привязи у мужчины и в непредвиденном случае всегда оставит мужу адрес: «Тереза Попино, до востребования, Гонолулу».

Брожу вдоль порта...

На молу Аркуэст садятся на катера, идущие к острову Бреа. Если бы прояснилось, я бы, возможно, его увидела. Не поеду. Хватит с меня Пемполя с его необыкновенными скалистыми берегами. Я ведь не туристка. Прохожу по шлюзу, отделяющему док от моря, которое сейчас в отливе. Так и кажется, что траулеры за дамбой готовы улечься вверх килем при малейшем дуновении ветра. Где-то на краю света море неотвратимо, волна за волной, начинает наступление. Я устремляюсь ему навстречу, но, разумеется, не могу шагать по воде и возвращаюсь под насмешливый крик чаек.

Проголодалась. Позволю себе съесть пирожное на рыночной площади в кондитерской старофранцузского стиля. В заведении пустовато. Для чаепития рано, а для десерта после обеда слишком поздно. Продавщицы-официантки болтают, старательно укладывая шоколадные изделия, которыми славится эта кондитерская, в корзиночки из золоченой бумаги. Все здесь шоколадно-карамельное. Панели полированного дерева, банкетки, обтянутые коричневым винилом, сверкают, как обертки конфет. Традиционные столики и интимное освещение придают оттенок греховности происходящим здесь пиршествам гурманов. Официантки передвигаются бесшумно и говорят медовым голосом. Все здесь напоминает гренадиновый сироп и клубнику с молоком. Я выбираю — торопиться мне некуда. Худенькая женщина в безукоризненно белом фартуке стоит возле меня, терпеливо ожидая.

— Пожалуйста, меренгу и еще... кусочек яблочного пирога... еще вон то пирожное с миндалем и чашку чая с лимоном.

Это вкусно и так необычно — я съем что-нибудь еще: не потому, что голодна, а ради удовольствия побыть тут. Идиотская трапеза, сплошное обжорство, но главное, что все это приготовлено не мной. Меня обслуживают, как княгиню Монако.

— Пожалуйста, еще чаю с лимоном.

Ходьба, жарища в кондитерской, сладости — голова у меня начинает кружиться. Я вытягиваю ноги и закрываю глаза — чего доброго, усну на этой банкетке.

— Вы себя плохо чувствуете, мадемуазель?

Надо мной склонилась официантка.

— Нет-нет, отлично, спасибо.

Я несколько приободряюсь. Она назвала меня мадемуазель; значит, по моему виду незаметно, что я замужем? Я не ношу обручальное кольцо. Могу сойти за «свободную» женщину.

Провожу время в свое удовольствие — ведь у меня счет в банке, и мне незачем ни работать, ни выходить замуж.

Я отлично устроилась, путешествую вокруг света, пишу репортажи и стихи. Хожу на спектакли и отсылаю рецензии в большие парижские газеты. Гонорары идут на карманные расходы: почта, сигареты, излишки я жертвую на помощь детям «третьего мира» или на нужды неимущих коммун, пропагандирующих Искусство и Литературу в деревенской среде. Я хохочу. Официантка примет меня за сумасшедшую. Трудно войти в роль богатой наследницы, и одежда моя вовсе не та, какой ей полагалось бы в таком случае быть, ничего другого не скажешь о моей поношенной куртке.

Входит женщина, похожая на ту, которую я выдумала. Высокие сапоги из тонкой кожи — по меньшей мере 600 франков, брюки из бежевого бархата заправлены в сапоги, чтобы они бросались в глаза и чтобы придать всему облику спортивность,— 250 франков; рыжая куртка из длинношерстного меха — бедное животное — 6000 франков, она распахнута — виднеется легкий пуловер от Родье — 400 франков. Ко всему этому еще широкий кожаный пояс, подчеркивающий тонкую талию дамы-теннисистки — два-раза-в-неделю-ради-здоровья,— 150 франков. На шейном платке бросается в глаза этикетка от Ланвена — 150 франков. Через плечо перекинута новехонькая сумка от Багажери — 400 франков,— переполненная всякой всячиной, изысканной и бесполезной. Всего на ней понадевано на мой четырехмесячный заработок. Из-под уложенных в естественном скандинавском стиле волос смотрит лицо — точь-в-точь с глянцевитой страницы модного женского журнала. Она оглядывается, проверяя, какое произвела впечатление. Наши взгляды встречаются, она дальше от меня, чем телевизионная дикторша. Да! Она мгновенно поняла, что мы не одного поля ягода. Она съест крошечное пирожное без крема и шоколада, а чай с лимоном будет пить без сахара, подсчитывая в уме ежедневно допустимые калории. У нее час свободного времени, потом ей надо забрать из детского сада своего ребенка — с ног до головы от Кашареля. Похрустывая куском сухого торта с грушами, она листает журнал по истории искусства, продающийся во всех киосках. На скромном обеде, который она даст в честь кандидата в депутаты, уроженца этого уголка, она сможет болтать о выставке Шардена в парижской Оранжери. Ее муж, который ни черта не смыслит в живописи, несомненно, поправит ее по части хронологии, а она прощебечет: «Мишель очарователен, но он ревнует женщин к культуре». А тот — врач — ответит: «Когда я слышу слово «культура», я вынимаю свой скальпель». Друзья найдут, что они очень остроумны. Потом мужчины заговорят о своих конфликтах с администрацией.

Женщина, мечтающая попасть на цветное рекламное панно «Делайте как я, носите невесомый эластичный пояс «Целуй меня», встает, оставляет нищенские чаевые и уходит, не проронив ни слова. Ей хотелось бы жить в большом городе, а иногда она впадает в уныние из-за того, что попусту тратит столько усилий на свою внешность в подобной дыре. Она стесняется своего бретонского происхождения, румяных щек и проскальзывающего порой акцента. Ей хотелось бы стать парижанкой, узнать, а главное, самой быть узнанной многими

людьми. Она ходила бы в театры и каждый день облизывалась бы на витрины улицы Сен-Жермен. Может быть, и работенку подыскала бы в каком-нибудь клубе, лучше всего на несколько часов. Пемполь чересчур мал, тут невозможно найти красивого любовника, чтобы скоротать зимние дни. Она думает о «провинции», как парижанка. Но в Париже, сколько бы она ни задавалась, у нее всегда такое чувство, будто на ногах сабо, а в руках ивовая корзинка, из которой торчит утиная голова. Улицы ее пугают, в метро она теряется, в магазинах боится, как бы не обокрали, а в кафе — как бы не подсунули наркотик. И все же она решается кое-что купить у Фошона, не сомневаясь, что его магазины, разрекламированные «Ви Клэр», наимоднейшие, и, изнемогая от усталости, возвращается в отель.

Окурок уже истлел в пепельнице. Остатки чая на дне чашки остыли. Расплачиваюсь. Надо найти пристанище на ночь.

Выбираю отель, словно какая-нибудь важная персона. В узеньких, мощенных булыжником, похожих на картонажи улочках множество рыбацких ресторанов, пахнущих жареной картошкой; при них есть меблированные комнаты, которые можно снять на день или на неделю. Все названия крутятся вокруг моря: «Надувная лодка», «Трал», «Кафе морского флота», «Голубые волны» и тому подобное. Ближе к порту преобладают отели в современном стиле.

Зимой они закрыты. Летом туда нанимают учеников колледжей для уборки комнат и другой работы, которую несовершеннолетние выполняют за пониженную плату.

Направляюсь в портовый отель. Старый служащий в белой куртке подметает пол ресторана. В силу привычки смотреть на пол или на сидящих за столиками посетителей, которым он подает блюда, нос его клонится книзу и, кажется, готов опуститься еще ниже.

За конторкой — дама с шиньоном, она смущает меня. Дама поглощена изучением бухгалтерской книги в черном переплете, сама дама похожа на эту книгу. Темный костюм без единой морщинки туго облегает ее дородное тело. Если и матрасы здесь такие же жесткие, как ее лицо, пожалуй, лучше поискать пристанище в другом месте. Поздно, она обращается ко мне удивительно высоким голосом:

— Что вам угодно? Если вас интересует еда, так вы пришли слишком поздно или, наоборот, рано, а напитки мы подаем только с блюдами.

— Добрый день, мадам, я хотела бы, если это возможно, комнату.

— Ах, комнату? Да, свободные есть. Вы одна?

Ей-то какое дело? Она бросает косой взгляд на мою левую руку. Обручального кольца нет, но вид у меня вполне замужний.

— Да, я одна.

— И вы никого не ожидаете? Предупреждаю, после девяти часов вечера надо извещать о посетителях.

Что это еще за идиотские правила? Я впервые одна в отеле — видно, это не очень одобряется.

— Я никого не жду. Комната мне нужна для меня самой. И с ванной, если у вас есть.

Ее повадки шпика начинают, черт побери, действовать мне на нервы. Я ведь не делаю ничего плохого. Да хотя бы... я ведь совершеннолетняя! У меня есть деньги, и, если надо, я могу заплатить отдельно и за то, что я одинока, и за то, что без обручального кольца, за ванную, за горячую воду, даже за холодную, за отопление, за улыбку на лице хозяйки.

Я попросила у нее ванную комнату, просто чтоб показать, какая я требовательная, но мой бюджет на «вылазку» сильно от этого пострадает.

— Хорошо, дадим вам номер двенадцатый с ванной и видом на порт. Будете обедать?

Вопрос звучит приказом, я не могу отказаться.

— Да, мадам.

— Комнату освободите завтра рано утром?

Она явно испытывает мое терпение.

— Не обязательно. Завтракать, возможно, буду здесь.

Я стараюсь выиграть время. У меня еще нет точных планов на завтра.

— Надо знать наверняка, а не приблизительно.

За что она ненавидит меня?

— Сообщу за завтраком. Я еще не решила. Вас это устраивает?

— Безусловно, мадемуазель. Я провожу вас в комнату. Следуйте за мной.

Она поджимает губы, и все ее лицо искажается отвратительной гримасой. Наверное, она никогда не улыбается.

Со спины она еще величественнее. Стремительно поднимается по лестнице. У этой мерзавки хорошие ноги, я, чересчур уж много курящая, задыхаюсь. Она открывает дверь двенадцатого, поворачивается ко мне и злобно обнаруживает, что у меня нет багажа — даже самого малюсенького чемоданчика или сумки для ночной рубашки и белья. Не возмутительно ли — такая отличная комната для одинокой бродяжки без белья. Я закрываю дверь, а она поспешно удаляется. Какая стерва!

Комната светлая, несмотря на бретонскую обстановку — подделку под старину. Шторы с набивными букетами цветов соответствуют обоям, которые кое-где поотстали. У окна стол — специально чтоб любоваться портом, когда пишешь открытку «Горячий привет из Пемполя».

Эта комната с ее чистотой, уродливостью, поношенностью не чужда мне. Через нее прошло множество людей. Сегодня я тут дома, а завтра утром уже не обязана даже подмести за собой натертый до блеска пол. Я вроде бы нашла необитаемый остров, рай, где все позволено и не будет иметь последствий. Никто не придет. Я ничего не должна делать. Даже еще лучше — я и не могу сделать ничего полезного, необходимого. И говорить не надо. И никаких объяснений, невзирая на подозрительные взгляды хозяйки.

Могу войти, уйти, часами сидеть сложа руки. Я для себя — незнакомка. Я спряталась в этой незатейливой декорации. Отключилась от нормы. Ни чемодана, ни обручального кольца, я опьяняюсь этим глотком свободы. Сейчас я должна была бы вкалывать на заводе.

После перерыва я совсем соловею, работаю в полусне. Соображаю, что приготовить на обед. Вообще-то есть яйца. Сварю лапшу, и дело с концом. Неотрывно слежу за стрелками больших часов над моей головой. Боже, до чего медленно ползут! Мне кажется, что каждый день они замедляют свой ход. Скоро пять часов! А я еще не выработала свою норму. Чтобы успеть выпить кофе с подружками, надо поторапливаться. Ты спишь, старушка! Всем, как и мне, осточертело, осточертело так, что и представить себе невозможно! Но я-то отлично представляю, мне все обрыдло: работа, шефы, считающие нас пешками, заработок, годный лишь на то, чтобы мы не вылезали из дерьма. Старея в этом бардаке, я мало-помалу революционизируюсь. Не издевайся, уверяю тебя, это правда, надо все разнести к чертовой матери, когда осатанеешь, то уж нет удержу! А наши ребятишки — какая их ждет жизнь с этой безработицей и прочими прелестями? С ними будут обращаться как со скотом, как с нами, даже еще хуже, если это только возможно. Да что там! Похныкали и довольно, без того скучища. Ладно, Маривон, будешь пить сок или нет?

Разговариваем о наших станках. Они нас доконали. Движения не зависят от нашей воли. Голоса не слышно из-за шума машин. Находим выход — говорим беззвучно, угадывая слова по движению губ. Гримасничаем, кривляемся, щуримся или улыбаемся, чтобы вопреки всему общаться, и часто поднятые брови или складки около носа говорят

больше, чем слова. На заводе все чувствуют себя до какой-то степени увечными, и иногда от этого даже становится легче.

Самые тяжелые часы дня — когда надо возвращаться после перерыва. Заводской ресторан — напротив, рабочие из разных цехов сменяют одни других. Часы перерыва точно расписаны, чтобы избежать свалки в столовой. Садятся всегда за один и тот же стол. Напротив меня, подальше, за двумя столами ест молодежь из монтажного цеха. Называют их молодыми и потому, что они действительно молоды, и потому, что недавно нанялись. Они веселятся и думают еще, что «когда завод допечет, можно с ним и завязать». Один из них мне нравится. Он безбородый и очень красивый. Белокурые волосы обрамляют локонами его тонкое лицо. Голубые глаза поражают меня своей чистотой, я еще не встречала подобной наивности. Он часто улыбается, его белые ровные зубы освещают все лицо. Во взгляде у него незащищенность и доверчивость — это трогает меня. Он не сочетается с тем, что его окружает. Когда он замечает, что я смотрю на него, я опускаю глаза. У меня нет желания говорить с ним. Он для меня — прекрасный портрет.

С подружками я пью чересчур горячий кофе — ведь он не успевает остыть. Перерыв на исходе. Я смотрю на здания, облицованные голубыми плитами. Из труб валит дым. Я тороплюсь придумать что-нибудь смешное. На еду нам отведено ровно сорок пять минут. Наши жесты такие же быстрые и размеренные во время перерыва, как и на рабочем месте. И без ручных или стенных часов ноги точно чувствуют, когда им надо возвращаться к рабочему месту. Ведь иначе шеф будет ругаться, а не очень-то приятно выслушивать ругань каждый день. Иногда плюют на шефа и на три минуты опоздания и — защищаются. Но бывает и так, что мужества не хватает. Давятся, чтобы вернуться вовремя, глотают пищу молча. Когда завоет сирена, вскакиваю со словами «болит спина», спрятав за ними все накопившееся отчаяние.

Сто метров от столовки до раздевалки ужасающи. Я отсюда вышла и сюда же возвращаюсь. У меня нет никакого выбора, что бы ни произошло. Не обращая внимания на подступившую тошноту, я должна идти и тянуть лямку еще четыре с половиной часа. Ведь всего лишь половина первого. А я уже достаточно сегодня наработалась.

— Что с тобой, Маривон, у тебя вид как у повешенной!

— А тебе какое дело! И вообще отстань, у меня язык не ворочается.

Глава вторая

Я осматриваю ванную, стены слегка облинявшего небесно-голубого цвета. Сама ванна огромная и белая — у нее вполне аппетитный вид. Полотенца туго накрахмалены — именно так, как я люблю. Смягчающее белье средства — собачья чушь. В ватной мягкости совершенно исчезает вся прелесть ощущения чистоты.

Над старым умывальником с потрескавшейся эмалью — зеркало в деревянной раме. Я становлюсь в позу, как для портрета. Молодая задумчивая женщина, печальная, удивленная, веселая. Я смеюсь. Молодая, измученная, злобная женщина. Я ощериваюсь, кокетливо гримасничаю, кривляюсь, недоступная, непорочная. Становлюсь совершенно непохожей на себя. Я больше не существую. Зеркало уже не отражает моих гримас. Старая усталая женщина с ускользающим взглядом. Какой видят меня другие? Отвыкнув думать о внешности, я разучилась видеть саму себя. Я потеряла свое «я». Потускнела. Отстраняюсь от зеркала. Ведь я тут для того, чтобы нравиться себе.

Приму очень горячую ванну, посижу подольше. Плевать, если это вредно для кровообращения, как утверждает мой отец. Покой этой водной территории не будет нарушен вторжением моего карапуза. И торопиться мне некуда — варка картошки по боку.

Утверждают, что функции создают органы, с трудом верю. Если бы это было так, женщины давно уже имели бы по четыре и по пять рук, чтобы выполнить все обязанности, которые одновременно наваливаются на них, едва они перешагнут порог дома.

Я предвкушаю удовольствие — принять без спешки ванну, но не хочу погружаться в нее тотчас же. Нужно, чтобы ожидание предельно возбудило наслаждение. Нужно, чтобы это была целая церемония. Прежде всего сама ванна, потом одиночество, потом неограниченное время и уже как завершение — мыльная пена.

Пойду куплю пену для ванны. Ухожу из отеля, не сдав своего ключа № 12. Не торопясь, дохожу до порта, где заметила дешевый универмаг. Я всегда чувствую себя как дома в этих магазинах для бедных людей. Мне уже привелось работать в трех подобных. Наизусть знаю их музыку. Ощущение фальши навсегда застряло в сознании — не забыть. Целый день на ногах. Убрать прилавки, расставить ценники, обслужить покупателей, стоять у кассы. Я не имела права носить джинсы. В магазин каждый день заходила одна старушка. Это был ее единственный ежедневный выход; тут ей было тепло, она видела людей, товары, яркие краски. Музыка и банальные фразы создавали для нее иллюзию общения. Покупать-то она почти ничего не покупала, разве что катушку ниток, коробочку булавок или кусок туалетного мыла. Она меня очень полюбила, потому что я не огрызалась, как продавщицы постарше, которым все давно осточертело.

Однажды она принесла мне книжечку Гастона Леру в мягкой обложке — название я позабыла — и сказала: «Возьмите, это вам, вы как-то сказали, что любите читать,— я тоже; надеюсь, вам понравится». У нее не было ничего, как и у меня. Мы подружились. Ее поступок меня растрогал, я так и не смогла придумать, чем бы ее отблагодарить.

Эмигранты тоже любят заходить в дешевые магазины самообслуживания. Вход, освещение, осмотр витрин — все бесплатно.

Молодежь со всего района часами толчется в секциях пластинок и одежды. Парни выламываются перед продавщицами, которые стоят за кассой. Паясничают, позванивая в карманах мелочью, если она у них есть.

Мне одинаково были симпатичны все они: старики, иностранные рабочие, неотесанные подростки, готовые слямзить что подвернется. К несчастью, именно за ними меня заставляли следить. Мне говорили: «Смотри в оба, опять негритосы!» Или: «Пойди посмотри, чего надо этим хиппарям, они уже минут десять крутятся возле курток». Отказаться было нельзя, но я всего лишь проходила мимо, поощряя улыбкой: «Можете уводить что хотите, это барахло не мое». Но обыкновенно одного появления розовой униформы было достаточно, чтобы они тут же рассеялись, хотя через минуту и возвращались обратно.

Две молоденькие арабские девчонки любовались однажды духами и другой косметикой в золоченых упаковках. Их заметила директриса: «Убирайтесь отсюда, у вас ведь нет денег, нечего тут околачиваться. И не мешало бы вам рожи помыть, грязные девки!» Испуганные девочки отскочили. Но стоило директрисе повернуться спиной, как они опять появились. Открыли флакончик туалетной воды и начали тереть физиономии, как бы умываясь. Продавщица накрыла их и сообщила директрисе; никто и опомниться не успел, как плачущих девчушек уже запихивали в полицейскую машину. Произошло это незадолго до моего обеденного перерыва. Я вышла на улицу расстроенная, злясь на свое бессилие, и больше уже не вернулась в этот магазин — даже в качестве покупательницы.

Из любви к таким вот совсем не принцам, у которых, как и у меня, ни гроша за душой, захожу я в эти универмаги. Мне известно все, что происходит не на виду у покупателей. Каждая секция мне знакома, как и продавщицы с их равно безучастными лицами. Я знаю, какая парит давка в плохо освещенных, никогда не проветриваемых разде-

валках, где удушливый запах пота смешался с духами. Знаком мне и уголок отдыха в глубине коридора — три квадратных метра, шаткий столик, две-три грязных табуретки; здесь можно присесть и выпить стакан воды, подкрашенной слезой мерзкого сиропа. Так и вижу металлическую доску, на которую каждый накалывает свой картонный жетон с порядковым номером. Имеются цветовые различия в зависимости от жалованья и квалификации. На полный рабочий день нанимают очень редко. Предпочитают брать продавщиц на определенные часы — в зависимости от наплыва публики. Таким образом избегают наличия лишних служащих, которые в «мертвые часы» еще могут, чего доброго, затеять дискуссии. Так или иначе, нельзя ни минуты оставаться без дела — вот и ходишь вдоль прилавка, в особенности там, где новинки. Покупательница разворачивает один пуловер за другим и, скомкав их, уходит. Не оставлять же всю работу на конец дня, вот и торопишься вновь аккуратно все сложить, а через минуту опять скомкают. И так без конца...

Вечером надо снять кассу: подсчитать чеки и деньги, сложить их стопками — сантимы к сантимам, франки к франкам. Чтобы не задерживаться дольше положенного, начинаешь загодя, незадолго до закрытия магазина. Но именно тут-то и появляется запоздалый покупатель, который расплачивается за зубную щетку стофранковой бумажкой. Когда, наконец, раздается звонок, будь то в 19, 20 или 22 часа — в зависимости от расписания, впечатление такое, будто перестала вертеться карусель. Свет меркнет. Музыка и рекламные объявления по радио, которыми вы сыты по горло и которых вы уже просто не слышите, умолкают,— наступает тишина. Сдача касс окончена, пустые ящики выдвинуты до завтрашнего дня. К раздевалке торопливо стекаются изо всех углов магазина одетые в розовое продавщицы — трудно поверить, что их так много. Они перекликаются: «Еще денек оттрубили!», «До завтра, девушки!», «Всем привет!»

Самым плохим временем для меня был праздник Всех святых. Меня отряжали на улицу торговать хризантемами. Никогда у меня не было пристрастия к хризантемам, но, торгуя ими, я их буквально возненавидела. Эти большие блекло окрашенные цветы, даже когда они растут в земле, кажутся мне искусственными. Я неумело заворачивала их в прозрачную бумагу; бумага меня не слушалась, выскальзывала из рук, падала в лужи, я колола себе пальцы булавками, а нетерпеливые покупатели описывали мне могилы своих дорогих усопших. Бумажный халат плохо защищал от ветра. Чтобы согреться, я входила на минутку в магазин. И всегда натыкалась на шефа, который делал мне внушение: как можно оставлять товар без присмотра.

Тогда я жила в комнате для прислуги — на чердаке, по черному ходу, а раковина с холодной водой была только на лестничной площадке. В общем-то ничего страшного: я ведь мало проводила там времени. Часто влюблялась, но не всерьез. Когда эта полулюбовь-полудружба иссякала, я, конечно, горевала несколько дней, но не слишком. Я не сомневалась: так будет не всегда, когда-нибудь подыщется мне пара, обзаведусь семьей и будет у меня надежная опора. Впрочем, я пыталась убедить себя, что можно обойтись и без этого и что не по мне женатики, уже скисшие к двадцати пяти годам и мечущиеся от служебного ярма к домашнему с ребятишками и радиолой. А ведь кончилось чем — вот я проехала сорок километров только для того, чтобы спокойно принять ванну!

Покупаю вожделенный флакон пены для ванны. Прогуливаюсь по рядам магазина. Не буду покупать пуловер. Я откладываю такую трату на дни получек или до моментов уж полного остервенения. Но мне необходим роман из дешевой серии в мягких обложках — надо же будет чем-то занять вечер. Я всегда колеблюсь, выбирая книгу. Боюсь огорчить других. Боюсь разочароваться. У меня пристрастие к определенным авторам, в особенности к женщинам-романисткам.

Беру книгу Кристианы Рошфор — я ее еще не читала. Жаль, что книга короткая. Я люблю длинные романы, которые можно читать день за днем. Живешь с их героями долго, думаешь о них не только, когда читаешь, и, начиная новую главу, встречаешь как друзей. Я люблю окунаться в разговоры и обстановку, совсем не похожие на мою жизнь. Часто мне хочется поговорить с автором, написать ему, но я никогда не делаю этого из страха быть неправильно понятой и испортить свое первое впечатление от прочитанного. Я так много читала, в особенности дождливыми воскресеньями моей юности, что граница между чужими жизнями и моей собственной постепенно стиралась. Будущее представлялось мне похожим на роман, и я вела дневник, выспренний, как военные мемуары.

Вот я и отоварилась. Выйдя из магазина, замечаю, что стемнело. Уже. Видно, зима никогда не кончится. Возвращаюсь в портовый отель. Большие стенные часы показывают 6 часов 30 минут. Хозяйка отеля, которая меня заприметила, коротко бросает: «Обед в девятнадцать тридцать». Хорошо, шеф, будем вовремя.

Вхожу в свою комнату, вытаскиваю из сумки книжку и, не снимая сапог, как бы бросая вызов духам домашнего очага, растягиваюсь на постели.

Прежде чем начать читать, я вдыхаю запах бумаги, шрифта, лакированной обложки. Эти типографские запахи создают атмосферу сообщничества между мной и тем, что сейчас оживет на страницах романа. Я узнаю издательства по их запахам, нежным или резким. Чтение доставляет мне и чувственное удовольствие тоже. Книгу я ощущаю. Вслушиваюсь в шелест ее страниц. Ощупываю их. Люблю разглядывать буквы, не стараясь понять ни их, ни слова, образующие ритмические группы своей протяженностью и пропусками между ними. Я любуюсь абзацами как маленькими картинками — ведь в каждом есть гармония. Книга дышит своими пробелами, и я дышу в ее ритме. Книга — моя подруга, податливая, покорная, открывающаяся по моему желанию на любой странице и погружающая меня в молчание. Мы сосуществуем часами, днями, иногда неделями, и мои настроения зависят часто от книжных строк.

Последние слова книги одновременно ранят и приносят облегчение. Работа закончена. Но я читала чересчур быстро, сожалею, что узы столь быстро расторглись. И вот писатель, которому больше нечего мне сказать, разочаровывает меня. Перечитывать ни к чему: радость неожиданной встречи уже не повторится. Я еще раз обманута, жизнь моя нисколько не изменилась. Бросаюсь к новой книге — в поисках рассеявшихся миражей. Я героиня множества безвестных историй.

Прочитываю страниц шестьдесят. Я привыкла, что меня все время прерывают — то люди, то внезапно осознанные неотложные дела, а то и просто усталость,— и потому останавливаюсь как по команде. В четырнадцать лет я была способна проглотить одним духом толстенную книгу. Эта способность утеряна. Во всяком случае, сейчас мне кажется, что пора пойти перекусить.

Провожу гребенкой по волосам. Для порядка. Перед зеркальным шкафом я отрекаюсь от той, чей облик подстерегал меня в зеркале над умывальником, и спускаюсь в столовую. Я не опоздала и не пришла слишком рано, часы показывают ровно девятнадцать тридцать, хозяйка приятно удивлена моей пунктуальностью.

Некоторые столики уже заняты. Мне не приходило в голову, что другие могут есть, спать именно сегодня, здесь, как если бы ничего не произошло. Это меня смущает. Я сажусь в стороне, за столик, накрытый белоснежной скатертью. Сижу возле стеклянной стены, сквозь которую виден порт.

Входит парочка. Мужчина — некрасивый толстяк, брюнет с кое-где проступающей сединой. Его карие глаза поблескивают из-под бро-

вей, столь густых, что они похожи на усы, попавшие не на свое место. Потрясающее ничтожество. Его сопровождает девица в сероватых парижских тонах. Они столь выспренне изъясняются, что я не понимаю ни слова. Но все и без того ясно по коленям, трущимся под столом. Это, несомненно, начинающая парочка в той стадии, когда возможность отказа понуждает к внимательности.

Я тоже выслушивала когда-то речи своего соблазнителя и только после того, как он умолк, начала стареть. Мы говорили о чем попало. Как бы случайно касались друг друга. Все, что предшествует постели, должно бы длиться годами. С грустью вспоминаю о том времени, когда мы ограничивались поглаживанием рук. Мой суженый смотрел мне в глаза, то ли подражая героям фильмов, то ли не зная, куда еще смотреть. Я всегда первая осмеливалась взять его пальцы с обломанными ногтями и медленно провести ими вдоль своих рук. У него были крепкие мускулы, у моего работяги, я чувствовала, как они напрягаются от моего прикосновения,— это мне нравилось. Вспотев, затаив дыхание, боясь спугнуть его, я ждала, когда он решится обнять меня и с отсутствующим видом начнет возиться с застежкой моего лифчика. Наше нервное возбуждение неизбежно влекло к развязке. Я не была чересчур романтичной и все же мечтала, что когда-нибудь он повезет меня в Венецию. Позднее, когда я заговорила об этом, он сказал: «Венеция? Там вонища!»

А эти двое хорошо воспитанных влюбленных так и сыплют непристойностями, которыми, видно, напичканы до краев.

Мне же сказать нечего. И нет никого, кому можно бы сказать: «Я больше не могу» без страха быть оборванной. Никого, кто станет меня слушать дольше десяти минут, не прерывая.

Надо бы мне чуточку приукрасить свою речь. Могу же я культурно изъясняться, ну хотя бы время от времени. Сказать бы: «Видите ли, дорогой, в сложившихся в данное время условиях рабочий класс, пролетариат, как таковой, я хочу сказать — массы, до какой-то степени трудящиеся, находятся, с точки зрения фазы, я хочу сказать — периода, до какой-то степени в политической растерянности, в общем, короче говоря, в промежутке... жутке... паспорт-порнограф-граффити-ти-ти-ти — бездельники...» Не моя это песня!

Вот Жану-Франсуа удалось меня разговорить. Он появился в профсоюзной организации как раз в утро забастовки. Ему надо было написать статью в газету. Знакомых у него не было, я предложила информировать его о нашей борьбе. Я была так горда, что участвую в забастовке! А его интересовала борьба рабочих — это его конек.

Мы пошли в ближайшее кафе. У него были огромные миндалевидные зеленые глаза и каштановые кудри. Чистой воды леворомантик. Я его немного стеснялась. Не знала, с чего начать. А он боялся спугнуть меня, наконец сказал: «Говорите что взбредет на ум, потом разберемся».

Мне хотелось сказать, что я нахожу его красивым, но он, видно, и сам это уже подметил. Я смотрела, как он смотрит на меня, и руки у меня горели. Вдруг меня прорвало. Рассказала о забастовке, о том, как заняли завод, о разговорах рабочих. Он согласно кивал и прерывал только для того, чтобы обрисовать, какое нас ждет блаженство, когда рабочие повсюду придут к власти. Время от времени он просил меня что-то уточнить. Он то смотрел на меня, то переводил взгляд на свой блокнот. Он был потрясающе внимателен, иногда договаривал за меня. Почувствовав, что о забастовке я все выложила, я перешла к повседневной жизни на заводе. Рассказала ему, как, смеха ради, у нас поют, держа у рта отвертку, словно микрофон. Рассказала о сплетнях, которые циркулируют, как по испорченному телефону, к великой радости того, кто первый пустил слушок. Рассказала о любовных свиданиях за грудами упаковочного картона. Ему все было интересно. Он убрал карандаш, и мне показалось, что на его лице запечатлелись

все мои слова, его губы как бы повторяют их. Он смеялся и негодовал в нужных местах, я была в восторге. Он мне показался таким умным. А главное, красивым. Он взял меня за руку и сказал: «Все, что ты рассказала, потрясающе, если завод таков, я тотчас нанимаюсь».

Я смутилась, испугалась, что наврала, нет, завод вовсе не прекрасен. Я заговорила о травмах на работе, болезнях, женщинах, которые держатся только на транквилизаторах, о тех, кто лишь в злобе находит утешение. Рассказала о женщинах, которых бьют, а они скрывают заплаканные глаза за темными очками. О тех, чьи дети сбились с пути, и о таких, кто уже разучился плакать. Я призналась во всех своих разочарованиях и расплакалась. Я уверена, что он был растроган. Мне так хотелось сочувствия, помощи! Он осторожно погладил меня по щеке, но мне это не понравилось. Что мог он сделать для меня? Моя откровенность была бесполезной, позорной. Не пойдет он работать на завод, напишет статью о забастовке, такую же, как многие другие, а я вернусь к моему конвейеру.

Надо бы сказать ему, что я люблю живопись, «Времена года» Вивальди, стихи Маяковского и яблочный пирог. Но это его не интересовало. Я была всего лишь бастующей работницей, которую интервьюируют, возможно, и симпатичной. Я попалась в западню: социализм, классовая борьба, человечность Жана-Франсуа. Прекрасные глаза и речи, но не любовь, которая мне нужна.

А в течение этих двух часов я так его любила, что потом он уже не смог меня отыскать, когда хотел показать мне свою статью, прежде чем отдать ее в печать.

Жизнь продолжается.

Я даже и не знаю, встретился ли мне на самом деле Жан-Франсуа. У меня в ящике лежит его статья, но ведь кроме меня и другие могли рассказать ему о той забастовке. Хотелось бы еще посидеть с ним — ведь я его как следует и не разглядела. Надо было, в свою очередь, расспросить, вызвать жизнь в его зеленых глазах. А я говорила одна. Он для меня — драгоценное воспоминание. Я по-прежнему одинока. Такая встреча — редкость.

Как странно есть одной, не вскакивая, чтобы подать очередное блюдо, не разговаривая, не торопясь.

Позавчера малыш кончил есть раньше нас. Он ныл, просился на руки. Тянул меня за пальцы, пытался вскарабкаться на колени, наступал мне на ноги. Тщетно я уговаривала оставить меня в покое. Отец не шевельнулся. Я уже не могла есть. Мне все опротивело, и я резко оттолкнула ребенка. Он шлепнулся на задницу и разревелся. Тогда отец зарычал: «Какого черта! Ты что — сдурела? В чем провинился малыш? Зачем ты доводишь его до слез?» Я подняла мальчугана. Мы ревели вдвоем. Я уложила его спать и сама легла.

Подобное случается не каждый день. Обыкновенно еда — время четвертьчасовой беседы, если не помешает телик или газета. Говорим о событиях дня, о профсоюзе, о заводе и тамошних друзьях:

— Знаешь, что случилось сегодня утром в цехе?

— Нет, а что?

— Было холодно, градусник не дотягивал до пяти. При разговоре изо рта шел пар. Инструменты в руки не возьмешь, работать невозможно. Одна женщина даже в обморок от холода упала, и все ушли в столовую греться.

— А начальство как реагировало?

— Они промолчали. И хорошо сделали. Все так обозлились, что им досталось бы на орехи. Ведь у них-то в кабинетах — свое отопление. Когда это увидели, возмущению не было предела. Они втирали очки, будто котел отключен для ремонта. Но нам-то на это начхать. Мы мерзнем и не желаем вкалывать в таких условиях.

Говорим о бесконечных счетах, которые надо оплачивать, и о вечной нехватке денег. Пустые слова о каждодневных бедах — ведь

сказать, что мы отчаялись, что наши мечты пошли прахом, было бы равносильно разрыву. Такова жизнь, нормальная, семейная, как у всех; счастливое супружество — это вам не роман, нечего разводить сантименты: ночью все кошки серы — бедные животные, какого цвета они становятся белыми ночами?

Я уехала и плюю на все.

Какой-то мужчина за столиком напротив смотрит на меня — этакая канцелярская крыса, отъевшаяся на разных разностях под соусами. Он вообразил, что я улыбаюсь ему, и его помятое лицо с залысинами расплывается в улыбке, как на рекламе. Дерьмо. Я опускаю глаза. Нельзя улыбаться. Нельзя ни на кого смотреть. Нельзя быть одной. Я раздавливаю окурок, встаю.

Опоздала. Этот суперробот-взбивальщик-пены-миксер-трепач-воображала, готовый все снести на своем пути, как дворники сметают снег с ветрового стекла машины, уже торчит передо мной.

— Разрешите предложить вам чашечку кофе?

И не думаю ничего разрешать.

— Нет, спасибо, я не пью кофе.

Надеюсь, что ответила достаточно сухо.

— Может, травяного чая?

Он сдабривает вопрос медовой улыбкой, как бы заверяя: препятствия меня не остановят. Я едва сдерживаю смех. Чай из липового цвета и мяты — вот чем соблазняют в Пемполе, нужно видеть такое, чтобы оценить всю меру нелепости.

— Тоже нет. Я ничего не пью.

— Сожалею, вы мне очень симпатичны.

Что предпринять? Молчать, делая вид, будто его не существует, или ответить решительно, давая понять, что плевать я хотела на его идиотское заигрывание.

— Извините, но я живу с родителями, один глаз у меня стеклянный, и сюда я захожу не часто. А теперь пропустите меня, пожалуйста.

Морда молодцеватого воображалы-соблазнителя слегка покраснела. Видно, не любит, когда с ним разговаривают свысока. С ним — столь элегантным в своей светло-бежевой тройке с гарантией на годовую неизнашиваемость. Я толкаю его, чтобы пройти. Быстро пересекаю зал и почти бегу по коридору, ведущему к лестнице.

Его рука внезапно вцепляется в перила. Ноги раскорячил, не пускает меня на лестницу. Проворный, гад, и прилипчивый. Заварилась каша.

— Пропустите меня!

— Не позволю издеваться над собой.

— Мне ничего от вас не нужно — только отвяжитесь, и точка.

От гнева меня бросает в жар — лицо краснеет. Это, видно, придает ему уверенности.

— Хорошо, хорошо, козочка, не будем ссориться. Поцелуйчик для козлика. Один поцелуйчик, и делу конец.

— Вы что, человеческого языка не понимаете? Я требую, чтобы вы отстали от меня. Будь у меня такая телячья морда, как у вас, я бы носа на улицу не высунула.

Очко в мою пользу. Ведь он считает себя неотразимым. На мгновение он теряет дар речи. Я ставлю ногу на ступеньку.

— Отодвиньтесь.

— Возьми обратно свои слова.

Тон у него остервенелый. Переход на «ты» означает угрозу. Пожалуй, лучше было бы мне промолчать. Оскорбленный, он еще омерзительнее. Я понимаю, что силы у нас неравные. Во мне нарастает страх перед этой глыбой мяса, воняющей лосьоном после бритья.

— Дерьмо собачье!

Не очень-то изобретательно, но чувствую облегчение.

— Краля, ты меня провоцируешь!

Не знаю, кто из нас кого провоцирует. Его рука — никак не предположила бы в нем такой силищи — сжимает мою руку. Это прикосновение мне отвратительно. Как хотела бы я быть далеко отсюда. Если бы могла, позвала бы своего законного супруга на помощь.

— Извинись, поцелуй, тогда пропущу.

— Никогда я вас не поцелую, мерзавец вы эдакий!

Я не сдамся, хватит с меня этих кобелей, воображающих себя богами,— только и норовят сломить нас. Он стискивает мою руку так, что она белеет,— скотина: он причиняет мне боль.

— Прекратите или я закричу!

Не люблю я подобных аргументов, но силы мои иссякают. Дрожь охватывает тело, мысли путаются. Другой рукой он зажимает мне рот.

Я борюсь.

Он обезумел. На помощь! Он задушит меня. Здесь, у подножия лестницы. Я ведь даже и не знаю, кто он, этот тип. Его потная рука мешает мне вздохнуть.

— Шлюха! Шлюха! Шлюха! Поцелуешь меня наконец, а? Поцелуешь?

Я лягаюсь направо, налево, но вроде бы не попадаю в него. Глаза его горят ненавистью. Не человек, а черт. Но я ведь не верю в чертовщину. Начинаю задыхаться. Отчаяние и бешенство вызывают тошноту. Сейчас меня вырвет на его представительный костюм.

— Ты меня поцелуешь! Поцелуешь!— машинально твердит он пронзительным голосом. Глаза его становятся невидящими. Это дикий зверь. Я гибну. Ужасно, мой несчастный сын осиротеет. Уже вижу себя валяющейся на ступеньках, в луже свежепролитой крови. Зачем только я оказалась здесь? Я рыдаю.

Шаги. Слышу шаги.

Бред это или реальность?

Внезапно его руки разжимаются.

— Я тебя отыщу, дешевка!

Он скрылся. В конце коридора появляется парочка влюбленных. Они спасли меня, сами того не зная. Даже не отдышавшись, я кидаюсь на лестницу. Скорее в мою комнату! Ключ дрожит в пальцах. Замочная скважина исчезла. Нет. Вот она. Вхожу. Захлопываю за собой дверь и дважды поворачиваю ключ. Меня бьет озноб. Я твержу: «Какая несправедливость! Несправедливость. Несправедливость. Несправедливость...»

Не могу определить, чего во мне больше — страха или гнева. Мерзавец! Что они воображают о себе, эти скоты? Все они омерзительны мне со своими порочными ухватками, глупостью, злобой. Их выводит из себя, что без них можно обойтись. Я их ненавижу. Всех. Все они одинаковы. Они недостойны даже страха, который внушают.

Выпиваю полный стакан холодной воды. Это меня успокаивает. Нет, не так-то легко меня заполучить. Этот мерзкий боров не испортит мне всю поездку. Какая мерзость, как несправедливо! Необходимо забыть. Эти наскоки самцов — верх нахальства. Мне стыдно за мужчин. Подумать только, что они, как и я, принадлежат к роду человеческому. Их скотство оскорбляет меня. Надо во что бы то ни стало выбросить все из головы. Не заполучат они меня — слишком уж печально бы это было.

Стараюсь снять напряжение, расслабиться. Хочу жить. Я. Моя жизнь. Мой побег. Мои удовольствия. Для меня одной.

Приму хорошую, очень горячую ванну.

Еще не открыв краны, щедро лью темно-синюю жидкость, потом пускаю воду, и в пару возникает, словно японские цветы, густая разноцветная пена.

Глава третья

Лиловатые мыльные пузырьки заполняют все пространство огромной ванны розового мрамора, над которой, разглядывая их, склонилась Мэрилин. В ее ванной комнате множество флаконов из хрусталя и опалина. Тонкие ароматы различных эссенций смешиваютря в невообразимо сладостный букет. Скрытый свет рассеивает тени. Тепло. Все — сплошное великолепие. Мэрилин выпрямляется, халатик из белого шелка соскальзывает с ее атласистого тела. Не вполне понимая, где она — то ли у себя дома, то ли играет в десятый раз эпизод из фильма,— Мэрилин на всякий случай улыбается и, не глядя на свои ноги, погружает их в теплую влагу.

Мэрилин вытягивается в ванне розового мрамора. Одно лишь лицо остается на поверхности голливудской мыльной пены. Она разгримировалась, волосы спрятаны в тюрбан.

Тело со всеми его изъянами принадлежит сейчас одной ей, нет ни прожекторов, ни съемочных аппаратов, тело растворяется в воде, она перестает ощущать его. Мэрилин закрывает глаза, она уже не улыбается. Она впадает в забытье. Чувствует лишь воду, которая ее защищает, проникая в мельчайшие поры ее естества. Она примиряется со своей таинственной, терзаемой, продажной плотью. Она знает все свои слабые места и недостатки. Она раздвигает ноги и поеживается от еле ощутимой водной ласки. Горячая вода течет безостановочно, поддерживая приятную температуру. Так можно лежать часами.

Мэрилин вспенивающаяся. Мэрилин чувственная. Мэрилин пупырчатая, изнемогающая, беспечная. Мэрилин тающая, самоуничтожающаяся, Мэрилин наслаждающаяся.

Мэрилин не намыливается. Не трет себя жесткой рукавичкой. Она принимает ванну не ради чистоты. Эта ванна — роскошь, ради удовольствия. Ванна розового мрамора, наполненная лиловой пеной,— для забвения неприятностей и усталости. Пусть вся ложь утонет в душистой воде. Это место — для уединения, чтобы взгрустнуть, если захочется.

Мэрилин пускает в воду и смотрит, как вышедший из нее воздух шариком поднимается на поверхность и весело лопается в этой гаремной атмосфере. Мэрилин хохочет. Во время ближайшего интервью она им выдаст:

«Дорогая, великая Мэрилин, что вы любите больше всего в жизни? Мужчин? Кино?»

«Ни то, ни другое, мой милый: я обожаю пускать в воде».

Она отлично знает, что это невозможно. Скажут: Мэрилин в полной депрессии. Журналисты разнесут повсюду, что великолепная Мэрилин интеллектуально примитивна и живет анальными интересами.

Мэрилин высовывает ногу из пены. Легкая дрожь пробегает по щиколотке. Клочочки пены застряли в волосках и образуют белые полосы вдоль полных икр.

У Мэрилин волосатые ноги.

У Мэрилин большие колени.

Мэрилин работает на конвейере.

Мэрилин зовут Маривон.

И у Маривон отвислая грудь.

Это — последствие беременности. Моя грудь все раздувалась, раздувалась, в особенности после родов, когда прилило молоко. Соски стали размером с огурец. Невозможно было отыскать во всем городе подходящий по размеру лифчик. Я была потрясена этим изобилием плоти и еле поворачивалась на узенькой больничной койке. Я страдала от обилия молока.

Само собой, когда все это опустошилось, грудь повисла до самого живота. Ну и ладно. У меня как-никак красивые уши. Так утверждала

моя бабушка. У меня хорошенькие маленькие ушки, совершенно бесполезные и на бирже труда, и на бирже обольщения. Кто заметит красивые уши, кроме бабушки, тщательно выискивающей фамильные черты на тельце девчушки. У меня красивые уши, но всем на это плевать.

Отстраняю пену и смотрю на свой живот. Плоский. Будто бы никогда и не был набит до отказа. Как если бы никто еще не обитал в нем. Я ощущаю его покой и пустоту.

Мне нравился мой животище, растягивающий все пояса и делавший меня совсем не похожей на других. В последний день беременности, который я провела на заводе, я чувствовала необыкновенную усталость, но не отдавала себе отчета в том, что со мной происходит. Идя по проходу, я не обратила внимания на гудки Фенвика и наткнулась своим животом на подъемник, который, к счастью, шел медленно. Я подумала: «Видишь, ребеночек, завод причиняет боль».

Сейчас у меня живот твердый, не растянутый. Память о перенесенной боли возникла неожиданно. Мне предстояла благородная задача— родить: неизбежные страдания и никакой славы в награду. Я ничего не поняла. Надо было делать вид, что эти злосчастные муки мне нипочем, но мне хотелось кричать. Роды проходили не гладко. Недоношенный сын и обезумевшее тело совершенно исковеркали меня. Подняв глаза к слепившему плафону, я твердила: «Я хочу уйти, пустите, хочу вон отсюда».

Я раздавлена, растерзана, напугана. Так ли уж необходимо, чтобы нечто во мне было уничтожено во имя рождения моего малыша?

Наконец истекли долгие часы битвы, и я вытолкнула из себя этого палача. Конец мучениям, возвратился покой. Я ощущала огромную радость освобождения. Инстинкт самосохранения или материнский инстинкт? Я обожаю рождение моего ребенка. Никогда уже он не сможет причинить мне столько страданий и такое наслаждение. Никогда не смогу я любить его так, как в тот момент — освобождения. Не рука его, не голова, не крошечный член меня разверзли, а все его невинное тельце, походя, одним движением, пронзило меня любовной судорогой.

А потом мой ребенок — это второе существо, жившее во мне,— удаляется и становится незнакомым мне новорожденным, который пьет, спит и писает. Мне не забыть этого момента прекрасной смертной судороги, оставившего скорбную складку у моего пупка.

Кручусь в воде. Я — гигантский зародыш со сморщенными руками. Барахтаюсь. Чистая.

Руки отмылись наконец от серости, въевшейся в пальцы, несмотря на многократное мытье. Я не переношу грязных рук с забившимся под ногти черным смазочным маслом и пылью, в которой поблескивают частицы меди, свинца и алюминия. Когда руки попадают в поле моего зрения в разгар работы, я испытываю такое отвращение, что не узнаю их, кидаюсь в умывальную. Тру как безумная. От мыла и холодной воды руки скорее краснеют, чем белеют. Но я теперь вся одинаковая. Прежде чем вернуться на свое место, разминаюсь в проходе между машинами. Изображаю из себя посетительницу. Что за странное, черт побери, место: опущенные глаза, снующие руки, лица, расчлененные кабелями и трубками, как на полотнах абстракционистов.

Все так грубо и сложно, что кажется ирреальным. Самих рабочих почти не видно, об их присутствии догадываешься по пряди волос, мелькнувшей среди машин, или по ноге, высовывающейся из-под контейнера, но я-то ведь здешняя. Всех знаю и по именам, и даже по отдельным событиям жизни, как-никак они работают вместе со мной. Я пробираюсь не заблудившись сквозь лабиринт машин: ведь я у себя дома, становлюсь на место. Руки мои вновь погружаются в грязищу.

По рукам можно судить о нашей жизни. Во время последней за-

бастовки руки работниц ощущали лишь мягкость шерсти для вязанья. Завод с его шумом и постоянной гонкой стал местом отдыха. Усевшись на ящики и металлические корзины, женщины болтали, как в салоне. В столовке шла игра в карты. По утрам и вечерам все собирались на митинг в широком проходе перед раздевалкой. Я относилась к забастовке так, словно потом все должно измениться.

По железной лестнице я поднимаюсь на площадку, нависающую над проходом. Четырьмя метрами ниже теснится двенадцать, тринадцать, четырнадцать сотен рабочих, в толпе легкое брожение. Огромная синяя река, устремляющаяся к площадке. Мне знакомы все лица, поднятые к микрофону. Они внимательны, почти торжественны. Митинг вот-вот начнется. Я подхожу к микрофону и смотрю в конец прохода, туда, где черты бастующих уже едва различимы. Я записала свое выступление крупными красными буквами, чтобы не забыть ничего, о чем хочу сказать. Наступает тишина, ждут, когда я начну. Я вступаю: «Товарищи!..» Мой голос, усиленный профсоюзным громкоговорителем, слышит каждый присутствующий. Ноги у меня дрожат. Я перевожу дух и уверенно начинаю говорить, забыв о приготовленной бумажке: «Все мы, мужчины и женщины, молодые и старые, объединены борьбой...» Меня слушают, а я боюсь отмочить глупость. «...Ни одна деталь не должна выйти с завода... необходимо организовать пикеты из бастующих...» По толпе волнами проходит шепот. Я заканчиваю, повысив голос: «...Сила — на нашей стороне... Мы докажем это... победа за нами!» Тысячи рук, вынутых из карманов, аплодируют мне. Мои подружки мне подмигивают. Начинают верить, что все может измениться.

Но, выторговав несколько су, возвращаются к той же рутине и немыслимым темпам; все пошло прахом: и забастовка, и несбыточные надежды.

Стало даже хуже прежнего, все обыденно, оскорбительно. Пальцы у меня все изрезаны металлом. Стоит мне слово сказать товарке, как шеф уже смотрит на часы.

По-прежнему встаю рано, нарочно в темноте, чтобы от сонного отупения ни на что не реагировать. Каждое утро я на грани опоздания, а иногда не удерживаюсь и, как пройдет урочное время, расслабляюсь. Опоздание ради опоздания, просто чтобы не торопиться. Когда наконец, притворно опечаленная, я появляюсь, меня спрашивают: «Ну что, Маривон, влипла?»

В конце концов голова привыкает сама отсчитывать часы. Глаза открываются как раз перед звоном будильника, даже если ты совсем не выспалась. Ешь всегда в одно и то же время, хочешь ты есть или не хочешь, всегда впопыхах, не чувствуя вкуса пищи. Многие отчаиваются и смиряются: «Надо принимать жизнь такой, как она есть,— ничего ведь не изменишь». А я жажду, чтобы все изменилось!

Во время забастовки я влюбилась в одного улыбчивого рабочего. На демонстрации наши взгляды встретились. Мы приблизились друг к другу, и я взяла его за руку, пальцы наши радостно соединились. Мы тайком целовались в густой поющей толпе, которая толкала нас то туда, то сюда. Поток бастующих скоро разъединил нас. Подружка мне сказала: «Не красней, Маривон, в конце концов, может, это был твой муж!»

Хочется, чтобы мужчины перестали отсчитывать минуты на любовь, чтобы на молчаливых снизошло красноречие. И все пили бы по своей жажде из источника наслаждений.

Я брежу. Становлюсь странной.

Отяжелела от теплой воды. Чувствую, как всю сковало. Нет сил шевельнуться. Загулявшая работница залезла в гостинице в ванну и умерла от того, что не могла рукой пошевельнуть. «Этого следовало ожидать, у нее не было привычки, встряска оказалась слишком силь-

ной». Я могла бы тихонечко уснуть тут навсегда, утонуть без страданий. Но вода остывает.

Холод охватил Маривон.

После безоглядного бега по лесу и кустарникам, исцарапавшим ей ноги, Маривон достигла озера. Дорога упиралась в него. Запыхавшись, она остановилась, оглянулась. Мужчина отстал от нее. Но скоро она опять услышала его шаги, под которыми хрустели сухие ветки, устилавшие землю. Не раздумывая, она бросилась в воду. Поплыла, злобно ударяя изо всех сил по воде. Одежда, прилипшая к телу, затрудняла ее движения. Вторично обернувшись, она заметила, что мужчина, подошедший к берегу озера, постоял, постоял и пошел прочь. Он отстал от нее. На этот раз спасена. Последние метры до берега — настоящая крестная мука. Силы у нее иссякли, и ей потребовалось напрячь всю свою волю к жизни, чтобы не утонуть. С большим трудом, измученная, выбралась она на берег, цепляясь за камыши, и безжизненно растянулась на траве, надолго уткнув лицо в сырую землю. Потом ее начала бить дрожь, окоченевшие руки и ноги тряслись, она с трудом поднялась, перешагнула через край ванны, схватила махровое полотенце, висевшее слева, и изо всех сил растерлась, чтобы согреться.

Простыни из грубоватого белого полотна — кожей ощущаешь их жесткость — наводят на мысль о довоенном девичьем приданом. Но совершенно немыслимо представить себе мою сегодняшнюю хозяйку невинной девушкой.

Укладываюсь по диагонали. Все сто сорок сантиметров — для одной меня. Это пространство мною завоевано — могу вытянуться, вертеться, крутиться, упереть ноги в стену и оставить свет на всю ночь, если боюсь темноты. Никто не прервет моих снов. Мне не придется заниматься любовью, не испытывая желания. Не нужно будет притворяться, испуская крики страсти и стоны наслаждения.

Поначалу я не была столь холодна. Я беспрестанно стремилась к близости с ним, казалось, ничто не способно насытить мое жаждавшее все новых ласк тело.

Впервые я его заметила на конвейере, он был в синем рабочем комбинезоне, склонился с инструментами над каким-то механизмом и сосредоточенно завинчивал болт. Но когда он повернулся ко мне, выражение лица у него тотчас же изменилось. «Люблю тебя»,— ответила я ему взглядом, покраснев до корней волос. Нежности непозволительны на заводе. Мы ждали пять часов, сгорая от жажды сойтись и забыться. А когда наконец обнялись, то с такой силой, что едва не задохнулись.

После целого дня среди грохота металла мы с наслаждением перешептывались. Наши отяжелевшие, затвердевшие от инструментов руки стремились в ласке обрести мягкость и белизну. Мы были словно дети, выскочившие из школы и бросающиеся в объятья своих матерей. Физическое наслаждение было всего лишь незначительным выражением нашей одержимости. Мы рассказывали друг другу о том, что пережили до встречи, и нам казалось — все вело к ней. Ожидание было долгим, но мы нашли друг друга и находили вновь и вновь, нам необходимо было наверстать потерянное время и начать наконец жить. Любовь. Всегда. Вечная. Мы злоупотребляли наивным любовным словарем, сожалея, что не мы его изобрели. В наших чувствах не было ничего общего с теми, обычными, которые испытывали другие люди. Мы не походили на них, одни мы умеем любить. Наше безусловно предначертанное сближение переполняло нас гордостью.

Я не могла насмотреться на него, моего красавца, а от звука его голоса теряла рассудок. Прикасаясь к нему, я ощущала жар, который тотчас передавался мне. Мы совершим чудеса. Все должно со-

ответствовать нашей великой любви. Для первого завтрака я накупила две дюжины рогаликов, заранее обрекая их плесневеть в буфете.

Мы без конца предавались любви, в наших венах тогда еще было больше крови, чем металлических опилок.

Но ад каждую ночь отвоевывал себе все больший простор.

Наши тела, разъединяясь в половине седьмого утра, вечерами уже не исходили нежностью. Я говорила себе, что последую за ним куда угодно, а он никуда меня не привел.

Я надломлена. И отчаливаю от берега. Мой ум играет в прятки с действительностью.

Когда вернусь — я ведь вернусь,— все переменится. Он обнимет меня и скажет: «Люблю тебя», как вначале, и во взгляде его загорится прежнее безумие. Мы наплюем на работу и целый день проговорим, лаская как раньше. Вечерами, после работы, мы будем иногда ходить к морю, столь прекрасному зимой, и он скажет мне: «Я думал о тебе весь день, а теперь, когда мы вместе, я вновь тебя открываю». Я успокоюсь, и мы примемся болтать о чем угодно.

Но ведь у нас нет времени. Мы толчемся друг подле друга, сталкиваемся, не обращая на это внимания.

Я опять унеслась в мечтах. Фантазирую. Мечтаю. Выдумываю прекрасную любовь, которая войдет ко мне в комнату, устланную пушистым ковром, соперничающим роскошью с моими несказанными чувствами. Мой избранник весь в вышивках, кружевах и блестках. Его подведенные глаза с золотистым отсветом улыбаются мне. Я зарываюсь в надушенный мех, и он приникает ко мне, мой котик, шурша своим парчовым халатом. Наши речи, звенящие, как золотые браслеты и драгоценные украшения, сопровождают наши утонченные утехи. Мой прекрасный любовник замирает от наслаждения, подставляя свое холеное тело моим ласкам. Он неподвижен и стыдлив под градом моих поцелуев. Он предоставляет мне постепенно овладевать его телом и лишь слегка постанывает от моих прикосновений. Это я веду игру. Он долго наслаждается, не шевелясь. Наконец, точным ударом острия сверкающего серебряного кинжала я пронзаю ему грудь и достигаю сердца. Лицо его лишь слегка дрогнуло. Теперь он навсегда мой. Красное пятно расползается по шелку рубашки, как раз вокруг проткнувшего сердце кинжала. Эта любовь останется со мной вечно. В самом деле. Любовь во имя любви. Не такая, которую оплачивают своим темпераментом тридцать лет.

Увы, это не совсем мой жанр, мой век, моя история. Наши нравы, как и одежда, классические, чуть «спортивные» и весьма рабочие. Кроме ушей, во мне нет ничего рокового, и мой муж, слава богу, чувствует себя отлично.

Принимаю пилюлю. Хватит с меня и того, что один раз попалась. Всегда таскаю с собой коробочку. Это единственный мой багаж, который всегда при мне. Я не люблю промашек, не доведенного до конца акта, всяких там уловок, которые обесцвечивают сокровенность желания.

Что он делает сейчас? Лег ли, как я? Удивлен ли своим одиночеством? Или счастлив, что сможет свободно растянуться в супружеской постели?

Еще очень рано. Он будет смотреть телик до конца программы, чтобы зря не тревожиться. Потом поставит пластинку и, куря сигарету за сигаретой, попробует сосредоточиться на чтении.

Грязная посуда на кухне, оставшаяся после его еды, будет дожидаться моего возвращения. Какое-то время он неподвижен, глаза устремлены в пространство. Потом он перечитает страницы, от которых уже трижды, сам того не замечая, отрывался таким же вот образом. Ему осточертела эта мура. Он швыряет книгу и решает лечь спать. Придет, когда придет,— стоит ли из-за нее сходить с ума. Надо выс-

паться. Прежде чем пойти в комнату, он проверяет, хватит ли кофе на завтрак.

Подойдя к кровати, он вновь поражается моему отсутствию. Ему хотелось бы думать, что я попросту улеглась раньше него, как это часто случалось. Но я не сплю там, укутавшись в одеяло. Испытание продолжается. Он будет спать в одиночестве и проснется один. Он думает: если она вернется, пока я досчитаю до десяти, я прижму ее к себе и не скажу ни слова упрека. Объяснимся в другой раз. Он медленно считает — девять, десять. Никого. Такова жизнь с ее взлетами и падениями. К чему быть идеалистом? Он ложится и все-таки засыпает. Дальше будет видно, чем это все обернется.

Я замужем — к чему стараться понравиться? И все же иногда я пробую под предлогом утвержденных календарем праздников.

Для встречи Нового года в товарищеском кругу я навожу на себя красоту. Мне хочется привлекать взгляды. Мне хочется соблазнять и стать совсем другой... Надо, чтобы волосы мои блестели в отсветах горящих поленьев. Мое тело, движения стали бы гибкими, а голос мягким, как будто бы не было страданий, ударов судьбы, бега времени. Я хочу, чтобы мои подведенные глаза зачаровывали в пламени свечей. Чтобы мое лицо, которое он знает наизусть, показалось бы ему новым, нецелованным. Я ведь тоже могла бы волновать, вызывать желание, быть женщиной мечты, если б только захотела и если б он любил меня. Пускай для привлекательности требуются румяна — это ведь не маска, это лишь выявление самой себя. Мы предадимся любви вне привычки. Ты забудешь, что мои руки преждевременно сморщились и заскорузли, а с твоих пальцев исчезнут мозоли и царапины. Я стану той женщиной, которая тебе понравится, которую мне нравится для тебя выдумывать.

Если ты отвергнешь иллюзию, будешь любить меня по-прежнему, обыденно,— я проиграла. Магия переродится в смешное кривлянье. Винные пары и табак и без меня усладят тебя предостаточно. Моя мечта разбивается о твой тяжелый сон. Ты не хочешь познать меня. И остается всего лишь неказистость серенького утра и смятое красивое платье на полу.

Если это так, то он даже и не заметит моего отъезда.

Пойдет на угол за хлебом и вернется через два часа. Все готово, он молча ест и смотрит телик. У меня болит живот, я хочу лечь. Но не засыпаю, пока он не ляжет. А когда он рядом, я боюсь к нему прикоснуться — не хочу вызывать у него желание. Не хочу его привычных ласк, торопливых и молчаливых. Я глупо шепчу: «Не шевелись, я сплю, не шевелись, ты стаскиваешь с меня одеяло, не шевелись». Его рука замирает, обняв меня за талию, и он уже спит, как его сын, держа своего медвежонка.

Завтра снова вставать чуть свет, хоть ты и разморена жарой и недосыпом. Дрожа, подниматься по звону будильника. Отрешиться от себя и со смертью в душе отдаться заводу.

Все это вертится у меня в голове, и я не могу уснуть, хотя вконец измочалена. Я тщетно отыскиваю положение тела, наиболее удобное для сна. Все причиняет боль. Мне не хватает простора, воздуха, начинается мигрень, от которой, кажется, лопнет голова. Мне хотелось бы стонать, рыдать, кричать, но я не смею. Я поднимаюсь и ощупью, чтобы не разбудить мужа, глотаю две таблетки аспирина или снотворного. Мечтаю обрести сон. Тело мое обессилело, отяжелевшие руки и ноги тянут меня в пустоту, и я качусь в пропасть. Я скольжу. Падаю, неспособная противиться раздавившей меня силе. Я раздета и стыжусь своей грубой наготы. До чего же я устала! Но надо держаться — со мной говорят, на меня смотрят, обо мне судачат. Я отчаянно стараюсь сохранить человеческое достоинство, но ощущаю себя более жалкой, чем кровоточащая требуха на витрине мясника. Я растекаюсь. Капля за каплей. Лишившись воли, я уже не в состоянии дер-

жать глаза открытыми. Все — начальник цеха, секретарь профсоюза, товарищи по работе, муж, сын — смотрят на меня с отвращением. Я струсила. Я — всего-навсего грязное вонючее пятно, растекающееся по полу. Об меня спотыкаются, ругаясь. Все продолжают дергаться среди адского шума, крутятся карусели, калейдоскопы. Со мною кончено. На меня все показывают пальцами. А я не двигаюсь. Не могу больше бороться. Слишком хочу спать. Засыпаю.

Утром у меня скверный вкус во рту, опухшие глаза, туман в голове и вялые движения. Я пью кофе, от которого меня тошнит, а к вечеру опять так взвинчена, что не могу уснуть.

Сволочная жизнь!

Хуже всего то, что, даже если бы я и знала на пороге юности, что́ меня ожидает, я все равно не могла бы ничего изменить. Я думала, что хочу ее — эту жизнь. Трудиться во имя хлеба насущного, иметь дома мужа и детей во имя любви, приобрести машину и какую-нибудь мебель во имя благополучия или того, что им называется. «Не грызи ногти,— говорил отец,— а то мужа не сыщешь». Я-то сыскала. Может, лучше было бы сгрызть все ногти и стать нищенкой.

Выше головы не прыгнешь! Счастье — не домашнее животное... Ну и что?

Тебе, Маривон, еще повезло, тебя жареный петух в задницу не клевал. Возьмем Виктуар — овдовела в двадцать пять лет. А Арлетт, у которой убили сына? Моя удача меня не утешает, драмы других тяжки мне. Они вливаются в мое собственное несчастье.

В раздевалке, между дверями металлических шкафчиков, показывается лицо Арлетт.

Она бледная, растрепанная, нос вытянут, губы поджаты, словно она сдерживает рыдания или не хочет ничьих соболезнований. Потухшие глаза ничего не видят. Они устремлены в небытие.

Мне непереносимо ее горе. Я убита им. Не знаю, что сказать. Я ведь бессильна. «Привет, Арлетт»,— и успеваю задержать едва не вырвавшееся, неуместное: «Как дела?» Проскальзываю в цех.

Она пропустила всего десять рабочих дней. Двигается как сомнамбула. Делает над собой усилие, чтобы прислушаться к разговорам, но, думается, плотный кокон отчаяния, окутавший ее, ничего сквозь себя не пропускает. Ничто не имеет для нее значения. Она видела смерть своего ребенка.

Десять дней тому назад она еще носила веселый сине-желто-розовый полосатый пуловер — «чтобы поторопить весну». Она была хохотунья, любила насмешничать. Она мне пересказывала смешные словечки своего младшего сынишки. Я ее очень люблю. С тех пор как мы работаем на разных концах конвейера, встречаемся редко. Только в раздевалке. Но мы остались подругами с тех самых первых месяцев на заводе, когда стояли рядом у конвейера. Во время прошлогодней забастовки мы радостно вновь обрели друг друга. Когда требовалось врезать какому-нибудь кадровику, глаза у нее так и искрились ехидством.

Говорю о ней, как о покойнице. А она выжила, но ее хохот уже не раздается в цехе. Она ни вдова, ни сирота, но и то и другое вместе. Нет слов, чтобы описать чувство безвозвратности потери ребенка, произведенного тобой на свет.

Великолепная Арлетт, хлопающая в ладоши и поющая — так ее сфотографировали во время забастовки,— исчезла в один из февральских понедельников.

Школьный автобус подвозит Николя к его дому. Остается перейти дорогу. Ему двенадцать лет. Он уже знает, что жизнь рабочих далеко не сахар. Он не любит, когда у его матери усталый вид и ее раздражает возня, поднимаемая им и его сестрами. Ему хочется, чтобы дома царило спокойствие, радость. Чтобы вечером, после обеда, можно было, собравшись всем вместе, спокойно поболтать, а не устав-

ляться тупо в телик. Но чаще всего вместо разговора вспыхивают ссоры. Он отлично понимает, что его родители уже не так хорошо ладят между собой, как во времена его раннего детства. Мама часто печальна, и иногда кажется, что ей ужасно скучно. В отчаянии она кидается на домашние дела и ежеминутно ругает детей. Но он-то, Николя, отлично понимает, что не только разбросанные повсюду игрушки выводят мать из себя. Ему так хотелось бы сделать что-нибудь для нее. Вот вырастет и все наладит. Сегодня он хочет порадовать ее хорошими отметками по математике. Он так старался. Ему хочется доказать, что, когда он старается, «дело идет». Профессию он выберет стоящую. Еще не знает какую, только рабочим он не станет. И всегда будет в хорошем настроении.

Николя выходит из автобуса первым. Торопится перейти улицу. Он проделывает это каждый день машинально, не обращая внимания на окружающее.

Выскочила машина.

Чересчур быстро, чтобы успеть остановиться.

В последний момент водитель изо всех сил жмет на тормоза. Он пытается объехать мальчика. Но Николя уже кинулся навстречу машине. Его голова стукается о ручку дверцы.

Он распростерт на асфальте.

Череп рассечен, и на лбу кровавая рана.

Арлетт и ее мужа тотчас же известили. Николя еще жив, но лицо его залито кровью. Его перевезли в реннскую больницу.

Арлетт и Николя трое суток сражались со смертью.

Арлетт цеплялась за надежду: «Доктор, скажите мне правду, он сможет выкарабкаться?»

Энцефалограмма — почти плоская, мозг задет непоправимо. Сердце едва бьется. Он не сможет выжить. Арлетт пытается убедить себя, что так даже лучше для него, он умрет спокойно.

Арлетт видела, как тело ее ребенка застыло в последней судороге. Она кричала. Хотела выброситься в окно.

Нет! Это невозможно. Невероятно. Мой ребенок, моя крошка, я люблю тебя. Я не буду больше сердиться, только все время петь. Вот увидишь. Не оставляй меня, Николя. Я так страдаю. Слишком жестоко. Ответь мне, умоляю. Мой сын умер. Мой сын мертв. Мертв. А я, что я буду делать без него? Дитя мое, возьми мое сердце, голову, жизнь, но не умирай! На помощь! Мой сын мертв. Посмотрите, вот он тут, на этой постели, без кровинки в лице.

Где погубивший его мерзавец? Я хочу, чтобы он видел, что сотворил с моим Нико.

Арлетт тихонько плачет, неслыханная усталость навалилась на нее. Ее муж тоже плакал. Он увел ее. Они молча вернулись домой. Другие дети находились на попечении тетки. Арлетт погрузилась в тяжелый сон, но среди ночи внезапно проснулась, вся покрытая потом, измученная кошмаром. Ей снилось, что Николя умер. Возле нее, сдерживая рыдания, лежал без сна ее муж. Нет, ей это не снилось — Николя действительно умер вчера днем.

Начни сначала, Николя. Спокойно сойди с автобуса. Оглянись направо и налево, прежде чем ступить на шоссе. Вот так. Пропусти машину. Они ездят как безумные, эти шоферы, разве допустима такая скорость, когда объезжают школьный автобус. Конечно, тут неизбежен несчастный случай. Сейчас путь свободен, можешь переходить, Николя! Подойди ко мне, расскажи, что было сегодня в школе. Значит, ты, старина, нагоняешь по математике? Наконец-то слушаешь объяснения учителя? Я ведь все время твержу тебе, Нико: без математики в жизни ничего не добьешься. Я вот не хотела учиться, ну кто я теперь? Скажи, ведь ты не хочешь стать несчастным рабочим отребьем, как твои родители? Если мой старший сын вырастет и выбьется в люди, это даст мне силы вкалывать. До чего все просто: спокой-

но перейти бы дорогу — и он спасен. Почему ты не был внимателен, Николя? Сто раз я тебе твердила: прежде чем переходить, надо оглядеться.

Еще крошкой ты был невыносим. Я кучу денег потратила на свинцовую примочку и бинты для тебя! Ты боялся темноты. Отказывался идти спать и с криком просыпался ночью, увидев страшный сон. Сколько бессонных ночей провела я возле тебя! Скольких трудов стоило мне вырастить тебя здоровым ребенком. И вот теперь, когда ты хорошо учишься и стал для меня другом и утешением, тебя убивают словно какую-нибудь муху на ветровом стекле.

Нет, не могу я этого перенести.

Когда Арлетт уже не в силах сдерживаться, когда горе ее вот-вот прорвется рыданиями, она идет в уборную, слезы льются у нее ручьем, и ей становится легче. Она старается уверить себя, что со временем горе ее потеряет остроту. Она ведь знавала других, которые прошли через подобное. Она пытается подавить отчаяние привычной работой. Порой ей и хотелось бы все забыть, но взгляды окружающих напоминают ей, как она бледна и какие синяки у нее под глазами.

Она знает, что постарела на десять лет, что всех смущает своим видом. Никто не осмеливается заговорить с ней как прежде. При ней остерегаются шутить. Смех смолкает при ее приближении. Матери незаметно отворачиваются от нее в суеверном страхе, что въевшееся в ее образ отчаяние может оказаться заразительным.

Арлетт одинока. Рядом ее подруги, они сочувствуют ей, пытаются постичь всю глубину ее страдания. Но постичь это невозможно. Надо жить. Она все преодолеет. Она хочет жить. Но надо, чтобы прошло время.

Мне хотелось сказать Арлетт, до какой степени я ощущаю себя одновременно и близкой ей, и далекой от нее. Но я боюсь, что неловкие мои слова могут быть неправильно поняты ею, что они могут не смягчить ее горе, а наоборот, оживят в ее памяти то, что она хочет похоронить. Я чувствую себя с ней неловко. Я переживаю ее горе, которое делается и моим. И я молчу, не в силах помочь ей, не зная, как себя с ней вести. Я профсоюзная активистка. Тщусь перестроить мир, а даже не способна сказать подруге, что страдаю вместе с ней. Я сама себе противна.

Чересчур уж много несчастий. Только и слышишь: рак, авария, самоубийство. Всегда находится кого оплакивать. От этих трагических историй не знаешь, куда бежать. Для меня они кончаются мигренью. Постоянные страдания угнетают меня, я не способна уповать на судьбу или верить в бога. «Не хочу больше слушать о смертях».

Во время перерыва женщины читают в газете страничку происшествий. Потом болтают о чем придется, невозможно ведь беспрестанно сокрушаться.

— В полдень пойду в кооператив — куплю комплект постельного белья. Мне хочется, чтобы простыни были в цветочек.

— В кооперативе простыни чехлами?

— Да, простыни-чехлы очень практичны, не так мнутся, и утром быстрее застилаешь постели.

— А я не люблю простынь-чехлов. На постели, может, и ничего, а в шкафу очень некрасиво. Никогда не сложишь их как следует, сколько ни разглаживай. Нет, простыни-чехлы — это неаккуратно, я их больше не покупаю.

— Даже для парня?

— Для парня-то я покупаю, он волчком вертится всю ночь. Потом, в его шкафу может и не быть безукоризненного порядка. Он же мальчишка.

— А у тебя, Маривон, есть простыни-чехлы?

Я отрываюсь от стакана вина.

— Что?

— Спишь, что ли? Мы говорим о простынях-чехлах, ты как к ним относишься?

— Ну, по мне — лишь бы постель для спанья была, а на остальное плевать!

В столовую входит работница из другого цеха.

— Ну и ну! Видала, как ее разнесло, эту бабу?

— Еще бы, дурочка, она же беременна.

— Нашла чем удивить, и все же нельзя так распускаться. Я бы ни за что не позволила себе так растолстеть. Помяни мое слово, ей придется потом здорово помучиться, чтобы похудеть.

— Не обязательно, посмотри на меня, во время беременности я прибавила шестнадцать кило. Бочка да и только. Ну и что, за короткий срок и без всякого режима все потеряла.

— Не все люди одинаковы, есть и такие, кому никогда уж не похудеть.

— Уверена, что эта растолстела по меньшей мере на десять кило, а ведь она только на шестом месяце.

— Вовсе не на шестом, а на седьмом, она должна разродиться одновременно с моей невесткой, которая работает на кранах для ванн.

— Спорим: я утверждаю, что она на шестом. Она еще не ходит на лекции по деторождению.

— Хотите, я у нее самой спрошу? Слабо?

И так ежедневно утром и в перерыв. Четверть часа на болтовню. Часто и шутят... Мне бы хотелось, однако, чтобы говорили не только о блеске полов или пахнущем лавандой белье. Ведь можно бы и мечтами своими поделиться, и страхами, но никто не решается начать. Мы плохо знаем друг друга.

Бывают дни, когда, откровенно говоря, и с заводскими подружками — дикая скучища.

Что за коварство: не успела сбежать, а мысленно опять уже там.

Мне хорошо. Я — в тепле, натянула одеяло до самых глаз. Опускаю веки и прислушиваюсь к биению сердца. Мое тело слилось с простынями, кроватью, всей комнатой в целом. Мое тело — теплый континент, по которому бродит неуживчивая душа. Я прислушиваюсь к шепотам своего тела. Обследую его неторопливо. Плыву по его рекам и постепенно осваиваю эту страну. Ни городов, ни местных жителей в этом неизведанном краю. Рука моя — случайно обнаруженная пирога — врезается в бедра. Я одна. Мои движения подчиняются току моей крови. Я спрятала свой кинжал чеканного серебра под подушку, чтоб было чем защищаться от диких зверей и точить карандаш. Задерживаюсь на волосистом пригорке, почти незнакомом. Солнце заходит за деревья, и оно столь горячо, что они всякий раз воспламеняются. Мне бы надо узнать побольше. Рука моя прикасается к груди. С трудом пробиваюсь по этой пересеченной местности, труднопроходимой, изобилующей западнями.

Внезапно подхваченная волной нежности, я попадаю в удивительный морской прилив. Во мне и вокруг меня огромный водный мир, порождающий жизнь. Иногда вода внезапно поднимается, замирает и столь же быстро отливает неведомо куда, и я как идиотка барахтаюсь на суше. Я обязательно должна воспользоваться высоким приливом, чтобы возможно дальше продвинуться, но течения непрестанно вливающихся рек швыряют меня то в одну сторону, то в другую, и я не в состоянии управлять своей утлой пирогой.

Птица-плод носится по воздуху и спускается на меня. Беспокоит ее голова — птица, по-видимому, слепа. Вот сейчас она наткнется на меня. Я не в состоянии лавировать из-за уносящего меня течения.

Кричу: «Осторожней!» Она останавливает свой полет. Гнусавый голос произносит: «Ах, простите, я такой рассеянный, опять забыл оглядеться, прежде чем лететь через реку». Она тотчас улетает, а я вздыхаю облегченно. Слежу за ее полетом, водя взглядом по белому потолку.

Веки у меня приоткрыты. Пора гасить свет.

Глава четвертая

За шторами брезжит рассвет цвета кофе с молоком. Темнота приобретает бежеватые тона.

«Опять уснули. Опоздаем, Маривон, вставай!» Вставать всегда тяжело, но утром в понедельник — хуже всего. «Нервы сдали»,— говорят женщины. Чувствуешь себя еще более усталой, чем во все остальные дни недели. Ноги подкашиваются при мысли о том, что еще одна каторжная неделя началась. Хотелось бы впасть в вечную спячку.

Воскресным вечером никак не можешь вовремя улечься. Крутишься по дому, подбираешь то одно, то другое, подготавливаешь синие рабочие комбинезоны, собираешь однофранковые монеты для автомата с газировкой. Машинально смотришь воскресную белиберду по телику, все ради того, чтобы не думать: завтра понедельник, а когда, проклиная это куцее воскресенье, все же уляжешься, понимаешь, что вовсе и не прожила никакого воскресенья.

Входя на завод, рабочие выглядят еще бледнее обычного, головы понуро опущены, спины согнуты, подготовлены ко всем ударам.

Иногда я вхожу задом наперед, чтобы насмешить товарок. Смеются, но какое уж там веселье!

Ворча открываю глаза. Готова все разнести к чертовой матери. Однако я не дома.

Будильник не звонил. Будильника вообще нет. Я сбежала от надзора. Могу потянуться и опять уснуть. Счастье.

Я не услышу, как каждое утро, дребезжанья стекол, когда грузовики мчатся по улице к порту. Одни лишь морские птицы нарушают тишину. Серые и серебристые чайки, бретонские глупыши, длинноклювые морские ласточки, чайки-хохотуны, хохлатые бакланы, черно-белые тупики и другие морские птицы возвещают разнообразными криками о своем пробуждении. Я вслушиваюсь. Вновь обретаю звуки, но это не грохот машин, не местное радио, только усиливающее утреннюю апатию.

Оказывается, я оглохла, сама того не ведая.

На заводе тоже есть животные, но их не слышно. Иногда это кошка, преследующая мышь среди груд картона, иногда таракан, скользящий по канализационным трубам, иногда змея, проползшая в приоткрытую дверь и спрятавшаяся под плинтусом. А иногда увилишь божью коровку в красной шапочке, прогуливающуюся по контейнеру. Но тем, кто работает в металлургии, некогда изучать нравы животных, дай бог самим как-нибудь приспособиться.

Правда, к шуму машин в конце концов привыкаешь, но хотя и его одного достаточно, чтобы окончательно отупеть, начинают еще горланить изо всей мочи, стучать инструментами по контейнерам, по конвейеру. Разряжают нервное напряжение этим необязательным грохотом. Обнаженные нервы повинны в этих импровизированных концертах, в которых находит себе выход гнев. Они не могут ускользнуть от внимания начальника цеха, однако он не вмешивается из страха, как бы это неистовство не обернулось против него. К тому же он не играет ни на одном инструменте и, возможно, завидует этой коллективной музыке. Все чувствуют себя несколько потерянно, когда, достигнув накала, звуки голосов становятся тише и ка-

кофония прекращается. До новой вспышки. Каждый возвращается к обычному ритму работы, и скрежет металла наполняет цех.

Предметы и те приобретают иногда несвойственное им назначение. Тележка на колесах становится самокатом, мусорная урна — вместилищем для литра красного вина, металлическая корзина превращается в сиденье, а кусок картона в скатерть, на которой можно перекусить. Устраивают полулегальные столовки по углам цеха, пируя в пыли перед началом отпуска.

Просыпаюсь еще позднее, сама. Дневной свет уже отвоевал себе всю комнату. Мне больше не хочется спать. Привыкнув вставать чуть свет и из-за работы и из-за малыша, который просыпается рано, я не способна подолгу спать по утрам. Мне хочется горячего кофе с рогаликами, и я без сожаления напяливаю на себя свою одежонку.

Дверь я приоткрываю медленно, стараясь не произвести шума,— она не скрипит. Оглядываю коридор. Боюсь появления вчерашнего приставалы с его гнусной улыбочкой. Едва дышу, чтобы не дать страху завладеть собой. Пробегаю по коридору и, не земедляя бега, спускаюсь по лестнице. Не оглядываюсь — из боязни увидеть преследователя, которого я так боюсь. Никого не повстречала. Даже хозяйки.

А что, если произошла катастрофа и я единственная, кто выжил в этой гостинице? Что, если весь город покинут по тревоге или взлетел на воздух, а я все проспала? Что, если весь мир уже обратился в развалины и кладбищенское безлюдье? Что, если я — единственная, кто уцелел, а вся цивилизация поглощена каким-то разрушительным злом? Возможно, совершена плохо кончившаяся атомная «экскурсия», из которой никто не вернулся.

Я иду по ватным облакам, масса крючковатых атомов, издеваясь, крутится вокруг меня. Чувствую, что перевоплощаюсь. Зеленые волдыри лопаются на моих руках. Волосы распустились. Сердце бешено стучит в моей металлической груди.

Ресторан тоже пуст. Нет, в уголке притулился официант. Я вешаю свою куртку и радиоактивное воображение на вешалку. Для первого завтрака еще накрыты два столика — мой и парочки, к разговору которой я вчера прислушивалась.

Я усаживаюсь. Подходит официант, приветливо спрашивает:

— Хорошо выспались?

— Да, спасибо.

— Кофе?

— С молоком, пожалуйста.

— Рогалики?

— Да, мсье.

Он не произносит больше одного слова зараз: явно бережет силы до пенсии.

Набрасываюсь на еду. Переживания всегда вызывают у меня аппетит. Да и вообще я всегда голодна: от этого особенно страдают мои бедра. За вчерашним своим столиком завтракает та же парочка. Мне хочется с кем-нибудь поболтать. Жана-Франсуа нет как нет.

Поднимаюсь.

— Здравствуйте, простите за беспокойство, мне захотелось сказать вам, что вчера вы меня спасли от изнасилования.

Я им мешаю. У них озадаченный вид.

— Да, вчера вечером, когда вы выходили из ресторана, я изо всех сил боролась с приставшим ко мне негодяем.

Они вежливо улыбаются. Смущены. Я торчу перед ними как столб. Жду, чтобы они заговорили. Он неуверенно произносит:

— Наше вмешательство было невольным, тем приятнее, если мы вам помогли, даже не подозревая об этом.

Я перебиваю:

— Вы на отдыхе?

Разумеется, они отдыхают: министерство просвещения щедро в отношении отпусков. Я тоже в отпуске. И вдруг огорашиваю их:

— Я работница.

Они этого не ожидали. Если они будут так меня разглядывать, я скажу им, что кормить животных воспрещается. Можно подумать, что для них рабочие существуют только в речах. Изучают, так сказать, их чаяния, историческое предназначение по книгам, но никогда не встречались лично. Да умеют ли рабочие говорить-то? Вот в чем вопрос.

У него, видно, и голос пропал, так ему меня жалко. Он выдавливает:

— Ясно.

Возможно, ему привиделось, как я с утра до вечера надрываюсь в преисподней огня и металла и, выбравшись с завода, тащусь к бедной семье в жалкую, разваливающуюся лачугу, полную тараканов.

Прямо мания какая-то. Он начинает говорить медленно, отчеканивая каждый слог, чтобы я смогла понять его. Он принимает меня за тупицу: ведь столько наслышался да и сам говорил, что положение рабочих невыносимо тяжелое и что пролетарии обездолены и оглуплены потребительским капиталистическим миром.

— Вы работаете на птичьей бойне?

Он знает географию своего района. Здесь действительно есть птичьи бойни.

— Нет, в металлургии.

Я тоже чеканю каждый слог и испытываю гордость от своего curriculum vitae[1]. Я-то по крайней мере произвожу материальные ценности и знаю изнанку потребительства.

Удивление сменяется у него чувством неловкости. Для него металлургия — это те, что работают на заводах «Рено»: огромные, волосатые ручищи, квадратные рожи, чуточку бычьи,— они обычно следят за порядком на первомайских демонстрациях ВКТ[2].

Глядя на меня, он начинает косить. Не очень-то хороши у него глаза. Девица молчит и находит, вероятно, что я навязчива. Она липнет к своему милому, как нить сыра к макаронине.

Я резко бросаю:

— Ну ладно, до свиданья!

Хорошо бы вот так неожиданно встретить Жана-Франсуа и сказать ему, что он вовсе не пленил меня своим бездеятельным адвокатством в пользу бедных.

Ловлю свое отражение в зеркале. Видик у меня не для свиданий. Надо привести себя в порядок. Пойду к парикмахеру. Хоть прическу изменю, если не удастся изменить ничего существенного.

Выхожу, на улице холодно. Пронзительный холод, от него даже груди затвердевают. Скоро выпадет снег.

Отыскивая парикмахерскую, я кружу по лабиринту центральных улочек города. Выбираю шикарный салон, уж коли начала, так нечего жмотничать. Все равно к концу месяца буду на мели. Первая попавшаяся на моем пути парикмахерская совсем не плоха.

Толкаю дверь — она открывается под звон колокольчиков. Останавливаюсь на пороге салона в стиле какого-то там Людовика, чувствую себя слоном в посудной лавке. Я неказиста и бедно одета. Запахи алтея и нашатыря, плавающие в интимной атмосфере этого салона, ударяют мне в нос. Не расчихаться бы! Мне не по себе. Хочу уйти. Поздно. Мной завладевает умело подкрашенная молодая женщина в облегающих белых джинсах.

---

[1] Жизненного пути *(лат.)*.

[2] Всеобщей конфедерации труда.

— Добрый день, мадам, вы хотите, чтобы я назначила вам час приема?

— Да... Вообще... то есть, если можете, я бы предпочла, чтобы вы приняли меня сейчас. Это меня устроило бы. Иначе у меня не будет времени.

— Сейчас? Посмотрим... Да, я думаю, что это возможно. Что бы вы хотели?

— Стрижку и укладку.

Откуда мне знать, чего я хочу, но все уже решено ею. Короткие волосы — а почему бы, собственно, и нет?

— Шанталь, займитесь, пожалуйста, мадам.

Шанталь в розовой блузе, совсем молоденькая — наверное, ученица. Она помогает мне, как если бы в этом была нужда, снять куртку, которая будет висеть в раздевалке рядом с норковым манто. На меня надевают местную униформу. Очень широкая блуза, махровое полотенце на шее, и вот я уже готова к операции.

Прежде всего — мытье волос. Откинув голову назад, я отдаюсь в руки Шанталь. Она теребит мои волосы, полные мыла, вода чересчур горяча, затылку больно. Но я молча терплю. Ведь во имя красоты требуется страдать, а мне надо взять огромную фору. Прополоскав мои волосы, Шанталь бросает меня и переходит к мытью другой головы. Я стоически жду над раковиной. Вероятно, меня видно насквозь. Никто мною больше не занимается. Я смешна с этим полотенцем на голове. Струйка воды просачивается сквозь плотную ткань и стекает по шее между лопаток. Меня охватывает пронизывающий холод.

Через какое-то время та, которая меня приняла и которая, вероятно, является хозяйкой заведения, приглашает меня к туалету. Я усаживаюсь перед зеркальной стеной, отражающей мое лицо, поглупевшее под мокрыми волосами.

С силой растирая мне голову, парикмахерша спрашивает:

— Какую стрижку вы предпочитаете? А-ля Стоун, воздушную или квадратную?

— Не знаю.

Какой дурехой я ей кажусь.

— Я сделаю вам воздушную стрижку, потом уложу волосы волнами, — это вам очень пойдет.

— Целиком полагаюсь на вас.

Говорю совсем не то, что думаю. Она помахивает ножницами и начинает стричь. Мои волосы рассыпаются на полу. Уф! Посмотрим, что получится. Отдайся на волю случая, Маривон.

Стрижка окончена. Мои еще мокрые волосы прилипли к голове. Не очень-то я авантажна.

Женщину, пришедшую после,— вероятно, хорошую клиентку — обслуживают быстрее, чем меня, не заставляя ни минуты ждать. Ее голова уже покрыта разноцветными бигуди, которые оттягивают кожу назад. Это ее молодит. Парикмахерша воркует с ней о платьях и о том, как изворачиваются женщины, чтобы помочь мужьям.

Настает и мой черед для укладки.

— Я бы хотела, чтобы это выглядело естественно.

— Не беспокойтесь, дамочка, я не создам ничего экстравагантного. Я уже вижу, какой стиль вам подойдет.

Ей везет: я лично ничего не вижу.

Толкая перед собой тележку, наполненную бигуди, защипками и зажимами, к хозяйке приближается Шанталь. Парикмахерша сухо командует:

— Валик. Нет, не этот, большой. Защипку. Зажим. Средний валик. Я сказала — средний! — Потом очень любезно она обращается ко мне — клиентке, пациентке: — Вот увидите, будет отлично.

Она вьется вокруг моей головы, усеивая свой путь бигуди. Ручку гребенки зажала в зубах, тут поправляет прядь, там наклонится, чтобы укрепить валик, поднимается на цыпочки, руки у нее так и летают. Она протискивается, расставив ноги, между мной и туалетом. Ее обтянутый штанами живот оказывается на уровне моего лица. У меня возникает желание просунуть руку между ее ляжками — посмотрим, что будет. Я удерживаюсь. Она обходит меня вокруг и кончает свою акробатическую работу.

— Зажим, Шанталь, скорее. Сетку.

Она обертывает все сооружение розовой нейлоновой сеткой, выщипывает маленькие чувствительные волоски, оставшиеся у самой шеи, и посылает меня сушиться.

— Для дамы полчаса, Шанталь!

— Да, мадам.

Отрегулировав температуру, Шанталь включает аппарат и сажает меня под каску сушилки.

Я отрезана от мира шумом и жарищей, охватившими мою голову. Чувствую, как мои прекрасные уши начинают пылать. Вся извиваясь, хозяйка спрашивает меня знаками, все ли в порядке. Я умудряюсь утвердительно кивнуть головой, несмотря на то что бигуди цепляются за каску. Я поджариваюсь, но все отлично.

Не буду сидеть, сложив руки на коленях, как наказанная пансионерка. Возле меня на низеньком столике множество газет и женских журналов. Я могу найти в них драгоценные советы, как становиться день ото дня краше, моложе и элегантнее. В общем-то, если не все женщины фотогеничны, так это лишь оттого, что они этого не хотят. Виновны в небрежении собой, а это — невежливо по отношению к обществу. Уродливые, спрячьтесь или употребляйте крем «Машен-Шоз» № 6. Все возможно: завить волосы, развить, покрасить, перекрасить самые ужасные патлы. Можно придать носу форму птичьего клюва или картофелины, подбородок сделать галошей или вовсе убрать его. Груди можно подтянуть. Применяйте средства против воспаления кожи, против жировых отложений, против расширения вен, против синяков, против красных пятен на лице, против рубцов на коже, против тумана. Станьте предметом мечты. Изгоните ваше неблаговидное естество и купите модное. Иначе — провал, отсутствие любви.

Предпочитаю читать газету «Уэст-Франс». Отыскиваю сегодняшний номер и читаю местную страничку. Замираю перед заманчивым заголовком:

ОНА ВСЕ ЕЩЕ В БЕГАХ!

Под заголовком читаю:

ЧУДОВИЩНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ МАРИВОН Т.

А дальше — заметка, от которой у меня леденеет сердце.

Наш специальный корреспондент отправился на место происшествия, чтобы уточнить, если не понять, последовательность событий, которые привели, по-видимому, умственно неполноценную Маривон Т. к столь омерзительному поступку.

С большим трудом наш специальный корреспондент получил сведения от потрясенного мужа и интервьюировал людей из окружения Маривон Т.

Мы помещаем здесь репортаж об этой плачевной истории, который, несомненно, заинтересует наших читателей.

— Мсье Т., могли бы вы предвидеть что-нибудь подобное, исходя из повседневного поведения вашей жены?

— Нет, я ничего не могу понять, у нас было все для счастья. Она держалась за свой очаг и привычки. Я потрясен. Даю слово, ничего не понимаю.

— Мсье Т., вы возмущены поведением вашей жены?

— Разумеется, черт побери, да! Нельзя вот так взять и все перечеркнуть. Я очень страдаю. Вы понимаете?

— Мсье Т., хотите ли вы передать что-либо вашей жене? Если она читает нашу газету, то это до нее дойдет.

— Да, спасибо. Маривон, если ты прочтешь это послание, умоляю тебя от своего имени и от имени сына: возвращайся.

Маленький сын виновницы происходящего входит в комнату, где мы находимся. Очаровательный четырехлетний мальчуган. Сейчас он произносит в мой микрофон свои первые жестокие слова: «Мама — дрянь».

Покинув несчастную семью, я отправился на место работы Маривон Т. Я расспросил ее непосредственного начальника, сурового, но справедливого человека, который заявил: «Это была в общем-то честная работница. Я могу лишь сказать, что она выполняла положенную работу — ни больше ни меньше.— И конфиденциально добавляет: — Но у нее была тенденция поиздеваться над дисциплиной».

Близкая подруга Маривон тоже соглашается поговорить со мной. «Маривон — лучший мой друг, по крайней мере я ее очень любила. Ей иногда приходили в голову странные идеи, но тем не менее она была лучшей моей подругой».

Из собранных свидетельств возникает неприглядная личность Маривон Т. Малоразвитая интеллектуально, недисциплинированная, эксцентричная, эта женщина, которая пороха не выдумала, несомненно, давно уже вынашивала, в силу отсутствия прочных моральных устоев, мысль о преступлении, которое она столь обдуманно совершила. Чудовище носило личину матери, супруги, трудящейся женщины.

Наш специальный корреспондент хорошо вскрыл ее сущность, но пока она все еще не поймана. Маривон Т. проскальзывает сквозь дыры в сети, которую раскинули органы охраны порядка. Известите ближайшие комиссариаты или жандармерии, если обнаружите где-либо подозреваемую.

Кладу обратно газету. Я потрясена. Ну и история! Неужели я убила пилкой для ногтей в одном из городков побережья коммивояжера, возможно отца семейства. Я виновна в смерти человека, и меня преследует вся французская полиция! Нелепая выдумка! Я, вероятно, не то прочитала. Невзирая на невыносимую жарищу под сушилкой, я становлюсь белой как полотно — только уши пылают. Плохо прочитала. Снова беру газету. Заметка исчезла. На ее месте — краткие сообщения о событиях дня. Собрание ассоциации старых альпийских охотников. Выдача кубка женской футбольной команде в Пордике. Кража зеркала с машины на стоянке в ночь с понедельника на вторник. Мне жалко добросовестного журналиста, который заходит в комиссариат, чтобы ознакомиться с поступившими жалобами, в надежде на долгожданную сенсацию.

Меня нет в газете. Меня не разыскивают. К тому же я закамуфлировалась и никто меня вообще не узнает.

Другую клиентку, еще не остывшую, уже причесывают. Жесткие пряди волос теперь, когда с них сняты бигуди, упругими спиралями покрывают ее голову. Словно шарикоподшипники. Несколько взмахов щетки все это приводят в порядок. Облако лака на сооружение, и среди всеобщего ликования дама торопится уйти. Она пришла хорошо причесанной и уходит такой же, без каких-либо изме-

нений. Вероятно, я чего-то не заметила. Я-то хочу получить за свои деньги все что положено.

Полчаса истекло, я высовываю голову. Жду. Парикмахерша ощупывает бигуди, удостоверяясь, что не осталось непросохших прядей. Хорошо. Теперь уже недолго. Метаморфоза заканчивается. Это не воображение, я действительно стала совсем другой с этими короткими завитыми волосами. Недурно. Начинается новая жизнь!

Последний раз я была в парикмахерской перед свадьбой — моей свадьбой. Хотелось привлечь внимание к верху моей персоны, чтобы избежать взглядов на живот, где уже шевелился ребеночек. Все было исполнено по соответствующим правилам, чтобы удовлетворить родню, жаждавшую чувствительности и шампанского. Нас мигом окрутили, и поначалу я даже мужские штаны подшивала с восторгом.

Глава пятая

Прогуливаю свою победоносную голову по Пемполю. Утро кончилось. Если бы подружки меня увидели, то не сразу бы узнали.

«Маривон перестроила себе фасад!»

Сейчас они в столовой и воюют с бифштексами, которые никакой нож не берет — «...вырезаны из той части туши, ради которой животное и привели на бойню».

Каждый рабочий сидит на своем привычном месте, и это продолжается десятки лет. Да и разговоры бесконечно вертятся вокруг одного и того же. Обсуждают вчерашний телефильм и последние заводские новости.

— А Мартандуй-то стал шефом на конвейере!

— С тех пор как он начал липнуть к начальству, я этого только и ждал.

— Еще одним ПЗСС больше.

— Как ты сказал?

— ПЗСС — Плата за старательную службу.

Мое место пустует.

— Когда Маривон приступит?

— Ее муж говорит — в четверг.

— Недолгая у нее будет неделя.

Два дня работы для меня все равно слишком много. Мне вовсе не хочется туда возвращаться.

Что касается их, то они знают, что ждет их в ближайшие часы. Пользуются короткой передышкой, пока кто-нибудь не скажет:

— Как бы не заснуть — уже двадцать минут. Пойдем выпьем кофе.

Они поднимаются, относят свои подносы и опять встречаются в баре, проталкиваясь вперед, чтобы их поскорее обслужили.

— Шефу в голову ударит, если не увидит нас вовремя в цехе, к чему зря его злить.

Послезавтра я буду с ними.

— Ах, девчонки, вы бы лопнули от зависти, если бы только знали, как прекрасно я провела отпуск!

Иду куда глаза глядят. Осматриваю витрины и мое сногсшибательное отражение в их стеклах.

И вдруг — здрасьте! Свалилось, как кирпич на голову. Совершенно неожиданно. Здесь, в Пемполе! После всего этого путешествия. Невероятно, но именно так! Надо смотреть правде в глаза. На меня вдруг напала тоска. Чем бы занять себя? Как все надоело. Я сама себе опротивела.

Скука сковывает меня, я замедляю шаги. Куда идти? Я уже два раза прошла по этой идиотской улице из конца в конец. Скука душит меня. От нее мутит, как от запаха дерьма. Разревусь, если это

не прекратится. Хочу домой. Глажка ждет, и пуговицы не пришиты. Дома посмотрю по телику передачу для женщин. Это вообще-то смехотворно, ничтожно, но сегодня я была бы от этого в восторге. Сюжеты и герои простенькие, идеи заезженные. Дешевый душевный комфорт, голову ломать не над чем. Вполне достаточно, чтобы немного развлечься и скрасить себе одиночество.

Выйду в сад взглянуть на свои посадки. Вдруг да появились бутоны на примулах. Посмотрю, насколько вырос лук порей, посаженный осенью. Большие красные тюльпаны только и ждут знака весны, чтобы вылезти на поверхность. Скоро все мои лилии — белые, фиолетовые и лиловые — зацветут. Внимательно слежу за крокусами, которые все еще не решаются показаться.

Мне везет с цветами. То, что я сажаю, никогда не погибает до цветения. С овощами — другое дело. Их судьба превратиться в рататуй[1] меня обескураживает. Осточертели все эти прополки, окучивание, рыхление, поливка. Никак не осилю «Огород в десять уроков». Расспрашиваю на заводе крестьянок, бывших огородниц, и когда мне сказали, что в ноябре — время для посадки макарон, я чуть было не поверила.

Огородный вредитель, жирный, порочный, увесистый, бродит по грядкам. Я засовываю поглубже в карманы руки, покрасневшие от стыда за свое безделье.

Если бы я была на заводе, знала бы, что делать. Вкалывала бы. Когда норма выработки повышается, часы идут быстро. Ставлю себе целью превысить часовую норму. Стараюсь ускорить движения. Подавляю всякое желание сойти с рабочего места. В уме подсчитываю, что остается сделать для перевыполнения дневной нормы. Я здорово набила на этом руку. На меня приходят смотреть со всей смены.

— Послушай, Маривон, если я заступила на конвейер в тринадцать сорок пять, сэкономила четверть часа на рекуператорах, в час я должна делать пятьдесят четыре и три десятых запала — сколько я сделаю до пяти часов?

Я беру мои восемь часов пятьдесят минут, вычитаю двадцать пять сотых, прибавляю 54,3 запала, умножаемые на часы, ставлю запятую и выдаю результат.

Мне бы участвовать в конкурсах по устному счету.

Но ведь детали недостаточно подсчитывать, их надо еще и делать. Я нервничаю. Старый дебил рабочий, проходя мимо, говорит мне:

— Жискар сказал, милочка, что для здоровья вредно курить.

— Завод тоже вреден для здоровья. Достаточно взглянуть на твою морду — сразу видно, чего ты добился за сорок лет рабства.

Он идет дальше, и я слышу, как он бурчит себе под нос:

— Теперешняя молодежь не желает работать, бездельники! Хозяева необходимы, это уж точно, без хозяев куда же — кто платить-то будет, а без работы — нет и платы, и без хозяина тоже нет платы, а...

Товарки хохочут:

— Дурной старикашка, ничего ему не втолкуешь. Совсем из ума выжил!

На некоторых рабочих местах легче выработать норму. В особенности когда ты сидишь, даже если сиденье и не очень устойчивое, но места эти распределяются по категории «для беременных женщин». Если на такое место поставят мужчину, он прямо-таки оскорбится. Вот если мне выпадет возможность работать с прохладцей, стараюсь сделать так, чтобы обо мне забыли и оставили подольше. Если и поторапливаюсь, так только для того, чтобы выкроить несколько минут и поболтать с Беатрисой — либо я к ней подойду, либо она ко мне, если, к несчастью, мы не работаем рядом. Мы говорим о нашей жизни, страхах, надеждах и мужьях.

---

[1] Распространенное во Франции блюдо из разнообразных тушеных овощей.

Мы думаем: «Нет, тебе этого не понять, не можешь ты влезть в мою шкуру». Но в общем-то прекрасно понимаем друг друга, чтобы там ни было. По синякам под глазами отлично видишь, как прошла ночь. По свисающим прядям растрепанных волос догадываешься о трудностях и лишениях конца месяца. А нервные движения во время работы на конвейере выдают семейную сцену. Выговоришься и чувствуешь облегчение. Подарков мы друг другу не делаем. Если хочется выругаться — не стесняемся.

— Я тебя не критикую, но думаю, напрасно ты действуешь не с нами заодно.

— Зря ты, Маривон, одна пошла к шефу. А теперь он считает нас идиотками.

Бывает, что и поругаемся и не сразу остынем. Когда любят, становятся требовательными.

Всего больше мне нравится в Беатрисе ее мужество и луженая глотка. Она непокорная. Ей 34 года, из которых двадцать она проработала на заводе, что не мешает ей с негодованием восклицать: «Не воображайте, что я, как сморкачка, буду тут надрываться до самой пенсии!»

Но ничто другое ей не светит.

Она хочет верить, что откуда-то ей свалятся деньги или что повстречается приятный компаньон и она совершит с ним кругосветное путешествие. Она фантазирует, что станет красавицей и научится говорить как в книгах. И при всем этом отлично понимает, что никогда не сбросить ей своей шкуры работницы на конвейере. Вот она и зубоскалит.

Если я расскажу ей об этом своем побеге, она прекрасно поймет, что именно на меня нашло, и скажет: «Все правильно, но горы ты не своротила. Если ты из рода оставь-надежду-навсегда, это уж до самой смерти».

Вне завода мы видимся не часто. Каждая поглощена своей, так называемой «семейной жизнью», и когда встретишься, вроде бы и говорить не о чем. Наша дружба чисто заводская. В обездоленности завод даже служит убежищем. «Делаешь свое дело — и порядок». А вот с мужем, с детьми никогда так не бывает.

Болтаем, болтаем, поддерживаем друг друга — смеемся.

Начальник выбирает именно такую минуту, чтобы сказать:

— Вот видите, Маривон, не можете вы говорить, что ритм работы слишком тяжелый. Вы даже не понимаете, как вам повезло, что вы работаете здесь. В других местах куда хуже.

— Так повезло, что проскальзывает между пальцами ног.

Но все-таки это не каторга!

Лучшее время — прорывы, поломка машин или когда не хватает сырья. Совершенно нечего делать, длительный перерыв. Начальник с серьезным видом заявляет: «Я знаю, как тяжела для вас эта остановка, но не падайте духом, я вам обещаю, что работа скоро возобновится». Не поймешь — издевается он над нами или всерьез так думает. Дух-то ведь поднимается тогда, когда не гнешь спину. Это ему надо сокрушаться по поводу продукции, а уж никак не нам.

Устраиваем розыгрыши. Скидываемся, чтобы какой-нибудь длинноволосый парень пошел в парикмахерскую или чтобы известный всем ворчун купил кило «хорошей шерсти».

Меня зовут: «Маривон, ты одобряешь намеченные мною для лотереи номера? Я, знаешь ли, предпочитаю обсудить их предварительно в профсоюзе, тогда, если я не выиграю, буду хоть знать, с кого спрашивать!»

Я их бросила, своих товарищей. И вот начинаю страдать, что они потеют и острят там без меня. Голова моя тяжелеет. И смешна же я с этой прической в городе, где не знаю ни души.

Без машины. Без друзей. Без мужа. Без ничего. Да и сама я — ничто. Ни на что не похожа. Ни к чему не пригодна. Если упаду тут, на тротуаре, в обморок или замертво, будут недоумевать, зачем это я явилась умирать именно сюда.

Незачем мне было выбираться из своего гнезда. Я способна жить только в домашней обстановке, выполняя семейные обязанности. Сколько бы я ни протестовала, ни стонала, ни скулила, жизнь моя уже не изменится. Надо к ней приспосабливаться. Могу утешаться желчными жалобами: «Никто мне не помог, если бы мне повезло, были бы деньги, связи и т. д... не очутилась бы я тут. Если бы не было у меня привязанностей, могла бы начать с нуля, встряхнуться, проявить инициативу, во мне обнаружились бы разнообразные таланты, тогда бы я и счастье заполучила».

Скажем правду. Я не была бы больше Маривон. Маривон покорно возвращается к домашнему очагу и ожидает своего дорогого, нежнейшего, который вернется с работы до того измученным, что и слова не вымолвит.

Ладно, Маривон, приободрись!

Очень скоро ты вернешься к твоим привычным делам — машинам, завинчиванию, фрезеровке, стирке, варке, натирке, снова увидишь свои плоские ключи, наконечники, трубки, шкивы, молотки, ножи, бюретки, винты, болты, гайки, закрепки.

Перестань томиться.

Совершенно необходимо выпить черного кофе, тогда, возможно, придумаю, как закончить мою авантюру.

Насколько легче было бы вдвоем.

Когда я была маленькой, я придумала себе подружку, которая рассказывала мне всякие истории и играла со мной. Ее красивое имя звучало в моей голове, и никто не имел права сомневаться в ее существовании. Моя подруга Какие Селала была моей наперсницей и моей вдохновительницей. Какие Селала сопровождала меня всюду, куда мне хотелось пойти, она настраивала меня на опасные путешествия и утешала, когда осенью охотники с грубой руганью изгоняли меня из моих любимых полей и лесов. Я рассказывала маме о наших открытиях, играх и приключениях. Она смеялась, но несправедливо ругала лишь меня одну за разорванную нижнюю юбку, потерянные шнурки и пятна на платье.

Однажды мы приняли решение: Какие Селала и я — мы обе уходим из дому. Последний младенец поглощал все внимание матери, сестра ничего не понимала в моих играх и отказывалась принимать в них участие. Тогда мы построили в конце сада крошечное сооружение из тряпок и картона. Чтобы обеспечить себя питанием, на скопленные мною деньги мы купили кусок хлеба и плитку молочного шоколада, после чего спрятались в своем убежище.

Немного погодя явилась сестра:

— Имей в виду, еда на столе!

— Кто тебя послал шпионить за мной?

— Разумеется, мама, дура ты эдакая!

— Скажи ей, что не нашла меня, что я исчезла,— ладно?

Сестра пожала плечами и вернулась домой. Пошел дождь. Наш приют с минуты на минуту мог развалиться. Но мы с Какие Селала не боялись непогоды.

— Маривон! Хватит, беги скорее, идет дождь, и еда остынет!

Ладно уж, вернемся, но весной обязательно исчезнем.

Неудавшиеся побеги для меня привычны.

Вдвоем чувствуешь себя смелее. Какие Селала и я входим в кафе.

Себе я заказываю взбитые сливки, а для Какие Селала, которой ни к чему подкрепляться,— стакан воды.

Трое мальчишек, пытающихся подражать рокерам, крутятся вокруг автоматов. Их лица — лица чересчур быстро возмужавших сосун-

ков — никак не вяжутся с остроносыми сапогами и куртками, усеянными металлическими бляхами. Какие Селала толкает меня под руку:

— Смотри, слушай.

Они быстро переговариваются своими ломающимися голосами.

— Видел потасовку в субботу вечером?

— Не-а.

— Парни из Ланволлона здорово тогда врезали.

— Хоть и ужулили, но свое взяли — полный порядок.

— Я лично не могу прикидываться шлангом.

— Ты настоящая курица, старина.

— Посмотрел бы на Жан-Поля в деле — как он врезал белобрысому верзиле. Кровища так и хлестала.

— А крошка Луи до того сдрейфил, что его вырвало. И крысу бы вывернуло от вонищи.

— Немножко ножичком поработали для возбуждения курочек.

— Я, когда иду на танцы, выбираю телку, затаскиваю ее в укромный уголок. И дело с концом.

— И тебе каждый раз удается подцепить кралю?

— Еще бы, я мастак зубы заговаривать. Всегда в точку.

— Ты что, очки мне втираешь?

— Ничего подобного, просто рассказываю, и зашибец.

— Заруби себе на носу, я и не на такой зашибец способен, если бы хотел, но кровяная колбаса мне не по вкусу.

— Пф! Не все ли равно, какое мясо тискать. Лишь бы не пищало. Крикуний я посылаю подальше, только и всего.

Какие Селала и я давимся от смеха. Едва вылупились, молоко на губах не обсохло, и уже изображают из себя отпетых громил, женоненавистников. Такое не выдумаешь, надо увидеть воочию.

— Что тебя разбирает, мамаша, не над нами ли зубы скалишь?

У него оскорбленный вид.

— При чем тут вы? Вспомнился забавный случай — только и всего.

— О'кей.

— Эй, Марко! Мне пора отчаливать, моя старушка поджидает, чтобы всхрапнуть.

— Я тоже смываюсь. Салют, типчики.

— Ладно, чего там, смываемся разом!

Все трое удаляются, виляя на ходу задами. Вот вам и все.

Я-то остаюсь. Слушаю дневной выпуск новостей по радио. Полдень миновал.

Мои товарищи — делегаты от рабочих — сегодня утром должны собраться на совещание с начальником по кадрам. Мсье Шапо похож на капитана Хэддока из альбомов Тэнтэна, только не такой забавный. Каждый месяц мы встречаемся в этом зале для заседаний. Повестка дня мало меняется от месяца к месяцу. Профсоюзники каждый раз выдвигают не менее сорока требований. Начиная от повышения жалованья до установки умывальника, а посредине — возврат к 40-часовой неделе и улучшение питания в столовой. Это приводит в отчаяние. Каждый вопрос страстно отстаивается делегатами перед абсолютно равнодушным шефом. Он выжидает, пока все утихомирятся. Отвечает:

— Нет... Невозможно... Предприятие не в состоянии позволить себе подобное... Вряд ли осуществимо в ближайшее время... Возможно, впоследствии... По изучении вопроса... Бесполезно.

И все равно, игры ради, каждый раз все начинается с атаки.

— Мсье Шапо, скажите сейчас, что именно вы можете выполнить немедленно. Если ничего — мы уходим. Не стоит зря время терять.

Невозмутимый мсье Шапо отвечает:

— Будем разбираться в вопросах, стоящих на повестке дня.

Он знает, что делает: если бы ответил, что ему нечего нам сказать и мы можем тотчас же разойтись — так, между прочим, было бы чест-

нее,— возмущенные профсоюзники пошли бы в инспекцию труда с криком, что дирекция отказывается обсуждать и ставит под сомнение уже достигнутые результаты, вот мсье Шапо и делает вид, что обсуждение продолжается.

Один из делегатов жонглирует цифрами и блестяще демонстрирует непрестанное снижение нашей покупательной способности. Можно подумать, будто он верит, что достаточно хорошо объяснить и все сразу наладится.

— Жалованье увеличено согласно показателям НИСЭИ[1]. Мы обязаны считаться с требованиями экономики.

— Тогда дайте нам пятую оплачиваемую неделю отпуска, и покончим с этим.

Надеются, что, застигнув его врасплох, можно вырвать лакомый кусочек!

Тщетно.

— Сейчас и речи об этом быть не может. Когда проект примут для всей страны — дело другое.

Часами спорят, добиваясь установки фильтров в трубах, по которым идет отравляющий пар.

— Мсье Шапо, подите посмотрите сами: когда птицы пролетают над заводом, они падают на землю замертво. Пфюит!

Жизель, недавно избранная делегаткой от рабочих, впервые присутствует на собрании. Она ошеломлена. Зевает и начинает клевать носом. На нее произвел сильное впечатление шеф — этот могущественный человек в черном костюме. Она восхищена товарищами, такими ловкими в спорах, имеющими мужество и находящими нужные слова, чтобы загнать начальника по кадрам в угол. Она чувствует себя такой ничтожной, такой глупой, что охотно сбежала бы оттуда. Она обескуражена высокомерием шефа. Ей хотелось бы, чтобы переменилось абсолютно все, а тут часами разоряются по поводу плохо закрывающегося окна. Ну и работенка! Она уже жалеет, что участвовала в выборах. Отстаивать требования рабочих — чересчур тяжело, ничего у нее из этого не получится. Она думает о товарках из своей бригады. Ей так хотелось бы показать им, на что она способна, потому что в душе она ощущает огромный протест против всего этого прогнившего мира.

Рано или поздно она выскажется. И не хуже других.

Двое делегатов сцепились по поводу защитной обуви, то ли заказанной, то ли не заказанной одним из начальников цехов. Начальник по кадрам, который никогда не бывает в курсе ни одного дела, спокойно выжидает.

Секретарь профсоюзного комитета торжественно объявляет о необходимости пробить дополнительную дверь в помещении комитета.

— Не знаю, почему этой двери не существует, но причина, несомненно, есть. Двери не будет.

— Берегитесь, мсье Шапо, если откажете, мы сами ее пробьем!

Напрасные угрозы. Шапо абсолютно спокоен: они никогда не осмелятся.

Делегаты от администрации никогда ничего не говорят и сидят с безразличным видом от начала и до конца.

Возникает важный вопрос.

— Рентгеновский аппарат неисправен. Многие легочные заболевания не были диагностированы во время медицинского обследования рабочих на предприятии.

— Аппарат проверен, мы не намерены его менять.

— Мсье Шапо, вы что, издеваетесь над здоровьем трудящихся? Если бы рабочие вас услышали, на заводе произошла бы революция.

Начальник по кадрам улыбается. Он отлично знает, что на завод просочатся слухи лишь о том, что собрание полностью провалилось, а

[1] Национальный институт статистических и экономических исследований.

это больнее ударит по делегатам, чем по нему. Ведь он-то не пойдет к рабочим давать им отчет о сложившейся ситуации. Он делает свое дело. Он полон понимания и сочувствия во время индивидуальных разговоров с теми, кто обращается к нему, минуя профсоюз. Он всегда отказывает, но очень вежливо, и рабочие считают его доброжелательным человеком. Он делает свое дело и плюет на все. Главное — оставаться спокойным, твердым и противостоять влиянию профсоюза.

Говорят о вакансиях.

— Сколько их предвидится? Известно ли вам, что многие рабочие имеют дипломы техников и свидетельства о специализации, и вы должны давать им работу, соответствующую их квалификации.

— Мы изучаем их дела, намечаются повышения, но сколько их будет, не могу еще вам сказать.

— А женщинам?

— Женщины, имеющие дипломы техников или механиков или еще какие-нибудь справки, могут добиваться соответствующих должностей.

— Вы увиливаете от ответа. Есть места, не требующие специальных знаний. С другой стороны, мы настаиваем, чтобы женщины, желающие получить профессию, могли иметь такую возможность.

— Этого нигде нет. Мы ведь не меценаты.

Когда набирают рабочих на конвейер, предпочитают эмигрантов и женщин.

Это женщины, которые «...оставляют после себя уборную, по свидетельству уборщиц из раздевалок, в самом отвратительном виде».

Ну, а это уже недостойный выпад.

— Мсье Шапо, позвольте заметить вам, что и ваше поведение не слишком чистоплотно — с самого начала совещания вы швыряете окурки под стол и давите их на полу.

Так и вижу, как он обозлился. Ерзает своей огромной задницей по шаткому стулу. Авторитету его нанесен урон!

На заводе существуют все же должности, не согласуемые с начальником по кадрам — это выборные делегаты от рабочих. Меня поместили в список профсоюзных активисток за мою глотку, в мою пользу говорили также кое-какие левые высказывания, а вообще-то для равновесия необходима была женщина-делегатка. Я поняла, что преимущества и обязанности делегата делают из него несколько обособленную личность. Профсоюз — это делегаты, а «обычные» члены профсоюза всего лишь болельщики. По мнению многих, быть делегатом — ответственность и честь, которую со всех точек зрения необходимо оправдать. Надо суметь стать хорошим адвокатом, социальным инспектором, всегда быть вежливым и высоконравственным. На делегатов взваливают ответственность за борьбу, выдвижение требований, личные проблемы, а также предрассудки и принципы.

Я отнюдь не воплощаю этого представления о благопристойной делегатке, рассудительной и уважительной. Я легко раздражаюсь. Нетерпелива. Медлительность активистов выводит меня из себя. Я не переношу бесполезных делегаций в префектуру. Если и впрямь нам нечего терять, кроме своих цепей, я хотела бы настоящей драки.

Ленин в галстуке, пристегнутом зажимом, тоже нервничает вместе со мной. Комедия длится чересчур долго. Необходимо на что-то решиться, если действительно хотят сдвинуть воз с места. Он подносит руку к щеке, как бы взывая о внимании. Он будет говорить. Нет. Нахмурив брови, молчит... Потом командует: «Пускай покончат с этой кронштадтской сволочью!»

Я заснула на собрании. Вытянувшись на розовом облаке, витаю над столами и направляю на заседающих пулемет, стреляющий зарядами ЛСД[1]. Мне хочется вытряхнуть всех из их грязной скорлупы.

[1] ЛСД — наркотик.

У каждого своя забота. Двое толстобрюхих служащих изо всех сил стараются укрепить расшатанное сиденье стула шефа, а другой в это время, жеманно озираясь, собственной слюной смывает пыль с ботинок Шапо.

Сам же Шапо, включив свой «Сонотон», связывающий его с кабинетом хозяина, затаив дыхание, слушает игривый рассказ о последней деловой поездке шефа в Японию. Шапо небось так и видит себя между двумя пиршествами, сдобренными имбирем, восхищается прелестями проворной гейши, наслаждается ее возбуждающими прикосновениями. Шапо багровеет и чувствует себя вполне созревшим для более высокого поста и чувственных услад.

Вскочив на стул, один из представителей профсоюза декламирует устав своей организации. Он изображает страстные ласки и время от времени шепчет: «Это — великолепная дама... Такая великолепная дама...»

Четверо делегатов в уголке играют в карты. Еще двое втихомолку чмокают друг друга. Старый комитетчик, переживший кучу забастовок, мастерит бумажных голубей и подбрасывает их с криком: «Летит!.. Нет, упал...»

Остальные покинули зал заседаний. Клаксоны, дудки, медные трубы, взрывы хохота... Появляется процессия рабочих. Беспокойная, свободная, веселая. Вот цирковой пролог, величайший из спектаклей мира!

Али обходит арену. Он ведет на поводке двух слюнявых агентов по надзору за рабочими и щелчками заставляет их прыгать сквозь огненный круг. Толпа аплодирует.

Дидье читает торжественные стихи, и от звука его голоса мигает освещение.

Эдвиж раскачивается в воздухе над нашими головами и хохочет, мы представляемся ей карликами.

Пятна и заплаты на синих комбинезонах превратились в звезды и кружева.

Все улыбаются, будто всамделишные.

В этом веселом кавардаке до меня доносятся слова: «дверь... раздевалки слишком малы... перевесить профсоюзные плакаты...»

Раскаты голосов мешают мне в свое удовольствие видеть сны. Как могут они, мои товарищи, непрестанно произносить пылкие речи после десяти, двадцати лет работы? Неужели им не осточертело?!

— Уже два года мы требуем установки мигалки, чтобы не рисковать жизнью каждый раз при переходе через улицу к заводу.

Во французском Жуанте заполучили; у них даже трехцветные мигалки: черная, голубая, красная... или нет... желтая, голубая, зеленая...

Возбужденные делегаты перебирают цветные карандаши. Меня охватывает безудержный смех. Не могу остановиться. Озадаченный делегат знаком требует, чтобы я перестала. Мой смех разрастается и заполняет весь зал. Чем дольше я смеюсь, тем смешнее мне все это кажется. Начальник по кадрам бросает на меня мрачный взгляд. Но мне становится все веселее. Чтобы отвлечь от меня внимание, один из присутствующих поднимает новый вопрос. Я продолжаю фыркать в одиночку.

Этому заседанию конца-края не видно. Мне все осточертело.

— Мсье,— говорит Шапо,— надеюсь, вы заметили установку новых душей.

— Да, очень хорошо, но воды-то ведь нет.

О-ля-ля! Чувствую, что на меня опять накатывает безумный смех.

— Я не осведомлен об этой детали. Извините, сделаю все возможное.

— Постарайтесь не пустить вместо воды газ!

Собрание заканчивается. Я проголодалась. Больше не приду. Слишком утомительно.

Сестра Розы[1] садится за рояль в роскошном салоне прекрасной берлинской квартиры. Корсаж у нее полурасстегнут. От ее легкого ритмичного дыхания то скрываются, то показываются белоснежные груди. В стране больше миллиона бастующих. Тонкие пальцы сестры Розы бегают по клавишам — звучит симфония Бетховена. Организуются рабочие советы. Моряки занимают королевский дворец. Какая эпоха! Прядка золотистых волос выскальзывает из прически и свисает над носом девушки. Ей приходится слегка косить, чтобы следить взглядом за партитурой. Создан комитет вооруженного восстания. Вот-вот будет свергнуто правительство. Грациозным жестом сестра Розы поправляет выбившуюся прядку волос, которая ей мешает. Рабочий класс с минуты на минуту возьмет власть в свои руки. Рояль звучит — адажио сменяются фугами. Вздох вздымает грудь сестры Розы и замирает на ее красиво очерченных губах. Ее гибкое тело легким покачиванием следует за мелодией. Сестра Розы поворачивает голову и вытягивает тонкую шею, чтобы уловить малейший звук — так, как если бы музыка возникала помимо ее воли. Войска стреляют. На главарей рабочего движения обрушиваются репрессии. Сестра Розы снимает свои быстрые пальцы с клавиатуры и мирно складывает руки на коленях. Она рассматривает приличествующую молодой девушке маленькую жемчужину на кольце и золотой браслет, охватывающий ее запястье. Она думает: «Какая тощища быть всего лишь сестрой Розы!» И вновь принимается барабанить по клавишам, чтобы больше не думать об этом.

Маривон уходит из бистро и идет к порту, садится на скамейку лицом к морю, вынимает из сумки роман, который начала читать накануне, и погружается в него.

Глава шестая

Книга окончена. Хорошо поработала. Хочется есть. Возвращаюсь в магазин самообслуживания. Кладу два яблока в пластмассовую красную корзинку, которая обязательна при любой покупке. Хозяйки стоят в очереди перед кассой, набив до отказа тележки провизией. Под головными платками топорщатся бигуди. Чеки длиной в тридцать сантиметров ползут из кассового аппарата. Подходит и мой черед с моими яблоками холостячки. Женщина, стоящая сзади, начинает выгружать содержимое тележки на движущуюся ленту прилавка. Два яблока — разве это покупка; я чувствую себя жалкой. Два яблока — 1,75 франка. Беру портмоне. Нет, не беру, а ищу его. Не нахожу. И тем не менее оно только что было тут — в моей сумке. Обшариваю карманы. Покупательница, стоящая сзади, начинает проявлять нетерпение. Кассирша, устремив взгляд на полку с шоколадными пасхальными яйцами, нервно двигает разверстый ящик кассы. Не нахожу. Я мертва от смущения. Роюсь повсюду: в сумке, в карманах. Они упрямо пусты. Я потеряла портмоне. Пожилая женщина, стоящая за мной, держит свой кошелек в руке и продолжает выкладывать йогурт, сосиски и жавель для стирки. Она наступает на меня и, подталкивая, бурчит: «Когда нет денег, не ходят в магазины».

Надо что-то сказать, не могу же я торчать тут бесконечно, делая вид, что продолжаю искать. Кассирша бросает:

— Ну?

— Простите, я потеряла портмоне, это глупо, четверть часа тому назад оно было на месте. Я отнесу яблоки обратно.

[1] Автор имеет в виду Розу Люксембург.

— Нет, стойте тут, я должна позвать заведующего, чтобы аннулировать чек.

Она звонит в колокольчик, стоящий возле кассы.

Хозяйки обмениваются впечатлениями от происшествия и жалуются на потерянное время. Вот если бы у меня была сумка, полная молока, сыра, консервированного горошка, я была бы похожа на одну из них, забывшую портмоне дома. Такое ведь случается. Но с двумя яблоками я выгляжу совершенно несерьезно.

Появляется рассерженный заведующий и обрушивается на побеспокоившую его кассиршу:

— Что тут происходит, мадемуазель?

— Мадам забыла портмоне. Надо аннулировать чек,— отвечает кассирша безразличным тоном.

Чек подписан и положен в ящик кассы.

— Нет, оставьте яблоки, их отнесут на место!

Царит доверие.

Я торопливо покидаю место происшествия. Прочие женщины достойно оплачивают свои покупки. Мне не придется завтракать. Во всяком случае, аппетит пропал.

Я медленно возвращаюсь к скамейке, потом к кафе — никакого следа моего портмоне. Это невероятно. У меня не осталось ни сантима. Подобные неприятности могут случаться только со мной. Обычно-то я ничего не теряю, вещи, даже абсолютно бесполезные, скорее имеют тенденцию липнуть ко мне, как ракушки к скале. Но все имеет свое начало. Когда-нибудь и это должно было со мной приключиться. Там и было-то не бог весть что — плата за два-три рабочих часа, две или три сотни гаек, ввинченных вручную в краны. Нищенская плата и боль в плече.

Меня могли убить. Я могла бы встретить прекрасного принца. Но потерять портмоне в Пемполе — этого я не предвидела. Чересчур уж обыденно, не представляет никакого интереса даже для корреспондентов из «Уэст-Франс».

Хороша же я, однако, без единого су в этом Пемполе. Что же теперь делать? Ограбить банк? Рискованно. Стащить ящик для пожертвований в церкви? Мало надежды, что это обогатит,— люди в наши дни стали неверующими. Напасть на старушку и отнять у нее пенсию при выходе с почты? Чересчур мерзко. Заделаться проституткой: один заход — сто франков; смогу купить новое портмоне и обратный билет на автобус. Никогда не решусь. Угнать машину? Слишком страшно попасться на месте преступления. Ничего не остается как свернуться клубочком в какой-нибудь канаве и нищенкой ожидать смерти от холода и голода. Мелодрама.

Без особой надежды направляюсь в комиссариат узнать, не нашел ли кто мою потерю.

— Нет, мадам, никто не приносил сегодня после полудня никакого портмоне.

Я так и знала. Сама-то ведь потерялась здесь еще сутки назад, и никто меня не востребовал. Если мой владелец не побеспокоится отыскать меня в течение года и одного дня, я так и останусь в Пемполе.

Ничего не остается как позвонить на завод и попросить супруга приехать за мной. Дежурный полицейский предлагает мне воспользоваться телефоном. Да, но до чего же стыдно!

«Алло, дорогой! Представь себе, что со мной произошло: дурацкая штука — я потеряла портмоне и застряла в Пемполе... Да, в Пемполе... Что я тут делаю?.. Ничего особенного, я прогуливаюсь... Ты сердишься? Нет, я вовсе не хочу тебя бросить... Объяснимся дома... Ты беспокоился, ну, разумеется, я сожалею... Прости меня, дорогой... Ты не спал всю ночь?.. Совсем измучен... Я очень огорчена, прямо не знаю, что на меня нашло... Да, я понимаю... Прости меня... Да, я несчастная дуреха... Ты приедешь... Спасибо, спасибо, до скорого, мой

дорогой... Буду ждать возле церкви». Нет — это совершенно невозможно.

Надо выпутываться самостоятельно. Войти в такие взаимоотношения хуже, чем повеситься. Он чересчур возгордится, если я позову его на помощь. Но если окажусь слабачкой, он тоже будет недоволен. Обозлится, что все его страдания кончились таким жалким образом. Унижение для нас обоих. Я должна буду признаться во всем: в своих эгоистических удовольствиях и греховных мечтаниях. Он ничего не поймет и посчитает, что я сошла с ума. Я ничего не желаю объяснять.

Прожила эти часы для себя самой, как мне кажется, свободно, без взлета, без захватывающих приключений, но и без несчастий. Накрывши завесой молчания мою поездку-эскападу, я сделаю ее еще более неразумной, более озадачивающей. Даже если никогда не повторю ничего подобного, между нами навсегда останется что-то невысказанное. Мое желание сбежать будет вознаграждено его внимательностью, он станет чувствительнее к переменам моих настроений из боязни, как бы я опять не удрала, и, возможно, уже навсегда.

Привык ко мне, как к своим ночным туфлям, которые он напяливает не глядя. Ни в чем не сомневается. Ни о чем не расспрашивает. Думает, что понял меня раз и навсегда.

Золушке захотелось на бал. Фея, ее крестная мать, помогла ей. Но Золушка потеряла в полночь свой меховой шлепанец, поспешно покидая дворец.

Теперь Золушка вынуждена возвращаться домой, голосуя на дороге.

Становлюсь у выезда из города в направлении Сен-Бриё. Скоро стемнеет. Для моего бегства надо было повременить до длинных июньских дней. Зимние дни слишком коротки для приключений. И с завода уходят, и спать ложатся, и встают затемно. Чего ж тут удивительного, если в голове — одни мрачные мысли.

Я поднимаю руку, только когда в машине женщина. Тем не менее, заприметив меня, водитель грузовика тормозит и предлагает сесть к нему.

— Нет, спасибо, я предпочитаю пройтись. Всего каких-нибудь пять минут ходу — и я дома.

Он не поверил, но и не настаивает. Трогается, усмехаясь, и пускает мне прямо в лицо струю выхлопных газов.

Пошел снег. Мой застарелый ревматизм давно уже предупредил меня об этом. Никакого укрытия в поле зрения. Натягиваю капюшон до самых глаз. Машины проезжают редко, и я слишком поздно поднимаю руку, чтобы водитель, заметив меня, мог остановиться. Так уж мне везет. Лучше было бы сломать вчера ногу, когда выходила из дому. Не торчала бы теперь на обочине как петрушка. Если бы не была такой трусихой, давно бы уже катила в том, первом грузовике, любуясь великолепием полей, покрываемых снегом. Больше не буду привередничать, сяду в первую подвернувшуюся машину, даже если ее будет вести тип с физиономией висельника. Стараюсь вспомнить приемы каратэ, виденные в одном фильме.

Наконец-то замедляет около меня ход один «остин», почти останавливается, но тут же резко прибавляет скорость. Я успеваю заметить двух ржущих юнцов. Сволочи! Вам смешно? Хотела бы поменяться с вами местами! Папенькины сынки! Мерзавцы! Эксплуататорское семя!

Разволновавшись, я забываю «голосовать» и машинально пробегаю несколько сот метров по обочине дороги. Это издевательство не на шутку задело меня — не хватает еще выглядеть жалкой жертвой. Никакая я не жертва. Вполне отвечаю за свои поступки. Глотнув свежего воздуха, Маривон автостопом возвращается к своему мужу. Идет

снег, но это вначале озадачившее невезенье ни в коем случае не лишит ее самообладания.

Подумать только, что он считал меня домоседкой!

Я не нарадуюсь на свою плиту. Восторгаюсь стиральной машиной. Целыми часами предаюсь радостной игре со щетками и тряпками. С восторгом вскапываю грядку под лук порей. Обожаю свой семейный очаг с до блеска натертым паркетом и с трудом от него отрываюсь, если никак не могу отделаться от какого-нибудь приглашения на обед. Я такая же клуша, как моя мать.

Нет, я не в восторге ни от вечеров у телика, ни от стирки, ни от машинки для стрижки газона. Но он не желает этого понять. Если бы у меня было меньше домашних обязанностей, он не мог бы так смаковать свою свободу. Он предпочитает идти куда-нибудь без меня — это его молодит. Разумеется, если я хочу, я могу его сопровождать. Достаточно вот так же, как сейчас, подняв руку, найти кого-нибудь, кто посидит с ребенком. Но игра не стоит свеч, такие спектакли — не мой жанр, и не люблю я поздно ложиться. На прощанье он смотрит на меня неотразимым взглядом Ли Ван Клифа из картины «Возвращение Сабаты». И уходит.

А когда собираюсь уйти я — это целое событие. Есть ли в доме еда? Когда надо укладывать малыша? И в довершение: «А я, что я буду делать в одиночестве?» То же, что и всегда, дорогой, читать или смотреть телик.

Подобные препирательства не вошли у нас в систему, в общем-то мы придерживаемся либерализма: свобода, равенство и прочее. Все же атмосфера в нашем доме тяжелая, паутина мелких жестов и слов опутывает меня и замыкает в клетку.

Я обожаю уходить из дому, сидеть в кафе, часами дискутировать с товарищами, есть в ресторане, быть в курсе всех событий и смотреть хорошие фильмы, которые у нас редко показывают. Театр меня зачаровывает. Длинные прогулки в лесах или по пляжам помогают забыть тяготы рабочей недели. С удовольствием ловила бы рыбу, плавала в бассейне и обегала бы всю долину. Он отлично знал об этом раньше. Раньше чего? Да ничего. Незаметно установившаяся скука подорвала устои нашего супружества. Мало-помалу она завладела гостиной, потом ее липкие пальцы наложили отпечаток на каждый предмет, каждый час. Ее зловонное дыхание отравляет нашу комнату, простыни. Она как бы объедается исподтишка нашей обыденностью, усталостью и разочарованием. Растолстела, раздулась, отяжелела и подло давит на нас своим мерзким телом. А когда мой голубчик измотан, когда заметно, что он угнетен, я оставляю его в покое. Ничего у него не спрашиваю. Удерживаю малыша, чтобы не шумел. «Папа устал, душенька, иди поиграй в другом месте!» Когда ему вожжа под хвост попадает, он удаляется, словно холостяк, и уж никак не домашние получают удовольствие от его хорошего настроения. Ложится под утро, а завтра и головную боль, и раздражение будет вымещать на мне.

Надо все изменить. Домашнее животное начнет брыкаться. Я восстану, вместо того чтобы кукситься, дожидаясь его. Ведь на заводе я способна противостоять начальству, поднимать дух у отчаявшихся, защищать свои принципы. А дома что же — сдать все позиции? Весь свой боевой задор оставлять за порогом, а переступив его, молча напяливать личину примерной женушки? Об этом не может быть и речи. Где-то я допустила промашку.

Начинаю битву.

Ноги уже промочила. Поднимаю руку, вкладывая в жест всю свою решимость. Надо прежде всего, чтобы тебя заметили.

Останавливается машина. Удача: ее ведет женщина. Сзади куча детишек.

— Вы едете в Сен-Бриё?

— В Пордик. Это вам подходит?

— Да, это меня все-таки к дому приблизит. Спасибо.

— Садитесь. Извините за беспорядок. С ребятишками не наубираешься, хоть каждый день чисти.

И в самом деле, на полу крошки, следы грязи, конфетные обертки. Поношенные сползающие чехлы не скрывают дыр в обивке сиденья и пятен от грязных пальцев.

— Мама, эта дама кто?

Перепачканная шоколадом девчушка приближает ко мне личико и вглядывается.

— Меня зовут Маривон, а тебя?

Она не удостаивает ответом мою улыбку и беспокойно спрашивает:

— Почему дама едет с нами? Ты, мама, ее знаешь?

Старший брат, семи-восьми лет, вступает в разговор:

— Это автостоперка. Ее подобрали, чтоб немножко подвезти, у нее нет машины.

— Значит, она едет не к нам?

Я успокаиваю ее:

— Нет, я не к тебе еду. У меня есть свой дом, в который я возвращаюсь.

Мать извиняется:

— Дети не привыкли. Я никогда не подбираю голосующих. Но когда увидела вас под снегом, подумала, что было бы бесчеловечно не остановиться... и потом, женщина не внушает опасений, ей доверяешь.

— Я тоже предпочитаю садиться к женщине. Я не часто езжу автостопом. Но сейчас все очень неудачно сложилось. Я провела день в Пемполе и потеряла там портмоне. Вот почему не смогла вернуться автобусом.

Девчушка совсем разволновалась:

— У тебя нет машины? И портмоне нет — ты, значит, бедная? — Мы обе смеемся: и ее мать, и я.

Совсем крохотный ребенок высовывает голову из коляски-корытца и таращит на меня глаза.

— Мальчик или девочка?

— Мальчик.

— До чего очаровательный малыш!

Что другое скажешь при подобных обстоятельствах? Впереди еще несколько километров совместной езды, надо как-то поддерживать разговор.

— Сколько ему лет?

— Два дня назад исполнилось пятнадцать месяцев.

— Забавные они в этом возрасте, открывают для себя мир. Вообще-то они отвратительны — плаксивые, за все хватаются.

— У вас есть дети?

— Да, мальчик четырех лет.

Это нас с тобой, голубушка, не молодит!

Воцаряется молчание. Часы на приборной доске показывают почти пять.

На заводе сейчас давка возле немногочисленных умывальников. Мои товарки, заканчивая рабочий день, хохочут и брызгаются. Чтобы отмыть руки, требуется не менее десяти минут. Некоторые приносят из дому мыло, рукавичку и начинают тереть, прежде чем дойдет их очередь до вытекающей из умывальника тоненькой струйки — то холодной воды, то чуть ли не кипятка. «Эта банда подлецов могла бы все же прибавить хоть один умывальник и отрегулировать температуру воды». С годами на подобной работе мозоли твердеют, кожа сморщивается, и пальцы неизбежно деформируются.

«Чего же ты ожидала, старушка, такова жизнь артистки, полная превратностей судьбы!»

Вымыв руки и сходив напоследок в уборную, возвращаются на свое рабочее место и ждут звонка.

— Последние секунды — самые долгие.

— Черт побери, отстают они, что ли, эти дерьмовые часы!

— Может, звонок испортился. Но не торчать же нам здесь до ночи.

— Идемте, девушки, чего ждать. Дело не в скуке, но дома-то тоже ведь работенка ждет.

— Не дури, шеф стоит посреди цеха и наблюдает за нами своими мерзкими арахисовыми глазами.

— Ну и вредина! Уверена, что уже минуты две шестого.

Срываемся с места всегда за несколько секунд до звонка.

Шеф все испробовал, чтобы ввести нас в норму. Угрозы, разглагольствования о безопасности, педагогические наставления вроде: «Не ведите себя как дети». Бесполезно: за тридцать секунд до пяти часов никого уже нет.

Я опять вступаю в разговор:

— Вы не работаете? То есть я хотела сказать, вы заняты только своим домом?

— Да, я сижу дома, а вы?

— Нет, я работаю на заводе. Не сегодня, но обычно в это вот время я еще на заводе. Вам нравится сидеть дома и заниматься ребятишками?

— День на день не приходится. С тремя маленькими детьми очень много хлопот. Муж мне совсем не помогает. Подруги у меня нет. Часто бывает скучно. А вам нравится работать вне дома?

— Тоже день на день не приходится.

Завод не может нравиться. Его кое-как терпят. Некоторые не выдерживают и быстро надламываются, молодежь часто сбегает через два-три месяца, а старики-старожилы спиваются, алкоголь начисто сжигает им рассудок и здоровье.

Однажды в цехе появилась девица. Ее внешность никак не соответствовала заводу. Она начала работать на монтажном конвейере неподалеку от меня. Волосы у нее были чересчур черные для натуральных, густо положенный на лицо тон придавал коже необычайную матовость, а губы прямо пламенели. Ресницы необыкновенной длины — явно накладные — подчеркнуты ярко-синей краской. Ногти тоже накладные, густо-вишневые, на щеках цвели розы, а при каждом движении от нее исходил удушающий запах крепких духов, под стать всему остальному.

Красномордые мужчины так и бомбардировали ее взглядами, загоравшимися словно фары, они чуть шеи себе не свернули, разглядывая «принцессу». А у принцессы и округлости там, где надо: удивительно, как она их сохранила — питается ведь, наверно, одними грейпфрутами. Для нашего дела у нее кишка тонка, каждую минуту — головокружение. Утром, в восемь часов, она появилась в цехе, затянутая в белый костюм, на облегающей узкой юбке по бокам разрезы. Даже невысокие сапожки на каблуках-шпильках тоже белые. Возмущенные такой наглостью, женщины сразу осудили эту «проститутку». Самые резкие нападки вызвал ее шелковый белый тюрбан, подчеркивавший кукольность лица. «Видала султаншу-распалительницу?» — «Совсем спятила девка, разве пристало работнице так одеваться».

Одежды ее остались незапятнанными, но она покинула завод.

Снег прекратился, но накрыл все кругом. Можно вообразить себе, что ты в горах. Никогда там не бывала, зимний спорт — это чересчур далеко от нас, да и слишком дорого. Утешаемся, проводя конец

недели на холмах Аррэ, нашем личном горном массиве, который с трудом достигает 380 метров.

Альпы меня не привлекают, преувеличение во всем, снег, лед — благодарю покорно. Если уж мечтать, я предпочла бы золотые пляжи Багамов, кокосовые пальмы Гонолулу и антильские бугенвиллеи.

Растянувшись на горячем песке, я, как ящерица, греюсь в солнечных лучах, смягчаемых порой легким морским бризом. Времени для меня не существует. Сумерки нескончаемы. Мое умиротворенное тело больше не тяготит меня. Я занята лишь своей внутренней жизнью. Ни спина, ни голова — ничто у меня больше не болит. Я подобна огромной фиге, сушащейся на турецкой террасе, я ничего не значу. Я не уродливее гиппопотама, и никто не купит билет в зоопарк для того, чтобы обозреть меня. Я не работаю, хотя и не имею на это никакого права; ведь сейчас не запланированный ежегодный отпуск. Я живу только во имя своих личных нужд. Я не из пластика. Не статуя и не дерево. Годы не прибавляют мне значимости, а лишь множат морщины. Средства к существованию я добываю ценой невыносимых физических усилий и ценой нескончаемых часов терпеливого самоотречения. А ведь я так жажду красоты, нежности, покоя и гармонии! Все глубже погружаюсь в свои карамельные мечты.

— Я сворачиваю налево, высадить вас?

Поспешно привожу себя в чувство. Мы прибыли в Пордик. Я должна вылезти из машины, расстаться с ее комфортом и продолжить цирковой номер езды автостопом.

— Да, пожалуйста, выпустите меня, все отлично, большое спасибо, до свиданья.

Отсюда мой дом не слишком далеко — километров двенадцать. Я возвращаюсь домой. Это не подлежит обсуждению. Если подвернется сочувствующий шофер, через двадцать минут я буду у себя. Слишком скоро, я еще не закончила путешествия. Не насытилась одиночеством. Ничего не пережила. Мои мечтания — всего лишь жалкий самообман. Почему бы не удрать в другую страну и не начать жить заново. Но надо полагать, сковывающие меня цепи находятся где-то внутри моего существа. Я ничему не научилась и возвращаюсь в свою гавань.

Не буду торопиться. Пойду пешком. Решено. Щиколотки утопают в рассыпчатом снегу. Я намеренно выбираю мучительное возвращение, чтобы продлить мою свободу и искупить ее. Отправляясь в Пемполь, я прекрасно знала, что это только интерлюдия в моей прочно запрограммированной жизни. Простите нас за этот внезапный перерыв... Я причинила себе беспокойство ради того, чтобы в течение суток никто меня не беспокоил. Сладость приятных мгновений улетучивается, возвращается разум, возвращается рассудок. Я пережила временное заблуждение. Но не жалею об этом. Мне было необходимо отклониться от повседневного ритма, расслабиться, заняться самой собой. Я встряхнулась и чувствую облегчение. Рано или поздно отвращение вернется. А уйти я, возможно, уже не смогу. Буду сеять недозволенные мечты в своем потайном саду. До тех пор, пока не разучусь мечтать.

Что это за женщина прется пешком?

Куда ведут ее все убыстряющиеся широкие шаги?

Она спешит к мужу, который поджидает ее в гостиной.

А если с ним что-нибудь случилось? Если без меня произошел какой-нибудь несчастный случай на улице или на работе?

Вдруг он тяжело ранен и одиноко агонизирует в больнице? А что, если вообще умер?

После ночи, проведенной без сна из-за моего отсутствия, он пришел на работу взвинченный и усталый. Забыл проверить предохранительную систему пресса. Руки у него дрожали. Он плохо расположил деталь. Захотел передвинуть ее, наклонился, по оплошности задел

локтем пусковое устройство. И вот его голова раздавлена многотонной тяжестью. Ужасающе! Горе пронзает меня насквозь. Я ничто. Я вдова. Моего спутника жизни сожрала машина. Я бессильна. Моя любовь принесена в жертву на алтаре производства. Пролетариям ведь нечего терять, кроме своих цепей... Сколько бы мы ими ни потрясали, они не поддаются и душат нас при малейшей возможности.

Глаза мне застят горе, угрызения, гнев.

Его хоронят без цветов и венков, как он желал бы. Один из товарищей произносит речь, отдавая последний долг погибшему рабочему, человеку, которого я любила. Я осиротела. Нестерпимо. Семья, друзья оплакивают не меня, другого. Мой мальчуган всхлипывает рядом со мной, не понимая еще, что с ним произошло. Мне здесь нечего больше делать. Уезжаю куда глаза глядят, подальше от сострадания. Я обезумела. Подобный ужас немыслим, это было бы слишком чудовищно.

Любовь моя, не умирай, я иду к тебе, люблю тебя.

Бегу по снегу, спотыкаюсь, едва не натыкаюсь на дорожные указатели и, опомнившись, перехожу на нормальный шаг. У тебя, Маривон, полное помрачение ума!

От ходьбы болят ноги. Тяжек возвратный путь блудной жены. Еле дотаскиваюсь до столбика и усаживаюсь на него, он указывает расстояние до ближайшего пункта: «Сен-Бриё — 4 километра».

Вымоталась. Шея не ворочается, голова трещит, живот подвело от голода, ноги стерты. Никакой трагедии. Скоро все это забудется.

Возвращаюсь домой. Это куда труднее, чем находиться там постоянно. Менее неизбежно. А если я не вернусь? Если, несмотря на стертые ноги, я в безудержном порыве, по-прежнему пешком, не останавливаясь, проскочу Сен-Бриё, потом Ренн, Париж, всю Францию. Тысячу раз изменю свою жизнь и никогда не заживу по-настоящему. На различных дорогах и тропинках я увижу разноцветные восходы солнца. Расшвыряю по странам света свое прошлое и потеряю имя. Под конец ничего уже не буду бояться. Никаких забот о багаже — наслаждайся сколько хочешь. Мощь моих желаний опрокинет все препятствия. Я стану ничейная, безбудущная.

Заговорю на двадцати языках, и мне будет столь же хорошо в таиландской деревне, как с берберами или потомками инков. Состарившись, опишу свои опасные, волнующие приключения. Малярия, боливийская тюрьма, путешествие на пироге по Нилу, голод в Азии, плен в храмах Ангкора и резня во владениях африканских деспотов. Буду отплясывать румбу на Кубе. Стану курильщицей опиума в Гонконге и конопли в Карачи. Влюблюсь в стройного ангольского революционера. Утолю свою нежность, лаская тело юной кабильской девушки — газели с голубыми глазами.

Хороша разгульная жизнь международной авантюристки.

А не выбрать ли жизнь отшельника-аскета? Скрыться в укромном уголке Тибета или в горах Азербайджана. Неоглядная пустыня и единственное убежище — полуразрушенная овчарня, где я положу на утоптанный пол свой истрепанный спальный мешок. Буду питаться кореньями и дикими ягодами. Возвысившись духом, я отрекусь от суеты этого мира, отрекусь от денег, низких наслаждений и хитроумного торгашества своих современников. Силой воли я отстранюсь от подозрительных чаяний и эгоистических, порочных амбиций. Все материальные блага станут мне безразличны, даже тело мое станет бесплотным. Кончу тем, что выброшу спальный мешок и улягусь прямо на холодные камни.

Все возможно. Наслышана об этом. Путешественники, писатели, журналисты описывают такие приключения. Можно поверить им на слово. Мою жизнь нельзя вычитать в туристическом путеводителе, надо суметь ее прожить. Разумные радости ожидают меня всего лишь за поворотом — стоит обогнуть холм.

Мой сын научится читать. Скоро, с первыми цветущими днями весны, мы отправимся всей семьей на пикник в лес. Купим — в кредит на два года — новую машину. Зацветут камелии. На открытой только для пешеходов улице появятся в магазинах легкие платья. Какое-нибудь из них я куплю. Мне нравится ходить с голыми ногами, но я мерзлячка, поэтому часы, когда я могу обнажить икры, все на учете. Даже летом безветренные дни — большая редкость. На ходу под широкую юбку проникают теплые струи воздуха, и мои ляжки жадно их впитывают. Сидя, ради удовольствия ощущать кожу, я тру колено о колено, потом сжимаю их изо всех сил, пока между ними не заблестит капелька пота. Трусики я выбираю большего размера: при ходьбе они раздуваются, и душистый бриз свободно разгуливает у меня между ног. Мои целомудренные юбки доходят до щиколоток и овевают их нежным покачиванием, как и нескромная ласка высоких трав, когда я иду по саду или по полю. Кожа моя, спрятанная под скромной тканью, расправляется, смягчается, наслаждается свободой.

Будем устраивать дружеские вечеринки: зажарим сардины, испечем пирог. В конце-то концов ведь и отпуск не за горами. Через пять месяцев обретем три недели свободы. Что нужно для полного счастья? Палатка, походная газовая плитка и шорты. У нас появится время поговорить, возможно, вновь понять друг друга. Лето поможет.

Был в нашей жизни такой июнь, когда завод превратился в настоящее пекло и пот лил с нас ручьями. Возле станков буквально стояли лужи пота. Работали в каком-то одурении, то и дело отлучаясь в умывальню, чтобы освежиться. Нос, глаза, горло забивала пыль. Делаясь почти осязаемой, она плясала в солнечных лучах, которые проникали сквозь крыши из оцинкованного железа.

А снаружи было прекрасно, трава высыхала и насыщала воздух ароматом. Дни медленно удлинялись, было светло до одиннадцати часов вечера.

Он пришел ко мне в цех и шепотом сказал: «В час выбираемся отсюда и едем на пляж, согласна?» Я была согласна до безумия!

Мы освободились под предлогом, будто надо зайти к начальству, уселись в машину, распевая во всю глотку. «Дурачье, они продолжают гнуть спину! Не понимают, чего лишают себя». Мы-то вдвоем лишались всего-навсего дневного заработка, но не такие уж это россыпи, чтобы стоило из-за них убиваться.

В Бинике мы растянулись рядышком на песке. Солнце проникло во все поры моего тела. Мы совсем отупели от жары. Купальные трусы не могли скрыть его чувственного возбуждения. К радостному чувству свободы примешивалось наслаждение от прикосновения песка, сыпавшегося сквозь наши пальцы.

Даже назавтра, придя в цех, мы все еще щурились от одного воспоминания о солнце.

Обещаю себе как можно больше подобных радостей!

Сидя на дорожном километровом столбике, я принимаю прекрасные решения. Отныне становлюсь решительной.

На заводе необходимо развернуть кампанию за сокращение рабочего дня. Если мы добьемся тридцатипятичасовой рабочей недели, это будет большая победа. И то чересчур много. Много усталости, много шума, много унижений.

Подниму крик, чтобы прибавили умывальников. Тут нет мелочей — мы не хотим безропотно гнуть спину.

Займусь спортом, установлю режим и подправлю свою внешность. Для самообразования буду читать исторические книги. Ум мой прояснится, вместо блужданий в несбыточных мечтах и чувствах я познаю нечто полезное. Едва проснувшись, выберу тему для размышлений и посвящу ей целый день, спокойно занимаясь своим делом.

На профсоюзных собраниях постараюсь быть сосредоточеннее и активнее. Слишком уж часто я испытываю боязнь плохо сформулировать мысль, быть неправильно понятой, сказать не то, что следует. Иногда мне начинает казаться, что у меня вообще нет мыслей. Даже если я совсем не согласна с оратором, ловко жонглирующим громкими фразами, я позволяю ему убаюкать себя. Позволяю задурить мне мозги, унизить.

Надо также позаботиться и о том, чтобы не страдать от одиночества. Я скажу: сегодня вечером меня не будет дома. Не буду больше надрываться. Мучиться из-за невпопад сказанного слова. Стану примерной и счастливой.

Возможно ли это? Смогу ли я стать хозяйкой своей жизни?

Напишу Жану-Франсуа. Прекрасное письмо, где будет и анализ конкретной ситуации, и прежде всего много человеческой теплоты. Письмо на первый взгляд колкое, но по существу искреннее. Ему захочется снова меня повидать. Он сделает первые шаги.

В один из полдней, когда из душных помещений так и тянет на улицу и когда особенно тяжко возвращаться в цех, он встретит меня у входа. Я издали запримечу его тонкую фигуру и зеленые глаза, но и виду не подам, что узнала. Как ни в чем не бывало проследую к заводу. Из кокетства начну шутить с подружками, чтобы он увидел меня смеющейся. Вид у меня станет беспечный, веселый и, возможно, привлекательный. В последний момент, не выразив удивления, я подойду к нему. Он увлечет меня в сторону, подальше от решеток, от заводской зоны, и скажет: «Едем в Никарагуа, ты мне необходима!»

Возьму с собой крошечный чемоданчик и словарь испанского языка. В тот же день мы вылетим. Он — прекрасный, безмятежный, я — ослепленная, но спокойная. Мы увидим разнообразные пейзажи, самых разных людей. Будем спать вместе, не прикасаясь друг к другу, чтобы не погасить желания. Он будет любить меня, и я стану страстной героиней... Ну и наплела чепухи!

Не напишу я ему. Подумает, что навязываюсь. Это он должен написать. Но я уже не бастую и вполне заурядна. Я пригодна только для бесплатной болтовни — для его газетных статей. Он пишет, а я возвращаюсь к своей машине. Я завинчиваю, а он пропагандирует свои великие благородные принципы. Земля — крестьянам, университет — студентам, а заводы — рабочим. Но я-то не жажду получить во владение этот прогнивший завод. Мне тоже нужны книги и перья, социалистические болты мне ни к чему.

Весь мир следит за нами. Весь мир меня подкарауливает. Чего это они все взъелись на меня? Они мне застят свет. Никого не хочу видеть. Никому не хочу приносить пользу.

Все мне опостылело.

— Маривон, куда ты дела мои штаны?

— Маривон, я хочу есть.

— Маривон, можешь перепечатать этот доклад на машинке?

— Маривон, в десять часов вы смените мадам Д. на конвейере.

— Маривон, начальник цеха упирается, не дает мне отпуска в августе — пойдешь со мной к нему?

— Маривон, я ошибся размером — поменяешь мне ботинки в кооперативе?

— Маривон, скажи своему мужу, чтобы зашел ко мне на днях.

— Маривон, ты картошку жаришь на масле или на маргарине?

— Маривон, что с тобой? Вид совсем ненормальный, сдрейфила, что ли?

— Маривон, я сыта по горло. Как удрать с завода?

Оставьте меня в покое. Дайте мне помолчать! Сами разбирайтесь в своих бедах! Прежде всего зарубите себе на носу — с завода не выберешься. Приходят на два месяца и жарятся сорок лет.

Первое время все еще пытаются подыскать что-нибудь получше.

Женщины хотели бы стать продавщицами или конторскими служащими — это более чистые профессии. Иногда предаются мечтам вовсе перестать работать. Может быть, если я изо всех сил напрягу волю, в ближайшем тираже лотереи номера 3, 15, 19, 21, 32, 37 выиграют и я огребу такие миллионы, что не буду знать, куда их девать. Маловероятно: если бы я была удачливой, я уже давно знала бы об этом.

Можно пойти на содержание. Развожусь со своим конвейерным рабочим, этим ничтожеством, и выхожу замуж за директора неизвестно чего, но при больших деньгах.

«Молодая француженка, с ребенком, приятной внешности. Покладистая. Любящая досуг. Ищет мужчину 45—50 лет (можно и старше), с хорошим заработком для прочного союза». Устраиваюсь как хочу. Живу в шикарной вилле, стильно обставленной и с прекрасным видом на море. Могу себе позволить поваляться утром в постели и заказать изысканные туалеты. Участвую в общественной деятельности вроде Союза потребителей или Кружка любителей планирования семейной жизни. Это — для поддержания связи с реальностью и для пользы дела. Записываюсь на вечерние курсы для поднятия своего культурного уровня. Путешествую. Моего типа быстро хватит инфаркт, и он подохнет, оставив мне ту сумму, на которую застраховал свою жизнь. Я никогда не забывала доброе старое время своих рабочих увлечений и потому беру прежнего мужа в любовники и принимаю его с шампанским. И так далее и тому подобное, пока не надоест.

К пятидесяти годам, находясь еще в хорошей форме, я возвращаюсь на завод, чтобы вновь встретиться с любимыми подружками и повеселиться, пока не состарилась. Я несколько цинична, но, кроме шуток, мне действительно нужен отпуск длиною в четверть века.

На двери одной из заводских уборных написано фломастером: «Бывают годы, когда не хочется ровно ничего делать!» И все же делают. И работу и все прочее. И как-то эти годы проходят — немного хуже или немного лучше. Вкалывают, думая о другом.

Уж и не знаю, о чем и мечтать. Я не способна стать на иной путь. Не знаю даже, что предпочитаю, город или деревню. Делаю вид, что колеблюсь между кругосветным путешествием и отшельничеством. Хотела бы стать свободной, но не могу жить без мужа и друзей. Воображаю себя авантюристкой и схожу с ума из-за потерянного портмоне. Мне нравятся красивые дамы, но я их презираю за паразитическую жизнь, а сама провожу жизнь в отвратительных запятнанных блузах.

Задаю себе глупые вопросы, выворачиваю ум наизнанку, ища выход из безысходного отчаяния. Внушая всем омерзение из-за отвратительного своего характера, я жажду, чтобы передо мной преклонялись как перед святой. Прихожу в исступление от завода, работая там год за годом, но ничего не предпринимаю, чтобы уйти. Приобрести профессию? Каким образом? Какую? Машинистки? Медицинской сестры? Ничего меня не интересует. Я восторгаюсь только абсолютно недостижимым. Думаю, что все мое несчастье коренится в руках: я не люблю работать руками.

Мне остается лишь, постепенно заменяя принуждение самооправданием, химеры — бредом, ждать приближения старости. Даже не старости. Скорее приконченности, изношенности до мозга костей и уже полной неспособности внятно рассказать о своей печальной жизни. Успокоение наступит с исчезновением воспоминаний. Голова моя будет отсчитывать только минуты молчания, а сердце, которое всего лишь мышца, будет жаждать одного лишь покоя. Я умру скрюченной. Так и должно быть. Никто в этом не виноват.

Но я еще не у точки. Передо мной дни и годы жизни. Буду продолжать жить и любить, любовью-подпоркой, человека, который находится в моем доме.

Прохожу мимо доски с надписью «Сен-Бриё». Сен-Бриё, его со-

бор, его знаменитая бухта, его борьба рабочих. Бретонские рабочие посылают к черту хозяев! Брр...

Заворачиваю за угол, и передо мной — мой дом, он не велик и не мал — средний. В кухне горит свет.

Шаги мои убыстряются. Как-никак привязываешься к своему, нашему, моему, не имея ничего другого взамен. Все горести и надежды сконцентрированы именно там.

Он там. Ждет меня. Уложил ребенка пораньше и старательно готовит ужин для нас двоих Он знает, что я вернусь. Чувствует мое приближение. Бросает взгляд в окно и пытается прозреть меня сквозь ночь. Ощущаю, как чутко прислушивается к звукам извне, подкарауливая мой приход,— невольно встревоженный, но не злой.

Медленно открою дверь.

Направлюсь к нему с улыбкой. Сразу успокоившись, он встретит мое появление словно бы равнодушно.

А я просто скажу: «Хочу тебя».

Он возьмет меня за руку, запустит пальцы мне в волосы и притянет мое лицо к своему плечу.

Возбужденная горячностью его вновь обретенного тела, я прижму его к себе. Мы не проронim ни слова. Возможно, у меня выкатится слеза радости.

Я буду гладить его затылок. Он просунет руки под мой пуловер и ласково коснется моих грудей.

Расстегнув его рубашку, я укушу соски, затерявшиеся на его волосатой груди. Он откинет назад голову и засмеется от наслаждения.

Я поцелую каждую ресничку, каждую складочку на его прикрытых веках.

Он будет одной рукой держать меня за шею, и в голове моей зароятся тысячи желаний.

Обнаженные, мы сольемся. Я почувствую, как кровь наша быстро и наполненно запульсирует в унисон.

Мы замрем.

И вот неистовое солнце воссияет из наших желаний. Начнем целоваться. Сходя с ума от радости. Готовые начать вновь.

Любовь.

Все возможно.

Я тебя люблю.

Дверь. Вот она, моя дверь,— передо мной. Замираю. Волнение парализует меня. Через мгновение...

Осторожно вставляю ключ. Толкаю дверь. В доме ни звука. Иду на кухню. Тишина. Неподвижность. Никого.

На столе записка, нацарапано:

«Мне тоже необходимы несколько дней отдыха и раздумий. Малыш у твоей матери. Целую».

Все качается.

Что со мной?

Слезы. Тошнота.

Скорее сесть.

Какое свинство, ушел, позабыв погасить свет!

■

ИВАНОВА ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА

Советский переводчик с французского. Переводила произведения французских классиков и современных писателей. «Иностранная литература» опубликовала в ее переводе романы Эльзы Триоле «Розы в кредит» (1959, № 12), повесть Жоржа Перека «Вещи» (1967, № 2), роман Жана Каррьера «Ястреб из Маё» (1979, № 2, 3).

ХОСЕ АГУСТИН ГОЙТИСОЛО

Стихи из новых книг

■

Вступление и перевод с испанского
СЕРГЕЯ ГОНЧАРЕНКО

Хосе Агустин Гойтисоло — один из видных испанских поэтов послевоенной формации. Любителям поэзии у нас в стране известно это имя, они не раз встречали его на страницах советских журналов и антологий.

Напомню только, что он пришел в литературу в середине «беспокойных» 50-х годов, когда Испанию всколыхнула новая волна всенародного антифранкистского движения. Поэзия Гойтисоло долгое время оставалась на полулегальном положении: ведь он всегда был непримиримым противником не только фашистской диктатуры, но и ее питательной среды — воинствующего буржуазного мещанства.

Его причисляют к лидерам так называемой «социальной» поэзии. Что же, Гойтисоло действительно полагает, что искусство должно служить обществу — иначе его не поставишь и на службу личности. Но вот в предисловии к одной из его книг испанский поэт Мануэль Васкес Монтальбан роняет загадочное на первый взгляд замечание: «Если и можно найти какое-нибудь определение, подходящее к творчеству Гойтисоло, так это — «чистая поэзия». Правда, недоумение рассеивается следующей фразой: «Чистая в том высоком смысле этого слова, что его поэзия — воистину поэзия». Впрочем, Гойтисоло сам однажды попытался определить свое поэтическое кредо: «Я всегда старался придерживаться трех правил. Первое — не путать правильные мысли с хорошими стихами... Второе — не поддаваться формалистическим соблазнам, которые делают все стихи похожими друг на друга... И третье — стремиться, чтобы в стихе помимо искусного ремесла воплощалось искусство...»

Порой в его поэзии много сарказма. И все-таки главный движитель его лирического чувства — нежность. Нежность к ближнему своему переполняет его, даже когда он, что говорится, злословит. А злословит он и по собственному адресу тоже. Вообще самоирония — довольно редкое качество у испанских поэтов. Может быть, именно поэтому она кажется гипертрофированной у Гойтисоло? К тому же поэтическое самоосмеянье — не оборотная ли это сторона жизненного максимализма? Что же до сатиры и сарказма... Вспоминая долгие годы франкистского режима, он однажды признался: «Тогда сочинение стихов помогало мне жить и питаться хотя бы крупицами радости посреди стольких бедствий, посреди всеобщей нищеты — и материальной, и духовной. Ирония же и сатира давали мне в самые трудные времена возможность говорить во всеуслышанье о том, о чем никогда бы мне не позволили сказать серьезным тоном...»

Сегодня в Испании франкистская диктатура ушла в прошлое, но наследники фашизма отнюдь не сложили оружия. Поэт и коммунист Хосе Агустин Гойтисоло знает об этом. И хотя он сам однажды воскликнул: «Одними стихами мир нельзя переделать!» — он уверен, что поэзия тоже должна оставаться оружием. Оружием, которое, как сказал испанский поэт Габриэль Селайя, «заряжено будущим».

ХОСЕ АГУСТИН ГОЙТИСОЛО — JOSÉ AGUSTIN GOYTISOLO (род. в 1928 г.).

Испанский поэт, журналист, переводчик поэзии. Автор сборников стихов «Возвращение» («El retorno», 1955), «Ясность» («Claridad», 1961), «Шаги охотника» («Los pasos del cazador», 1980) и других.

«Иностранная литература» напечатала цикл стихов Х. А. Гойтисоло в 1975 г., № 11.

Публикуемая подборка составлена из стихотворений сборников «О времени и о забвении» («Del tiempo y del olvido». Barcelona, Editorial Lumen, Ramón Miguel y Planas, 1977) и «Слова для Юлии» («Palabras para Julia». Barcelona, Editorial Laia, 1979).

На улице

Я стихи сочинял.
Я всегда был речист.

Но слова в этот раз
не ложились на лист.

Я их звал поименно.
Я злился сперва...

Я потом умолял...
Но молчали слова.

Я на улицу вышел,
все разом кляня.

Посмотрел — а слова
поджидают меня.

Спасибо за науку

Я это услышал от деда,
когда в колыбели лежал.
Отец мой твердил мне о том же,
о чем я всегда забывал.

«Работай до пота, мой мальчик.
Работай, копи, выжидай.
Спасибо нам скажешь, увидев,
какой ты пожал урожай.

Судьба тебе вдруг улыбнется
всей радугой радостных вех.
И сам ты с улыбкой посмотришь
на прочих, пробившись наверх.

Не трать на пустые затеи
ты юный задор и запал!..» —
меня наставляли родные,
а я их совет забывал.

«Запомни, что жизнь беспощадна.
Тут смолоду в оба гляди.
Едва зазевался, другие
оставят тебя позади.

Здесь, ближнего не перепрыгнув,
не скажешь и шепотом «гоп».
Здесь можно вздохнуть
облегченно,
лишь севши соседу на горб.

Не трать на пустые затеи
заложенный смолоду пыл...»
Так часто мне это твердили,
что я это напрочь забыл.

Мне рассказывают, как убили Лорку

«...Петляла дорога на Бисмар,
и август кончался в пыли.
Вослед мавританской стеною
белела Гранада вдали.
Бледнела, как будто цыганка,
Гранада поэту вослед.
И бледен был наш Федерико,
как бледен был этот рассвет.

И он, оглянувшись, увидел
свой город сквозь красную пыль,
как некогда видел последний
гранадский эмир Боабдиль.

И брызнули белые стены,
ударив, как вспененный вал.
И как Боабдиль, Федерико
от ярости вдруг зарыдал...»

Ай!
Ай — аяя — яй!

Сколько минуло лет!
А такого поэта
больше не было.
Нет.

© José Agustin Goytisolo, 1977, 1979.

Обыкновенная история

Обычное дело: жил-был поэт.
Не скоро такой родится.
Он жил и любил. И даже в тюрьме
остался свободной птицей.

Обычное дело: поэт как поэт.
Был воином и сумасбродом.
Он, ветер народа[1], ушел в народ,
оставшись навек с народом.

Остался! А то бы как хорошо —
сказали б ценителям дошлым:
— Ну жил. Ну писал. Изучили? О'кей.
Глядите вперед. Он — в прошлом.

Но вот незадача: он мертв, а все ж
с живыми душой и телом
и ждет, когда же займемся мы
его недоделанным делом.

Она голосовала за Никсона

Ее звать Кэтлин она блондинка
рост — пять футов и девять дюймов
миловидна ей тридцать четыре года
закончила Пресвитерианский колледж в Акроне
потом изучала испанскую литературу
в Калифорнийском университете.

Там она встретила Тэда и вскоре они поженились
у них два ребенка сын и дочь
и уютный домик в Лонг-Айленде
Тэд блестящий инженер а вечерами
стрижет газон и занимается йогой
она же работает в издательстве.

Она за свободу но в разумных рамках
полагает что негры еще не созрели
ежедневно ходит на работу
в пятницу вечером принимает подруг
а по вторникам обедает с Тэдом
в «Ротари-клаб».

Неделю назад они прилетели в Европу
потому что в Париже какой-то конгресс по акустике
и поскольку Тэд был занят подготовкой доклада
она отправилась на юг договорившись
что встретится с ним в Малаге
как только закончатся пленарные заседания.

---

[1] «Ветер народа» — так называлась одна из книг испанского поэта-антифашиста Мигеля Эрнандеса, погибшего в 1942 году во франкистской тюрьме.

Сегодня она проснулась в гостинице
рядом с незнакомым мужчиной
и вытряхнув косметичку в поисках «Алька-зельцера»
думает примерно следующее
Тэд прилетает сегодня
а когда вернемся в Нью-Йорк
надо непременно сходить к невропатологу
он объяснит мне и это и все остальное.

Невеста-разлука

Ни душевной тревоги,
ни сердечного стука...
Как плющом обвивала
роковая разлука.

И была эта хватка
по душе нам обоим.

Я, уже задыхаясь,
не испытывал боли.

Эти кольца стальные
не могу разорвать я.
Одиночество прочно
заключает в объятья.

Сам не знаю как

Так дружно кричали
что ночь раскололась
но все ж я услышал
единственный голос.

Он ливнем и молнией
пал с небосвода
ни зонтика нету
ни громоотвода.

Как вышел сюда я
тропою окольной
где розой качается
звон колокольный?

И мне вдруг помнилось
такому плохому
что любящий колокол
слышен глухому.

Колыбельная моей дочурке, родившейся в июле

Для мальчишки — твердь земная.
Для девчушки — свод небесный.
Но никто из них не может
по лучу пройти над бездной.
Лишь проходит Юля
по лучу в июле.

Снятся девочкам поляны,
а мальчишкам снятся кручи.

Никому из них не снится
льнущий к листьям лунный лучик.
Снится только Юле
лунный луч в июле.

Лазят мальчики по скалам,
ходят девочки по лугу,
но никто луну льняную
не берет себе в подругу.
Юля, Юля, Юля,
лунный луч в июле!

Если мы встретимся снова...

Я должен признаться тебе в этом сегодня
потому что завтра может оказаться поздно.

На самом деле
я еще хуже чем думают остальные.

Во-первых что бы я ни заказал
мне всегда кажется что у ближнего блюдо вкуснее.
Во-вторых мне может надоесть совершенно новая
сорочка.
Так уже бывало.
В-третьих я обожаю похороны
и терпеть не могу поэтических вечеров.
Если уж я уснул меня не разбудишь и пушкой.
К тому же я человек глубоко верующий
в то что мебель должна стоять
на одном и том же месте
минимум тысячу лет.
А самое главное
хотя исподтишка
я и пользуюсь твоей зубной щеткой
все равно не хочу чтоб ты прикасалась к моей гребенке.
Я здоров как бык
и все-таки ежеминутно умираю от страха.
Я запросто решаю мировые проблемы
однако могу заблудиться в трех соснах
любого вопроса личного свойства.

Исправит меня разве что могила.
В народе про таких говорят «с приветом»
доктор же выразился иначе
классическая форма депрессии.
Поэтому
если мы встретимся снова
не принимай меня слишком всерьез ладно?

Дурья башка

По дури я стал поэтом.
Пишу я про голубей.
Сосед мой пошел в жандармы,
хотя был еще глупей.

Несет от меня свободой
и голодом за версту.
Сосед мой зевает сыто
с винтовкою на посту.

Я бил головой о стену.
Я, глупый, искал слова.
Гляжу: а заместо стенки —
соседова голова.

Я, глупый, ему открою
однажды, что он — холоп.
За глупость мою однажды
он пустит мне пулю в лоб.

Обоюдоострое оружие

В ножнах
стихотворенья
прячутся два
острия.
Первое
жалит сладко.
Второе же —
как змея.

Светлая влага
жизни.
Черный яд
бытия.

Шепчи
любимую строчку
но только
не позабудь:
второе лезвие
тоже
пронзит послезавтра
грудь.

■

ГОНЧАРЕНКО СЕРГЕЙ ФИЛИППОВИЧ (род. в 1945 г.). Советский поэт и переводчик, филолог-испанист, кандидат филологических наук. Автор книги стихов «Четыре лета в году» (М., 1980), переводчик поэзии Луиса де Гонгоры, Мигеля де Унамуно, Пабло Неруды и других испанских и латиноамериканских поэтов. Ему принадлежит ряд работ в области романской филологии и теории перевода, в том числе составление, предисловие и комментарий к двуязычной антологии «Испанская поэзия в русских переводах, 1792—1976» (М., 1978).

Румынские рассказы

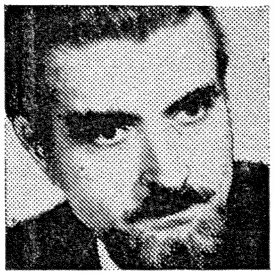
К сборнику «Первые ворота» Нормана Мани, из которого взят рассказ «Свитер», публикуемый в настоящей подборке, предпослан эпиграф из «Короля Лира»: «Зрелость — это все». Слова эти отражают как нельзя лучше главную тенденцию развития современной румынской литературы — вне зависимости от возраста представляющих ее писателей. Отходит в прошлое период лихорадочных поисков и крайних экспериментов. Повзрослевшим взором всматривается литература в бесконечное многообразие явлений новой жизни, ища ответы на волнующие проблемы нашего времени.

Предлагаемые вниманию читателей рассказы — тоже частицы этого процесса обретения зрелости. Она — в постепенном расширении плацдармов творчества, и временных и пространственных, во все более решительном обращении к теме последней войны с ее трагическими потерями, с героями коммунистического подполья и жертвами фашистских репрессий, и в упорном стремлении найти — на путях постоянно обновляемого реализма — лучшие средства выражения поисков и раздумий современной личности.

Ощущается эта зрелость и в растущей взаимодополняемости писательских поколений, дарований, творческих позиций. Самый молодой из представленных здесь писателей, И. Ликэ Вулпешть,— художник, влюбленный в поэзию нового труда. Самый старший, Т. Мазилу, посвятил свое творчество искоренению — совмещенными средствами юмора, сатиры, гротеска — враждебных гуманистической сущности социализма пороков, носителей которых он мастерски умел «прикалывать» в своем «карманном инсектарии». Ту же, в сущности, задачу, но уже иными средствами, решают и писатели среднего поколения: М. Син — сторонник возвращения к «прозе повседневности» к «реальным истинам в литературе», убежденный в том, что живописание обычного, среднего в современной жизни не менее выразительно и важно, нежели поиск в ней яркого и необычного; К. Матееску, художнический взор которого нацелен на раскрытие в личных драмах современников неведомых глубин и богатств человеческого духа; Э. Урикару, который, как и один из героев его романа «Мед», «до крайности захвачен образом жизни, достоинствами характера человека нового общества» и потому стремится развенчать опасные для этого человека иллюзии, в том числе и иллюзии безраздельного и бездумного господства над природой; Норман Маня, мастер интеллектуально насыщенной прозы, чье самобытное дарование отдано анализу тончайших душевных движений «человека, отягощенного грузом конкретной сегодняшней жизни».

Хочется думать, что публикуемая подборка современных румынских рассказов вызовет интерес у нашего читателя.

МИХАИЛ ФРИДМАН



КОНСТАНТИН МАТЕЕСКУ

Одиночество

Всякий раз, когда я возвращаюсь в Н., меня встречает вокзал. Громоздкое мрачное здание цвета сажи. Обычно я оставляю чемодан в камере хранения. Прежде чем толкнуть тяжелую дверь и выйти на улицу, я закуриваю сигарету. Город расположен в стороне от вокзала — отсюда его не увидишь. Его за-

---

КОНСТАНТИН МАТЕЕСКУ — CONSTANTIN MATEESCU (род. в 1929 г.).

Румынский писатель. Окончил философский факультет Бухарестского университета. Начал печататься в 1965 г. Автор романа «Пробный полет» («Zborul de probă», 1968), повести «Осень, птицы» («Toamna, păsările», 1975), сборников рассказов «Ауройка» («Auroaica», 1967), «Тени времени» («Umbrele timpului», 1969).

Рассказ «Одиночество» взят из сборника «Фантазия-соло на трубе» («Fantezie pentru trompetă solo». Bucureşti, «Editura Eminescu», 1976).

слоняют двух-трехэтажные домики, что некогда были постоялыми дворами. Надо сказать, на приезжего город производит весьма унылое впечатление. Почти все дома забраны массивными, грязно-белого цвета заборами. Перед вокзалом — лоток, на прилавке которого высятся пирожки и коврижки из ржаной муки. В это утро здесь никого нет. Я сажусь на каменные ступеньки, курю и наслаждаюсь покоем и тишиной, разглядываю высокие холмы, окружающие город.

Мне здесь все дорого. Я родилась в деревне, но тут я училась в школе, тут прошло мое детство. Вот уж несколько лет как я не была в Н., но хочется думать, что городок не меняется и в мое отсутствие. Каким он был, таков он и сейчас, когда я рассказываю вам свою историю, таким он останется вечно.

Думая о прошлом, я стояла, облокотившись о поручень лестницы. Навстречу мне шел военный. Я подняла голову и оказалась лицом к лицу с ним. В следующую минуту я уже знала, что это мой муж. Сигарета упала на тротуар. Мне хотелось броситься к нему, но не было сил сдвинуться с места. Единственное, что мне удалось,— это протянуть ему руку. Что-то оборвалось во мне, потом куда-то все поплыло, и больше я ничего не помню...

— Ты даже представить не можешь, как это ужасно — чувствовать себя одинокой. Каждый по-своему переносит одиночество. Жизнь как песок струится сквозь пальцы, и в конце концов начинаешь понимать, что завтра будет то же, что сегодня. И прожитый день — лишь мостик между двумя другими, столь же бессмысленными.

Я говорила, а сама гладила его по голове. Он прижался ко мне как ребенок, что послушно засыпает, слушая сказку. Иногда взгляд его скользил по мне, а потом терялся в зелени, что окружала лужайку, на которой мы сидели. Может, он и не слышал меня. Но разве это имело значение? Я радовалась тому, что все спокойно, что мы вместе, и не просила у судьбы больше того, что она сама мне дарила.

Как бы он ни старался, ему было не понять, почему меня так волновало его сходство с тем, с другим, о ком он и не догадывался.

— Когда едешь на фронт,— сказал он,— одиночество не имеет значения. Просто тебе становится все равно.

— Это так. Я согласна. Но потом ты возвращаешься и спрашиваешь себя: за что же я сражался? На любой вопрос можно найти ответ. А если ответа найти нельзя, то жизнь не становится ни лучше, ни хуже. Просто дело в том, что все приходится начинать сначала. Снова и снова начинать с нуля, и всякий раз делать это все труднее и труднее. Впрочем, ты и сам вскоре убедишься, что я права...

— А ты думаешь, что я вернусь? — чуть слышно отозвался он.

Отвечая ему, я думала о своем муже. Меня опять ожидала разлука. И вместе с радостью во мне незримо росло какое-то неясное чувство тревоги. Что же будет? Во второй раз я была рядом с незнакомцем. А впереди — полная неизвестность. Ах, да не все ли равно? Было утро, рядом со мной был он, и все страхи и тревоги вдруг оставили меня. Должна ведь когда-нибудь кончиться война! Господи! Все на свете имеет конец...

— Говорят, что смерть больше раза не обманешь,— сказал солдат.— Отец у меня погиб на войне, на той, на первой. В нашей семье все мужчины погибают на фронте.

Я провела рукой по его волосам. Они были мягкие, блестящие. Он лежал с закрытыми глазами, в уголках рта чуть притаилась улыбка. Все это было на следующий день после того, как я встретила его на вокзале. Прошел всего один день. И тем не менее у меня было такое чувство, что я знаю его вечность.

— Мне бы хотелось, чтобы мы говорили только о веселом. Расскажи мне что-нибудь. Ну хоть о девушках, которых ты любил до меня.

Мужчина посмотрел на меня сквозь приспущенные ресницы.

— У тебя спички есть? — спросил он, надвинув пилотку на глаза. С ближайших деревьев шумно взлетели птицы.— На фронте у нашего брата не так уж много любовных приключений. Могу вот тебе рассказать такой случай: наша часть как-то разместилась на ночлег в одной деревушке. Там я познакомился с молодой женщиной, в чьем доме мы провели дня три. И случилось так, что в одну из ночей мы были вместе. Она обнимала меня страстно, горячо и самозабвенно, а быть может, я был тем самым солдатом, что убил или ранил ее мужа. На рассвете, когда я проснулся, она еще спала и во сне улыбалась. Вероятно, ей снился любимый. Я быстренько оделся и потихоньку, как вор, выскользнул во двор...

Повернувшись ко мне, он лежал, подперев рукой голову.

— Представь себе, я даже не знаю, как ее зовут,— продолжал он, заслоняя ладонью глаза от палящего солнца. Я протянула ему спички. Мужчина жадно затянулся и снова прижался ко мне. Разумеется, рассказывая мне свою историю, он вовсе не думал о том, что и мы не назвались друг другу. Внезапно он нахмурился — его молодой, чистый лоб прорезала морщина.

— Поверь мне, я не хочу уезжать, но что поделаешь, надо, ты сама понимаешь! Если б не война, я остался бы с тобой навсегда, мне никто, кроме тебя, не нужен! Я люблю тебя!

Был полдень. Солнце пекло все сильнее. В лесу стояла мертвая тишина. Лишь откуда-то издалека едва доносился шум топоров: лесорубы валили сосны. Я глядела на мужчину рядом со мной и понимала только одно: он уезжает, уезжает и, возможно, никогда не вернется. Я больше не увижу его. Видно, такая у меня судьба: всего одну ночь быть с любимым. Всегда одну только ночь.

— Мне б хотелось, чтобы ты помнил обо мне,— сказала я.— Жизнь имеет смысл тогда, когда ждешь, когда помнишь.

Прижавшись к моему плечу, он сидел, курил и до невозможности напоминал мне того, кто был моим мужем и вот так же утром уехал и не вернулся. И этот молодой солдат с застывшим, печальным взглядом никогда не узнает, что сыграл в нашем свидании роль, уже сыгранную до него кем-то другим. Он играл ее так же неловко и так же незадачливо. Высвободив руку, я обняла его. Сквозь расстегнутую на груди гимнастерку видна была длинная, худая мальчишеская шея с бьющейся синей жилкой.

— Мне пора уходить,— сказал он.— Зачем только ты рассказала мне о себе.

— А почему? — не сразу поняла я.

Он улыбнулся.

— Любимая, ведь теперь, куда бы я ни уехал, мы всегда будем вместе. Это грустная история. Теперь она всегда будет со мной.

— Каждый носит посильную ношу. А мне необходимо было рассказать тебе о себе.

— Теперь в душе моей будет постоянно жить тревога за тебя.

— Ты жалеешь, что был вчера со мной?

Он взглянул на меня.

— Я должен был тебя встретить. Иного пути не было. Я ни о чем не жалею. Мне страшно. Завтра уезжаю. Удивительно, я раньше никогда не думал о том, что меня могут убить. Я был на фронте, ходил в атаку и не боялся. Мне было все равно, что случится со мной. Наверно, твой муж испытывал то же, с той только разницей, может, что не знал, что у него будет дочь. Что он оставляет после себя два одиноких существа. Знай он это, ему было бы еще труднее.

Он бросил окурок в сырую листву. Потом поднялся и сжал мне лицо руками.

— Ты помнишь, что я тебе обещал этой ночью? — спросил он.

— Конечно,— кивнула я.

— Ты должна мне верить. Я сдержу свое слово и вернусь. Я —

муж твой. Я обязательно вернусь, и ничто не разлучит нас. Война кончится. Все забудется. Мы будем вместе растить дочь. Ведь это и моя дочь. Наша дочь. Мы попробуем начать все сначала, мы еще будем счастливы, увидишь! Ты больше не будешь одинока, я тебе обещаю. Ты должна мне верить. Поверь мне с такой же силой, как вчера, когда ты увидела меня на вокзале, протянула мне руку и улыбнулась. Мы построим дом, будем работать, а в свободные дни приходить сюда, на наше место, будем лежать на траве и смотреть на плывущие облака. И всегда будем молоды, как сейчас...

Он поцеловал меня. В лесу пахло мохом и травой. Мы смотрели друг другу в глаза. Он что-то говорил мне — я верила ему. Эти мгновения остались во мне, словно восковые следы на дереве иконостаса.

Закрыв глаза, я представляю себе его лицо, его улыбку. Он застегивал гимнастерку, одна пуговица отлетела, и он тщетно пытался найти ее в траве. Что можно вспомнить, кроме каких-то движений, обрывков каких-то невысказанных мыслей? Был полдень. Взявшись за руки, мы вместе пошли к епископскому собору. Остановились. Внизу расстилался город. Золотистый разлив света. Он поправил пилотку, одернул гимнастерку. По боковой улочке строем шли солдаты.

— Не нужно было тебе рассказывать о себе,— снова повторил он.

— Почему?

— Теперь со мной будет и твоя печаль.— Он провел ладонью по моему лицу и пошел. Дойдя до угла, остановился и обернулся. Хотел прощально взмахнуть рукой, но раздумал. Какое-то время он еще мелькал среди крашеных заборов, потом исчез.

Моя жизнь не лучше и не хуже, чем у других. Просто у меня какая-то дурацкая манера раздумывать о том, что произошло. Я понимаю, что это ничего не дает. А вообще характер у меня веселый, я люблю пошутить, попеть, поразвлечься... Мужчины, наверно, считают, что веселье мое наигранное, нарочитое, что я просто хочу привлечь их внимание. Ведь тогда проще подойти ко мне, познакомиться. А подчас ко мне пристают, бывает и грубо. Но меня это не трогает. Я ко всему привыкла. Пожалуй, надо принимать людей такими, какие они есть. Не думать о них ни слишком плохо, ни слишком хорошо. Я поняла одно: все происходящее надо принимать спокойно, ведь я в том же положении, что и другие. К сожалению, я чаще встречалась с плохими людьми, нежели с хорошими. Но я не жалуюсь. Когда сидишь за столом с человеком, который тебе нравится, да перед тобой еще кружка пива, то поневоле стремишься забыть все печальное и думать только о приятном.

Вот уже четверть часа, как я не умолкаю. Солдат смотрит на меня ласково, хоть и кажется смущенным. Я просто заморочила ему голову всякими историями. Уж не думает ли он, будто я одна из тех бабенок, что бродят в поисках спутников, с которыми можно было бы скоротать вечер в захудалой забегаловке? Убить время, пока не наступит ночь. Впрочем, он не очень-то и прислушивался к тому, что я говорила. Иногда бросит односложное «да» или «нет», а то кивнет головой в ответ на мой вопрос. Он сидел напротив меня и подсаливал пиво. Проделывал он это столь тщательно, что я невольно улыбнулась. На желтых от никотина пальцах оставались крупинки соли. Время от времени наши взгляды встречались, и тогда он поспешно отводил глаза. Мне ужасно хотелось знать, что он думает обо мне, но я не спрашивала.

— Ты знаешь,— говорила я ему,— до войны я никогда не ходила в пивную. Меня ужасно раздражал шум. Но теперь все стало по-другому. Кружка пива, глоток цуйки поднимают настроение, бодрят. Рождают забытые надежды, рассеивают гнетущую тревогу. К тому же здесь можно поговорить с кем-нибудь, а это тоже немало. Замечательно, когда можно перебросится с кем-нибудь словом. Когда кто-то,

пусть даже незнакомый, может выслушать тебя, понять твои печали. А другим до этого и дела нет. Каждый думает о своем.

Зачем я говорила ему все это? Не знаю. Одним духом я выпила кружку пива. Молодой человек, с которым я разговаривала, был просто копией моего мужа. Даже будь они близнецами — сходство не было бы большим. В это трудно было даже поверить. Господи, какое волнение охватило меня, когда я увидела его на ступеньках вокзала. Да и любая женщина на моем месте почувствовала бы то же самое: неужели это он, мой муж? Ведь я же считала его давно погибшим.

Солдат закурил, поискал глазами пепельницу и, не найдя ее, положил обгорелую спичку на стол. Возле пустой пивной кружки. Было душно — он расстегнул ворот гимнастерки. Он казался мальчиком, юным и хрупким, едва-едва переступившим подростковый возраст.

— Куришь? — спросил он меня. И пододвинул пачку сигарет.— Правда, они очень крепкие. Дерут горло и очень горчат.

Я протянула руку, чтобы взять сигарету, и он заметил на пальце у меня обручальное кольцо. Я ждала, что он спросит, замужем ли я, но он ничего не сказал. По-прежнему молча он положил сигареты в карман и дал мне прикурить. В зале творилось невесть что. Народу было видимо-невидимо. В глубине, возле стойки, играл на скрипке цыган.

— Выходит, ты куришь всерьез,— заметил парень.— Я имею в виду — затягиваешься по-настоящему, а не только вид делаешь. Извини, сигареты у меня не для дам, солдатские.— И, глянув на меня, он ласково улыбнулся. Я рассказала ему, что привычка курить у меня давняя, что одно время я была учительницей, работала в школе, а потом пришлось уволиться, и долго я не могла найти работу. Жилось мне трудно и голодно. Неожиданно для самой себя перед сном вошло в привычку покурить. Вот и втянулась. Каждый вечер я стояла у окна, курила и разглядывала запоздалых прохожих.

— Если расскажу тебе, почему мне пришлось уволиться,— продолжала я,— ты и не поверишь. Работала я в маленьком селе, затерявшемся среди садов и холмов. Село было красивое, и я мечтала, что со временем выйду замуж, мы построим с мужем дом и я останусь там навсегда. Как раз заканчивался учебный год. Дети в моем классе были шумные, озорные, но я к ним привыкла, да и они меня полюбили. Мне нравилась моя профессия, я даже гордилась ею. Мне казалось, весь мир принадлежит мне. Никаких забот у меня не было, а если и были, то теперь я понимаю, что в основном сама их придумывала. Тревоги мои были схожи с полевыми цветами — одуванчиками, что ли. Дунь — и как не было. В школе кроме меня работала еще одна учительница, а директором был ее муж. Человек пожилой, мрачный, редко улыбался. Их жизнь представлялась мне такой скучной! С утра до вечера они были заняты. Своим молодым задором, шутками я чуть скрашивала их серые, похожие на затяжной дождь, дни. Я любила петь и пела хорошо. Я и теперь люблю, а уж в молодости... Сейчас и голос у меня изменился. Стал грубее, что ли... От табака, верно.

Все это я говорила ему, подперев руками голову и не сводя с него глаз. Он молчал и только печально улыбался. А чему — было непонятно: моему ли рассказу, своим ли собственным мыслям. Действительно, о чем он думает? Обо мне? О себе? Скорей всего о себе, о своей жизни. У кого же нет своих забот и тревог. Особенно сейчас, в это смутное время. Но даже его молчание, как ни странно, давало мне ощущение какой-то близости и неизъяснимой радости. Мне казалось, что я сижу рядом со своим мужем, что снова чувствую жизнь, добрую и великодушную, что каждый час, проведенный с молодым человеком в военной форме, ниспослан мне судьбой за долгие и тяжкие годы ожидания.

— В школе все шло своим чередом. Праздник, устроенный по окончании учебного года, помнится мне и сегодня. Много цветов, детский хор, тоненькие, срывающиеся от волнения голоса, цветастые, празднич-

ные платьица девочек, шум, веселье. Вечером мы собрались у директора школы. И он, и его жена наговорили мне кучу комплиментов. Мы пили чудное виноградное вино, я пела... Потом директор вызвался проводить меня домой. На улице было темно. Когда мы переходили мост, он вдруг остановил меня. Сказал, что я красивая, что он любит меня, что без меня для него нет жизни. Он обнял меня. В чем-то клялся и говорил не умолкая. Я оцепенела от страха. Он был мне противен. Я едва вырвалась из его объятий. По-моему, даже ударила его. Добравшись домой, я бросилась на кровать и разрыдалась. Потом собрала свои нехитрые пожитки и уехала. Так закончилась моя недолгая учительская карьера. Я вернулась сюда, и с тех пор началась моя неустроенность и нищета.

Я курила и смотрела на него. Солдат заказал еще пива. Было очень душно. Открытые окна выходили во двор. Он был узкий, в углу валялись разбитые бутылки, мусор. Не очень удачное место для того, чтобы рассказывать свое сокровенное, подумала я. И все-таки мне было хорошо. Выпитое пиво, воспоминания, неторопливая беседа с молодым человеком, сидевшим рядом, как-то успокаивали меня. Он по-прежнему внимательно слушал меня, и на губах его играла ничего не говорящая улыбка. Официант принес пива. Мы чокнулись.

— Очень жарко,— сказал он и приподнял кружку,— за твое здоровье!

— Ты в отпуске? — спросила я.

Он кивнул...

— Послушай, я все хочу спросить тебя,— решилась я наконец,— что ты подумал обо мне там, на вокзале, когда я обняла тебя?

Солдат смущенно молчал. Я снова заговорила:

— Когда ты уезжаешь?

— Завтра вечером.— ответил он.

Так вот оно что. Ему надо уезжать. Я глотнула пива. Оно было очень горьким, невкусным. На глаза вдруг навернулись слезы. Что подумает обо мне этот парень? Рядом, за соседним столиком, молодые люди горланили песни, суматошно размахивая руками. Я достала из сумочки носовой платок. Солдат старательно посыпал пену солью.

— Тяжело, верно, было расставаться со своими?— спросила я.— С родителями, с друзьями... с девушкой? Или ты женат?

Солдат усмехнулся.

— Давай поговорим о другом,— сказал он.— Я одинок. У меня нет никого, если ты хочешь знать.

С ним тяжело было завязать разговор. Я сказала ему, что мой муж тоже был замкнутый и молчаливый. Что они удивительно похожи. Как две капли воды. Что там, на вокзале, я на мгновенье решила, что это он и есть. Солдат недоверчиво взглянул на меня. Даже как-то недоуменно. Погасил сигарету и бросил окурок в окно.

— Я хочу сказать,— попыталась объяснить я,— что вы похожи не только внешне. Есть и внутреннее сходство. Он был твоих лет, когда погиб. Я не успела его узнать. Он работал на обувной фабрике, куда мне с трудом удалось устроиться — в контору. Мы встречались после работы. Он ухаживал за мной несколько месяцев. Поначалу он мне не особенно нравился. Как и ты, он был красивый, но невеселый. Все время о чем-то задумывался. Я мечтала о другом. Мне хотелось, чтобы парень, в которого я влюблюсь, был жизнерадостным, обаятельным, общительным. Чтобы водил меня на танцы и вечеринки... Но потом я привыкла к нему и согласилась выйти за него замуж. Мне было уже двадцать, и я решила, что пора как-то определиться. Страшно было остаться одинокой. А мой муж был добрым и ласковым.

— Мой муж,— снова заговорила я,— до свадьбы не рассказывал мне о себе. Разве что кой-какие мелочи. Мы ходили с ним в кино или часами гуляли в парке, бродили по улицам. И поцеловал-то он меня до свадьбы всего раз, не больше. Мы себе ничего не позволяли. Мои

родители были верующими и держали меня в строгости. Случись что до свадьбы, они меня и на порог бы не пустили. И вот когда свадьба была в самом разгаре, за ним пришли жандармы. Я ничего не могла понять, да и после не много удалось мне узнать о нем. Через полгода пришло извещение, что он осужден на двенадцать лет лишения свободы. В уведомлении еще было сказано, что судили его за антигосударственное преступление. Какое преступление — не объяснялось. Что ж, преступление так преступление — ничего не поделаешь. Я стала расспрашивать о нем на фабрике. Его друг, работавший с ним в одном цеху, сказал мне, что муж мой был коммунистом. Агитатором. Я тогда не очень-то понимала, что это значит. Мой муж — мне было даже странно его так называть, настолько это слово не соответствовало нашим отношениям,— не мог бы и мухи убить. Я твердо верила в его невиновность. И наша разлука, на которую мы были обречены, лишь укрепила мою веру в него. Мне кажется, я полюбила его по-настоящему именно тогда, когда нас с ним разлучили. В мыслях я всегда была с ним. Время все больше разделяло нас, но мне он становился все ближе, все дороже. Наверно, в это трудно поверить, но с каждым днем я все сильнее чувствовала его отсутствие.

Снова появился официант и поставил перед нами пенящиеся кружки.

— Ты устал? — спросила я солдата.

Он вздрогнул, протянул мне сигареты.

— Что ты, я слушаю тебя, интересно. И потом, я же завтра уезжаю. А когда уезжаешь, усталость не имеет значения.

Он зажег спичку. Я прикурила.

— Мне осталось рассказать тебе только конец. Он печален, но с ним связаны мои лучшие воспоминания.

Солдат спокойно допил пиво, опустил кружку на стол, взглянул на меня.

— То, о чем я хочу рассказать тебе,— продолжала я,— случилось за несколько дней до начала войны. Вся страна была охвачена тревогой. И наш маленький провинциальный городок тоже вдруг проснулся от дремы, в которой пребывал все это время. Отовсюду приходили дурные вести. Каждый день что-то случалось. Все больше мужчин уезжало неизвестно куда. Холодный страх сковал людей... По улицам бесконечной вереницей шли колонны солдат. Однажды вечером дверь в мою комнату отворилась, и на пороге неожиданно появился он — мой муж! Высокий, бледный, страшно худой и заросший. Он обнял меня, чтоб я не упала. Сказал, что пробудет со мной только до утра, потому что сбежал. Что за ним следят и в любую минуту могут схватить. Что у него было какое-то поручение, которое он должен был выполнить — и выполнил. Я уж и не помню, что он говорил. Я двигалась как во сне, в какой-то оторопи. Да мы почти и не разговаривали. Слезы, жесты заменяли слова. Ласки, бессмысленный шепот. Есть в жизни такие минуты, их пересказать нельзя, не позволено. В ту ночь я поняла, как сильно люблю его. Поняла, что вся моя жизнь принадлежит ему. Вся без остатка. Поняла одно: что бы ни произошло с нами в будущем, какие бы испытания ни ждали нас — мы вместе.

И в эту ночь все было так, будто продолжалась прерванная год назад свадебная ночь. Но утром жандармы уже ждали его на улице. Муж был готов к этому, он сказал, чтоб больше я его не ждала, что он уже не вернется. Велел не терять веры в людей, в жизнь. Что я должна быть гордой и мужественной, не пасовать перед трудностями. И попросил у меня прощения. Я так и не смогла ничего понять. Прощения? За что? Он поцеловал меня. Обнимая его, я ждала чуда, чуда, что вот-вот каким-то образом произойдет и спасет его. Оставит со мной. Но чудес на свете не бывает. Его забрали. Затолкали в машину. Я услыхала рев мотора, испуганный возглас какой-то женщины, и больше — ни звука...

Солдат, загасив сигарету об угол стола, швырнул окурок на пол.

— Ты веришь мне? — спросила я его.

— Конечно, верю...— Он поднял на меня глаза.— Завтра еду. А жаль. Есть вещи, ради которых надо жить...

Он погладил меня по руке. За окном стало совсем темно. Со скрипкой под мышкой дремал уставший за вечер цыган.

Я отхлебнула глоток пива и снова заговорила:

— Моему мужу суждено было умереть. Он знал, что его ждет в случае провала, знал, на что идет. Не строил себе никаких иллюзий. Ко мне он вернулся лишь для того, чтобы исполнить веление судьбы. Он не удивился, что я ждала его, что оставалась невинной. Был со мной ласков и нежен, как и положено в ночь свадьбы. Собственно, эта ночь и была нашей свадьбой. Без гостей, без вина, без музыки. На прощанье он сказал, чтобы я вышла замуж, забыла его. Чтоб нашла свое счастье, которое он не мог мне дать. Не очень твердо, а все же сказал. Пять месяцев спустя мне сообщили, что он умер. Умер в тюрьме. Я поехала туда, хотела с ним проститься, поплакать на его могиле. Но мне даже не сказали, где он похоронен. А может, и могилы у него нет, кто знает. Скорее всего нет. Ведь те, что забрали его, способны на любую подлость. Я вернулась в город, у меня должен был родиться ребенок. Моей дочке теперь два года. Она у меня замечательная. Все, что у меня осталось от нашей незабываемой ночи счастья. Хочешь, я покажу ее тебе?

Я вынула из сумочки карточку и протянула ему. Он долго разглядывал девочку. И даже не заметил, как она похожа на него! Потом вернул мне фотографию. Сказал, что девочка и правда замечательная. Ему нравится, сказал он, что она беленькая, с челкой. Уж не смеется ли он надо мной? Дочка моя сейчас у родителей, они взяли ее к себе. Будет жить у них в селе, пока не кончится война, пока я не устрою свою жизнь.

Меж тем пивная опустела. Лишь за соседним столом сидели подвыпившие военные и о чем-то тихо шептались. Официант дремал, опершись на дверь. Солдат положил на стол деньги. Мы посмотрели друг на друга.

— Ну что, пойдем? — спросила я. Он кивнул.— Мне жаль,— сказала я,— что из-за меня ты столько просидел здесь. Ведь это твоя последняя ночь перед отъездом...

Он махнул рукой. Мы встали из-за стола.

— Ты жалеешь? Жалеешь, что потерял вечер на разговоры с пустой и болтливой женщиной? — Все так же молча он сунул в карман сигареты.— А ведь я тебе, в сущности, выложила всю свою жизнь...— Голос у меня задрожал.

Он неловко коснулся рукой моего плеча. На губах его была все та же добрая, детская улыбка.

— Куда мы пойдем? — спросил он меня. Я взяла его за руку. Мы вышли на улицу. После духоты пивного бара на улице было свежо и прохладно. Какое-то время мы шли молча. Маленькие улочки были пусты. Мы поднялись наверх и по тропинке, освещенной луной, дошли до леса.

— Тебе не холодно? — спросил он.

— Нет,— ответила я.

Мы лежали на мягкой траве, а вокруг шумели деревья, едва слышно шелестя ветками. Далеко внизу светились редкие огни вокзала. Он поцеловал меня. В темноте едва-едва было видно его лицо — на нем ласково блестели глаза.

— Я давно хотел сказать тебе,— чуть слышно прошептал он, наклоняясь ко мне,— только все не решался. Я твой муж. Самый настоящий. Я снова убежал. Они ничего не смогли со мной сделать. Я жив, и я вернулся к тебе.

Я слушала его как завороженная. Слова его плыли над нами, словно ночные бабочки, баюкая мои тревоги и надежды. Он обнял меня и сказал то, что можно было сказать только шепотом:

— Я знал, что ты будешь ждать меня. И потому пришел, чтобы повторить тебе все ласковые и нежные слова, которые ты твердила про себя в долгие бессонные ночи. Ты больше не будешь одинока. Ты будешь носить меня в душе, пока судьба не соединит нас.

Начался звездопад. Ветки деревьев клонились к нам, казалось, небо покачивается на них.

— Ты должна мне верить! Я снова вернусь. Куда бы я ни уехал, я снова и снова буду к тебе возвращаться. Что бы ни случилось — мы вместе.

На следующий день он уехал. Уехал туда, где раздается лязг оружия и бессмысленно гибнут люди. И больше не вернулся. А я все жду и жду его. И надеюсь, что он вернется. Вернется таким же молодым и красивым, в той же потертой солдатской форме. С вечно дымящейся в углу рта сигаретой и детской улыбкой. Вернется и будет моим мужем, моим любимым. Таким, каким обещал быть в ту незабываемую летнюю ночь. Волшебную и далекую.

Перевод Л. ДЕСЯТНИКОВОЙ

ИОН ЛИКЭ ВУЛПЕШТЬ

Поет металл в твоих руках

— Так ты, Матей, говоришь, что хочешь научиться этому ремеслу?

— Какому?

— Токаря, ясное дело.

— Не-а, я ничего не говорю — это дядя Ангел говорит.

— А при чем тут дядя Ангел? И когда ты успел породниться с ним?

— Ну, успел.

— А ты хоть знаешь, кто он?

— Дядя Ангел-то? А кто ж его не знает? Дядя Ангел — с той стороны долины, с речушки. Знаю, что он партийный секретарь, а для меня он дядя Ангел с той стороны долины. Речушка там такая — течет у самого порога его дома, а когда дождь в горах — она вздувается, и врывается прямо во двор, и...

ИОН ЛИКЭ ВУЛПЕШТЬ — ION LICĂ VULPEŞTI.

Молодой румынский писатель. Его рассказы печатались в периодических изданиях. Рассказ «Поет металл в твоих руках» был опубликован в библиотеке еженедельника «Лучафэрул» (декабрь, 1979). В 1980 году рассказы И. Ликэ Вулпешть были отмечены литературной премией «Лучафэрул».

— Ладно, ладно,— перебивает Вайда и глядит на его неуклюжие руки. Ангел, когда привел парня, сказал мастеру:

— Дядя Вайда, товарец новый, тут случай особый, смотри уж сам, как с ним быть.

После работы мастер кивнул на веник.

— А на что он мне?

— Возьми да пройдись с ним там, где ступаешь.

— Я?

— Ты. Не сечешь, а? Ладно, дай-ка мне! — Мастер ловко орудует веником, собирает мусор, проводит паклей по станку и вытирает руки.

— На сегодня все. Увидимся завтра.

Парень останавливается на пороге.

— Все, приятель. По домам! Где живешь-то?

— У дяди.

— А он по какой части?

— Продает лотерейные билеты.

— Ладно, пока...— А сам не уходит: — А не выпить ли нам по кружечке пива? Жара-то какая сегодня.

В пивной все столы заняты. Матей пробирается в угол. Сейчас же туда подходит усатый с гроздью кружек в руке.

— Занято,— говорит.— Куриная слепота у тебя, что ли, не видишь — портфель стоит.

— Сам слепой, лопоухий,— говорит Матей и упирается рукой в грудь усатого. Мастер спокойно наблюдает, потом говорит:

— Раз уж повстречались, так чокнулись бы, так оно лучше.

Матей убирает руку с груди парня. Тот уходит, цедя сквозь зубы:

— Вот дурья башка!

Матей не слышит. Мастер пьет, вытирает губы.

— Пошли!

— Нет. Сейчас моя очередь угощать. — Матей достает истрепанную бумажку в двадцать пять лей.

— Твоя-то твоя, только ведь и завтра день. Или, думаешь, жары такой не будет и пить не захочется? Ну, бывай! — и уходит.

На следующий день Матей не приходит. В цехе появляется Ангел.

— Нет его, товарищ Ангел.

— Вчера набезобразничал в баре. Угодил в милицию. Пришлось вмешаться. Скверная история, это уж точно. Да ничего не поделаешь.

— А может, оно и не совсем так. Не будем торопиться...

К обеду появляется Матей: длинные, спутанные на затылке волосы, широкие брюки развеваются словно юбка, неловкие руки болтаются как ненужное приложение, вид пройдохи.

— Явился?

— Ага.

— Очень хорошо. Дай-ка мне вон ту схему.

Парень подает.

— Где пропадал?

— Дома был.

— Было бы неплохо, если б ты пришел с утра.

— Было бы, да вот не вышло.

— Ну ладно. А скажи-ка, что бы ты делал в деревне в это время?

Матей задумывается.

— Сейчас? Ага, двенадцать. Я отправился бы в магазин, пропустил бы пару рюмок рома, купил бы пачку «Карпаць» и — к ней.

— Она красивая?

— Не-а, но мне нравилась.

— Ну, а потом?

— Потом пошел бы в кино или играть в шашки.

— Отлично, ну-ка измерь, пожалуйста, вот эту штуковину, сколько там?

— Шестнадцать на двадцать два.

— Добро. А остальное надо отрезать. Попробуй сам.

Матей включает станок, резец входит в металл. Мастер молча оборачивается, удивленно смотрит, прислушивается.

— В чем дело?

Мастер молчит, кивает, чтобы парень продолжал. Тот заканчивает, останавливает мотор, снова спрашивает:

— В чем дело-то?

— В чем дело? А ты и не понял?

— Что именно?

— Неужели ничего не слышал?

— Нет.

— А ты знаешь, парень, что металл запел в твоих руках?

— Запел? Какого дьявола ему петь?

— Да вот так. Ну-ка прислушайся.

Оба молчат. Матей засмеялся.

— Вы обходитесь со мной, как я с нашим сельским участковым. Он все косился на меня, грозился засадить. А я все помалкивал, пока не нализался. Встретил его на почте, и — с чего это мне стукнуло — запихал ему в ухо монетку, и все приговаривал: «Ну-ка посмотрим, сработает ли автомат». Он толкнул меня, а я и отвесил ему пару горячих. Но он не успокоился и все-таки укатал меня куда хотел.

— Сколько отсидел?

— Несколько месяцев. Повезло, что он уехал из села.

— Неладно это у тебя получилось. Да ничего. Время прошло. Может, и твоя правда тут есть. А то некоторые превышают власть.

Матей рванулся к нему:

— Мастер, можно я тебя чмокну?

— С чего бы это?

— Мне никто такого не говорил.

— Ну хочешь — так чмокни.

Парень поцеловал его.

На следующий день в цех входит вахтер:

— Кто тут Памфиле Матей?

— Я,— говорит парень.

— Тебя там дожидаются. Я сказал, чтоб потерпела до конца смены, а она говорит, срочно, мол.

Матей поглядел на мастера.

— Ну иди, раз срочно.

Ушел — и с концами. Три дня не показывается.

— Кто был-то? — спрашивает мастер у вахтера.

— Такая молоденькая, щупленькая. По всему видать, из села.

Через три дня парень появился снова. Молча подошел. Мастер — словно тот и не пропадал вовсе — говорит:

— Штангенциркуль там?

— Да,— и подает его.— Мастер, а в деревне погодка — летать хочется!

— То есть?

— То есть прошли дожди, все пошло в рост: и пшеница, и деревья, и все кругом.

— Откуда ты знаешь?

— Я же был там, ведь Иляна приезжала.

— Это и есть твоя ненаглядная Иляна? Женишься на ней?

— Она замужем, и детей у нее четверо.

— А как же тогда?

— Я увел ее от мужа, пентюх он, каких свет не видывал; теперь она живет со мной. Что скажешь об этом, мастер?

— Если считаешь, что это хорошо,— делай как знаешь.

— Хорошо, да не очень. У нее зарплаты нет, а я, я...

— Молодец, что напомнил. Вчера как раз получил зарплату, тебя не было. Я взял и твою. Вот что тебе причитается.

И дает парню двести лей. Матей краснеет, протягивает руку, смотрит на деньги и говорит:

— Скажи, мастер, как мне быть?

— Ты это про что?

— Да с этой женщиной.

— Сказал ведь я. Делай как знаешь.

— Я-то думаю, что лучше бы отпустить ее к своему пентюху.

— Верно думаешь. Отпусти!

Они помолчали. Матей вернулся к станку.

— Как это ты, мастер, говорил о металле?

— А ты что, туг на ухо? Рука у тебя такая, что металл поет.

— Правда?

— Точно.

Мимо проходит один из новых приятелей Матея.

— Панделе,— говорит он,— подожди меня, пойдем выпьем по кружечке после работы. Приглашаю. Зарплату получил.

— Зарплату?

— Да, вчера, дядя Василий выписал мне двести лей.

— Как это? Вчера не было никакой зарплаты.

— Не было?

— Не-а. Но если хочешь выпить пивка — давай поровну.

Через несколько дней у ворот снова появляется женщина из деревни.

— Памфиле Матей, тебя ждут после смены.

— Кто, опять она?

— Опять.

— Послушай, дядя, скажи ей, что Памфиле Матей здесь уже не работает и передал, мол, чтоб больше не искала его. Пусть возвращается к мужу и к детям. Так вот ей и передай,— повторил Матей.

Перевод Ж. ПОРТНОЙ

НОРМАН МАНЯ

Свитер

Она уходила в понедельник и возвращалась в пятницу. Уходила и плакала, точно прощалась навсегда: довольно, больше она не оставит нас одних, за неделю все может случиться. А вдруг накануне ее возвращения произойдет чудо и нам

НОРМАН МАНЯ — NORMAN MANEA (род в 1936 г.).

Румынский писатель. Начал печататься в 1966 г. Автор сборников рассказов «Ночь в долгом измерении» («Noaptea pe latură lungă», 1969), «Октябрь, восемь часов» («Octombrie ora opt», 1981), романов «Атриум» («Atrium», 1974), «Книга сына» («Cartea fiului», 1976).

Рассказ «Свитер» взят из книги «Первые ворота» («Primele porţi», Bucureşti, Albatros, 1975).

не надо будет больше расставаться: небо прояснится, и мы очутимся в поезде с настоящими вагонами... Он совсем не будет похож на тот, что привез нас сюда, вытряхнув в глушь, точно убойный скот. Это будет светлый теплый поезд с мягкими сиденьями, добрые, вежливые тети будут ходить по нему и предлагать разные кушанья, как и полагается поступать с путешественниками, вернувшимися с того света. А вдруг до пятницы, дня ее возвращения, это нескончаемое пепельное небо рухнет, поглотив нас целиком,— мы со страхом ожидали этого дня — и все окончится навеки. Поэтому возвращалась она всегда почти бегом, охваченная ужасом, едва переводя дыхание, мешок, который она волокла на себе, был набит днями и ночами, вырванными ею у жизни для нас.

Она была уже как тень, высохшая и почерневшая. Стоя у окна, мы ждали, когда из тумана появится призрак, с лихорадочной поспешностью приближающийся к дому. Она просила, она убеждала, и, наконец, ей разрешили ходить в соседние селенья. Они знали — не убежит, ведь у нее оставались мы. Отец получал за работу четвертинку хлеба в день, и, если б не она, мы давно бы умерли, еще в самом начале.

Ей позволили уходить. Время от времени им нравилось проявлять этакое циничное благодушие, удовлетворяя чью-то просьбу. Это было для них своеобразной игрой, которую с тем и затевают, чтобы неожиданно прервать, получая удовлетворение от собственной жестокости. С понедельника до пятницы она вязала у крестьян, живущих в округе. Мы понимали, что игра может оборваться в любой момент — в нашей ли лачуге или в одном из тех теплых домов, где она, не зная чужого языка, работала молча, получая за это картофель, фасоль, а иногда муку, брынзу, сушеные яблоки и сливы. Она еще надеялась, что нам удастся спастись, и цеплялась за все, что могло нам помочь.

Пятница всегда была для нас неким началом. Мы как бы снова получали отсрочку. Она проскальзывала к нам сгорбленная, раздавленная под тяжестью мешка. Радость от каждой нашей встречи была такой оглушительной, что поначалу мы не могли говорить. Долгое время она молча металась по комнате, точно обезумев от радости, боялась к нам приблизиться, словно не веря, что снова видит нас. Потом с трудом приходила в себя, развязывала мешок, брошенный у порога. Когда она наконец разгибалась, собираясь раздать содержимое,— это означало, что она успокоилась.

Вот и сейчас она аккуратно раскладывает на полу картошку и свеклу в шесть кучек, рассчитанных на шесть дней. Отдельно отложены три яблока. Проводит рукой по лбу — усталость иссушает ее силы. «Я тут кое-что припасла». Все привычно. Ее слова не обязательно означают какой-нибудь сюрприз. Мы давно уже не ждем ничего нового, лишь удивляемся тому, что возможно хотя бы это.

Она тащит его из глубины мешка с усилием, точно это уши или передние лапы какого-то зверя. Он выскальзывает на пол из ее исхудалых рук, не сумевших удержать его, и оттуда кажется еще толще, пушистее.

Конечно, он предназначен для папы, хотя, по-моему, для этого он слишком красив; впрочем, он как раз, может, потому и красив, чтобы каждый, глядя на него, не мог побороть искушения завладеть им. От него шло сияние! Наверное, добрый волшебник, который все-таки спас нас, решил показать, на что он способен, и прислал эту тайную весточку. Ночь вокруг нас дышала дымом, холодом и тьмой, мы привыкли слушать одни лишь выстрелы, окрики, лай сторожевых собак, которым потом долго вторил хор ворон и лягушек,— мы забыли, что на свете бывает такое сияние...

Она не смогла развернуть его перед нами, и мы не увидели его целиком, но теперь это уже не имело никакого значения. Мы все

поняли: это настоящее. Теперь и наше спасение казалось не за горами, во всяком случае оно стало возможным, раз возможно такое чудо.

Я не смог удержаться, я подошел к нему и погладил. Он был мохнатый и послушный; казалось, завернись в него — и никто тебе не страшен. Я гладил его ворот, потом сжал и снова расправил, он слушался меня. Я положил его, развернул, потом снова сложил, потом поднял и понес к отцу. Но меня остановил ее голос — я так и думал, сейчас она скажет, что он принадлежит мне, хотя, по правде говоря, больше всех он нужен отцу, который давно потерял надежду на спасение.

Свитер большой и теплый, конечно, он связан для отца, надо поскорее отдать его, напрасно я медлю.

— Нет-нет, это не для отца,— немного виновато прошептала она.

Я оторопел. Я все еще прижимал его к себе, ослепленный красками и теплом. И сообразил, что не следовало мне вмешиваться или по крайней мере надо было с самого начала понять, что к чему.

Бедняга, она наконец сделала что-то и для себя. В заброшенной снежной степи он был ей нужнее, чем всем нам. Я сам должен был додуматься до этого, вспомнить, как она уходила, закутанная в какую-то дерюгу, обмотав ноги тряпьем. Я не имел права на такую глупость и слепоту. Слезы досады душили меня. Если бы я мог, я никогда не выпустил бы его из рук, таким мягким и податливым он был. Но он предназначался ей. Я только развернул его напоследок. Он уже не казался таким большим. Конечно, он был сделан для нее.

Я повернулся и направился к доброй фее, скорчившейся в углу, где ей казалось теплей.

— Свитер для Мары,— улыбнулась она или заплакала, не знаю.

Было темно, я не видел ее и не мог разобрать, улыбается она или соскользнула на пол, как это уже бывало раньше. Вокруг меня клубился синий туман, а может, и вправду стемнело.

Я ничего не мог поделать с собой и некоторое время стоял в оцепенении, зарывшись головой в мягкое тепло его рукавов и груди. Но ледяное молчание, воцарившееся в комнате, проникло даже сквозь толстый спасительный слой шерсти, оно становилось невыносимым, казалось, все вдруг перестали дышать.

Я решительно подошел к Маре. Я точно помню, как подошел к ней и вложил ей в руки свитер.

На второй день я приглядеался к нему. Он уже не притворялся прежним немыслимым чудом. Во-первых, он состоял из одних узелков — это сразу бросалось в глаза. Я вывернул его наизнанку и показал Маре: пусть убелится — узелок к узелку, будто он вырос из одних остатков, едва соединенных между собой. Потом — цвет. В некоторых местах, правда, он был красный, но в других — невозможно даже разобрать. Белый с пепельным, черный, ниточка желтого, кусочек зеленого — одного оттенка, кусочек другого, полоска серого, кусок темного болотно-глинистого соседствовал с темно-сливовым, чуть повыше ветчинно-розовый, а рядом — красно-желтый клюв какой-то птицы. Вдобавок свитер был явно не девичьим, но об этом я промолчал. Мара занимала у нас особое положение, и мы — об этом не раз говорилось — должны были это помнить.

Ее любили больше всех, оберегали заботливее, чем самих себя.

Я не мог объяснить ей, что он слишком для нее велик, по-мужски закрыт у горла. В конце концов, она уже не маленькая, сама может сообразить. Но чтобы понять это, надо по крайней мере снять его с себя. Ей разрешалось все, и коль она попросила разрешения не раздеваться, ей позволили. Поначалу, во всяком случае первые дни, она так и спала одетой. Холод мучил нас и днем и ночью, а ночью особенно. Стоило набросить на себя какую-нибудь ветошь, начиналась новая морока — вши. Приходилось раздеваться, мыться, завора-

чиваться в другие, чистые тряпки, а эти тщательно проверялись по всем швам и кипятились, иначе беда. Так что мне ни за что не дали бы спать одетым три ночи подряд. А ей — пожалуйста, хотя именно ее оберегали больше всех. Как только на другом конце бараков кто-то заболевал, родители, потеряв от страха голову, бросались к ней, щупали лоб, заглядывали в горло, осматривали глаза, волосы, ногти. Какая паника начиналась, если лоб или руки оказывались горячими...

Она должна была выжить во что бы то ни стало. К нам она попала по ошибке. Что скажут люди, если мы вернемся, а она погибнет? Что мы спасали только собственную шкуру? Может быть, ее мама уже узнала, где мы находимся, приготовила нужные бумаги и теперь едет сюда, чтобы забрать ее? Девочка не имела никакого отношения к нашему проклятию. Мать отослала Мару на несколько дней к подруге, чтобы та присмотрела за девочкой, пока она пробудет в больнице. И когда разразилась беда, общий поток подхватил и девочку. Наши протесты и уверения никого не трогали, для объяснений не было времени, к тому же нам попросту не верили. Конечно, и мы ни в чем не были виноваты, но участь случайной пленницы казалась тем более печальной. И все решили: если ее положение не прояснится и бедняжку не вызволят, она должна остаться последней, пережить всех. Они шептались по углам, когда девочка не слышала их, сменяли друг друга, охраняя ее, стараясь развлечь и в то же время оградить от любой опасности. Как я сразу не догадался, что подарок этот — для нее, что ей дадут насладиться им досыта!

Лишь спустя четыре дня я получил возможность вволю наглядеться на него. Чудо! — я больше не хотел обманывать себя. Я мог попросить его хотя бы на ночь. Она бы дала, даже подарила его насовсем, попроси я ее об этом. Но я не смел, это не дозволялось. Зато я мог сидеть и любоваться им часами. Самый искусный в мире волшебник не мог бы сделать что-либо более ошеломляющее. Узелки только укрепляли свитер, собирали и удерживали в нем тепло, с тем чтобы снаружи его поверхность казалась еще легче и глаже. А краски — причудливые островки, то черные, то зеленые, то голубые — словно для того и были созданы, чтобы путешествовать по ним ладонями и глазами, купаться в них сколько душе угодно, пока вдруг не уткнешься в красное пятно — африканская пустыня! — с пепельным клочком облака, окаймленного золотистыми краями то ли солнца, то ли диковинных цветов. Разве может хватить дня, чтобы рассмотреть все эти континенты, растущие один из другого, дурманящие взгляд!

Я так и не успел насладиться им. Не успел поносить его в свое удовольствие. Через несколько дней на щеках Мары появился лихорадочный румянец. Она оставила свитер висящим в углу возле окна. Я смотрел на него, думал о нем, но не притрагивался, хотя очень желал этого.

Маре становилось все хуже. Она умирала. С тех пор как умерли мои дедушка и бабушка, я знал, как это бывает с начала и до конца. Она должна была скоро умереть, и никто не мог ей помочь. Временами она оживала, становилась веселой и разговорчивой, но минуты эти были обманчивы — я знал.

Теперь не было причин не отдавать мне свитера. Болезнь набирала силы. Дни становились длиннее, а я с ужасом чувствовал приближение смерти, я боялся подумать о том дне, когда увижу, как вдруг похолодеет любимое существо. Не знаю, если бы сейчас кто-нибудь дал мне свитер, я бы, верно, побоялся даже прикоснуться к нему, будто он добился своего, прервав естественный ход событий. Наверное, ради ее спасения мы бы отдали его, хотя я ведь не виноват в том, что она заболела и никакие лекарства не могут ее спасти.

Я не вмешивался в их разговоры, когда ее решили наконец по-

хоронить в лесу рядом с бабушкой и дедушкой и положить в могилу все, что ей принадлежало.

Я дрожал, я надеялся, что они забудут... Но мама стянула его с края кровати и с ненавистью бросила на остальные вещи.

Они еще постояли немного возле девочки, задыхаясь от рыданий, обняв друг друга. Мара была чужой, но она первая последовала за дедушкой и бабушкой. Она стала родной. Когда выносили гроб, папа опустил в него большую руку, пошарил и уронил что-то позади себя. Мама заметила, долго смотрела на это и ничего не сказала — она разрешила спасти его.

Из леса мы вернулись насквозь продрогшие. Шел дождь, и к нашим лохмотьям пристала земля. Мару покрыли мокрые комья грязи. Я помнил, как умерли бабушка и дедушка, и, когда Мара болела, знал, что она не выживет. Я никак не мог забыть, как она сжималась в комочек, обнимала шею мою руками, чтобы согреться. Как мы любили ее быстрый звонкий смех... Мы молчали, потом легли на глиняный пол, где нас застала ночь.

...Я все не подходил к нему. Несколько раз украдкой я смотрел, как он висит в углу, потемневший, брошенный, застывший. Но и на следующий день никто не предложил мне надеть его, хотя в комнате стало холодно и влажно. В понедельник мама снова ушла, и лишь когда мы остались одни, папа набросил его на мои плечи. Я почувствовал, как, согревая, скользнули мне на грудь его рукава. Я натянул их, с головой зарылся в теплую ткань. Он обхватил меня, точно живой. Хорошо было пройтись в нем по двору. Или хотя бы по комнате. Но отчего-то мне было не по себе. Я так и остался сидеть в нем, скрючившись. Теперь он был мой, я так этого желал... Сильная дрожь била меня, и я никак не мог унять ее.

Радость моя была короткой. На второй день я перестал его чувствовать, он как бы лишился жизненных сил на моих плечах. Это был сигнал. Я помнил — такое начиналось и у бабушки с дедушкой, когда они заболели, и у Мары. Болезнь подкрадывалась исподтишка, вселялась незаметно, а потом внезапно обрушивала удар — это бывало к вечеру,— тогда жертвы бились в лихорадке, потеряв сознание, а затем и дар речи.

Начиналось волнение, у соседей просили пирамидон, аспирин, немного спирта. Наконец появлялся термометр. Единственный на весь лагерь, завернутый старухой маньячкой в кусок грязного покрывала: его удавалось выпросить с трудом, обычно после долгих шумных уговоров. С трепетом, как талисман, его передавали из рук в руки, боясь разбить, потому что тогда оборвалась бы последняя нить, соединявшая нас с миром, с которым мы так хотели быть связаны.

В тот раз ждали доктора. Только это был не видный, уверенный в себе мужчина в изящных очках, а усталый, сломленный болезнью туберкулезник в лохмотьях. Мы все же называли его доктором. У него тоже были маленькие белые руки. С некоторых пор он перестал их мыть в начале и в конце своих визитов, да и вообще старался не задерживаться долго. Он приложил ладонь ко лбу Мары, осмотрел ее пальцы, пощупал пульс, развернул желтое похудевшее тельце и указал на пятна, проступившие на боках: одно, еще одно — болезнь целиком завладела маленькой пациенткой, делать было нечего, разве что развести руками и, скосив взгляд, пробормотать название муки которая уже долго не продлится, всего лишь несколько дней... Потом он снова пожал плечами, поднял бессильные руки, моля, как и все мы, о чуде, и, сгорбленный, смущенный, выскользнул так же неслышно, как и пришел.

Опускался вечер, я чувствовал не столько угасание усталого дня, сколько неизъяснимую жестокость мороза, пробравшего меня. Когда наступил ночной холод, случилось нечто странное: свитер не-

рестал меня защищать. Равнодушный, холодный, он безвольно повис на моих плечах. Я понял: он таил в себе болезнь. Он обманул Мару, но ей не удалось забрать его с собой в могилу. Теперь настал мой черед. Мне надо было во что бы то ни стало содрать его с себя, выкинуть, сжечь! Поздно, это уже ничего бы не изменило.

Мне страшно было думать о той мокрой, темной яме, в которой я буду лежать, не зная, что же произойдет дальше... Я понимал, что виноват: не надо было так откровенно и поспешно поддаваться власти его красок и тепла. Если бы я сдержал себя тогда, подождал, не связывал его так бесстыдно со страданиями Мары! Не следовало быть таким безвольным, слепым и нетерпеливым, испытывать такую радость, какую я пережил в тот день, когда получил его,— даже слезы выступили на моих глазах. Я точно знал, что наказан за жестокость и подлость. Если бы я отказался от него после смерти Мары, быть может, мне удалось бы избежать наказания...

Я не выдержал, подошел к окну. Папа, как обычно, всматривался в узкую полоску света, ожидая чуда или гибели. К вечеру отчаяние овладевало им, и он не умел с ним совладать...

«Я болен, мне плохо». Но он услышал это не сразу. Потом резко обернулся, пощупал мой лоб, потащил к окну, велел высунуть язык, раскрыть пошире глаза. «Ты очень бледен, но у тебя все в порядке». И, подняв меня крепкими руками, стал укачивать.

У меня не было сил говорить. Я показывал на отравленные рукава, пытался оттянуть большой ворот свитера, но отец так ничего и не понял. Скоро совсем стемнело, надо мной плыла его улыбка, он склонился, опустив ладонь на мой влажный лоб.

Очнулся я в гробу, опущенном в яму рядом с Марой. Был день, мне было холодно. Я хотел сказать, что не доживу до пятницы, что некому будет меня спасать, потом наступила ночь; укрытый глубоким облаком, я ничего не видел, оно все разрасталось, потом я услышал над собой испуганный голос.

На шее, ушах я чувствовал торопливое дыхание. «Хорошо, что я успела, вовремя успела»,— говорил голос. Ему отвечал тонкий, задыхающийся — врача, наверное: «У него нет пятен, нет симптомов». Так и сказал — «симптомов». Это звучало красиво, и я забрал это слово с собой, я проваливался, плыл, а симптомы все убаюкивали, потом я снова падал, поднимался и ничего не помнил. Скользкие, влажные рыбы шлепали меня по губам, лизали уши, и я плыл вместе с ними. Иногда я пытался высвободить грудь от волн, открыть глаза. Я видел Мару, прозрачную, восковую, острые желтые зубы врача и снова яму.

Забытье длилось, видимо, несколько дней, и наконец я услышал знакомый голос: «Теперь я могу уйти, хорошо, что все прошло, теперь я спокойна». Смерть выпустила меня из своих рук, я пришел в себя, заново делал первые шаги; дрожа и держась за стены, с помощью отца добирался до окна, выходящего в степь, которая поглотила нас.

Я осмелел и спросил, остались ли пятна.

— А у тебя их и не было. Это была не болезнь, а страх, так сказал врач. Ты бредил, говорил: «Он прилип ко мне, прилип, прилип». И все пытался поднять руки.

Отец приподнял меня, чтобы я посмотрел в окно, потом напоил горячим настоем, а в пятницу с самого утра степь вернула нам маму. «Я пришла пораньше. Сказала, что ты болен, и мне дали немного сала, чтобы ты набрался сил».

И я набрался сил. Я снова мог смотреть на него. Побежденный, съежившийся, покорный, он лежал в углу, готовый служить мне. Но теперь я был другим. Я оставил его без внимания, в безвестности. Меня завернули в толстое одеяло, и я не чувствовал холода. Возле меня поочередно дежурили, решив не оставлять одного.

Он становился все меньше и меньше. Наконец, я позволил ему обхватить меня. Он казался не таким уж опасным. Пока он лежал скомканный у мокрых стен, сырость укротила его колючий неровный ворс. Я ткнулся лицом в жесткую ткань, недавно казавшуюся такой мягкой и доброй. Я хотел, чтобы на меня снова пахнуло от него запахом свежего хлеба, печеного картофеля, стружек, молока, дождя, листьев, тоской по обыкновенным карандашам, яблокам. Но в нем ничего такого больше не было, от него пахло гнилью. Сырой и тяжелой. А может, удушающей и острой, уж не знаю какой. Он почернел, усох, устал.

В последующие дни мы привыкали заново друг к другу. Он приходил в себя. Становился все теплее, пушистее. Краски проснулись, ожил целый мир пятен. Мы заново знакомились друг с другом, но теперь сближение пугало меня. Когда-то я жаждал его, как подлец. Желал, чтобы он достался мне, и мое нетерпение ускорило смерть Мары. Я содрогался от отвращения к себе, хотя никто, кроме него, не знал об этом. Я подходил к нему редко, обессиленный. Рукава путались, я не мог просунуть голову, а когда наконец натянул его, он слишком плотно обхватил меня. Но я больше не боялся болезни. Мара лишила его злой силы, и теперь он никому не мог нанести вреда. Лишь чувство вины мучило меня, страх, объятия жарких рукавов, обхвативших меня, как Мара, когда прижималась ко мне, напрасно пытаясь согреться...

Я привыкал к нему, и он стал послушным. Он больше не старался попадаться мне на глаза, чтобы не напоминать о прошлом. Он слушался меня, служил мне, уходил в тень, прилаживался. И я окреп, обрел уверенность.

На похороны доктора я не взял его. Это было бы слишком. Мела жестокая пурга, и я дрожал от ужаса и мороза. Я спрятал свитер подальше, чтобы никто его не нашел. Много дней я не вспоминал о нем и освободил его позднее, когда похорон стало больше — по нескольку в день. Никто не ждал отсрочки, больше нечего было бояться. Смерть застигала людей врасплох, выбирая тех, кто меньше всего ее ждал. Теперь уже было не до меня, страх сделался всеобщим, огромным. Нас становилось все меньше — измученных людей, забывающих о себе и о других.

Ни подлость, ни совесть уже ничего не значили. Он тоже это понял. Он погасил свои краски, запахи, сделался незаметным, но продолжал служить мне. Я носил его каждый день, он защищал меня, облегал и охранял, как кольчуга, и ничто не напоминало прежней нашей близости. Степные ветры, приблизившись, разметали нас. Их кровожадный вой перекрывал все. Никто бы уже не услышал в их реве слабого, беззвучного плача вины и стыда.

Каждый день таил опасность. Мы забыли счет времени, вслушиваясь в бешеный скрежет ночей. Время исторгало нас, и мы ничего не могли с ним поделать — время тоже заболело, мы же принадлежали ему.

Перевод С. ФЛОРИНЦЕВОЙ

ТЕОДОР МАЗИЛУ

Превратности благополучия

«Пока Нелу был генеральным директором, он мне постоянно изменял, а теперь, даст бог, угомонится»,— такова была первая реакция Веры на известие о том, что мужа понизили в должности. Она была твердо убеждена, что служебный крах наконец-то вернет супруга в лоно семьи. Конечно, лучше, если бы он оставался и примерным мужем, и генеральным директором одновременно — чего стоят чувства мужчины, который становится на праведный путь, лишь когда его припрут к стенке... Как только муж перестал быть генеральным директором, Вера особенно остро, если не сказать — вещественно, ощутила его неверность. Поначалу отдельные отступления от норм добропорядочного поведения в семье она считала лишь издержками благополучия. Однако вскоре связь с этой взбалмошной Аурикой, еще недавно казавшейся безобидной, абстрактной, неуловимой, приобрела вдруг весьма четкие очертания. И Вере приходилось прибегать к определенным усилиям, чтобы не выглядеть в глазах окружающих безмолвным свидетелем безобразных сцен. Правда, ей и самой не очень было ясно, в какой мере ее действия способствовали столь виртуозному падению мужа. Во всяком случае, она предпочитала оставаться в неведении на этот счет до тех пор, пока дело не прояснится само собой. Здравый смысл говорил в ее пользу: зачем, спрашивается, она стала бы гробить мужа? Ведь если он больше не генеральный директор, так и она уже не жена генерального директора! Как-то ночью она прокралась к нему в комнату — установив модус вивенди, они давно уже спали врозь — и прильнула к нему с прежним, почти девичьим пылом. Он же чуть брезгливо отстранил ее — этот жест, видимо, возвышал его в собственных глазах. Это было такое оскорбление, которое способно вызвать и ненависть... Надо было ждать лишь подходящего момента. Впрочем, Вера не исключала, что длительное предательство мужа столь губительно сказалось на его самолюбии, что инстинкт самосохранения и заботы о семье и детях у него напрочь атрофировались.

Вера окончательно пришла к убеждению, что совершила ошибку, выйдя замуж за Нелу. Она полностью разочаровалась и в его добродетелях, и в его недостатках и считала, что заслуживает лучшей доли. Нелу оказался не таким уж хватким в делах службы и не таким

ТЕОДОР МАЗИЛУ — TEODOR MAZILU (1930—1980).

Румынский писатель. Начал печататься в 1947 г., приобрел известность как писатель-сатирик. Автор многих сборников рассказов, в том числе «Сатирическая проза» («Proză satirică», 1969), «Госпожа Вольтер» («Doamna Voltaire», 1979), романов «В чужом доме» («Într-o casă străină», 1975), «Застава» («Bariera», 1955—1970), комедий «Дураки под лунным светом» («Proştii sub clar de lună», 1964), «Дон Жуан умирает как все» («Don Juan moare ca toţi ceilalţi», 1970) и др.

Рассказ «Превратности благополучия» взят из журнала «Ромыния литерарэ» (1978).

уж примерным семьянином, каким стремился выглядеть в первые дни их супружества. И добро и зло как бы остановились в нем на полпути.

Узнав о неприятностях мужа, Вера поначалу обращалась с ним как с больным — не лезла с расспросами, не беспокоила, старалась не нарушать его привычек, а детям даже запретила заходить в его комнату. «Не трогайте папочку, у него неприятности»,— объясняла она им. Однако затишье длилось недолго. Дело в том, что Вера не замедлила ввести меры жестокой экономии: рассчитала домработницу и усомнилась в целесообразности дальнейшего посещения детьми уроков музыки и танца, тем более что никаких успехов по этой части у них не наблюдалось. «Теперь мы не можем себе этого позволить» — эту полюбившуюся ей фразу она то и дело пускала в ход. По правде говоря, в стоицизме, с которым Вера встретила более скромный образ жизни, сквозило скорее презрение к незадачливому мужу, нежели истинная забота о благе семьи. Каждое утро она извещала мужа о тех огромных жертвах, которые ей пришлось принести на алтарь бережливости. То, дескать, она отказалась от шитья нового платья, то решила не ехать в этом году на море (слишком дорого!) и провести лето с детьми у матери в Ардяле. «Там изумительная природа, и не придется тратить ни гроша»,— сообщила она мужу.

Скандал разразился как-то утром, когда Вера в пылу экономии вздумала не пускать детей в театр. При этом она втолковывала им: «Папуля теперь не большой начальник, так что мы не можем позволить себе то, что позволяли раньше». Выведенный из себя, Нелу ворвался в гостиную, рассовал детям по карманам гораздо больше денег, чем нужно было, и почти силой стал выпроваживать их в театр.

— Немедленно отправляйтесь! Не слушайте маму! Как мы жили до сих пор, так и будем жить дальше! Вот вам еще на мороженое. Не обращайте внимания на нытье вашей мамаши...

Пораженной этой вспышкой Вере не оставалось ничего другого, как надеть детям шапочки.

— Перестань каркать,— заорал Нелу, как только дети скрылись за дверью.— Мы еще, слава богу, не умираем с голоду...

— Нужно четко определить, что мы можем себе позволить, а что нет,— попыталась урезонить мужа Вера.— И квартира у нас чересчур большая, не потянуть нам, надо другую подыскивать, поменьше. Я, кстати, каждый день просматриваю объявления...

— Никакой другой квартиры! Я живу в центре, и меня это устраивает! А вот ты совсем спятила — бродишь по дому как привидение, гасишь свет, все запираешь. Прекрати свои штучки! Пусть горит свет и днем и ночью — не тебе же платить!..

— Ты потерял всякий стыд, потому и говоришь так...

Накануне Вера совершила очередной акт самопожертвования — забрала материал у портнихи. Это переполнило ее душу умиротворенностью, позволявшей терпеливо сносить любые оскорбления.

— А чего мне стыдиться?! — поинтересовался Нелу.— Что я уже не начальник? Это что — эталон добродетели?!

— И все из-за этой паршивой Аурики...

— Паршивой?.. Разве так говорят о женщине, существе, подобном себе. И потом, это неверно,— слабо защищался муж.— Просто я не потянул на генерального, вот и все...

— Оставь эту игру в благородство, она тебе не к лицу...

Нелу вяло взглянул на жену. Ее привычка изображать себя оскорбленной его грубыми манерами была ему хорошо знакома...

— Что ж, потолкуем по-другому. Ближе к делу! Зачем ты меня заложила?!

— Ты забываешь, что я мать твоих детей... И твоя жена!

— Оставь это. Отвечай на вопрос.

— Ты считаешь меня способной на такое?!

— Ого,— усмехнулся Нелу, словно вопрос показался ему донель-

зя смешным,— еще бы! Я спрашиваю тебя «зачем», вот на это «зачем» ты и изволь мне отвечать.

— Да ты просто развратник — вот зачем,— выплеснула она наконец.

Нелу ждал этого скандала — надеялся, что жена не выдержит и выложит правду. Тогда он чувствовал бы себя победителем, но Вера не пожелала принять его игру, предоставив ему самому строить догадки.

— Да скажешь ли ты что-нибудь?

— Нам вообще не о чем разговаривать...

И тогда, впервые за время их долгой совместной жизни, Нелу поднял на жену руку. Он бил ее методично и ожесточенно, как нашкодившего упрямца, радуясь в душе, что подвернулся удобный момент: соседи ушли в церковь, дети — в театр. Впрочем, опасаться было нечего — Вера принимала удары с молчаливым достоинством, лишь тихо охая...

— Завыла бы, что ли,— просительно сказал он.

Но Вера только презрительно улыбалась, покорно ожидая все новых и новых ударов.

Он устал, ему стало стыдно самого себя. Упорное молчание жены лишь усиливало подозрение, что бьет он ее напрасно. Каково, если Вера тут ни при чем? Прежняя уверенность, что она его «заложила», исчезла, но и то, что он считал ее способной на такое, уже кое-что значило. Способной на все!.. Бить женщину ему еще никогда не приходилось, и теперь он злился на Веру еще и за то, что она заставила его унизиться до рукоприкладства. Призрачная свобода, рожденная благополучием и ложной иллюзией счастья, как бумеранг обернулась теперь против них. А в итоге униженным оказался именно он! Нелу понял, что из мести Вера готова вести самую обыденную, серую жизнь, отказаться от всех своих великосветских претензий и целиком посвятить себя хозяйству и детям. Лишь бы досадить ему, заставить его почувствовать себя ничтожеством и осознать вопиющее несоответствие их характеров... «И вся ее нынешняя рачительность какая-то подлая,— кипел Нелу,— не пускать детей в театр... уволить домработницу...»

Испытывая презрение к самому себе и упиваясь им, он — подобно взбалмошной Аурике — решил предпринять нечто этакое, безрассудное, из ряда вон выходящее. «Пожалуй, именно это мне и нужно теперь... в сорок пять лет... посумасбродничать... влюбиться без памяти... Что, если махнуть в горы, в Предял, и позвонить ей оттуда?!» Нелу силился сохранить свежесть порыва, ибо это было все, что ему оставалось. Разве не оригинально — махнуть в горы?! Ему захотелось ошарашить всех — почему только Аурике могут приходить в голову шальные идеи? Он тоже себя покажет... Идея была, конечно, нелепая, но так или этак появилась цель и надо было действовать, чтобы поскорее забыть свое унижение... Неплохо бы выпить... Он стоял в коридоре вагона, ожидая, когда откроется ресторан... Они с Верой не выдержали испытания благополучием... а ведь как они ладили, пока не случилась эта дурацкая история с повышением... Да нет, ерунда... Считать, что раньше было хорошо, можно только теперь, оказавшись у разбитого корыта... Они и прежде едва выносили друг друга... Разве только умело скрывали это, притворялись...

Официант сразу узнал его и изобразил на лице смесь благоговейного ужаса и подобострастия, того самого почтения — «на всякий случай». Нелу воспринял это заискивание с чувством неловкости: он был все же фигурой в сфере общественного питания, а теперь — никто! Но пользоваться прежними привилегиями не позволяла совесть — что было, то прошло, нужно привыкать к безвестности...

Официант категорически отверг выбор генерального директора:

— Что вы! Эта бурда не для вас, вам я организую бутылочку марочного...

В бытность свою генеральным директором Нелу Александру воспринимал подобные знаки внимания как объективное признание его прошлых и нынешних заслуг. Теперь же, после всего случившегося, им буквально овладела жажда равенства.

— Нет. Я буду пить то, что пьют все. Давайте эту бурду...

Разумеется, то, что принес официант, оказалось вовсе не бурдой, а вполне сносным напитком, который он поносил исключительно ради генерального директора.

Прибыв в Предял, Нелу направился в гостиницу «Сильвия» (полгода назад он утверждал смету ремонта этой гостиницы) и спросил у дежурного администратора, нет ли свободного номера. «Неужели надо было ждать этого случая, чтобы познакомиться с обстановкой на подведомственном объекте прямо на месте? Уж в Предял-то можно было съездить и раньше, да заодно и Аурику прокатить — совместить приятное с полезным».

— Свободный номер? В разгар сезона? — За неимением иного слушателя администратор предоставил Нелу самому посмеяться над своим глупым желанием.— Тут ведь еще спортсмены понаехали, сборная по боксу...

Нелу пока не сдал удостоверения, подтверждающего, что он генеральный директор треста столовых и ресторанов: предстояло еще заходить на службу, отчитываться, сдавать дела. До чего неприятная ситуация, когда один сдает дела, а другой принимает, причем превосходство — как это ни парадоксально — на стороне первого, ибо новый начальник, подобно наивному ребенку, даже не подозревает об ожидающих его трудностях. И поэтому он, Нелу, смещенный за несостоятельность, не станет смотреть на своего преемника с завистью... Оба возможных варианта представлялись ему одинаково заманчивыми: сдаться как простой гражданин на милость администратора или злоупотребить своим бывшим служебным положением? Столь важное решение следовало обдумать, и Нелу, пристроив после долгих разговоров свой багаж к администратору, отправился в ресторан что-нибудь выпить, а то и посмотреть — по старой привычке,— что поделывают подчиненные.

Едва он распахнул массивную дверь ресторана, как вопиющее уродство предстало пред его светлы очи во всем своем удручающем «великолепии». Строгий и элегантный до ремонта зал разукрасили столь аляповато и крикливо, что самое главное в нем, то есть столы и стулья, едва можно было обнаружить. Два фонтана, статуи Аполлонов и Вакхов, аквариум посреди зала, гигантские, сродни вокзальным, часы, огромные вазы с какими-то тропическими растениями буквально пожирали все пространство, придавая залу карикатурно-помпезный, карнавальный вид. «Подумать только — вся эта «красота» обошлась в два миллиона лей! И ресторан был закрыт на шесть месяцев... И вся эта нелепость, все убытки — дело моих рук»,— посетовал Нелу Александру с запоздалым раскаянием и снова подумал об Аурике.

Метрдотель, узнав его, устремился навстречу, задыхаясь от избытка чувств и удовольствия видеть начальство... В душе, правда, он был несколько обескуражен скромностью генерального директора, выбравшего самый неудачный столик, на виду, возле оркестра, а жизненный опыт подсказывал метру остерегаться чересчур скромных начальников.

— Как? Вы здесь, товарищ Александру?! Так просто... инкогнито? Осмелюсь посоветовать вам другой столик — здесь, товарищ замминистра, когда заиграет оркестр, оглохнуть можно...

Тут Нелу и вправду пожалел, что его сняли, потому что теперь

он имел право возмущаться только на уровне обычного посетителя, а это не доставляло ему удовольствия.

— Завтра устанавливаем здесь вешалку в виде Венеры Милосской, интерьер станет еще изящнее — большую роль играет первое впечатление, ведь у нас бывает много иностранцев,— докладывал метрдотель, полагая, видно, что Нелу прибыл из Бухареста специально для того, чтобы посмотреть, как выглядит заведение после ремонта.— План, правда, пока не выполняем,— поспешил он признаться, опасаясь, как бы генеральный директор не узнал об этом из чужих уст.— Что делать? Роскошь отпугивает клиентов... Не привыкли еще...

«Да-а, вот о чем следовало думать раньше,— отметил про себя Нелу,— слишком много «шика»... сколько раз об этом говорил Якоб Дезидериу, а я его не слушал, думал все больше о разных глупостях...»

— Я приехал отдохнуть на несколько дней,— успокоил он метрдотеля.— Не устроишь ли номер в гостинице?

— Номер? — метрдотеля, казалось, оскорбила ничтожность просьбы директора.— Нет вопроса, товарищ министр.— Он в очередной раз повысил Нелу в должности, и это уже начинало раздражать.

— Я не министр...

— Э-э, пойдемте, я покажу вам лучшие номера, рекомендую третий этаж — оттуда виден крест на вершине Караймана...

В номере Нелу бросился на кровать прямо в одежде. Ему вдруг расхотелось оставаться здесь, чувство какой-то неестественности, временности пронизывало все его существо. «Позвонить в Бухарест Аурике? Позвать в Предял?» Сколько раз она его об этом просила! Был час дня: Аурика могла бы успеть на трехчасовой скорый, если она дома, если не ушла в «Капшу» за пирожными. Его приятель Матей как-то сказал, что нельзя доверять женщине, отправляющейся «за пирожными», и с тех пор Нелу стал ревновать Аурику всякий раз, когда та собиралась в очередной поход в «Капшу».

Аурика оказалась дома. Ждала его звонка. Откуда он говорит? Из Предяла. Что делает там? Так, захотелось в горы, позагорать, покуролесить немного — без этого жизнь не жизнь... Это замечательно. Конечно, она приедет. Вполне поспеет на трехчасовой скорый...

Бывший генеральный директор сам едва верил в то, что говорил, и завел разговор с Аурикой в основном из желания избавиться от терзавших его дум и по возможности передать их ей на вечное хранение. Ведь не очень романтичная, но вполне приемлемая версия о том, что Вера — виновница всех его бед, рассыпалась, и расставаться с этой иллюзией было совсем нелегко. А что, если это Аурика отомстила ему за то, что он не женится на ней? Почему не допустить и такую возможность? Конечно, это на нее не похоже, это не ее почерк — она слишком уверена в своей молодости и красоте, чтобы опускаться до уровня примитивной склочницы... Однако болезненная потребность в самообмане поколебала уверенность Нелу в моральных устоях подруги. Чего не совершит женщина от отчаяния...

Надежда на более приличное, спокойное будущее внезапно озарила душу бывшего генерального директора, и он снова набрал номер Аурики. Экскурсия в Предял отменяется. Он срочно возвращается в Бухарест. Произошло нечто *экстренное*! Пусть она сидит дома, нужно поговорить и вместе принять решение... С помощью все того же метрдотеля, окончательно сбитого с толку, нашлась попутная машина, и через два часа Нелу уже стоял у дверей однокомнатной квартиры Аурики.

Хозяйка квартиры в знак полного пренебрежения к тому дурацкому положению, в котором она очутилась в результате перемены

планов, сидела посреди комнаты возле собранного рюкзака в голубом свитере и лыжных ботинках. Лыжи стояли у стены и призваны были подчеркнуть неделикатность возлюбленного. Весь вид Аурики, казалось, говорил: «Полюбуйся, в какое идиотское положение ты меня поставил... Я настроилась, обрадовалась, как ребенок»... При виде любимого она принялась демонстративно завязывать шнурки и попросила его помочь. Нелу опустился на колени и с рвением выполнил эту уже бессмысленную просьбу.

— Вот так! Отлично! Не жмут ботиночки...

Нелу довольно быстро и ловко осуществил переход от униженного коленопреклонения к возвышенной грусти, что более соответствовало важности момента. Он отошел к стене и отодвинул в сторону лыжи, мешавшие ему сосредоточиться.

— Тебе известно, что я больше не директор? — спросил он с таким видом, словно уличал ее невесть в каком проступке.

— Нет, неизвестно,— как бы оправдываясь, ответила Аурика, хотя внезапное исчезновение личной машины Нелу, почти ежедневно подвозившей ее до центра города, и показалось ей подозрительным.

Сейчас Нелу нуждался в предательстве Аурики гораздо больше, чем в ее любви. Куда легче смириться с изменой женщины, нежели с участью бездарного работника, уволенного за несостоятельность. Какой прок мужчине от любви и верности женщины, если его признали никуда не годным по службе.

— А должна была бы знать... Может, даже раньше, чем другие...

Аурика, с ее врожденной способностью улавливать движения души слабых мужчин, попавших в трудное положение,— у нее уже было два-три знакомых, переведенных на низовую работу,— сразу поняла, куда клонит Нелу. «Бедняга,— подумала она,— жаль его...»

— Откуда же мне знать, Нелу?

— Ты знаешь, Аурика, прекрасно знаешь... Письмеца, часом, никакого не писала, дорогая?

— Я не пишу писем... никаких...— с грустью уточнила Аурика каким-то севшим голосом, ставя все точки над «и».

— Вспомни хорошенько, Аурика, если ты мне сейчас все расскажешь, я прощу тебя,— снова попытался он отодвинуть, запрятать как можно глубже горькую правду.

Но предел терпению был даже у Аурики.

— Послушай, Нелу, неужели ты думаешь, что я люблю тебя до такой степени, чтобы чинить тебе зло? Так может поступать женщина только из ревности...

Аргумент показался ему не лишенным здравого смысла и даже убедительным. Но он сделал еще одну попытку:

— Или из вредности...

— С чего бы мне вредить тебе? Ты мне не муж, не родственник... и вообще... Я осторожна, знаю свое место.

Допрос не дал утешительных результатов. Ничего подобного Аурика, разумеется, совершить не могла и была честна, когда говорила, что на совести у нее грехи совсем иного рода, «чисто женские».

— Но если тебе больше на руку замарать меня, втоптать в грязь — давай, не стесняйся, мне безразлично. Можешь думать обо мне все, что тебе заблагорассудится.

Жизненный опыт, усталость и сознание того, что молодость на исходе, придавали суждениям Аурики зрелость и мудрость. «Должно быть, признание моей низости — единственное, на что может опереться этот человек в беде».

— Считай, что все это из-за меня...

— Произошла странная вещь, Аурика,— промямлил Нелу, собираясь уходить.

— Что именно? — спросила она, усмехнувшись про себя его вечной манере судить обо всем столь поверхностно.

— С тех пор как я стал думать о себе плохо, я чувствую, что перестал любить тебя...

— Очень мило с твоей стороны,— кивнула Аурика,— спасибо и на этом...

Она двинулась первой, чтобы проводить его до дверей, и вежливо простилась, сожалея, что ничем не смогла помочь своему знакомому.

Перевод С. КОСЕНКО

ЭУДЖЕН УРИКАРУ

Охота

Башалига пришел к Виколу Антиму и сказал: «Молодой человек, я приглашаю вас на охоту». Викол Антим сидел в учительской и ждал, когда кончится уборочная страда. Зима, к которой он долго готовился и которая уже не раз отрывистым и резким вздохом подступала к Владии, погружая золотистый абрис селения в холодно-изысканную дымку смерти,— зима что-то мешкала и как будто даже раздумала наступать, засев где-то за холмами и понемногу травя ковыль сизоватым инеем. Палая листва источала приторную, всевластную лень, и в воздухе витал запах гнили, словно предвестье близкого конца. Викол Антим пребывал в раздражении, он уже догадывался, что определенности впереди нет, что зима окажется всего лишь гранью между вялостью, сопутствующей кончине, и жадным, не менее болезненным ожиданием весны, резкого поворота к теплу и брожению соков.

Поэтому ему показалось по меньшей мере странным предложение инженера Башалиги пойти на охоту в такое время, которое он про себя называл смутным, время, когда в селении с утра уже не оставалось ни одной живой души: виноградники поглощали людей с первым лучом рассвета, серого, никак не обещающего щедрого на иллюминацию дня. Но чтобы не выдать своего недоумения, он поспешно сказал: «Хорошо». И тут же, решив, что согласился подозрительно скоро: «На зайцев, правда? На зайцев я бы пошел, только у меня ни ружья, ни...»

Башалига прервал его. Он стоял в дверном проеме, не прислоняясь к косяку, руки в карманах, сапоги как влитые, по лицу ничего не прочесть, только в складках у рта как будто засела снисходительность ко всему на свете. «На зайцев, молодой человек, на зайцев. О ружье не беспокойтесь, с нами будет лейтенант Копачиу, да и вообще, что у вас за понятия? Думаете, раз вы на охоте, значит, при ружье? Совсем не обязательно». Он вытащил одну руку из кармана куртки, прошелся ею по свежевыбритым щекам. «Ну, я пошел, дела,

---

ЭУДЖЕН УРИКАРУ — EUGEN URICARU (род. в 1946 г.).

Румынский писатель. Окончил филологический факультет Клужского университета. Дебютировал в 1974 г. сборником рассказов «О пурпуре» («Despre purpură»). Автор романов «Костер и пламя» («Rug şi flacără», 1977), «Мед» («Mierea», 1978), «В ожидании победителей» («Aşteptindu-i pe invingători», 1981), сборника рассказов и повестей «Антония» («Antonia». Bucureşti, Editura Eminescu, 1978), из которого взят рассказ «Охота».

завтра в пять заскочу, не забудьте сапоги». Он повернулся, шаги застучали по гулкому коридору, и уже издалека донеслось: «В пять вечера, молодой человек. Это пойдет вам на пользу».

Викол Антим провел остаток дня во взвинченном состоянии. Приглашение инженера Башалиги — с налетом авантюры, заманчивой новизны — обещало хоть сколько-нибудь развеять незыблемое течение дней. Он рано погасил свет, но лег поздно, почти до зари просидел на подоконнике, отмечая, что наконец-то выбит из колеи. Его слегка лихорадило, он повторил несколько раз «Reisefieber, Reisefieber» [1], думая, что слово найдено, но оно никак не вязалось с зарослями одичавшего винограда, роз и ночных цветов под окном. Как раньше Антуза одним своим присутствием во Владии, так теперь инженер своим предложением сумел расшевелить Викола Антима, соблазнить неведомым. И как с Антузой, так и сейчас все начиналось, казалось бы, с пустяка, за которым крылось предчувствие каких-то необычных — именно для него — вещей.

Он аккуратно являлся в школу, но в классы даже не заглядывал, учеников следовало искать по окрестным холмам, и, может быть, ему не пришлось бы узнать о существовании той семьи, единственной во Владии, которая не была связана с виноградом, а лучше сказать, не желала связываться с этим зеленым захватчиком, если бы учитель Кройку не заметил ему невзначай, что «не имеет смысла скучать одному в учительской, и раз уж явился в школу, так надо давать уроки». Викол Антим опешил. «Давать уроки? Но кому, собственно? Этим стенам или кому я должен давать уроки?» И ему понравился металл в собственном голосе.

Но Кройку в ответ указал из окна на девочку, стоящую у школьных ворот рядом с Антузой. «Эта ни одного урока не прогуляет. Не знаю, нормальная она или нет, но отсиживает полный день, как мы с тобой, вот уж кто заодно с нами». Викол Антим хотел было поинтересоваться, в каком это смысле «заодно с нами», но не стал — пусть будет сообщник у одинокого Кройку, подумал он и почувствовал себя так, будто совершил бог весть какое благое дело. И тут его настиг взгляд Антузы, она искала в окне Кройку — то ли хотела поблагодарить, то ли просто дать знать о себе. Но вместо учителя естествознания наткнулась на Викола Антима. На миг взгляд женщины стал непроницаемым, а потом вдруг потеплел, обдав его несомненным дружелюбием. Викол Антим не преминул истолковать это в свою пользу и объявил Кройку: «Кажется, я ей нравлюсь, по глазам вижу, что нравлюсь, как ты считаешь, старик, нравлюсь я ей?» Кройку пожал плечами, его круглые птичьи глаза остались невозмутимыми. «Не знаю, не знаю, скорее ей понравилось, что здесь еще кто-то есть, что не я один морочу голову ее сестре». Кройку с видимой неохотой, удивившей Викола Антима, отошел от окна. Викол Антим еще помедлил, провожая глазами две тоненькие фигурки, Антузы и ее сестры, шагавшие по самой середине дороги, не сбиваясь с шага, когда собаки ломились из-за заборов, даже не лая, а хрипя от ярости.

Антуза каждый день провожала сестру до школы и обратно, иной раз они не заставали Кройку — когда у того по расписанию не было часов, но они неизменно приходили, держась середины дороги, не отклоняясь ни вправо, ни влево, и скоро Викол Антим понял, что на самом деле он караулит Антузу. Он являлся в школу, садился у окна, созерцая отсутствующим взглядом двор с грудами кирпичей, меченные известью камни на обочине дороги и нищие акации и рассеянно отвечая на обыденные вопросы учителя естествознания. Он стерег ее сдержанный взгляд, который, по идее, должен был уже сам стремиться ему навстречу. Она осторожно нажимала на ручку калит-

[1] Дорожная лихорадка *(нем.)*.

ки и лишь потом находила его глазами, всегда на одном и том же месте, и скользила по нему взглядом, одним-единственным взглядом, светящим из самых недр ее глаз цвета июньской листвы винограда, так по крайней мере ему казалось.

Через несколько дней после того, как их взгляды скрестились впервые, Викол Антим не без сожаления отметил, что ему уже мало караулить у окна, и стал пускаться следом за Антузой по густой пыли улиц Владии, останавливаясь лишь тогда, когда мог уже явственно расслышать голосок ученицы Кройку: «Сегодня было холоднее, чем всегда. Учитель говорил про листья. Я ничего не поняла, но очень красиво». Тогда он отставал, потому что пыль от их шагов не успевала осесть и забивалась ему в ноздри, оставляла во рту щелочной вкус.

Антуза скрывалась за большими воротами, не оглянувшись на него; это интриговало, он был уверен, что по дороге ей на каждом шагу хочется обернуться — хочется, но она не считает нужным. Раз ей нипочем ярость сторожевых псов, бьющихся о доски заборов, будет она вам просто так озираться по сторонам! Но она не удостаивала его взглядом и тогда, когда это выглядело бы естественным: хоть на мгновенье стоит оглянуться на мир, из которого выходишь, затворяя за собой ворота. Огромный участок на окраине, примыкающий к бойне с заколоченными окнами, казался наростом на здоровом теле Владии. Глаз Викола Антима так свыкся с багрянцем виноградной листвы, что пепельная конопля и грязно-белая кукуруза, видневшиеся в щелях высоченного забора, просмоленного дегтем, смущали его душу, как опухоль, обнаруженная в теле сильной и крепкой женщины.

Владия была пуста в дневные часы, когда он шатался по улицам, безуспешно пытаясь понять, каков же смысл Антузы в его жизни, таившей за вялым, сродни осеннему дню, течением опасности более серьезные, чем можно было предположить. Постепенно он открывал в себе способность ко многому из того, что раньше считал недостойным, находя чуть ли не удовольствие в соприкосновении со злом, которое до сих пор он просто не решался, не смел тронуть и потому клеймил.

Раз, возвращаясь из дальнего конца селения, он пошел, как и Антуза, посреди дороги, краем глаза косясь на тех, которые стояли за калитками; упершись, как один, подбородками в большие кулаки, сложенные на некрашеной перекладине забора, они глазели на Викола Антима хитро и любопытно, и ему приходилось то и дело кивать головой в ответ на их преувеличенно вежливые приветствия. Он шагал посреди улицы и чувствовал, как напрягается каждая клеточка его тела, когда одним взглядом он отодвигал направо и налево каруцы и обнявшихся за плечи мужчин в полувоенных костюмах (война только что кончилась) со следами знаков отличия на плечах и воротнике. Зачем он это делает, он не знал, но сохранял выдержку и оттого считал, что он в своем праве. И только тогда, когда он вдруг ясно увидел, что сторонятся-то его совершенно безотчетно, не задумываясь, к нему в душу закралось подозрение: а что, если только он один замечает свою смелость? И не оттого ли он смел, что идет по стопам той, которой все нипочем, а он просто напрашивается на сравнение? И тут он встретил лейтенанта Копачиу, а может быть, тот как раз его и дожидался у ресторана «Прогресс». «Войдем?» — спросил Викол Антим с видом заговорщика. «Нет, не могу, я на службе». И тогда Викол Антим засмеялся: «Бросьте, так уж и на службе. Войдемте, я угощаю».

Копачиу посмотрел на него подозрительно, подобрал губы, полные, неизменно красные, как будто он только и делал, что ел сало. «Ну, если вы настаиваете...» Они сели за стол, Викол Антим молчал. Копачиу сам налил себе шипучего и стал тянуть потихоньку, вероят-

но, ему нравилось, как вино щиплет нёбо, через каждых два-три глотка он отирал губы тылом ладони, покряхтывал от удовольствия, и, когда счел, что выпил свою долю, повернул голову к Виколу Антиму, и без всякой подготовки брякнул: «Валяйте, спрашивайте!»

Викол Антим изобразил на лице недоумение. Впрочем, внутренне он действительно был застигнут врасплох: ну и нюх у лейтенанта Копачиу!

Лейтенант будто ненароком двинул локтем и сшиб со стола стакан, Викол Антим нагнулся было, скорее всего машинально, чтобы собрать осколки, но Копачиу его одернул: «Оставьте, то вы гоголем выступаете посреди улицы, а то готовы кланяться и по полу ползать.— Он прищелкнул языком.—Так не годится, молодой человек, не годится. Вы это бросьте, тут есть кому убирать, а лучше скажите, по какому случаю расщедрились? — И резко, взяв тоном ниже: — Когда я пью шипучку, служба побоку, а допил — и баста, выкладывайте ваш вопрос».

Викол Антим слишком хорошо знал, *что* он хочет спросить у лейтенанта Копачиу; по своей воле он зашел так далеко и уже не мог повернуть вспять, поэтому ему оставалось быть лишь как можно суше, как можно короче, только чтобы не дрогнул голос — только бы не дрогнул!

«Кто живет за бойней?»

Он смотрел куда-то поверх лейтенанта, ища на разноцветных этикетках за прилавком слово, знак себе в поддержку, и не видел, как у Копачиу от удивления округлился рот. «Ага, вон вы куда, за бойней! Недурно, недурно, молодой человек, совсем недурно, но, может быть, чересчур, а? Я вам советую не влипать. Пробовали тут и другие до вас, да вовремя отстали. Я вам советую не влипать».

Он спросил минеральной воды, выпил и забубнил что-то себе под нос, словно от него потребовали слишком многого или сил нет как разогорчили.

Викол Антим повторил свой вопрос, как будто не слыша лейтенанта, он хотел узнать и уйти, понимая, что долго ему в этой ситуации не продержаться, что разговор о *ней* выше его сил.

«Старик Адам Максенциу, вдовец, Адам Антуза, старшая дочь, Адам Аритина, младшая. Я думаю, старик немного не в себе, но не в том дело. Если только он не прикидывается. Живут затворниками, и, хотя об этом прямо не говорится, но они в нас вроде бы не нуждаются».

Викол Антим не понял. «Как это не нуждаются? И в ком это — в нас?» Копачиу расстегнул ворот — он начал потеть. «Ей-богу, отличная штука эта шипучка... А вот как. Не припомню случая, чтобы они явились во Владию — ну, хоть за самой малостью. Раз в месяц, правда, они приходят и платят что положено, а раз в два месяца ездят в город и покупают уж не знаю что. И точка. Черт их знает, как они ухитряются так жить, но мое мнение, я вам признаюсь как частному лицу, этот Адам — жулик, он башковитый мужик, а корчит из себя помешанного. Пренебрегают они нами, молодой человек, одно слово, пренебрегают. Я этого никому не говорил, одному инженеру, и вас предупреждаю: не нарывайтесь, ни к чему якшаться с такими, которые пренебрегают».

«А инженер, что сказал по этому поводу инженер Башалига?» — спросил Викол Антим, на самом деле думая о том, что взгляд Антузы, ее каждодневный взгляд адресован, оказывается, не ему, учителю Виколу Антиму, а всему миру. Она шла сквозь мир, ни за что не задевая, а ее — и она принимала это спокойно — могло задеть что угодно. Задеть, но не подорвать силу ее одиночества.

«Инженер? Он только головой покачал, то ли да, то ли нет, эти проблемы как-никак в моей компетенции, он не хотел на меня влиять, знаете ли. А я — я пока выжидаю. Что-нибудь да будет. Кстати, эта

младшая, Аритина, ходит в школу, вот вы у нее и узнайте подробности». Последнее слово он произнес так многозначительно и таким вкрадчивым тоном, что Викол Антим тотчас понял: тут следует остановиться, кто-кто, а лейтенант Копачиу знал, как человеком завоевывается и как теряется свобода.

И когда они уже разошлись, лейтенант Копачиу крикнул ему вслед: «Чуть не забыл, если вас так заело — хотя, ей-богу, зря,— спросите у Кройку. Уж он-то знает про Адамов.— Лейтенант фыркнул.— У него два конька: букашки да Адамы, нашел себе занятие». И он смачно, убедительно расхохотался.

Кройку Викол Антим не спросил, хотя это и был единственный человек, к которому он ходил в гости, хотя они вдвоем и просиживали часами в пустой школе — а это как-никак давало ощущение солидарности,— он не мог сказать, что сблизился с Кройку, он подозревал его в двуличности, сам не зная, в каком смысле; одним словом, что-то его удерживало. С лейтенантом Копачиу — другое дело, тот гнул свою линию, может быть, опасную, но захватывающую. Викол Антим угадывал за всеми его мелкими ловушками опытную и сильную руку, ее движения завораживали, и он чувствовал себя мотыльком, летящим на язычок пламени, пусть гибельный, но стоящий риска.

Кройку он не спросил, зато сам стал шпионить, просто-напросто шпионить за Адамами: взял под наблюдение их дом и участок с высокими мрачными амбарами и в самые призрачные, рассветные часы дожидался, когда Антуза выйдет из ворот, поправляя на плече сестры сумку с книгами.

Он с удивлением обнаружил за черным забором, окружающим участок, целый мир, забытый им по приезде во Владию. Он вступил в заросли кукурузы, не думая, чем это может обернуться, неудержимо, как будто шел на запах теплого хлеба, путаясь в кудрях гороха, в тыквенных плетях, крученых, желтых, шелк неснятых початков цеплял его за рукава и штаны, и ему нестерпимо хотелось разуться и босыми ступнями осязать сухую землю, устланную семенами и листьями. Огород Адамов оказался разбитым на крохотные делянки, и Викол Антим, хотя его познания в сельском хозяйстве были смехотворными, все же ловил в посадках определенный смысл, чуждый нормальным потребностям жителя Владии. С пепельной коноплей соседствовала зелень картофеля, лен вклинивался в пятачок земли, засаженный рапсом дразнящего янтарного цвета, который осаждал высокие стебли соседа дружным, напористым войском побегов с отягощенными соком плодами. Для винограда, главной культуры местности, не нашлось ни одного угла, так же как для цветов и кустов, все было выполото, взрыхлено и ухожено *до отчаяния*. Викол Антим не смог бы ответить, откуда в нем взялось это слово, но чувствовал, что оно подходит. Он вышел к веренице амбаров, сколоченных из таких же досок, что и забор, крытых толем, поставленных прямо на земле, отчего в них зияли дыры — на месте подгнивших и выпавших досок. Двери вместо замков придерживались гнутыми гвоздями. Снаружи эти мрачные и ненадежные строения выглядели руинами когда-то крепкого хозяйства, острия травы пробивались между досками. Викол Антим увидел слизня, ползущего вверх по стене, за ним тянулась блестящая дорожка, и было очень тихо.

Он заглянул во все амбары по очереди, внутри все оказалось до невозможности просто и примитивно: ткацкий станок, трепалки для пеньки, бидоны с краской, луковая шелуха и скорлупа орехов, сметенные в кучки подле сундука, полного грубых, зато прочных тканей, выше — связки лука и красного перца; пахло льняным маслом и конопле́й, вымоченной в пруду,— сладкий запах гниющей древесины. Куски дубленой кожи, мотки проволоки и мешочки с семенами висели повсюду, на десятках, на сотнях гвоздей, глубоко вбитых в дощатые стены. Все дышало титаническим усилием прожить тем, что

дает огород, затраты труда были несоизмеримы с его плодами, все получалось топорным, убогим, но от всего здесь исходила такая сила, такое присутствие духа, что учитель истории содрогнулся перед этой твердыней, перед редкой стойкостью этих людей, намеренных отстаивать свое одиночество любой ценой — ценой самоизнурения. Кончиками пальцев он потрогал абу [1] и бурое сукно, сложенные в одном из углов, обвел глазами стружки, клочки бумаги и обрезки кожи, валявшиеся на полу, и подумал — больше по учительской привычке все классифицировать: «Натуральное хозяйство в чистом виде» — и только потом осознал истинный смысл этих слов, истинный смысл этих угрюмых хранилищ и задрожал от сдерживаемого смеха. «Нет, кто бы мог подумать, самое настоящее натуральное хозяйство!» И он вспомнил, как лейтенант Копачиу сказал ему про Кройку, что у того два конька — букашки и Адамы. Конечно, вряд ли лейтенант знал, что такое натуральное хозяйство, и тем более вряд ли подозревал, что оно процветает у него под боком, но все же лейтенант Копачиу замечательный тип, раз он почуял, что натуралиста Кройку в равной мере интересуют и насекомые. и эти мрачные развалюхи.

И поскольку тайн для него здесь больше не оставалось, он перестал остерегаться, толкнул дверь и вышел, даже не притворив ее за собой. Его распирало от впечатлений — попадись ему кто-то на пути, он, пожалуй, не выдержал бы, сболтнул что-нибудь про Адамов. Но Владия уже, как обычно, опустела в этот утренний час.

На полпути он встретил Антузу, завидел ее издалека и заторопился. Возбуждение так захлестнуло его, что смыло все условности, с которыми люди идут друг другу навстречу. Пройдя несколько метров, он почувствовал острую боль между лопатками, горло перехватило, он понимал, что это от волнения, молнии мыслей, десятки фраз проносились в мозгу, и вдруг он очутился лицом к лицу с ней, руки мешали, он спрятал их в карманы пиджака, выставив наружу большие пальцы. Антуза приостановилась, как будто хотела разминуться с ним, но ждала, что *он* уступит ей дорогу. Она смотрела ему прямо в глаза, как змея смотрит на птицу. Викол Антим молчал и не смел отвести взгляда от глубины ее зрачков, последний шаг он сделал машинально, с четким ощущением того, что падает в омут, темный, как зелень ореха, и что сейчас его закрутит, ощущение было настолько ясным и сильным, что у него помутилось в голове и дурнота подступила к горлу. Он не двигался, не в силах стряхнуть гипнотический морок, большими пальцами он чувствовал жесткие швы пиджака, мимо прожужжала муха, где-то зашумел мотор, а он все не мог опустить взгляда, поглощенного зеленой ядоносной глубиной глаз женщины, стоявшей перед ним.

Не сморгнув, не вымолвив ни слова, Антуза легонько пихнула его рукой, учитель истории качнулся и медленно, до странности медленно переломился в коленях и повалился на бок, не взметнув при этом ни пылинки. Лежа, он видел снизу, как она уходит, не касаясь подошвами земли, не колебля травы, не поднимая пыли, и позже, оглядывая свое платье, чистое, без пятнышка, понял, что он не оскорблен, а наказан за то, что дерзнул войти в кукурузу на огороде Адамов, глазами, свыкшимися с миром Владии, посмел шарить по темным недрам другого мира за стенами крытых толем амбаров.

И в эту ночь, так и не заснув, он уразумел еще одну вещь. Прав лейтенант Копачиу: всем, что они есть, и всем, что они делают, Адамы бросают вызов укладу жизни Владии. Но любопытно, что это стало раздражать и его, как будто и он сам естественно принял уклад странной для него владийской жизни.

День как-то вдруг кончился, и около пяти Викол Антим испытал нешуточную тревогу. Все-таки предложение инженера было не из обычных, пожалуй, оно могло бы вывести его из оцепенения, хотя и

[1] Грубая шерстяная ткань.

сладкого, но очень смахивающего на капкан — чем слаще приманка, тем коварнее челюсти. Он стоял за дверями школы и смотрел сквозь их стекло, в глаза било закатное солнце, и длинный коридор за его спиной ожил и повеселел. Викол Антим казался себе нелепым в высоких сапогах, взятых у Кройку. Тот отдавал их скрепя сердце, он ходил в них по огородам «за букашками», и, может быть, ему так тяжело было с ними расставаться потому, что резиновая обувка стала как бы частью его хрупкой натуры, частью мира, который открывался ему одному, разрастаясь и клокоча: гусеницы, виноград, первичные проявления жизни. Викол Антим попытался его успокоить: «Не волнуйся, старик, я их не порву, ничего с ними не будет, мы едем на машине». И тогда Кройку двумя пальцами взял сапоги, протянул ему и, лишь бы поворчать, буркнул: «Это не охота, а чушь собачья, на машине». Викол Антим засмеялся: «Брось, на то и цивилизация, а ты застрял в каменном веке!» И вот он ждет Башалигу и не представляет себе, как же будет выглядеть эта самая охота.

Газик остановился у ворот. Он услышал клаксон и неторопливо вышел, как бы убеждая себя, что суетиться нечего. Чужие сапоги были ему великоваты, нога в них елозила, он шагал, стараясь не наступать на колючки, разросшиеся между камнями. Влез на заднее сиденье рядом с Копачиу. Башалига был за водителя. Налегая грудью на руль и повернув голову, он встретил учителя улыбкой. Копачиу, одетый в штатское, сидел, не похожий сам на себя: этакий застенчивый добряк, ни следа того сплава собранности и развязности, который придавала ему форма в часы дежурства. Он держал на коленях охотничью двустволку и, заметив, что учитель смотрит на нее с любопытством, шлепнул ладонью по темному гладкому прикладу: «Бельгийская, дай, думаю, возьму, чего ей зря висеть в гостиной, правильно?»

Викол Антим кивнул. Но когда машина направилась по глухой дороге к бывшей помещичьей винодельне, он не смог сдержать возглас удивления. Башалига услышал и, не оборачиваясь, стукнул кулаком о борт машины, привлекая к себе внимание. «Попробуем здесь, света пока достаточно, все видно, стреляйте на здоровье.— И через несколько десятков метров: — Только не укокошьте кого-нибудь. Это серьезно, молодой человек, даже Копачиу вас не вызволит из такой передряги». Приглушенно хмыкнул и забарабанил ребром ладони по зеленой жести борта, отбивая ритм. Затормозил он круто и, нагнувшись, вынул из-под сиденья карабин устаревшей конструкции. Солидное ружье, надежное, подумал Викол Антим, но на зайцев с таким не ходят. Тут нужна дробь. Заяц бежит, а его настигает пучок раскаленных дробинок. Это Викол Антим вычитал в одной книге, а он любил хранить верность прочитанному и всегда радовался, открывая в реальности что-то, так или иначе совпадающее с миром его книг.

Он вышел первым, огляделся, они находились в широкой долине, гребень холма вырисовывался четко, голый, без кустов, в щетине травы. Викол Антим даже не подозревал о существовании во Владии уголка, где никто не попытался насадить виноградник, тем более на таком удобном склоне. Башалига заглушил мотор, слышно было, как он спрыгнул на траву, крякнул, потом хлопнула дверца. Копачиу последовал за ним, и они оба подошли и встали рядом с Виколом Антимом, прищуренными глазами озирая скат холма. «Лучше бы на пашне,— сказал Копачиу,— за зайцами оно лучше на пашне». Башалига отмахнулся: «Оставь, мне виднее. Молодой человек, так вы что, берете карабин или бельгийку?»

Викол Антим оглянулся на ружья, прислоненные к переднему колесу машины. Карабин показался ему зловещим, как будто сама смерть засела в линии вороненого ствола, и он выбрал двустволку.

«Охотничью, пожалуй.— Примолк на секунду.— Как-то здесь больше подходит охотничья».

Башалига сходил за двустволкой, раскрыл ее и, перекинув через согнутую руку, подошел к Виколу Антиму, шаря по карманам. Вытащил два патрона, два крепыша с розовым ярлычком на картоне, протянул их Виколу Антиму и сказал: «Пошли».

Копачиу вскинул карабин на плечо и нагнулся. Подобрал с земли сухую ветку и хлестнул по капоту машины. «Пошли».

Викол Антим зарядил двустволку и, держа ее дулами вниз, двинулся к кустам. Он был уверен, что никакой живности здесь нет, тем паче настоящих зайцев. Впрочем, он вообще не предполагал, что в одном с ним мире может существовать что-либо подобное. Он рассеянно шагал, не обращая внимания на голубые репьи, цеплявшиеся за штанины, на колючки и сучки под уступчивым каучуком подошвы. Наступил вечер, но свет еще держался — тот ясный свет, который гаснет разом, уступая место не темноте, а мраку...

Крепко пахло влажной землей, листьями, древесной корой. Башалига окликнул Викола Антима: «Мы с лейтенантом Копачиу берем вправо. А вы, молодой человек, идете прямо и, если до середины склона ничего не попадется, возвращаетесь. Там поглядим».

Он получил еще четыре патрона и опустил их в карман, они обладали приятной, успокоительной тяжестью. Подождал, пока инженер и лейтенант растворились где-то справа, и начал подъем. Он думал, что дойдет быстро. Если не доверху — а хорошо бы! — то по крайней мере туда, куда ему сказал инженер. И поскольку он был один, он чуть ли не бегом припустил вверх по косогору, спотыкаясь чаще, чем можно было предположить. Он лез вверх, согнувшись, хватаясь за зеленые ветки кустов, наступая на муравьиные кучи. Очень скоро у него запылали щеки, кожу жгло от укусов, над верхней губой выступил пот. Он запыхался, и воздух казался ему колючим, хотя стоял тихий, золотистый, нежный день осени. Он остановился, только когда ясно услышал свое дыхание, перекрывавшее шум шагов. Глянул вниз, он забрался довольно высоко, машина едва различалась в яркой зелени, он был один; задрав голову, он с удивлением обнаружил, что до середины холма еще идти и идти. Он пошел медленнее, стараясь выровнять дыхание. Удавалось с трудом. Очень хотелось услышать какой-то другой шум, кроме шороха травы под сапогами или собственных всхлипов — когда он ловил раскрытым ртом воздух. Он наметил себе тонкий белый ствол, потом кочку, потом багряный куст и миновал их по очереди, но его не покидало странное ощущение, что все так же нечетко виднеется машина внизу в долине и что расстояние до вершины не убывает. Тогда он решил, что попал в зону, где пространство устроено особо, стоит перейти ее границу, и всякое перемещение становится действительным только для твоего организма, а внешние мерки исчезают. Наверное, надо добраться до другой границы и пересечь ее, чтобы стало можно идти, мерить, сравнивать. Но как, как до нее добраться, если на его путь уже легла тень *нулевой зоны*? Он почти верил, что вступил в этот зачарованный пояс, и уже обдало его волной тревоги,— а вдруг я не смогу вернуться? — когда он понял, что ему не дойти до вершины, казалось бы, столь доступной, и не дойти потому, что он уже хочет вернуться, потому, что его уже беспокоит, вернется он во Владию или нет. Он остановился и вгляделся в ту сторону, куда скрылись Башалига и Копачиу. И тут вниз по склону покатилось рыжее пятно, заяц, ради которого он проделал весь этот путь, он вскинул ружье и выстрелил. Отдача, резкий запах пороха — лучшей встряски не придумаешь,— он не попал, наверное, не прицелился хорошенько, да и стоял далеко, он еще несколько раз вскинул ружье, чувствуя себя настоящим мужчиной. Прильнув щекой к теплому дереву, держа палец на взводе, он ощущал силу ружья, свою силу, готовую нанести удар. Не смог

удержаться и выстрелил еще раз — в белый и тонкий ствол, который оставил позади. Спустился и вложил палец во влажную рану березы. Попал, попал — и это было изумительно. Он раскрыл ружье, и пустые патроны вывалились ему под ноги, сталь нагрелась, он перезарядил и неторопливо двинулся дальше. Кажется, Башалига был прав.

Откуда-то сверху раздались голоса. Его спутники быстро спускались, упираясь пятками в землю, чтобы не поскользнуться. Копачиу держал карабин наперевес, как солдат на маневрах. «Эй, молодой человек, прикончили зайца?»

Он сделал им знак рукой, что нет, но огорчения его лицо не выражало, скорее удовольствие, и он знал, что выглядит как охотник. Башалига рассмеялся. «Что я говорил, не так-то это просто, молодой человек, не так-то просто». А за ним зашелся от смеха и Копачиу. Викол Антим не понимал, над чем они так аппетитно хохочут, но, тоже со смешком, бросил уже на ходу: «Что ж вы хотите, самого первого, первого трудно, разве что какую-нибудь бестолочь». И Башалига подхватил: «Именно, ишь, черти косые, именно так!»

По дороге вниз Викол Антим расстрелял все свои патроны. Хоть раз-то он должен был попасть в рыжее пятно, выскакивающее из своего сырого убежища под кустом. Должен был, а не попал ни разу. Башалига приговаривал: «Мы их всех там вспугнули, стреляйте, молодой человек, только аккуратнее, ружье у вас нежное». Викол Антим попросил еще патронов, долина гремела и грохотала. А он уже догадывался, что ни бельгийская двустволка, ни уверенность в себе — ничто не поможет ему уложить хотя бы одного из зверьков, скачком вылетающих из тьмы и во тьму возвращающихся.

Они добрались до машины, когда настала ночь, глаза привыкли к темноте и различали контуры предметов, но все же была ночь. Викол Антим сел сзади, держа ружье между колен, втягивая в ноздри резкий запах пороха. Башалига сделал знак Копачиу сесть рядом с ним. «Карабин возьми на колени». Копачиу сел. «Дело сделано, двинулись...»

Инженер обернулся к Виколу Антиму: «Бывает, молодой человек, вечная, черт возьми, история».

Заработал мотор, машина тронулась с зажженными фарами. Викол Антим ничего не понимал. Башалига взял куда-то вправо, шаря фарами по ольшанику. Резко свернул и начал подъем. Это оказалась заброшенная дорога, вернее, только следы бывшей дороги, тропа, но сильная машина хоть и с натугой, но преодолевала метр за метром. Потом тропа расширилась, они пересекли, наконец, границу кустарника, и перед ними открылся лысый гребень холма, они медленно ехали к вершине, подминая траву, объезжая пни и кочки, медленно, но верно. Башалига смотрел налево, Копачиу направо. Викол Антим услышал, как Копачиу шепчет: «Потише, потише»,— и тут он тоже заметил в свете фар зайца, который застыл на задних лапах, прислушиваясь к рокоту мотора, ослепленный светом фар. Он был рыжий, как и те, в которых стрелял Викол Антим, может быть, даже один из них, но сейчас он стоял столбом, шерстка на кончиках ушей шевелилась, голубоватое сияние очертило вокруг него заколдованный круг и парализовало. Копачиу взялся за карабин, сухо клацнул курок, лейтенант выстрелил. Зверек вскинулся в отчаянном прыжке, издал тонкий всхлип, как будто заскулил щенок, и Викол Антим увидел, как у него последний раз дернулись задние лапы. Копачиу сказал: «Сходите за ним, только смотрите не замарайтесь».

Викол Антим вылез, подошел к лежащему зайцу, у того были открытые черные глаза, Викол Антим взял его за уши и поднял. Заяц был тяжелый, лапы свисали до земли, он доволок его до машины и, кинув внутрь, услышал глухой стук. Башалига крикнул: «Залезайте, молодой человек, еще не все!» Он влез и сел, поеживаясь, за спиной

у Копачиу, который перезаряжал карабин. Он радовался, что не придется возвращаться домой с пустыми руками. Подстрелят ли они столько зайцев, чтобы и на его долю достался один, он не знал, но все равно радовался. Теперь он глядел в оба, следил за краями освещенной полосы и несколько раз дернулся было, но Башалига цыкал на него: «Сидите смирно, это пень, это куст...» Он разволновался и даже забыл о своем дневном позоре, охота, как видно, только началась, и он ликовал. Копачиу настрелял таким образом полдюжины зайцев из тех, что замирали в заколдованном круге света под чарующий стрекот мотора.

В машине сделалось так тесно, что Викол Антим упирался носками сапог в последнего зайца и по дороге домой, всякий раз когда его на ухабах бросало вперед, чувствовал, как коченеет чужая плоть, и у него было ощущение, что жизнь исподволь, медленно оставляет тело и что тогда, когда звери падали, смерть не наступала, а только начиналась, осуществившись в этом их последнем пути.

И пока длился этот путь, Башалига успел растолковать Виколу Антиму, в чем дело. «Выигрывает тот, у кого козыри. Когда заяц бежит, а охотник на месте — вы видели, что получается. Мы сделали наоборот. Что вышло, вы тоже видели». И добавил, тыча большим пальцем через плечо: «Если примешь их условия, потеряешь время, а другой раз и кое-что еще, а если заставишь их принять твои, они расстаются со шкурой».

Он посигналил для виду, а Копачиу принялся свистеть. Когда подъехали к его дому, Викол Антим протянул ружье лейтенанту. «Это было великолепно, я даже не ожидал». Башалига кивнул. «Я того же мнения, молодой человек, в высшей степени поучительно, правда?» А Копачиу добавил: «Доброй ночи»,— и означать это могло что угодно. Не успел Викол Антим открыть ворота, как машина подрулила задним ходом, и из-под отстегнутого брезента в уличную пыль вывалились все шесть зайцев. Викол Антим оторопело взглянул на черные трупики и не нашел, что сказать, а Копачиу приподнял угол брезента: «В знак внимания от инженера Башалиги. Он говорит, что вы можете с ними делать все что угодно, хоть подарите».

Он подмигнул. «Сущий дьявол, этот инженер Башалига, представляете, он говорит, что раз поучительно, так должно быть поучительно до упора. Этот фокус с зайцами в его вкусе. Я так думаю, вы можете даже не считать себя обязанным». Он задрал голову к небу: «Да, поздновато, молодой человек, но великолепно было, а?»

Викол Антим не отозвался, он стоял у ворот, совсем один, глядя на шестерых зайцев, убитых Копачиу из карабина, чужие сапоги промокли, то ли от пота, то ли прохудились; и не было сил. Копачиу шлепнул рукой по брезенту. «Пока, и не дуйтесь, можете их отдать кому хотите, никто вам слова не скажет. Только смотрите, молодой человек, не навредите себе. Здесь, во Владии, любой пустяк...» Машина рванулась, и Викол Антим не расслышал конца, стало так тихо, как бывает только в глуши, осенью, когда все кузнечики умерли.

Два часа он перетаскивал зайцев в сарай подле одного из заброшенных домов, которых было много в этом конце селения. Его передернуло при мысли, что через день или два их учуют собаки и по улицам будут валяться клочья рыжей шерсти.

Вконец измучившись, он уснул одетый, а когда на другой день проснулся около полудня, пришел к выводу, что охота может вымотать настолько, что потеряешь чувствительность к вещам по сути своей для тебя ужасным. Например, выстрелить в зайца, который поджидает тебя на задних лапах, обмирая при твоем приближении, оцепенев от желания понять, что же происходит. Перед ужином он вернул сапоги Кройку и, когда тот спросил, как все было, ответил коротко — не то чтобы недовольно, а словно изымая себя из вчерашней жизни: «Поучительно, а как иначе, очень поучительно».

Кройку взял сапоги, завернул в газету и, когда Викол Антим уже выходил, сказал ему вслед: «Вероятно, так оно и есть, коллега, потому что Михэлчану, который у нас вел румынский, пару лет назад тоже вот этак пошел на охоту, и, когда я его стал спрашивать, что да как, он ответил мне в точности как ты. Хотя, в конце концов, охота есть охота и ничего более».

Викол Антим был уже за дверью и, возможно, даже ничего не услышал.

Перевод А. СТАРОСТИНОЙ

МИХАЙ СИН

Каждый выполнит свой долг

Вот уже три недели, как Гаврил Бургеля, получив звание доцента, вел курс истории в университете. Случилось это неожиданно, когда, казалось, всякая надежда перейти на кафедру рухнула. И теперь он с трудом привыкал к этой перемене, ибо достиг, как это ни прискорбно, того возраста, когда успехи более не опьяняют, а скорее вызывают беспокойство и некоторое подозрение, что они ложные и таят в себе некую ловушку, расставленную неизвестным противником для нанесения удара из-за угла. Своих реальных врагов он знал наперечет — сколько же сил с обеих сторон было потрачено на конфликт! Он прекрасно знал и уязвимые места своих врагов, однако не обладал нужной смелостью и упорством, чтобы предпринять контратаку. Он так и не научился драться.

Гаврил иногда представлял себя на войне — нередко и участником смелых операций, проводимых под оглушительный треск пулеметов. Его голова была полна гениальными стратегическими планами, правда разработанными всегда кем-то другим.

Но и в этой войне — не наяву — ему отводилась лишь второстепенная роль простого солдата, которому приходилось вести ожесточенный огонь по невидимой цели. Пулеметчик Бургеля занимал четко определенное место, неизменную позицию на покрытой пучками серой засохшей травы высоте, с которой он методически обстреливал широкую зону, не видя ни фигур, ни военных объектов противника. Правда, в нескольких сотнях метров перед ним рвались снаряды и дым сплошной пеленой застилал горизонт.

Лишь однажды Бургеле приснилось, что он сержант, командир отделения. Покинув высоту, он ползком пытался обойти зону обстре-

---

МИХАЙ СИН — MIHAI SIN (род. в 1942 г.).

Румынский писатель. Окончил филологический факультет Клужского университета. Начал печататься в 1966 г. Автор сборников рассказов и романов «Жизнь на обочине шоссе» («Viața la o margine de șosea», 1975), «Стучи и тебе откроют» («Bate și ți se va deschide», 1978).

Рассказ «Каждый выполнит свой долг» взят из сборника «Терраса» («Terasa». București, «Editura Eminescu», 1979).

ла, но линия фронта слишком вытянулась, и ему никак не удавалось пересечь полосу заградительного огня. Неожиданно в дымовой завесе объявился просвет, и он увидел пространное, уходящее к горизонту поле, залитое солнцем. На поле вяло прыгали зайцы, никакого противника не было и в помине, и лишь где-то вдали продолжали равномерно рваться снаряды. Взбудораженный, он проснулся весь в поту — пижама хоть выжимай — и подумал, что это стреляли его товарищи, а заградительный огонь служил предупреждением тому, что впереди — опасная, непроходимая зона. Но почему же тогда не видно было противника? Далеко у горизонта обозначалась прямая черная полоса, а между ней и линией заградительного огня лежало огромное солнечное поле, где резвились зайцы. Он почувствовал неодолимое желание оказаться там, в этом ничейном безлюдном пространстве, в этой обители покоя, но тут же его поразила мысль: а не будет ли это дезертирством? Ответ пришел сам собой — нет, разумеется, не будет, коль противника нет. Сперва нужно убедиться, что таковой существует, а уж тогда и простой сержант может стать героем, ибо полученные им сведения решат исход сражения. А пока что можно наслаждаться желанной тишиной на солнечном поле.

Он полз к просвету еще какое-то время, а поднявшись на ноги, вдруг ощутил резкую боль в левом плече. В ужасе он потянулся к плечу, чтобы нащупать рану, но гимнастерка была цела, крови не было. А боль меж тем переметнулась в сердце — его словно сжимали чьи-то пальцы. В отчаянии хватаясь за грудь, он проснулся.

Верона, давно привыкшая к бессоннице и ночным кошмарам мужа, спала, слегка посапывая, не реагируя на скрип дверцы шкафа, в котором он искал сухую пижаму. Она знала, что Гаврил пойдет в ванную комнату и будет там курить, пока не начнет кашлять от дыма. Когда-то она пыталась угадать, о чем он там думает глубокой ночью, дымя сигаретами. В то время они были еще очень молоды, недавно поженились, но она и тогда не могла понять, что происходит с мужем по ночам, что кроется в его взгляде, отчего глубже становятся морщины на лбу. Всякий раз спросонья она задавала одни и те же вопросы: «Что с тобой? У тебя болит что-нибудь? Зачем ты куришь ночью?» И ответ был неизменно таков, что ей никогда не удавалось уловить его смысл: «Немного болит голова. Ты ведь знаешь, голова у меня с причудами, тяжело засыпает».

Верона снова ложилась в постель, погружалась в сон, а утром поднималась раньше его. Он спал мертвым сном, черты его лица были чуть искажены, но рассматривать мужа у нее не было времени — она стаскивала с него одеяло, выслушивая бормотанье, а потом приходила и тормошила вновь, пока он не вставал и не одевался. Затем они вместе торопливо завтракали.

Верона уходила первой и в восемь часов уже была в классе, где сидели сонные ученики и тянуло запахом мальчишеских тел, не слишком избалованных водой и мылом. Ребята немного побаивались ее — она часто подтрунивала над ними и с легкостью ставила плохие отметки. Правда, когда Верона стояла спиной к классу и писала на доске, они с волнением наблюдали за игрой ее форм, начинали шушукаться, неумело рисовали ее на листках, а затем передавали их друг дружке под партами. Казалось, Верона ничего не замечала: энергичная, уверенная в себе женщина, она продолжала ставить плохие отметки и рассказывать про стародавних воевод — от этого только и теплел ее голос.

Гаврил, или Гав, как звала его Верона, никогда не поспевал на работу вовремя — к восьми, как полагалось. По утрам он не приходил в себя, пока не выпивал кофе. Перед тем как захлопнуть дверь квартиры, он глубоко вдыхал застоявшийся воздух, напоминавший о сне и покое. Но его тут же начинало мутить — воздух был пропитан духами и косметикой Вероны. И уже уходя, он чувствовал, как в нем

поднимается обычное раздражение и недовольство обыденностью утренних часов, автобусом, набитым битком, в который ему предстоит втиснуться, примелькавшимися лицами. Он поздоровается с одним, другим и сойдет на шестой остановке, неизменно на шестой, хотя хорошо бы сойти на пятой или седьмой и остаток пути проделать пешком, но времени на это никогда не хватало. Потом он шел по тротуару — даже колдобины его были донельзя знакомы,— покупал в киоске газету, закуривал свою первую сигарету и входил в пустой вестибюль. Здание было построено в XVIII веке, но обновлялось столько раз, что утратило всякий стиль. «Доброе утро»,— автоматически приветствовал он секретаршу, равно как библиотекаршу и маленького лысого главбуха в лоснящихся на заду брюках, «доброе утро» доставалось на долю и остальных сотрудников, старательно листавших документы и фолианты прежде всего ради собственной картотеки. Кстати, и он занимался тем же, разве только с более независимым видом, полагая, что его-то мысли куда самостоятельнее и оригинальнее прочих.

Время текло под стук маятника венских часов, дни проходили однообразной чередой, будничность которых нарушалась междусобойчиками по случаю каких-либо дат. И все-таки ему повезло с профессией. Его вдохновляли страницы военных мемуаров, он читал их украдкой, словно мальчик, отвлекающийся от уроков. Нравились ему и биографии выдающихся личностей. Углубившись в нагромождение великих событий, он будто воспарял надо всем, охваченный неподдельным возбуждением, забыв о фальши, о которой ему подчас напоминал рассудок.

Так проходили недели, месяцы, годы; накопилось множество научных работ, написанных в профессионально сухой, скучноватой манере; он был назначен старшим научным сотрудником и стал получать несколько больше, со временем свыкся и с должностью «старшего», и со своим новым кабинетом, окна которого выходили на улицу. Он подолгу стоял у окна и наблюдал за девушками и парнями, завидуя их раскованным движениям, модной одежде. Затем возвращался к столу... Он никогда по-настоящему не верил в эту работу, но питал смутную, неосознанную, хотя и заглушаемую природным цинизмом надежду, что в один прекрасный день какая-нибудь его страничка, параграф или даже строка окажутся важным открытием, поистине отправным пунктом его карьеры революционера истории и культуры. Он считал, что история культуры есть калейдоскоп безграничных амбиций и должна приниматься как таковая. Во всяком случае это единственная, считал он, возможность для талантливого человека осуществить желаемый скачок.

В общем, «годы пронеслись словно тучи над равниной», как сказал один поэт и как иной раз говаривал сам Бургеля, чувствуя при этом, что у него как-то странно кривятся губы.

С тех пор как он стал старшим научным сотрудником, прошло пять лет.

Досье, в котором скапливались его изыскания — это вещественное оправдание занимаемой должности,— постоянно росло, обогащаясь как выдержками из работ, опубликованных в солидных журналах по истории, так и случайными статьями, печатавшимися во второстепенных журналах по поводу тех или иных юбилеев. Приятно было их собирать, хранить, утешая себя, что существуешь на свете не напрасно. Да и потом, многие делали карьеру подобными статейками, именно они создавали популярность в научных кругах, ибо, как ему было хорошо известно, специализированные издания и научные работы, какими бы солидными они ни были, редко читаются даже его коллегами-историками. Популярность достигается языком учебника: Николае Бэлческу родился в... и был великим революционером; Йор-

га был великим... семья румынских энциклопедистов замечательна тем, что...

Дни, проведенные в кабинете или библиотеке за высокоинтеллектуальным трудом, продирались сквозь кофейную гущу бесчисленных чашек кофе, более спокойные дни были затянуты дымовой завесой сигарет — дешевых и подороже,— но так или иначе это был дым от двух пачек курева ежедневно.

А жизнь Вероны текла своим чередом: преодолев невыносимо скучную полосу преподавания в профучилище, год назад она перешла в лицей; ее природная энергия забурлила с удвоенной силой, и по вечерам она рассказывала Гаврилу о событиях дня: о директоре, об учительнице и учителях, погрязших в рутине, обо всем, что ее не устраивало, о прилежных учениках и разгильдяях, прогульщиках и выпивохах. Муж равнодушно выслушивал ее, ничего не запоминая. «Вот моя жена,— говорил он себе,— счастливое создание, она способна в любой ситуации за что-то крепко ухватиться, воспрянуть духом и считать, что она живет и работает как положено».

Верона была высокого мнения о своей собственной полезности, всегда уверенная в себе, она постоянно хотела что-то изменить, исправить — пусть пустяковые, но досадные неувязки. Другими словами, это была активная женщина бальзаковского возраста, год назад избранная председателем профбюро лицея. Об этом событии она известила мужа светлым теплым сентябрьским вечером, оглашаемым криками улетающих птиц. Она долго, в мельчайших подробностях, рассказывала о собрании, а он слушал ее вполуха, улавливая в ее тоне едва сдерживаемое удовлетворение, мелочную гордость. Если бы он в шутку предложил ей отметить событие и распить по этому поводу бутылку шампанского, она, самоупоенная курочка, не задумываясь, согласилась бы. Однако в тот вечер Гаврил не позволил себе никакой иронии, никаких колкостей, допустимых между супругами, которые давно притерлись друг к другу. Он понимал, что лишь из трусости или из соображений удобства не решается четко определить их супружеские отношения. И более всего его удивляло собственное спокойствие, с которым он взирал на растраченные годы, то безразличие, с которым он отмахивался от риторического вопроса: «Неужели это и есть самое великое чувство, моя единственная любовь, женщина, призванная озарять тревожные сны твоей беспокойной молодости?» И сразу же на ум приходил ответ: слишком поздно что-либо менять, да и потом, любой вариант окончился бы тем же самым. Поэтому днем Бургеля продолжал оставаться — как считал он сам — спокойным и отрешенным, а вот ночью одолевала бессонница. И время катилось дальше и дальше, наполненное мелкими событиями и до невозможности однообразными развлечениями, которые выглядели безвкусными мазками на сером холсте, постоянно маячившем перед его глазами с удвоенными очками для чтения.

Так тянулось до того дня, пока не произошел неожиданный поворот, последствия которого трудно было предвидеть. Разнеслась весть о скоропостижной кончине старого профессора Чисмашиу, заведующего кафедрой новой и новейшей истории, участника международных конгрессов и члена бесчисленных комитетов. В свое время Чисмашиу преподавал и Бургеле, но тот не входил в число его любимцев, занявших впоследствии, не без протекции профессора, видные места. Некоторых профессор оставил при кафедре, и из них сложился коллектив, который занимался редактированием научных работ и книг. Их бесцветные имена обозначались мелким шрифтом... Впрочем, данное обстоятельство Гаврила никак не задевало, и он отправился на похороны профессора. Стоял довольно теплый мартовский день, похоронный кортеж проходил по городу в сопровождении духового оркестра, наскоро составленного из студентов, которым пришлось весь день до этого без устали репетировать. Однако оркестр недурно

справлялся со своей задачей. Бургеле всегда нравилась игра духового оркестра, а любителю такой музыки не к чему быть особо привередливым. Он вырос в городке, где жили саксы, вокруг были разбросаны их села, поэтому детство его и юность были озвучены музыкой, под которую ходили размеренным строевым шагом.

Он шел за похоронным кортежем, отвлекаемый шепотом и разговорами провожающих, и в памяти его невольно возникали картины прежних похорон, с участием детей, державших шаг не хуже взрослых. Обычно он наблюдал за ними из окна дома в немецком стиле с мощными стенами, громадной дверью и ставнями, через которые скупо пробивался свет. Дом принадлежал семье, бесследно исчезнувшей в водовороте войны. Он смотрел в окно, и его почему-то неудержимо влекло присоединиться к этой процессии. Он любовался этими дисциплинированными, серьезными детьми, крепкими и опрятными, точно взрослые. Оркестр играл заунывно, и оттенки мелодии различить было трудно. Вся прелесть состояла лишь в ритме молчаливого марша. Шаги казались мягкими, но порядок и темп движений не теряли нужной четкости и отдавались в душе мальчика смутным волнующим эхом. Действительно, что такое духовой оркестр, если не барабанный бой, завывание труб, надсадный стон кларнетов и вовремя звучащая команда тарелок? Что такое духовой оркестр, если не коллективный ритм, дисциплина и безотчетный страх потерять свое место в строю, стать смешным, беспомощным, услышать насмешки окружающих, горькие и обидные слова. Процессия, будь то похоронная или свадебная, заботливо охраняла и крепкого, мощного мясника с бойни, и сына учителя, лицеиста Георга Енехарта, угреватого верзилу, обретшего в этом ритме неожиданную самоуверенность...

Отец Гаврила был учитель; стоило ему переступить порог дома, как он тотчас замыкался в себе, но мать, уставшая от работы в банке, вполне мирилась с этим. Их дома никто не навещал, друзей у них не было, и Гав вырос в полумраке комнат и во дворе, куда иной раз выходил почитать на солнце. Вот потому-то его, нескладного подростка, и очаровывали волнующие мелодии саксовских оркестров, проходивших по улице, на которой он жил.

«Порядок учит время находить»,— сказал Гёте. И Гаврил, когда оркестр затих, подумал: «Это всего лишь одно из средств, чтобы выиграть время, чтобы выстоять». Голос оратора вознесся над процессией: в его словах содержался мучительный вопрос, и все лихорадочно ждали ответа. «Хочется верить, что каждый выполнит свой долг. Только так можно по-настоящему достичь умиротворения, только так можно оставить светлую память по себе, только так мы продолжаем свое существование в тех, кто займет наши места».

Бургеля задумчиво курил, наблюдая за движениями коротких рук оратора, который, держа локти впритык к полному телу, то патетически устремлялся вперед, то задумчиво отступал назад или, желая, видимо, придать особое звучание своим словам, слегка наклонялся вперед. Гаврил знал выступавшего по публикациям в специальных изданиях, несколько раз беседовал с ним на научных сессиях. Однако особенно профессор Мариан никогда его не интересовал. Гаврил знал, что тот много и плодотворно работает, но в целом был невысокого мнения о его идеях и немного напыщенном стиле, отдающем старомодной высокопарностью. Его удивило, что профессор Мариан несколько раз внимательно посмотрел на него. Еще более он удивился, когда тот после похорон пригласил его в кафе и там без обиняков сказал ему, что наблюдает за ним в течение нескольких лет, считает его способным исследователем и собирается выступить с предложением о назначении его доцентом на кафедру новой и новейшей истории вместо Чисмашиу.

Лицо Бургели, вероятно, выразило изумление, но пояснения Мариана прозвучали довольно сухо:

— По правде говоря, главная причина, побудившая меня остановить свой выбор на вас, заключается не в каких-либо ваших выдающихся способностях, хотя они, возможно, у вас и имеются. Дело в другом. Мне не по душе выскочки, люди с непомерной амбицией. Вы же мне всегда казались скромным, знающим свое место и свои возможности. Я думаю, вы понимаете, что мне в моем возрасте не нужен сотрудник, который со временем стал бы драчливым и необузданным конкурентом. Выполняйте свой долг — это все, что от вас потребуется.

Они распили бутылку хорошего, дорогого вина, марки которого Гаврил даже не запомнил. Иначе он представлял себе свое возможное появление на кафедре. Ему виделось триумфальное шествие, напор парового катка, который сразу обеспечил бы ему всеобщее признание.

Но он принял предложение, ибо выбора у него не было. И даже испытал тайную радость от того, что именно он займет место, за которое боролись многие другие. Именно он, потому что двигался он тихо и терпеливо. Значит, в нем были заложены семена упорства, и, как знать, может быть, он когда-нибудь покажется паровым катком и тогда все увидят, что годы обладают необратимой силой, которую нельзя сдерживать, нужно дать ей свободно действовать.

Итак, вот уже три недели Бургеля с безукоризненной пунктуальностью читал курс истории. Он говорил тихо, заставляя тем самым слушать себя и сохранять полную тишину. Спокойным, нарочито ровным голосом он уверенно излагал даты, имена, события.

Лишь в первый день в начале лекции голос его немного дрогнул и слегка пополз вверх, когда он сказал:

— Задачей истории является исследование социальных явлений и переворотов исключительной важности, которые коренным образом воздействуют на общество. Несколько бурных десятилетий подчас имеют в истории гораздо большую ценность, чем целые столетия.

Однако уже через минуту Бургеля освоился, и голос его приобрел необходимую твердость.

Перевод А. ЗИМЕЛЕВА и С. КОСЕНКО

■

АЙИ КВЕИ АРМА

Целители

РОМАН

Перевод с английского А. СЕРГЕЕВА

ЧАСТЬ VI

1. Береговой Мыс

Усталость с дороги прошла лишь к вечеру второго дня в Бакано. Сначала он даже не подозревал, насколько он утомлен. Он хотел сразу же пойти в центр города, побродить возле крепости и постараться узнать, что возможно. Его отговорила целительница Ама Нкрома, у которой он остановился.

— Передохни,— сказала она.— По молодости ты сам не знаешь, как ты устал. Кроме того, может быть, я могу рассказать тебе то, что ты хочешь увидеть. Вчера я была там все утро и большую часть дня до твоего прихода. Ты не поверишь, сколько может узнать в городе старая женщина. Там все время что-нибудь происходит.

— За последние дни приплывали туда корабли?

— Один.

— И много было на нем белых?

— Я видала, на берег сошло тридцать, может быть, сорок.

— А кто они были? Солдаты? Торговцы?

— Определенно солдаты. Один, без сомненья, командир. В честь него стреляли из пушек, и черные солдаты выстроились рядами, так что он, вероятно, большой командир. Но никто на берегу ничего точно не знал, а белые прямо направились в крепость. Смешно: туда собрались вожди, чтобы новый белый пожал им руки, а он даже не обратил на них вниманья. Так они и остались стоять как дураки. Видел бы ты большого вождя Ату! Он весь день простоял там под красным зонтом. На обратном пути я слышала барабаны по всему городу и узнала, что они готовятся к большому собранью в шестой день недели.

— Завтра?

— Да, завтра. Новый белый явно торопится.

— Где будет собранье?

— Как всегда — на площади перед крепостью. Это недалеко отсюда. Легко дойти по берегу — если ты любишь морской ветер и не имеешь ничего против песка под ногами. Но мне нужно встретить целителя, который ходил далеко на запад, в Нзему, и передать ему твое порученье от Дамфо. Когда вернешься, ты мне обо всем расскажешь.

Утро выдалось тихое. Ветерок подгонял Денсу в спину. У берега ветерок ослаб, дрогнул, и в воздухе утвердилась полная тишь.

Денсу шел левым краем лагуны. Зеленая гладь воды постоянно дробилась, как от предгрозовых капель дождя, только источник ряби был под водой. Временами оттуда выскальзывала серебристая рыбка и, блеснув, тотчас скрывалась в глубине.

Высокая бело-желтая дюна закрывала собой берег, и, когда Денсу взобрался на нее, он одновременно увидел и услыхал солдат. Они шагали по берегу в колонне по

Окончание. Начало см. в № 1, 2, 1982.

одному. Темная кожа и темная форма резко выделялись на бледном песке под ногами и за спиной.

Денсу шел в прежнем ритме. Солдаты нагнали его и перегнали, и лишь немногие искоса и с любопытством взглянули в его сторону. Они пели простую, однообразную песню. Сама ее простота и однообразье придавали колонне тяжелую, несокрушимую, тупую силу, которая напоминала о показавшейся вдалеке крепости. Солдаты пели:

Мы идем воевать,
Мы идем воевать.
Мы идем убивать,
Мы идем убивать,
Мы идем умирать,
Мы идем умирать,—

и в конце оглушительный взвизг:

И-и-и! И-и-и!
Мы идем умирать!

Весело распевая о надвигающейся смерти, солдаты ушли вдоль лагуны на запад. Денсу надо было подождать, когда солнце встанет повыше, и он посидел полюбовался морем.

Ходьба не утомляла, а, наоборот, освежала. Песок под ногами не успел раскалиться и был приятно теплый. Яркий солнечный свет, мешаясь с новорожденным ветерком, ласкал кожу. Весь мир казался свежевымытым, даже солнце в небе. По мере приближения белые очертания крепости вырастали. Черные заплаты на белых стенах превратились в бойницы с торчащими пушками. Издалека доносился стук барабанов и разноголосица царских труб.

Поросшие кустарником скалы закрывали вид вниз, на площадь у крепости. Денсу решил было обойти скалы слева, но, оглядев их, начал карабкаться вверх. Он нашел выступающий камень, обеими руками проверил его устойчивость, подтянулся и поставил ногу на уступ на половине человеческого роста от земли. После этого лезть было нетрудно — в скалах было множество выступов, выбоин и расселин.

Сначала он ничего не увидел из-за густоты кустов. Но трубы и барабаны звучали совсем рядом. Денсу понял, что добрался до площади. Он прополз сквозь кусты, тщательно избегая острых шипов, и, отведя рукой ветку, увидел необычайное оживленье.

В середине площади друг против друга стояли два больших навеса из ткани. Между ними на высоком белом шесте колыхался под ветром с моря флаг белых — красные, белые и синие полосы. Денсу не имел возможности выбрать место поудобнее — со своего места он не видел, что происходит под навесами. Громкое соревнованье царских барабанов и труб в середине площади было лишь отголоском опьяняющего движенья, завихрявшегося вокруг палаток.

Со стороны крепости к ним направлялось торжественное шествие во главе с барабанщиками и трубачами. Издали шествие напоминало раскормленного питона: тонкие голова и хвост и толстое брюхо посередине, вокруг огромного, безумно вращавшегося красного зонта с золотой фигуркой вверху. Из-за вращенья и блеска солнца Денсу не мог разглядеть, что это за фигурка. Ослепленный, он невольно закрыл глаза, и под веками поплыли зеленые пятна.

Денсу открыл глаза и старался не смотреть на красный зонт, но это было немыслимо. Он вращался, взлетал, вокруг него, привлекая взгляды, развевались золотистые кисти. Денсу превозмог искушенье и под безумным красным зонтом увидал дикую толпу, разбухавшую по обе стороны шествия. По краям ее маленькие ребятишки, большей частью голые, плясали под музыку барабанов и, подчиняясь их ритмам, порой самозабвенно забегали вперед и преграждали дорогу шествию. Людей под красным зонтом это явно сердило. При каждой такой остановке из-под зонта выбегал дюжий слуга и разгонял плясавших ребят.

Один его вид, казалось бы, должен был их распугать. Он был до пояса голый, вся огромная грудь его поросла густыми волосами. С бедер его до колен свисал кусок миткаля. Каждая икра была толщиной с хорошую тыкву.

Живот его выпирал вперед, ягодицы отклячивались назад. Мышцы мощных рук находились в постоянном напряженье. Запястья перетягивали темно-коричневые ремешки. Голова его была странной формы. Невысокая, она огромным лбом выступала вперед, а тяжелым затылком свисала назад, точно повторяя очертанье живота и ягодиц.

На половине пути к навесам произошла новая вынужденная задержка. То ли по указанью главного, то ли по собственной воле барабанщики вдруг забили громче и возбужденней. Ребятишки в головокружительном плясе рванулись вперед и намертво остановили шествие.

Могучий слуга, чтобы расчистить дорогу, выбежал из-под зонта и бросился на ребятишек с длинной толстой дубиной. Он заносил ее с такой злобой, что несомненно хотел изувечить пляшущих. Ребятишки заметили угрозу, но не перестали плясать. Они проворно расступались перед ним, так что он все время был в их кругу. Злоба довела его до позора. Он обрушил дубину на ближайшего мальчишку, но тот извернулся и почти ускользнул. Удар пришелся по заду. Мальчишка упал. Могучий слуга оказался над ним.

Товарищи упавшего нимало не испугались. Один из них ринулся на выручку, и, когда силач попробовал и его угостить дубиной, все остальные вцепились — не в силача, в дубину. Он рванул ее на себя — мальчишки подались на шаг-два. Но они держали дубину все крепче и, не выпуская ее, вдруг побежали назад. Несмотря на внушительный вес, могучий слуга не мог воспротивиться.

Мальчишки прибавляли бегу, силач отчаянно старался удержаться на ногах. С восторженным хохотом мальчишки рванули дубину, и могучий слуга оторвался ногами от земли и мгновенье висел в воздухе, как чудовищная бескрылая птица. Он упал животом на землю. Огромный живот смягчил паденье, пальцы ног коснулись земли, руки и голова остались в воздухе. Странным образом, дубины из рук он не выпустил. Мальчишки тянули ее по-прежнему.

Казалось, они собираются за дубину протащить свою жертву вдоль всей площади. Но барабанщики и трубачи уже отложили свои инструменты и бежали спасать могучего слугу. Последним рывком мальчишки отняли у него дубину и разбежались во все стороны.

Музыканты помогли силачу встать на ноги. Он был подавлен. Он не сказал ни слова и пошел к красному зонту походкой побежденного, обессилевшего человека. Прежний порядок восстановился, но музыканты больше не играли. Лишившееся мальчишек и оттого похудевшее шествие в молчанье медленно продолжало путь. Перед навесами красный зонт остановился. Одинокая труба огласила хвалой воздух. Зонт вращался быстрее и быстрее, кисти высоко взметались и хлопали. Люди вокруг зонта замерли и, словно по некому знаку, уселись на землю.

Другие толпы, другие шествия двигались по площади, направляясь к навесам. В каждом шествии был свой яркий зонт, свой гром барабанов, свое завыванье труб. Один зонт был синий с желтыми полосами и красными кистями. Другой — ярко-оранжевый с белой каймой. На площади виднелись зонты — зеленые и с дюжину разноцветных.

Что до музыки, то воздух над площадью содрогался от мощи трехсот барабанов и сотни царских труб. Пространства между зонтами заполняли мужчины, женщины, толпы детей.

Денсу решил, что пора выходить из укрытия. Красный зонт, первым привлекший его вниманье, находился ближе других к палаткам. Он пошел к нему. В огромной толпе продвигаться было непросто. Под ногами все время путались ребятишки, взрослые спрашивали, какие у него есть лекарства. Он отвечал на приветствия, но не говорил о лекарствах.

От кишащих толп пыль поднималась клубами, как пар. Становилось трудно дышать. Денсу старался выбраться из огромной кишащей толпы. Чем ближе к красному зонту, тем меньше пыли висело в воздухе. Под зонтом и вокруг него люди сидели на земле или спокойно стояли в ожиданье чего-то.

Денсу с трудом отыскал извилистый проход между сидевшими и, приблизившись к красному зонту, узнал силача, только что проигравшего бой с ребятишками. Он стоял, понуро уставясь в землю перед собой. В огромной толпе он казался потерянным, одиноким.

Прямо под красным зонтом мужчина — царь — восседал на троне. Резное сиденье трона поддерживал деревянный слон, стоявший на прямоугольном основанье. Ноги царя в огромных сандалиях с узорчатыми раззолоченными шнурками покоились на леопардовой шкуре. Голова леопарда и после смерти продолжала яростно скалить желтоватые клыки. Перед царем на краю шкуры, скрестив ноги, сидел юноша с дву-

мя церемониальными мечами. За правым плечом царя стоял седой старик с черным посохом, навершие которого изображало попугая с открытым клювом.

Глаза Денсу вернулись к могучему слуге в тот миг, когда силач оторвал сконфуженные глаза от земли. Взгляды их встретились. Денсу не отвернулся. Могучий слуга затоптался на месте, точно от неподвижности у него затекли ноги. Затем он злобно пошел на Денсу. Денсу не отступил.

— Эй ты, прочь с дороги! — заорал могучий слуга.

Денсу не сводил с него глаз. Силач поднял руку, чтобы толкнуть Денсу. Денсу отставил назад левую ногу. Силач толкнул его изо всех сил. Денсу не пошевелился. Солнце пекло все жарче, пот струился по лицу могучего слуги.

— Сказано тебе, уходи! — опять заорал он. Денсу не произнес ни слова. Силач в отчаянье огляделся и, словно найдя спасительное решенье, пошел назад, к царскому трону. Седой старик с попугаем на посохе, царский глашатай, вовремя встал между царем и могучим слугой.

— Что случилось, Коту? — медленно проговорил он.

— Там человек! — силач ткнул рукой в сторону Денсу.

— Вижу. И что он сделал?

— Он, наверно, колдун.

— Быть может, Коту. Но что из этого?

— Я его не знаю.

— Ты не можешь знать всех лекарей в мире.

— Он пришел сюда, чтобы заколдовать царя,— сказал силач таким громким шепотом, что все вокруг услыхали.

— Откуда ты знаешь? — улыбнулся глашатай.

— Я чувствую,— уверенно ответил могучий слуга и трижды ударил себя в грудь. — Он несет зло.

— Это мы увидим,— глашатай вздохнул. — Передай ему, что царь хочет с ним говорить. Ступай!

Могучий слуга направился к Денсу с таким видом, словно ему приказали передать дурную весть.

— Эй ты, колдун. Подойди к царю.

Денсу спокойно направился к красному зонту. Его встретил глашатай.

— Молодой человек, ты пришел издалека? — спросил глашатай.

— Не слишком издалека,— ответил Денсу.

Глашатай вежливо улыбнулся.

— Что ты делаешь?

— Я лечу людей.

— Что в твоем мешочке?

— То, что нужно для работы.

— В таком маленьком мешочке?

— Сегодня у меня только одно лекарство.

— Что это за лекарство?

— Названье его я могу сказать только на ухо,— ответил Денсу.

Глаза седого старика блеснули.

— О-о! Названье, которое можно сказать только на ухо. Я должен его услышать. — Он придвинулся поближе и подставил левое ухо. — Этим ухом я слышу лучше,— сказал он. — А теперь говори.

Денсу наклонился к нему и, почти касаясь губами уха, прошептал:

— Бедивона.

Седой старик подскочил и, конечно, ударил бы теменем Денсу в лицо, если бы тот предусмотрительно не отпрянул. Глашатай глядел на Денсу и не мог поверить его словам. Он трижды моргнул, закрыл глаза и перевел дыханье. Открыв глаза, он спросил:

— Ты шутишь?

— Я целитель.

— И у тебя есть лекарство с этим названьем?

— Да.

— Я слышал это названье, но всегда считал, что оно лишь грубая шутка. Это правда?

— Что правда? — словно не понимая, спросил Денсу.

— Это лекарство правда помогает мужчине?

— Некоторым образом да. Конечно, силу всему дает природа. Но то, что есть у меня, помогает убрать те преграды, которые сдерживают прилив чувств.

— Ты удивляешь меня, молодой человек. Что-то мне говорит, что я не должен поспешно верить тебе.

— Вам вовсе не надо мне верить. Всегда есть способ узнать, что правда и что ложь.

— Ты советуешь мне попробовать твое лекарство?

— Если ваш дух того хочет.

Глашатай прокашлялся.

— Непочтительный мальчик, ты видишь мою седину?

— Вижу. Она признак большого опыта и иногда мудрости.

Глашатай расхохотался — громко и от души, так что царь вопросительно посмотрел на него. Царь не сказал ни слова, глаза его были достаточно красноречивы, и глашатай склонился, чтобы услышать царский шепот. Глашатай ответил царю тоже шепотом. Царь прикрылся левой рукой, но и из-под нее все равно было видно, как заполыхали его губы и увлажнились глаза. Он вновь зашептал глашатаю. Тот выпрямился и вернулся к Денсу.

— Никуда не уходи, молодой человек,— сказал он. — Царь хочет, чтобы ты остался.

— Царю нужно мое лекарство? — спросил Денсу.

На лице глашатая изобразилась строгость.

— Пойми, молодой человек,— сказал он, уставясь в землю,— царю не нужны никакие лекарства. У него силы достаточно, более чем достаточно. Твое лекарство нужно ему не для себя. Не для себя, а для несчастного друга.

— Понятно,— сказал Денсу.

Глашатай улыбнулся.

— Садись рядом со мной,— сказал он. — И скажи мне свое имя.

— Денсу. А как звать вас?

— Нсаако.

Денсу опустился на землю рядом со стоявшим глашатаем. Оглядевшись, он увидел поле, усеянное людьми, многоцветную пляску царских зонтов над толпами под небом, почти побелевшим от яростного солнца.

Постепенно музыка стихла. Ее сменил шепот, перешедший в гуденье и затем в крик. Денсу не сразу понял причину возбужденья. Люди сзади и спереди него привставали на цыпочки и вытягивали шею. К счастью, впереди людей было куда меньше, чем сзади.

Между рядами черных солдат с длинными ружьями появились белые люди. Их вождь был в тесных штанах и тесной красной куртке с золотыми шнурами и многочисленными блестящими монетками на груди. Чуть отстав от него, шагал высокий человек, одетый как вождь, но только с одним золотым шнуром. Лицо его было бледное, неуверенное, все изуродованное нарывами, точно у прокаженного. Под левой рукой он нес толстую книгу, в правой — папку с бумагами. За ними шло более трех десятков белых солдат в форме и человек десять одетых по-разному. Четверо из них тоже несли папки. Белые солдаты встали под один навес, их вождь с прокаженным и одетые не как солдаты взошли на помост под другим навесом и сели на стулья. Шествие замыкал черный в одежде белого. Он встал посередине перед помостом. В руках у него тоже были перо и бумага. Черные солдаты рядами со всех сторон отгородили навесы от толпы. Возбужденная появленьем белых, толпа удовлетворила свое любопытство и, угомонившись, приготовилась слушать вождя белых.

Он поднялся со стула и вышел вперед. Человек он был невысокий, но явно хотел, чтобы весь мир считал его великаном, который лбом касается неба. Прокаженный тоже поднялся и встал сзади вождя. Он подал ему бумаги, и вождь начал читать речь. Он читал ее не подряд, но прерываясь, чтобы в перерывах черный в одежде белого, стоя внизу, переводил слова господина.

— Вот слова могущественного белого полководца, которого вы видите перед собой,— говорил переводчик. — Это прославленный сэр Гарнет Вулсли, предводитель такого великого войска, какое никогда не видывали в нашей стране и во всех других странах. Слушайте его слова.

Каждый раз при словах белого человека толпа замирала. Когда переводчик объяснял смысл его слов, из толпы поднимался ропот, который замирал, когда белый вновь начинал говорить.

— Большой белый человек говорит, что он счастлив видеть здесь столько царей и важных людей и что все они — друзья англичан, самого великого белого народа. Большой белый человек прибыл сюда от великой белой царицы, которая сильнее всех царей на земле. Эта царица — имя ее Виктория — слышит все, что происходит на свете, даже здесь. Она слышала, какие бедствия причинило нам на берегу войско Ашанти. Поэтому она от полноты своей силы и доброты сердца прислала нам этого могущественного белого человека. Он поможет нам прогнать войско Ашанти и разбить его так, чтобы оно никогда не оправилось.

Послышались возгласы недоверия, но переводчик остановился, и белый заговорил снова. Переводчик продолжил:

— Царица белых всемогущая, но, подобно богу, она помогает только тем, кто сам помогает себе. Поэтому мы должны признать, что война против войска Ашанти — наша война. Нам надо помнить: цари Ашанти часто повторяли, что они воюют не с белыми, а с другими черными, такими, как мы.

Новая пауза. Толпа загудела вполголоса. Переводчик продолжал:

— Могущественный белый полководец говорит, что у белых есть укрепления,— переводчик показал рукой на огромную крепость,— против которых бессильно любое войско Ашанти, даже если в нем будет тысяча раз по тысяче тысяч воинов. Если бы белая царица заботилась лишь о себе, она позволила бы своим людям, не подвергаясь риску, отсидеться в таких крепостях. Но царица добрая и не хочет, чтобы страдали мы.

Громкие крики одобрения вылетели из-под нескольких зонтов.

— Поэтому она решила помочь нам. Она дает нам ружья и командиров, которые нас обучат искусству войны. Она даже дает нам еду. Но воевать за себя должны мы сами.

Толпа загудела, выражая неясно что.

— Могущественный белый человек хочет, чтобы каждый царь сказал ему, когда и сколько человек может выставить на войну. Он хочет, чтобы все наши воины собрались в Данкве. Каждый наш военачальник должен быть со своими воинами до окончанья войны.

Толпа гудела, на этот раз с явным неодобреньем. Белый человек говорил быстро, переводчик говорил еще быстрее:

— Слушайте могущественного белого человека. Он говорит: ни один царь не должен бояться, что его труды пропадут даром. Могущественный белый человек будет давать огромную сумму в десять английских фунтов, десять английских фунтов, повторяю, десять английских фунтов, настоящими деньгами белых людей,— могущественный белый человек будет давать такие деньги каждый месяц каждому царю, который приведет в Данкву тысячу воинов.

Могущественный сэр Гарнет Вулсли дает каждому царю все ружья, весь порох и пули, какие могут понадобиться. Сверх того каждый воин будет получать по пинте риса каждый день и по фунту прекрасного соленого мяса каждые четыре дня. Все это скоро прибудет в крепость из Англии. Пока же могущественный сэр Гарнет Вулсли будет из своего кармана платить каждому вождю по четыре с половиной пенса в день на каждого воина. Даже когда прибудет еда, каждый воин через царей и военачальников будет получать по три пенса.

Послышались возгласы одобренья.

— Чтобы обеспечить успех, могущественный сэр Гарнет Вулсли придает каждому царю одного из тех белых людей, которых вы видите здесь. Этот белый будет советником, ему надо повиноваться, ибо он будет давать советы только для нашего блага. Неповиновенье будет строго караться.

Радостное одобренье сменилось неясным ропотом.

— Могущественная белая царица слышит все, и она слыхала, что некоторые наши цари до сих пор убивают пленных и отрезают голову убитым в бою. Она велит прекратить это. Могущественный сэр Гарнет Вулсли занятой человек, никто не должен беспокоить его жалобами и разговорами. Если он пожелает поговорить с кем-либо из царей, он сам пошлет за этим царем. Могущественный сэр Гарнет Вулсли безотлага-

тельно должен знать, сколько воинов приведет каждый царь. Он предлагает царям обсудить этот вопрос и немедленно дать ответ.

Когда переводчик кончил излагать то, что сказал белый полководец сэр Гарнет Вулсли, на площади воцарилось молчанье. Не сразу люди начали говорить, осторожно спрашивать друг друга, возражать, но в конце концов шум над площадью поднялся как в базарный день.

Но тут к помосту выступил глашатай из-под красного зонта, и толпа снова затихла. Глашатай передал то, что ему велели сказать цари, а переводчик обратил его слова в англий̆ские для белых господ.

Глашатай сказал, что цари выслушали слова белого полководца. Это были самые сладкие слова, какие звучали со дня сотворенья мира. Это были такие сладкие слова, продолжал глашатай важно и веско, что, если бы все присутствующие здесь цари умерли столетья назад, они бы вышли из своих заросших травой могил единственно для того, чтобы изведать вкус этих слов. Поэтому пламенное желанье всех царей — изо всех сил помогать белому полководцу. Цари уповают лишь на одно: что во всех делах прославленный белый будет следовать по стопам мужественного и щедрого губернатора Маккарти, который геройски погиб в битве при Нсаманкоу пятьдесят лет назад.

При этом глашатай взглянул через плечо и улыбнулся кому-то под красным зонтом.

2. Цари

Снова внимательная тишина сменилась разноголосицей, разноголосица переросла во всеобщее оживленье, и барабаны вновь заполнили воздух. Цари со свитами двинулись с поля каждый в свою сторону, вперед они пропустили красный зонт.

Возвращаясь под красный зонт, глашатай сказал Денсу:

— Ты должен пойти со мной во дворец. У царя есть важное дело. После него он будет с тобой говорить.

— До сумерек мне надо вернуться домой,— сказал Денсу.

— Куда это?

— Через лагуну.

— Это недалеко,— сказал глашатай. — Иди со мной.

Денсу зашагал рядом с глашатаем за царем, который для начала сделал несколько шагов пешком. Из-за плоских сандалий, непомерно широких и длинных, царь шел медленно и с трудом, высоко поднимая колени под богатым халатом. Поэтому когда он погрузился в поданные ему носилки, на лице его изобразилось облегченье. Четыре воина поставили шесты носилок себе на плечи. Трубы начали славить царя. Им вторили барабаны. Красный зонт вновь вознесся ввысь.

Толпа расступалась, давая дорогу шествию. Денсу не понимал, отчего шествие идет не прямым путем, а зигзагами.

— Мы проходим мимо других зонтов,— объяснил глашатай.— Царь должен приветствовать всех остальных царей и пригласить их к себе во дворец.

Шествие останавливалось у каждого зонта. Царь с носилок кивал царю под зонтом, из-под зонта выходил глашатай того царя и шептался с глашатаем под красным зонтом. Так повторялось у всех зонтов.

Все улицы до дворца были полны народа. Люди стояли даже на плоских крышах домов по колено в выросшей там траве. У ворот дворца большинство участников шествия разошлось по сторонам. Некоторых силой оттеснили слуги. Царя поднесли к ступенькам самого большого дома внутри ограды. Он сошел с носилок и осторожно вошел в дом.

— Ты следуй за мной.— Не дожидаясь ответа, глашатай взял Денсу за руку и ввел его в просторную комнату.

Весь пол устилали красные циновки. Барабаны разных размеров и форм стояли вдоль стен. Середину комнаты занимали три тяжелых стола темно-красного дерева. На каждом столе было по два ящика простого белого дерева с рядами черных значков. По всей комнате неправильным кругом были расставлены большие сиденья.

В глубине комнаты, прямо против двери, сидел царь Ата. Похлопотав возле него, глашатай вернулся к двери. Денсу стоял рядом с ним. К воротам приблизилось новое шествие. Все остались у ворот, а царя на носилках поднесли к ступенькам. По-

жилой, почтенного вида разряженный человек сошел на землю. Глашатай помог ему осилить все три ступеньки и ввел его в комнату. Гость сел по правую руку от хозяина.

— Это нана Эду из Манкесима,— объяснил глашатай Денсу. — Когда он узнает, что у тебя есть, он захочет забрать тебя насовсем.

Его хихиканью помешало одновременное прибытие двух царей. Один из них выглядел странно, он шел шатаясь, точно калека. На его голове неуверенно сидела корона из золочёных ракушек. В ярком свете солнца она казалась особенно смехотворной. Ноги его были слабыми не от возраста, ибо он был много моложе глашатая. На втором шаге он резко подался в сторону и чуть не упал. Денсу бросился было на помощь, но второй из прибывших царей уже сошел с носилок — он со смехом поддержал пошатнувшегося царя, который тоже весело рассмеялся, словно смеялись не над ним, а над кем-то другим. Денсу понял, отчего этот царь плохо держится на ногах: глаза его багровели свежей кровью, как у тех, кто неумеренно потребляет спиртное.

— Несчастный,— сказал глашатай.

— Кто он? — спросил Денсу.

— Нана Квеси Киеи, царь Денчиры. Войско Ашанти лишило его трона, и он ищет забвенье горя в выпивке. Рядом с ним его лучший друг нана Амуну из Аномабо. Он делает для него все. Дважды он удерживал его от самоубийства. Но он все равно медленно, но верно убивает себя пьянством.

Цари прибывали так быстро, что глашатай успевал только называть Денсу их имена:

— Нана Тсибу из Ассена.

На ступеньки всходил пухлый человек с такими блестящими волосами и гладкой кожей, что он казался не взрослым мужчиной, а большим балованным младенцем.

Человек с плешью, окруженной полумесяцем седых волос, был царь Соломон из Доминасе.

— Это не наше имя,— сказал Денсу.

— Он взял это имя у белых. Такое теперь у царей поветрие. Смотри, вот Опанин Бентсир из Гомоа. Только сейчас он требует, чтобы его звали Бентил. Мистер Бентил, фельдмаршал. У белых это как будто большое звание.

На фельдмаршале была красная куртка, как на белых солдатах, но другого покроя. За ним шел великан нана Амфо Оту из Аборы. И затем пестрота невероятных имен: Блэнксон, Мур, Томпсон, Робертсон — и каждый из этих царей в подобье одежды белых.

Комната наполнилась смехом царей. Во дворе толпились принесшие их слуги. Глашатай приказал подать всем воды. Затем он взял Денсу за руку и, встав рядом с царем, поставил Денсу сзади себя.

Один из царей, шаткий нана Квеси Киеи из Денчиры, попытался открыть деревянный ящик. Ему это не удалось, он чуть не грохнул ящик об пол. Глашатай вежливо уговорил его подождать, когда ящик откроет сильный и умелый слуга.

— Позови Бунтуи,— сказал глашатай Денсу.

Денсу быстро скрыл изумленье. Он вышел во двор и, сложив ладони у рта, громко прокричал имя Бунтуи.

Крик еще не замолк, как, топая веселым буйволом, прибежал Бунтуи. Он пел песню. Бывают на свете голоса приятней, зато Бунтуи пел громко и с чувством. Эту песню Денсу уже слышал — сегодняшним утром. Черные новобранцы пели ее, однообразную, непобедимо тупую. Правда, Бунтуи достало ума переделать слова, так что песня стала про него одного:

Я иду воевать,
Я иду воевать.
Я иду убивать,
Я иду убивать.
Я иду умирать,
Я иду умирать.
И-и-и И-и-и!
Я иду умирать!
Буи-и, буи-и!
Я иду умирать!

С этой песней он и вбежал в комнату. Глашатай унял его:

— Заткнись, Бунтуи! Хоть на миг прекрати свою дурацкую песню. — Глашатай покачал головой. — Трудно научить чему-нибудь и еще труднее выбить из его башки то, что он зазубрил.

Гигант перестал петь и, улыбаясь, встал перед глашатаем.

— Открой ящики,— приказал глашатай.

Бунтуи был словно рожден для этого дела. Он подошел к тому ящику, который не сумел открыть шаткий царь, сунул палец в щель между досками и вырвал одну доску. Действуя ею, как рычагом, он сорвал все верхние доски.

Смеявшиеся неудачной попытке своего красноглазого брата цари теперь приумолкли. Блестящие зеленые бутылки появлялись одна за другой, так что царский смех превратился в напряженное дыханье и затем в оживленное обсуждение содержимого этих бутылок.

Царь Денчиры снова рванулся вперед, схватил бутылку и бросил ее переводчику. С видом великой учености переводчик изучил надпись на белом ярлыке, в поисках дальнейших сведений перевернул бутылку, потом снова уставился в надпись и стал шевелить губами, безуспешно пытаясь произнести названье.

Пока он мычал, царь Денчиры схватил вторую бутылку и, не в состоянье сдержать жажду, с размаху ударил о край стола горлышком. Дерево было твердое, осколки посыпались на пол. Не обращая на них вниманья, царь Квеси Киеи припал к бутылке, и красные сонные глаза его оживились от радости.

— Джин! — торжественно возвестил он.— И крепкий!

Он снова поднес бутылку к губам. Он сосал ее, как голодный младенец — материнскую грудь Когда он во второй раз опустил бутылку, по подбородку его сбежала струйка. Он небрежно утерся левой ладонью и вдруг, взглянув на ладонь, выпустил из правой руки бутылку, которая разлетелась на сотни осколков.

Царь Квеси Киеи увидел на ладони свою царскую кровь.

— Братья, я ранен! — завопил он. Ужас исказил его лицо, от резкого движенья хрупкая корона с треском свалилась на пол и, вихляясь, покатилась к двери. Царь Квеси Киеи бросился за ней.

Царь Амуну из Аномабо поймал корону и возложил ее на голову царю Квеси Киеи и, поддерживая под локоть и за плечо, отвел своего друга на место.

— Рана твоя неглубокая,— утешал он.

— Теперь они хотят, чтобы я истек кровью до смерти,— плакался царь Денчиры.— Они забрали мои земли, и этого им недостаточно.

— Это не смертельно,— утешал его царь Амуну.— Только порез.

— У нас есть целитель,— громко заявил глашатай.

— Давай его сюда! — приказал Амуну.

Денсу выступил вперед. Его попросили осмотреть рану. Он сказал улыбающимся царям, что беспокоиться не о чем.

— Дайте мне чистой воды, и я промою рану. После этого в качестве лекарства царю понадобятся только соль и перец, которые он ест.

Все, кроме хмурого царя Денчиры, расхохотались.

Денсу старался понять, узнал ли его Бунтуи. Сначала тот избегал его взглядов, а потом стал в него всматриваться. Сомненье медленно омрачало его лицо. Уверенность боролась в нем с недоверчивостью. Напряженье мысли быстро истощило ум Бунтуи, и он все вниманье обратил на остававшиеся ящики.

Дележ бутылок — серьезное дело. Добродушье, с которым цари занимали места, исчезло бесследно. На смену ему пришла ожесточенная торговля.

— Сосчитаем бутылки и разделим их поровну.— Царь Робертсон встал и с важным видом сунул руки в карманы своей европейской куртки.

— Хе-хе,— сквозь распухшие губы захрипел царь Денчиры.— Это немудро. Все мы цари, но есть цари и цари, хе-хе.

Воцарилась странная тишина. Никто не решался выговорить ни слова. И тогда царь Эду, старик из Манкесима, прочистил горло.

— Слушайте, что скажет старый человек из Манкесима,— объявил глашатай. Все повернулись к царю Эду.

— Это верно, что есть цари и цари,— он самодовольно улыбнулся.— Но давайте подумаем о нашем гостеприимном хозяине.

В знак согласья цари закивали и начали по двое, по трое перешептываться. Царь Ата срочно подозвал глашатая и что-то ему шепнул. Глашатай быстро пошел от

группы к группе, всем что-то говорил и всех выслушивал. Он встал в середине комнаты и объявил:

— Здесь всего двенадцать царей. Бутылок же сто сорок четыре.

— Теперь уже сто сорок три,— со смехом поправил его молодой царь Амуну из Аномабо.

— Итак, предстоит разделить сто сорок три бутылки на двенадцать царей. Мудрейшие предлагают дать каждому царю по десять бутылок. Остается двадцать три бутылки. Мудрейшие предлагают прибавить из них десять бутылок отцу царей, царю Манкесима, чтобы у него было двадцать. Остается тринадцать бутылок. Двенадцать из них надлежит отдать хозяину этого дома...— Послышались недовольные возгласы,— казалось, они только помогли глашатаю гладко закрутлить речь,— хозяину этого дома, который, разумеется, воспользуется ими для угощенья своих сегодняшних гостей.

Недовольство сменилось всеобщим одобреньем.

— Тринадцатая бутылка пойдет на возлиянье царям прошлого,— сказал глашатай.

— И будущего,— напомнил царь Манкесима.

Глашатай улыбнулся, кивнул и прибавил:

— И царям будущего.

Собравшиеся цари подтвердили, что подарок белого полководца разделен между ними справедливо. Слуги на больших медных подносах внесли чашки. Каждую чашку наполнили до краев.

Все цари подняли чашки, и тогда глашатай с откупоренной тринадцатой бутылкой торжественно вышел в середину комнаты и опрокинул бутылку. Блестящий белый овал жидкости выплеснулся из горлышка.

— Нананом,— возгласил он далеким голосом,—

Нананом,
дети Обурума Анкомы славят тебя,
дети Одапы Джана славят тебя,
дети Осона славят тебя.

Закрытые глаза глашатая были устремлены куда-то вперед, словно там он закрытыми глазами видел усопших, к которым обращался с песней. Несколько блестящих овалов джина сменились тонкой светлой струей, текущей из горлышка на пол:

Нананом,
этот праздник посвящен тебе.
Трудное время пришло,
мы о помощи взываем к тебе.
Враги Ойоко,
ашанти, которым
война заменяет любовь,
встали, как тучи,
идут на твоих сыновей
опять.

Мы, как прежде, взываем к тебе
в трудное время —
ты нам всегда помогал.
Ты нам помогал всей своей мощью,
которую дал тебе
самый могучий,
самый надежный
наш исцелитель,
наш охранитель,
владелец тысяч наших похвал.

Ты нам всегда помогал своей мощью,
и хотя врага мы не победили,
мы выстояли под его огнем.

Нананом,
враги Ойоко,
колючие иглы дикобраза, ашанти,
которым война заменяет любовь,
идут на твоих сыновей
опять.

На этот раз
ты послал нам на помощь
белых пришельцев

из-за морей,
из-за дальних далей.
Помоги им помочь нам всем,
Нананом.
Помоги прогнать нам тучи ашанти
с наших земель
в их собственные земли,
и пусть у нас будет мир.

Нананом,
попроси за нас,
попроси за нас всемогущего
творца всех существ,
несгибаемое древо жизни,
начало всех начал,
конец всех концов.

Глашатай с закрытыми глазами вылил все содержимое бутылки на пол. Когда он открыл глаза, они были красные и в слезах. Он приказал Бунтуи поставить по десять бутылок за сиденьем каждого царя. Цари приступили к выпивке. Царь из Денчиры был, несомненно, первым среди них. Он осушил свою чашку одним героическим залпом и оповестил об этом рыганьем, громким, как пушечный выстрел в ночи.

— Полегче, брат,— сказал ему молодой царь Амуна,— полегче.

— Десять фунтов! — заявил лысый царь Соломон из Доминасе.— Это хорошие деньги.— Он хихикнул.

— Не такие уж хорошие,— возразил царь в красной куртке.— Подумайте, что нам надо за них сделать! Десять фунтов за тысячу воинов! Это мало. Я, Бентил, фельдмаршал из Гомоа, знаю, как трудно собрать даже сто воинов. Тысячу! Этот белый безумен. За каждую тысячу человек, которых мы уговорим воевать, нам полагается по сто фунтов.

— Но эти десять фунтов целиком и полностью наши. Белые дают воинам еду и платят им,— сказал большой тихий царь Амфо Оту из Аборы.— Если вся еда, плата и оружие пойдут через нас, то, может быть, мы найдем способ в конце концов получить больше чем по десять фунтов.

— Да,— согласился хозяин.— По-моему, мудро принять эти десять фунтов, хотя бы для начала.

Фельдмаршал из Гомоа не унимался:

— Вы сосчитали, сколько солдат привез с собой белый полководец? Человек тридцать.

— Пятьдесят,— поправил переводчик.

— Пусть пятьдесят. Зачем нам пятьдесят белых солдат? Что могут сделать они против тридцатитысячного войска Ашанти?

— Белые здесь для того, чтобы помогать нам оружием, едой, деньгами и советами,— объяснил переводчик.

— Этого мало! — с чувством возразил фельдмаршал.— Они всегда помогали нам всем этим, и нас всегда били.

— Не всегда! — возмутился огромный Амфо Оту.

— Почти всегда,— фельдмаршал не сдавался. Говоря, он теребил пальцами блестящие желтые пуговицы на своей красной куртке.— Когда белые только дают нам советы, они не дают нам самые новые ружья. Что им до того, что тысяча черных погибнет? Но если бы здесь сражались сами белые, они привезли бы с собой самые лучшие ружья в мире. Только войско белых сумеет разбить войско Ашанти.

— Мы не можем заставить их привезти сюда целое войско,— сказал царь Соломон.— Белые боятся.

— Чего они боятся? У них ружья лучше, чем у Ашанти.

— Дело не только в Ашанти. Белые боятся леса. Долго в лесу они не выдерживают. На них нападает лихорадка, и они умирают.

— Даже если бы они не боялись, этот сэр Гарнет Вулсли не такой уж могущественный. У него нет власти послать отсюда за белыми солдатами.

Лицо переводчика изобразило крайнее недовольство.

— Прошу прощенья, но только что сказанное не совсем верно.— Он прочистил горло и, с подозреньем осмотревшись, все же решил, что без вреда может продолжить начатое.— Благодаря моей работе я слышу многое, что белые говорят друг другу. Человек, которому я служу, могущественный человек. Большее могущество в мире

только у английской царицы. А судя по тому, что я слышал, он и царица — вот так! — Он сцепил сложенные крючками указательные пальцы и развел локти в стороны, чтобы показать, как неразлучны царица и полководец.— Человек, которому я служу, может получить из Англии все, что захочет. Так вот, я слыхал, как он спрашивал старого губернатора сэра Харли и других белых, удастся ли собрать такое большое черное войско, чтобы завоевать Кумасе. Они все считают, что нет.

— Прекрасно,— сказал хозяин.— По крайней мере, белые знают, что мы не дураки и не самоубийцы и не пойдем просто так умирать.

— Человек, которому я служу, сэр Гарнет Вулсли, тогда объявил белым, что он обладает властью призвать сюда две тысячи белых солдат — но они могут пробыть здесь лишь до прихода дождей.

Словно сговорившись, цари одновременно ахнули. Наступило молчанье.

— Это значит, что им осталось всего шесть месяцев,— сказал царь Тсибу.

— Пять,— поправил его фельдмаршал.

— Белые боятся дождей больше, чем они боятся войска Ашанти,— сказал царь Ата.

— Их нельзя осуждать. Здесь они умирают довольно быстро, а ведь мы живем не в лесу. Вспомните, что произошло десять лет назад. Они послали войско в Прасо против царя Ашанти. Вернулась всего половина войска. А ведь белые тогда не вступали ни в один бой. Они воевали только с дождем и болезнями. У белых есть все основанья бояться.

— Но если они могут продержаться всего несколько месяцев, почему они не привезут сюда большое войско? —спросил Амуну.

Ему ответил пьяный царь из Денчиры:

— Белых мало. Ты что, не знаешь? Белым женщинам трудно рожать. Они этого не любят.

— Откуда ты знаешь? У тебя были белые женщины? — спросил его фельдмаршал из Гомоа.

— Белых женщин у меня не было, но я знаю,— ответил царь из Денчиры.

— Двух тысяч белых солдат не хватит для войны против Ашанти,— настаивал на своем Амуну.— И если они действительно хотят захватить Кумасе...

— Ты видел ружья, которые будут у этих двух тысяч? — спросил Амфо Оту.

— Никто их не видел,— сказал царь Ата.

— Я видел,— сказал Амфо Оту.— Я видел, как из такого ружья стреляли. Пули из него летят вдвое дальше, чем пули из ружей Ашанти. И чаще. И это не все. Мне открыли тайну, что белые привезут ружье, которое выпускает по тысяче пуль в минуту.

— А это возможно? — спросил царь Соломон.

— Это не только возможно, это существует на деле.— В голосе переводчика звучала такая уверенность, что царям оставалось лишь слушать.— Все это в должное время вы увидите своими глазами. Кроме того, я могу вас заверить в том, что на Кумасе пойдут не только эти две тысячи.

— Что, прибудет еще белое войско? — спросил царь Соломон.

— Откуда оно пойдет? — спросил фельдмаршал.

— Нет, никакого другого белого войска на Кумасе не пойдет,— важно сказал переводчик.— Белый человек, почти такой же великий, как мой хозяин, сэр Гарнет Вулсли, собирает войско на востоке, на правом берегу реки Фироу. Я даже могу сказать вам, что этого белого человека зовут Гловер. Белый полководец Гловер собирает огромное войско к востоку от нас из народов экуапем, крепи, га, авона, ада, даже из-за Дагомеи, из бонни, алата и опобо.

— И когда это огромное войско должно выступить в поход на Кумасе? — спросил фельдмаршал.

— Я еще не слышал об определенном сроке,— сказал переводчик.— Известно только, что война должна кончиться до прихода дождей.

Разговор царей превратился в самодовольное жужжанье, прерываемое звоном бутылок. Переводчик снова откашлялся.

— Простите, но я должен напомнить вам, что полководец Вулсли ожидает от вас письма, подтверждающего ваше согласье с его замыслами. Также позвольте напомнить, что вы должны известить обо всем царей, которые сегодня отсутствовали.

— Это нетрудно,— сказал царь Ата.— Пиши письмо. Мы согласны. Мы известим всех царей. Только мы надеемся, что столь могущественный и богатый белый полководец будет щедрым, когда придет время раздачи наград.

Переводчик долго, морщась, писал письмо. Глашатай подозвал Бунтуи, который с отсутствующим видом стоял у пустых ящиков. Он осмотрел руки Бунтуи. Они оказались грязные. Глашатай приказал Бунтуи вымыть руки в воде, которой Денсу смывал кровь с губ пьяного царя. Бунтуи вытер руки насухо, и глашатай, взяв письмо у переводчика, отдал его Бунтуи.

— Беги бегом в крепость. Передашь это белому человеку и тотчас же возвращайся. Вечером ты понесешь посланье в Эсуано.

Слова эти как будто озадачили Бунтуи. Он посмотрел на глашатая, словно ища поддержки.

— Перед уходом у тебя будет время отдохнуть,— успокоил его глашатай.— Ты отправишься, когда после наступленья темноты из крепости выстрелит первая пушка.

Бунтуи облегченно вздохнул. Он взял письмо и резко повернулся к выходу. Денсу отступил в тень, так чтобы яркий солнечный свет из двери не бил в лицо, и отвернулся. У порога Бунтуи помедлил, пытаясь рассмотреть Денсу.

— Чего ты ждешь? — крикнул ему глашатай.

Бунтуи перепрыгнул три ступеньки и оказался во дворе. Еще один рывок — и он скрылся из виду.

— Хороший гонец,— качая головой, сказал ему вслед глашатай.— Ему бы родиться с умом побольше. Он очень сильный и сделает все, что ты ему скажешь,— если не забудет. Родом он из Эсуано.

— Давно он здесь? — спросил Денсу.

— Он то приходит, то уходит. Хозяин присылает его сюда, когда сам не нуждается в нем. Он часто попадает в беду, вероятно, потому, что у него слишком много силы и слишком мало разума. С тех пор как его хозяин Абабио стал царем Эсуано, он здесь постоянно. Нам это очень удобно. Он прекрасный гонец. Не боится идти куда угодно, даже ночью. Это неудивительно. Он может за себя постоять. Кто захочет напасть на такого гиганта? Он любому сломает шею.

Цари равнодушно ждали возвращенья гонца.

— Не надо нам было так быстро соглашаться.— Фельдмаршал проговорил тихо, словно самому себе.— Белые уважают того, кто умеет торговаться.

— Мы поступили мудро,— возразил царь Ата,— мы могли бы обидеть его. В конце концов, мы еще его не знаем.

— Ата прав. Мы еще не знаем сэра Гарнета Вулсли. Быть может, он и в самом деле поможет нам,— задумчиво проговорил царь Эду.

— Только не так, как нам помогал Маккарти,— царь Квеси Киеи расхохотался,— так помогал, что его самого убили.

— Я бы не стал смеяться над его памятью,— сказал царь Эду.— Мы помним его как честного белого человека.

— Может быть, поэтому они сами убили его,— сказал царь Амуну, явно испугав своими словами других царей.

— Разве его убили не ашанти? Они же отрубили ему голову и сделали из его черепа кубок для своего царя,— сказал фельдмаршал.

— Это верно,— сказал царь Эду.— Но ашанти нашли его мертвым. Он застрелился.

— Вопрос почему? — сказал царь Амуну.— Когда он направился на Береговой Мыс, он не собирался кончать с собой.

— Не собирался,— подтвердил царь Эду.— Но что бы ты сделал, если бы в разгаре боя открыл бочку с порохом и обнаружил, что в ней не порох, а соленое мясо? Что бы ты сделал?

— Это колдовство ашанти,— проворчал Квеси Киеи.

— Никакого колдовства ашанти,— сказал царь Амуну.— Я слышал два объяснения того, что случилось с честным губернатором. Первое: несмотря на свое могущество, белые настолько глупы, что могут делать такие ошибки. Может быть, это благодаря их могуществу, а не вопреки ему. Второе: белые не любят честных людей. Они посылают таких людей на верную гибель. Маккарти был честный человек. Слишком честный.

— По крайности, мы можем выпить за его память,— сказал царь Квеси Киеи.

Никто больше не хотел говорить о покойном Маккарти. Цари молча выпили.

У ворот послышался громкий шум, и, прежде чем кто-то успел хоть что-то понять, Бунтуи ворвался в комнату.

— Послушай, нельзя врываться в дом как ураган,— сказал глашатай. Он взял из рук Бунтуи письмо и передал его переводчику. Переводчик прочел.

— Белый человек, которому я служу, благодарит вас и надеется вновь увидеть вас всех в первый день недели, то есть послезавтра, и он, конечно, должным образом вознаградит ваше геройство в предстоящей войне — после ее окончанья.

— Он говорит: после окончанья войны,— огорчился царь Ата из Берегового Мыса.

Бунтуи стоял перед глашатаем и не сводил с него глаз. Глашатай положил руку ему на плечо и вывел его из комнаты. Денсу, как прежде, стоял в тени.

— Иди и отдохни,— сказал глашатай Бунтуи.— Как только стемнеет, приходи сюда. С первой ночной пушкой ты понесешь письмо своему хозяину. Не попадайся никому на глаза и спеши изо всех сил. Понял?

Бунтуи кивнул и скрылся так же внезапно и шумно, как и пришел.

От прежнего оживленья в комнате не осталось следа. Царь Соломон из Доминасе судорожно икал. Квеси Киеи храпел, привалившись к стене, рядом с ним лежали перевернутая кружка и пустая бутылка.

Глашатай оглядел их с неудовольствием и что-то прошептал царю Ате. Потом он подошел к Денсу и сказал:

— Царь хочет знать, как пользоваться твоим лекарством — чтобы сказать другу.

Он подвел Денсу к царю.

— Все очень просто.— Большим и указательным пальцем Денсу достал из кисета щепотку порошка.— Можно посыпать им еду. Или выпить с водой. Не смешивайте со спиртным. Это опасно. И не принимайте больше щепотки. Ее достаточно. Большее количество не усилит действие, а может даже уменьшит. Это все.

Веки царя Аты смыкались. Глашатай тихо попросил у него разрешенья проводить целителя и вышел с Денсу во двор.

— Ты должен зайти ко мне,— сказал он.— Я знаю, что ты торопишься, но мне хочется поговорить с тобой, а, кроме того, я вижу, ты голоден.

— Это верно,— сказал Денсу,— но я спешу домой.

— Поешь в моем доме. Еда придаст тебе силы, и ты быстрее дойдешь до дому.

Дом глашатая находился во дворцовой ограде возле ворот. В середине первой комнаты уже стояла миска с едой и рядом с ней — сиденье. Глашатай указал на другое сиденье в дальнем углу, и Денсу принес его и уселся. Словно тайно следившая за ними женщина принесла миску воды и поставила ее рядом с едой. Глашатай и Денсу вымыли в ней правую руку и приступили к еде.

— Ваша жена хорошо готовит,— сказал Денсу.— Фуфу был мягкий, а подливка — я дважды укусил свой язык.

— Да, Босома готовит хорошо, но она мне не жена. Она родственница моей покойной жены. Я потерял ее пятнадцать лет назад. Я не думал тогда, что останусь в живых. Но пятнадцать лет — долгий срок.— Он закрыл глаза. Понимая чувства своего нового знакомого, Денсу молчал.— Ладно, больше я тебя не задерживаю,— сказал глашатай.— Но каждый раз, когда ты окажешься в городе, ты должен приходить ко мне как гость — обещаешь?

— С радостью.

Глашатай вывел его через ворота в город.

— Когда ты вернешься, я расскажу тебе многое обо многом, а ты мне расскажешь свою жизнь. Прощай.— Он снял руку с плеча Денсу, посмотрел ему в лицо и, покачав головой, удалился.

Денсу спешно прошел через город. Пока еще было светло, но сумрак уже надвигался, а Денсу требовалось хорошо подготовиться к предстоящей ночи. Когда он достиг лагуны, солнце на горизонте стало похоже на апельсин. Оно вовсе скрылось из виду, когда под кокосовыми пальмами он входил в дом Амы Нкромы.

— Долго же тебя не было,— сказала она вместо приветствия.— Удачно ходил?

— Удачнее, чем мог надеяться,— ответил Денсу.

— Но ты потерял кисет.

— Нет. Его со всем содержимым потребовал царь Ата.

— Когда он узнает, как действует это средство, он будет искать тебя по всей земле,— засмеялась Ама Нкрома.— Скажи, ты ел? Вот еда.

— Я ел. Я подружился с человеком. Это глашатай по имени Нсаако.

— А, значит, это Нсаако тебя нашел. Я бы хотела, чтобы ты проговорил с ним весь день. У него мудрая голова и доброе сердце. Я всегда называю его целитель, притворяющийся глашатаем, а он всегда смеется. Он здоров?

— Здоров.

— Ты куда-то торопишься?

— Сегодня ночью мне надо быть на дороге в Эсуано. Есть дело.

— Ночью? Что за дело?

— Рассказывать долго. Когда я вернусь, все расскажу. Я должен спешить. У вас нет веревки?

Ама Нкрома потянула за конец моток, лежавший на крыше, Денсу ножом отрезал, сколько ему было нужно.

— Возьми с собой нож,— сказала Ама Нкрома.— Он может тебе пригодиться. Ты же совсем без оружия.

Нож был острый, хороший.

3. Встреча на дороге

Денсу торопливо шагал в сгущавшемся мраке. Он не слышал пушечного выстрела из крепости и беспокоился. Ужасные предположенья терзали его ум. Быть может, Бунтуи не посылали в Эсуано. Быть может, он отправился в путь раньше. Сквозь подлесок Денсу пробирался на дорогу в Эсуано, так что слабые огни крепости оставались справа и сзади. Кусты разрастались в густую чащу, и вскоре огни пропали из виду. Выплыла блеклая луна.

Дорога сначала вела прямо от моря, на север. Потом она резко заворачивала налево и ныряла вниз по длинному спуску. Денсу отыскал два подходящих дерева по сторонам дороги. На высоте пупка он сделал на коре зарубку и от нее провел вокруг ствола желобок, который он накрепко обхватил концом веревки и трижды завязал ее мертвым узлом. С веревкой в руке он пересек дорогу и бросил ее под вторым деревом, в коре которого он тоже вырезал желобок.

Должен ли он натянуть веревку сейчас или следует подождать, пока он не убедится, что на дороге не кто иной, как Бунтуи? Но вряд ли кто-то ночью пойдет из города в Эсуано, и немыслимо, чтобы кто-то в такое время шел из Эсуано. Денсу натянул веревку, завязал ее трижды и укрепил узел палочкой. Затем в ожиданье он сел в тени дерева, росшего у дороги на три шага ниже. Лиственный покров над головой почти полностью загораживал небо. Лишь кое-где пробивались тонкие лучи луны, похожие на далекие звезды. На земле, в густом мраке, на дороге и возле нее светились бледные светлячки. В лесу была тишь, не слышно ни человека, ни дикой твари. Неожиданный звук ночной пушки заполонил тихий воздух и медленно замер в неясной дали.

Денсу ждал. Он пытался представить себе, сколько времени потребуется Бунтуи, чтобы добежать до этого места. Вытесненное из сознанья старое беспокойство вновь возвратилось. Что, если Бунтуи вообще не пойдет в Эсуано? Что, если он уже прошел? И новая тревожная мысль: что, если Бунтуи отправится в путь не один? Усилием воли Денсу вновь освобождался от опасений. Он закрыл глаза, прислонился спиной и затылком к стволу дерева, приказал мышцам расслабиться. Он сделал глубокий вдох и с изумлением понял, что в лесном воздухе нет морской соли.

Послышались шаги. Тяжелые, быстрые. Шаги бегущего человека. Они приближались. Они громыхали в ушах, словно бегущий каждым шагом хотел сокрушить всю землю. К тяжелой поступи прибавилось подвыванье: бегущий повторял и повторял песню черных новобранцев. Денсу приготовился. Вой стал громче, уже были слышны слова:

Я иду воевать, и-и!
Я иду убивать, и-и!
Я иду умирать, и-и!
И-и! Я иду умирать!

Пенье резко прервалось. Беззаботный голос пресекся на хриплом выдохе. Вперед в темноте вылетело что-то длинное и тяжелое, скорее слышное, чем видное. Оно с силой ударилось о ствол дерева, отскочило назад на дорогу, звякнуло о камень и скользнуло к Денсу. Денсу схватил ружье, такое новенькое, что оно сияло даже в бледных

лучах луны. Он никогда не держал в руках такого ружья — такими ружьями была вооружена только стража белого полководца.

За паденьем винтовки послышался новый грузный удар. Захрустел подлесок, раздался яростный вопль, и тяжелое тело рухнуло на твердую землю. Денсу выбежал из укрытия. С ружьем в руках он стоял перед распростертым телом. Голову упавшего в темноте он не видел. Тело было наполовину скрыто в изломанном кустарнике, ноги раскинулись врозь, икрами и пятками касаясь дороги.

Должно быть, он сильно ударился. Медленно и с трудом ему удалось встать на колени рядом с дорогой. Он переместился ближе к свету, на середину дороги, и в замешательстве смотрел исподлобья.

— Бунтуи,— позвал Денсу.

Голос Денсу как будто помог ему в один миг осознать, что перед ним человек и что этот человек — причина его паденья. Из его огромной глотки вырвался вопль звериной злобы. Гигант бросился на Денсу. Денсу не ожидал нападения. Бунтуи выглядел таким ошарашенным, что, казалось, не мог оказать сопротивление, не то что нападать самому. Денсу едва успел увернуться. Он поднял ружейный приклад и обрушил его на гиганта.

Денсу был застигнут врасплох, поэтому он ударил с большей, чем надо, силой. Удар усилился и оттого, что Бунтуи нарвался прямо на приклад. Так или иначе, он снова рухнул на землю. Денсу склонился над ним и осмотрел его. Крови на голове не было, но гигант лежал без сознанья. Денсу оттащил бесчувственное тело с дороги на полянку поблизости и уложил гиганта на траву. Он снял с его пояса подсумок с патронами, уселся рядом и стал ждать.

Бунтуи быстро пришел в себя. Резким движеньем он попытался подняться, но у него явно закружилась голова, и он беспомощно сел. Луна здесь светила ярче, и Денсу отчетливо видел Бунтуи.

— У меня твое ружье,— сказал Денсу.— Стрелять я не собираюсь. Но, если ты меня вынудишь, я выстрелю.— Бунтуи молчал.— Я хочу задать тебе вопрос. Если ты ответишь, можешь идти дальше. Если нет, я продержу тебя здесь до тех пор, пока ты мне не ответишь.

— Чего тебе надо? — спросил Бунтуи.

— Ты знаешь, кто убил князя Аппию,— сказал Денсу.

Бунтуи молчал.

— Я знаю, что ты знаешь,— продолжал Денсу.— Как только правда станет известна, убийцу повесят.

Бунтуи громко глотнул, но не сказал ни слова.

— Убийца может спасти свою жизнь только в случае, если докажет, что действовал по чьему-то приказу.

— Зачем ты меня здесь держишь? — спросил Бунтуи. В голосе его была смесь вызова и жалкой мольбы.

— Ты знаешь, кто убил Аппию,— повторил Денсу.

— Я не знаю.

— А мне сказали, что это ты убил его.

— Кто... кто тебе сказал? — испугался Бунтуи.

— Абабио. Кто же еще?

— Тебе сказал Абабио?

— Мне сказал Абабио.

В наступившей тишине тяжелое прерывистое дыханье Бунтуи свидетельствовало о смятенье в его тусклом уме. Наконец он как будто примирился с пораженьем и перестал думать, как выбраться из беды. Он спросил то, что его действительно волновало:

— Почему он тебе сказал?

— Подумай,— спокойно ответил Денсу.— Убийцу повесят.

— Он меня заставил,— злобно сказал Бунтуи.

— Кто?

— Сам эджа Абабио.

— Он тебя не принуждал.

— Он приказал. Он сказал, что все власть имущие хотят, чтобы я это сделал, и что я получу вознагражденье.— Бунтуи помолчал и сказал с обидой: — А он даже не позволил мне взять драгоценности.

— Какие драгоценности?

— Драгоценности! — страсть в голосе Бунтуи словно должна была послужить лучшим объяснением.— У нее были драгоценности.

— У кого были драгоценности?

— У нее. У матери князя. У нее были драгоценности, и я их взял, но хозяин их у меня отобрал.

— И что он с ними сделал?

— Он их спрятал.

— Куда?

— Он велел мне зарыть их. В его комнате.— Бунтуи вздохнул.

— Что случилось с матерью князя?

— Эджа Абабио про нее мне не говорил.— В лунном свете Бунтуи огорченно покачал головой.— Он сказал, что человек должен попасть в западню, а мне надо дождаться этого и убить человека. Я услыхал, как человек попал в западню, и я вышел из засады и стал его убивать. Но тут на меня набросилась женщина. Мне показалось, что я борюсь с ведьмой.

— Что ты с ней сделал?

— Ничего. Сначала я сломал ей одну руку. Потом другую. Потом я сломал ей обе ноги. Она все время сопротивлялась. Я ломал ее и ломал. Потом она утихла.

— Ты собирался ее убить?

— Нет. Хозяин ничего про нее не сказал. Я не знал, надо ли убивать ее, и беспокоился. Женщина не шевелилась и не кричала. Я оставил ее на месте. Мне надо было сказать хозяину, что я все сделал, и спросить его, что делать с женщиной. Но когда я ему рассказал, он разозлился и отобрал у меня драгоценности.

— Ты возвращался?

— Куда?

— Туда, где ты убил Аппию.

— Мы оба пошли туда,— сказал Бунтуи.— Это было страшно. Женщина улетела — могу поклясться на стопах моего хозяина. Она ведьма. И ты знаешь, хозяин мне не поверил. Он так на меня кричал, как будто это я дал ведьме крылья, чтобы она улетела. Никогда не видел, чтобы он так сердился. И вот он послал меня в этот город. Не знаю зачем. Мне нравится в Эсуано. Но здесь тоже неплохо,— голос его зазвучал веселее. Он замолчал и стал вслушиваться. Денсу был так поглощен тем, что рассказывал Бунтуи, что не заметил, как в воздух проник посторонний звук. Звук приближался, и Бунтуи наконец узнал его. Пели низкие мужские голоса в ритме с тяжелым топотом солдатских ног:

Мы идем воевать,
Мы идем убивать,
Мы идем умирать,
И-и, мы идем умирать!

Бунтуи вскочил на ноги. Денсу показалось, что он различил на лице гиганта выраженье дружеского привета. И прежде чем Денсу сумел опомниться, Бунтуи ринулся через кусты напрямик к дороге, к солдатской песне.

Денсу не стал стрелять. Ему даже не хотелось грозить счастливому дураку. Он просто ушел с полянки и двинулся лесом вдоль дороги, бесшумно и быстро. Остановился он лишь тогда, когда удостоверился, что никто его не преследует.

Гигант думать забыл о нем. Он мчался сквозь чащу не как человек, убегающий от опасности, но как тот, кто стремится к чему-то желанному.

Пенье смолкло. Топот тоже. Их сменили нестройные возгласы:

— Кай! Это зверь!

— Он привязал здесь веревку!

— Стреляй! — крикнуло несколько голосов сразу.

— Не стреляйте! — завопил Бунтуи.— Я не зверь. Я — Бунтуи. Квайо Бунтуи.

— Слышишь? Зверь заговорил!

— Стреляй в зверя! Стреляй в зверя!

— Не стреляйте! Я — Квайо Бунтуи.

— Лови его!

— Молчать! — приказал резкий голос.

Послышались удары, крики, стоны.

— Какой здоровенный зверь!

— Но это слабый зверь.

— Он не умеет драться.

— Пусть зверь говорит.

— Он что-то говорит. Слушайте!

— Молчать! — снова послышался резкий голос.

Молчания не было.

— Когда я говорю: молчать, значит, молчать,— сказал резкий голос.

Солдаты угомонились.

— Кто ты такой?

Ответ Бунтуи Денсу не слышал.

— Что ты тут делаешь?

Долгая тишина. И вдруг несколько человек рассмеялись и кто-то из солдат сказал:

— Зверь сумасшедший. Он говорит, что кто-то его только что поймал.

Раздался громкий смех.

— Молчать! — взвыл резкий голос. Смех прекратился.— Покажи нам, где этот незнакомый человек с ружьем! — приказал резкий голос. Послышался шум многих людей, продирающихся сквозь кусты, ломая ветки руками и ногами.

— Зверь, где человек с ружьем? — спросил резкий голос.

Солдаты расхохотались опять.

— Этот зверь — лунатик,— выкрикнул кто-то.— Когда выходит луна, ему мерещатся незнакомые люди.

— Молчать! — приказал резкий голос.— Он не зверь. Он — шпион.

— Я не шпион,— рассердился Бунтуи.— Пойдемте во дворец, там узнаете, шпион я или не шпион.

— Ладно, зверь,— сказал резкий голос.— Мы возьмем тебя с собой. И если ты шпион и пытаешься обмануть нас, пеняй на себя.— Послышался резкий приказ. Солдаты опять затянули песню. Топот снова сотряс землю. Солдаты продолжили путь по дороге от города.

Денсу дождался, когда голоса затихли вдали. Он поднял с земли ружье и перешел через дорогу. Углубившись в лес насколько позволяла растительность, он стал ждать возвращенья солдат. Очень скоро они выбежали на дорогу с новой песней, незнакомой, но такой же бодрой, как первая. Он дождался, когда они уйдут на достаточное расстоянье, и тогда он вышел на дорогу и зашагал к дому Амы Нкромы.

Она его дожидалась.

— Где ты пропадал так долго? — спросила Ама Нкрома.— Я уже начала за тебя беспокоиться.

— Мне нужно было встретить врага,— сказал Денсу.

— Что за таинственность! И он подарил тебе ружье. Щедрый враг. Кто он?

— Парень по имени Бунтуи. Вы его не знаете.

— Но у тебя такой вид, как будто ты получил то, за чем ходил.

— Больше,— сказал Денсу.

— Ты, наверно, устал,— сказала Ама Нкрома.— Поешь перед сном.

— Я не могу есть ночью.

— Съешь хоть какой-нибудь плод.

Ама Нкрома рассказывала жующему Денсу, что с запада только что пришел целитель Эзуа и что она сказала Эзуа о сборе целителей в Прасо, и Эзуа обещал привести с собой еще одного целителя.

— Я бы сама пошла в Прасо,— сказала Ама Нкрома.— Но куда мне идти? Старость побеждает меня. А ты непременно вернешься сюда и навестишь меня. Обещай мне!

Денсу уснул глубоким сном без сновидений. Он проснулся с ощущеньем сладости во рту и бодрости в теле. Умывшись, он с ружьем удалился в лес. Охотился он недолго. Одинокая антилопа пришла к ручью пить, и Денсу свалил ее первым выстрелом. Все утро он обдирал шкуру, разрезал и коптил мясо для Амы Нкромы. Затем он прибрал в ее доме и возле дома. После этого он поел и отдохнул.

Когда зашло солнце, он отправился в обратный путь, в селенье целителей возле Прасо. Ама Нкрома снова взяла с него слово вернуться и послала приветы Дамфо, Нианебе и всем остальным целителям. Они расстались.

4. Перемены

Первым человеком, которого Денсу увидел по возвращенье в Прасо, была Араба Джесива. Светило юное утро, Араба Джесива сидела у дома, легко прислонясь к стене. Денсу чуть не заговорил с ней, но удержался. Не замечая его, она смотрела прямо перед собой. Из дома выбежала Аджоа.

— Она уже ходит? — спросил Денсу.

— Пока нет,— сказала Аджоа.— Руки ее уже действуют. Скоро она будет ходить. Я рада тебя видеть.— Она взяла у Денсу его узелок.— Кто дал тебе ружье? — спросила она.

— Я взял его у Бунтуи,— ответил Денсу.

При упоминанье Бунтуи Араба Джесива издала еле слышный стон и из глаз ее хлынули слезы. Казалось, они долго копились и не могли прорваться наружу. Она напрягала горло и губы, силясь что-то выговорить. Усилье это оказалось чрезмерным, и, потеряв сознанье, она стала сползать вниз.

Денсу бросил ружье и подхватил Арабу Джесиву прежде, чем она упала на землю.

— Надо ее внести в дом,— сказала Аджоа. Они уложили Арабу Джесиву в постель. Аджоа приподняла ей голову и дала напиться. Вскоре больная мирно уснула.

Аджоа подала Денсу холодной воды и стала рассматривать его, точно он отсутствовал много лет.

— Я видела тебя во сне каждую ночь,— сказала она.

— Это кошмары,— сказал он.

— Это просто сны,— возразила Аджоа.

— Только меня? Или всех своих женихов?

— У меня нет других женихов,— сказала она.— Я о тебе все время тревожилась. Есть человек, который хочет отнять тебя у меня.

— Здесь нет ни одной другой женщины твоего возраста.

— А разве это обязательно должна быть женщина и моего возраста?

— Ты говоришь загадками.

— Это не загадка. Все уже знают. Полководец Ашанти две ночи назад во сне произнес твое имя.

— Асамоа Нкванта?

— Да.

— Он говорил, что он видел во сне? — спросил Денсу.

— Может быть, он рассказал отцу,— ответила Аджоа.

Вечером после еды целители и Асамоа Нкванта собрались послушать известия, которые Денсу принес с берега. Он рассказал им все, что видел и слышал. Целители в раздумье молчали. Асамоа Нкванта задавал вопрос за вопросом. Особенно привлек его вниманье белый военачальник Вулсли.

— Каков он на вид? — спросил Асамоа Нкванта.— Он что, выше всех белых?

— Нет, не выше,— ответил Денсу.— Роста он маленького. Но осанка у него гордая, и все белые, несомненно, уважают его и даже боятся.

— На вид он силен? — спросил Асамоа Нкванта.

— В каком смысле силен? — уточнил Денсу.

— В каком угодно смысле. Как он ходит, как он изъявляет свою волю, быстрый ли у него ум?

— Я не могу ничего сказать о его воле и уме, хотя я слышал, что он вел войны по всей земле и всегда побеждал,— сказал Денсу.— Тело у него не сильное. Может быть, он был сильный в юности, но сейчас он хромает. Он старается скрыть хромоту, но, когда он идет, все равно заметно.

— Расскажи о другом белом, том, который должен напасть с востока. Как его зовут? — спросил Асамоа Нкванта.

— Зовут его капитан Гловер,— ответил Денсу.— Я не слыхал о нем ничего, кроме того, что уже рассказал: он собирает большое черное войско в долине реки Фироу.

— Мне нужно знать, который из этих двух белых главнее,— сказал Асамоа Нкванта.— У кого больше власти. Это очень важно.

— Этого мне узнать не удалось,— сказал Денсу.

— Мне необходимо точно узнать, что намеревается предпринять другой белый, которого зовут Гловер.— Асамоа Нкванта повторил эту мысль несколько раз. Капельки пота выступили на его носу.— И у меня нет ни одного надежного человека в Фироу.— Он посмотрел прямо в лицо Денсу. В лице великого воина было что-то, странно похожее на мольбу.— Ты когда-нибудь бывал на востоке, в Фироу?

— Пока нет,— ответил Денсу.

— Ты можешь... ты не хочешь сделать это ради меня? — спросил Асамоа Нкванта, в голосе его слышалось необычное замешательство. Казалось, он всем сердцем боится услышать отказ.

— Я согласен,— сказал Денсу.

Ответ его словно был неожиданностью для полководца. Он повторил вопрос. Лишь когда Денсу подтвердил свое согласье, Асамоа Нкванта убедился, что слышал все верно.

— Когда ты сможешь пойти? — спросил Асамоа Нкванта.

— Наверно, через неделю-две.

5. Гаданье на воде

В дни перед путешествием в Фироу Денсу гадал на воде. Он ничего не ел целый день и не выходил из дома. Дамфо поставил перед ним широкую глиняную чашу с водой, и Денсу упорно глядел в нее. Сначала он видел только чашу и воду. Он старался взглянуть глубже, но от напряженья из глаз текли слезы. Тем не менее к третьему дню он научился глядеть не моргая, и слез больше не было. Глаза привыкли.

Он увидел отраженье своего лица. Неясное отраженье. Он попытался выразить его суть словами, но это не удалось. От чувства досады он хотел даже на время перестать смотреть в воду. Он решил сказать Дамфо, что не в силах сегодня продолжить гаданье. Но Дамфо уже неслышно ушел, и Денсу был один в доме. Чуть позднее неясность собственного отраженья перестала смущать его. Он упрямо глядел на отраженье. Отраженье глядело на него — и вдруг оно стало таять и превращаться в мысли, словно вода в сосуде не стояла на месте, а вольно струилась. Он не мог бы сказать, видит он что-нибудь или придает зримые образы собственным мыслям.

Во-первых, он увидел в воде не лицо, а человека во весь рост. Человек этот был странно незавершенный и искал завершенность. Другие люди проплывали мимо него по воде. Они махали ему руками, звали к себе, на заранее приготовленные для него места. Но эти места не влекли его, ибо он точно знал, какое место ему нужно. Тихая вода задала Денсу вопрос: какое место он для себя ищет? И почему именно это, а не другое место?

Пришел ответ: поиски не закончатся, пока его нужда не получит удовлетворенья. А нуждался он не просто в отношеньях с людьми, но в отношеньях определенного рода, какие возможны только с теми, кто движется к той же цели. Существовала срочная необходимость определить разницу между окружавшими его людьми и теми, к которым его влекло. Неясный страх нашептывал, что таких людей и не существует, но Денсу обдумывал действительность своей жизни, и страх не смог набрать силу. У него была Аджоа. У него был Дамфо. Раньше у него был Энан. Стало быть, нужные душе люди возможны, и это рождало надежду.

Конечно, было множество других людей. Их спокойствие и уверенность проистекали из приятья существующего порядка вещей. Но каким слепым надо быть, чтобы душа находила удовлетворенье в искаженной до уродства действительности? Эти люди видели в жизни лишь две задачи: как найти себе место в данном мире и как удержать за собой это место. Его же душа искала отношений с людьми, для которых существующий порядок вещей не был совершенным или хотя бы приемлемым. С людьми, для которых места в мире пока что не существовало, ибо их действительность должна была наступить лишь в будущем. С людьми, с которыми можно сообща трудиться.

Возникла мучительная мысль. Что, если поиски собственной завершенности — всего лишь болезнь? Другая мысль развеяла мучительность первой: как бы то ни было, поиски от этого не делаются менее естественными. В воде он видел мир, в котором многие, большинство, страдали одной и той же болезнью. Болезнь заключалась в стремленье разделять всех и вся. Эта болезнь приносила больным бесконечное удовлетворенье, ибо давала им власть. Находились люди с противоположной болезнью, стремив-

шиеся объединять всех и вся. Если это тоже болезнь, думал он, глядя в воду, пусть она называется как угодно. Ничто не помешает ему заболеть этой болезнью и, следуя ее природному теченью, дойти до ее естественной цели.

Когда он отвел взгляд от воды, было уже далеко за полдень. Мир прогрелся. Денсу захотелось воды — воды в теле, воды вокруг, воды, обнимающей все его естество. Он пошел к ближайшей речке. Он оставил одежду на скале, нависшей над заводью, и нырнул. Он не плыл, он просто позволил телу глубоко уйти под воду. Он закрыл глаза и позволил сознанью забыть, где дно, где поверхность, где берега.

Не открывая глаз, он выплыл, глубоко вздохнул и, лежа на воде, стал греться в лучах солнца. Через некоторое время лицо его запылало. Он открыл глаза, доплыл до нависшей скалы, подпрыгнул и, ухватившись за нее обеими руками, подтянулся и вылез из воды. Одежда его исчезла.

Никаких следов на скале не было, но там, где камень уходил в землю, трава была чуть примята. Он пошел по едва заметным следам — тот, кто шел по траве, шел легкой стопой. Перед свежей поляной следы неожиданно обрывались. Денсу не стал осматривать дерево, под которым кончались следы. Вместо этого он уселся под ним. Одежда мягко свалилась ему на голову и, раскрывшись, легла на лицо. Кто-то спрыгнул с дерева.

— Ты хорошо читаешь следы,— сказала Аджоа.

— Ты хорошая искусительница,— сказал Денсу.

— Я отдала тебе одежду,— сказала она.

— Я тебе тоже отдам,— он потянул ее за пояс. Она отступила, но Денсу держал крепко, и пояс развязался. Она еще пыталась освободиться, поэтому он прижал ее к себе и, повалив, упал вместе с ней.

— Осторожней. Мне больно,— сказала она.

Он сам перевернулся на бок и положил на бок Аджоа. Расстелив на траве свой халат, он перенес ее над собой на халат. Свободной полой он накрыл их обоих.

— Я думала, ты гадаешь по воде,— сказала она.

— Я и гадаю,— сказал он.

— Когда ты ищешь свою душу, ты не должен желать женщин,— сказала она.

— Вода мне этого не говорила.

— Что же она тебе сказала?

— Вода сказала, что иногда можно увидеть свою душу только в другом человеке,— сказал он.

— И этот другой человек — я?

— Спроси у воды,— сказал он.— Для меня это не вопрос, а ответ.

— Для меня то же самое,— сказала она.— Скажи честно. Что ты увидел в воде?

— Тайну.

— Даже от собственной души? — Она рассмеялась.

— Раз ты хочешь знать, я скажу тебе. Когда я глядел в воду, я увидел голую Аджоа.

— Я всегда вижу, когда ты врешь,— сказала она.— Тебя выдает жилка на виске.

— Каким образом?

Аджоа не отвечала. Она даже не услыхала его вопрос...

Потом, громко смеясь, они смывали с себя пот и загорали на теплой скале, нависшей над заводью. Послеполуденное солнце заглянуло им в лица. Оба закрыли глаза.

— Ты видишь, что вижу я? — спросила Аджоа.

— Не знаю,— ответил Денсу.— А что ты видишь?

— Какой цвет у тебя под веками?

— Шафранный. Он бледнеет, если я пытаюсь открыть глаза. А ты сквозь веки видишь радугу?

— Павлиньи перья,— сказала она.— Плотно закрой глаза и отвечай.

— Закрыл. Спрашивай.

— Смотри изо всех сил.

— С закрытыми глазами я ничего не вижу,— возразил он.

— Это тебе так кажется,— сказала она.— Постарайся.

Он постарался.

— Что ты видишь? — спросила она.

— Тот же шафранный цвет.

— А перед ним?

— Ничего.

— Смотри лучше.

— Да, вижу. Длинная прозрачная изогнутая нить. Она сохраняет форму, но все время меняет место. Она пытается скрыться под веком.

— Куда?

— Вниз.

— Погляди вверх — она тоже поднимется вверх. Верно?

— Верно. У тебя на ней есть узелки?

— Множество,— сказала она.— Мне казалось, что их можно сосчитать, но я вижу, это невозможно. Вся нить состоит из узелков. Маленькие прозрачные узелки.

Как слепая, на ощупь она потянулась за его рукой, нашла ее и прижала к себе. Так молча они лежали, пока она не спросила:

— Что сделалось с солнцем?

— Огромный питон проглотил его — разве ты не слышала? Почему ты спрашиваешь? Ты больше не видишь его за веками?

Аджоа стиснула его руку, и он открыл глаза. Часть солнца скрывала лысая намасленная голова человека, стоявшего в шаге от них. С его шеи на золотой цепи свисала золотая пластинка. Незнакомец был не один. Его спутники стояли полукругом сзади него, как люди, только что вышедшие с узкой тропы на открытое место. Денсу посмотрел на Аджоа. Она уже была одета. Он встал, поправил на себе халат и приветствовал незнакомца и его спутников. Спутники только кивнули в ответ. Но незнакомец с золотой пластинкой заговорил.

— Мы ищем дорогу к селенью целителей,— сказал он.

— Кто вам там нужен? — спросил Денсу.

Незнакомец указал на золотую пластинку.

— Ты видишь, мы — царские гонцы. Мы несем посланье царя из Кумасе полководцу Асамоа Нкванте.

Денсу и Аджоа проводили царских посланцев в селенье. Аджоа подала им воды напиться, а Денсу пошел докладывать Асамоа Нкванте о прибытии гонцов. Полководец нимало не удивился. Казалось, он с утра ждет гонцов.

— Веди их сюда,— сказал он Денсу,— и скажи Дамфо, чтобы он тоже пришел, если свободен.

6. Зов

Встреча Асамоа Нкванты с царскими посланцами была краткая. Асамоа Нкванта спросил, какие вести они принесли. Посланцы сказали, что могут сообщить только одно: народ Ашанти нуждается в Асамоа Нкванте; войско Ашанти погибает без Асамоа Нкванты, царские рабы Ашанти ищут совета Асамоа Нкванты. Они готовы выслушать любые его требованья, лишь бы он вновь встал во главе войска, которое он оставил, побежденный ужасным горем. Это все, сказали посланцы. Им велено возвратиться в Кумасе, как только они услышат ответ Асамоа Нкванты.

Асамоа Нкванта не делал вид, что колеблется. Он сказал, что сам пойдет в Кумасе на царский совет. Посланцы даже не остались поесть. Убедившись, что они вернс поняли Асамоа Нкванту, они тут же пустились в обратный путь в Кумасе.

Асамоа Нкванта пошел к Дамфо и рассказал ему новости.

— Вы ведь на это надеялись? — спросил Дамфо.

— Я не думал, что это произойдет так быстро,— ответил Асамоа Нкванта.

— Они нуждаются в вас,— сказал Дамфо.

Асамоа Нкванта безуспешно пытался скрыть усмешку.

— У меня к вам просьба,— сказал он.

— Какая просьба?

— Когда я пойду в Кумасе, я бы хотел взять с собой Денсу,— сказал полководец.

— Зачем? — спросил целитель.

— Я думал, вы это уже заметили,— сказал Асамоа Нкванта.— Денсу на меня хорошо действует. Я не понимаю, в чем дело, но знаю, что он мне нужен. Когда они убили моего племянника, что-то ушло из меня. Как будто я зря потерял много крови И вот я смотрю на Денсу, как он говорит, как движется — все в нем напоминает племянника, но мне почему-то не больно. Вы понимаете?

Дамфо кивнул.

— И все-таки он не воин,— сказал он.

— Лишь потому, что он не желает стать воином,— сказал Асамоа Нкванта.

— Он сам должен решить, идти ему с вами или нет,— заключил Дамфо.— Вы ему ничего не говорили?

— Еще нет,— сказал Асамоа Нкванта.

ЧАСТЬ VII

1. Евнух

Денсу согласился идти с Асамоа Нквантой в Кумасе. Асамоа Нкванта так рассчитал путешествие, что они пришли в Кумасе после наступленья темноты. Возле города они обогнули затуманенную смердящую низину.

— Что это? — спросил Денсу.

— Субин, Болото Смерти,— ответил Асамоа Нкванта. Весь остаток пути он не сказал больше ни слова.

Асамоа Нкванта вошел в город без почестей. На первой же улице два ночных стража с дикими длинными космами замахали копьями перед лицами полководца и Денсу.

— Кто вы такие? — допытывались они.

Асамоа Нкванта не ответил. Он молча стоял на месте, пока стражи не рассмотрели его лицо. Их поведенье сразу переменилось. Один отступил в сторону и обратил наконечник копья к земле. Другой вызвался проводить полководца до дому. Сухо рассмеявшись, Асамоа Нкванта сказал, что сам найдет путь домой. Дом, к которому стремился Асамоа Нкванта, не принадлежал к числу больших домов в городе. Никто не вышел ему навстречу.

— Когда мне был нужен покой, а я не мог покинуть город, я приходил сюда,— сказал Асамоа Нкванта.— Здесь всего одна комната.

У дальней стены стояло несколько свернутых толстых циновок. Одну из них Денсу расстелил для Асамоа Нквантьі. Сам он решил лечь во дворе. Долгий путь разгорячил его, а в сырости нежилого дома ему сделалось не по себе.

Из дома до Денсу доносилось беспокойное, прерывистое дыханье Асамоа Нквантьі. Иногда полководец откашливался, словно что-то ничтожное, но неотвязное не давало ему покоя. Шло время, и в доме установилась полная тишина, и вскоре до Денсу донесся храп.

То, что испытывал Денсу, было волненье, а не возбужденье. Он чувствовал, что вступил в незнакомый мир. Он не знал, что откроется утром перед его глазами, но неведомое не огорчало его. Наоборот, он почти радостно предвкушал, что увидит и услышит то, чего до сих пор не видел и не слыхал. И поэтому, хотя он не мог уснуть, тело его не испытывало ни малейшей усталости. Уже сейчас оно было сильным, бодрым, заранее готовым ко всему, что принесет завтрашний день.

Вдруг вниманье его привлек шорох. Он затаил дыханье и вслушался. Шорох исходил не из дома, он был где-то рядом, чуть ли не над лежавшим Денсу. И тут Денсу увидел человека. Во мраке он понимал лишь то, что человек этот — великан. Он зловеще медленно пробирался к двери дома, в котором спал Асамоа Нкванта. Чтобы пройти в дверь, великану нужно было перешагнуть через Денсу.

Денсу сполз со своей циновки и притаился. Великан явно его не заметил. Он крался медленно, в прежнем ритме.

Денсу не видел, есть ли у него оружие. Денсу лежал как мертвый. Великан ступил одной ногой на циновку, поднял другую ногу — и в это мгновенье Денсу обеими руками изо всех сил рванул циновку из-под пришельца. Даже падая наземь, великан удержался от восклицаний. Судя по звуку паденья, он не был вооружен. Денсу прыгнул на него и плотным замком обхватил его шею.

Великан пытался освободиться, но не всерьез. Денсу понял, что происходит нечто странное. Его противник, вероятно, обладал огромной физической силой, но, несомненно, не стремился одержать верх над Денсу. Денсу хотел схватить его за руки, но сначала обнаружил только одну — и та не была сжата в кулак. Другую руку великан за-

крывал всем своим могучим телом. Денсу подумал было перевернуть его, но странное непротивленье пришельца переменило его намеренья.

— Кто вы такой? — спросил он.

— Это я тебя должен спросить,— прошептал великан, и Денсу понял, что тот боится разоблаченья.

— Вы должны сказать мне, кто вы такой и что тут делаете,— не отступал Денсу.

Пришелец помолчал, а потом сказал тоже шепотом:

— Я к нему.

— К кому?

— К полководцу,— неохотно проговорил великан.

— Вы всегда ходите в гости тайком по ночам?

— Что ты хочешь сказать?

— Что вы крадетесь, как вор или убийца.

Слова Денсу не развеселили пришельца. Гораздо громче, чем прежде, он прошептал:

— Мир кишит дураками вроде тебя.

Денсу не знал, что ответить, но тут послышался голос Асамоа Нкванты:

— Что за шум?

— Великан крался к вам — я его поймал,— сказал Денсу.— Он говорит, что пришел к вам в гости — ночью.

Поверженный пришелец раздраженно свистнул сквозь зубы.

— А ваш сторож — остряк,— сказал незнакомец.

— Неужели это Осон? — в голосе Асамоа Нкванты было больше радости, чем удивленья.

— Он самый,— тихо ответил великан.— Но скажите вашему разбойнику, чтобы он перестал меня душить. Я пришел с миром.

— Не сомневаюсь, Осон,— сказал Асамоа Нкванта.— Денсу, отпусти его. Это друг, лучший друг. Иногда он поступает не как другие люди, но беды в этом нет. Введи его в дом!

Денсу отпустил поверженного великана и провел его к полководцу.

— Не надо зажигать свет,— попросил гость.

— Ладно,— сказал Асамоа Нкванта.— Что же тебя привело ко мне в середине ночи? Откуда ты знаешь, что я здесь? Если во дворце узнают, что ты у меня, они тебя убьют.

— Иногда мне кажется, что лучше бы меня убили,— вздохнул великан.— Я тороплюсь. О том, что вы здесь, сказал мне страж Амфом. Он друг. Я скучал по вас, осаджифо Асамоа.

— И ты решил рискнуть виселицей лишь для того, чтобы мне это сказать? — спросил Асамоа Нкванта.

— Я принес вам дар,— сказал Осон. Даже во мраке сомнений быть не могло. На левой ладони лежал камень, вбиравший в себя весь свет, который таился во тьме, и лучившийся этим светом.

— Алмаз,— удивился Асамоа Нкванта.— Что ты за человек ныне, Осон?

— Спокойствие, осаджифо,— сказал Осон.— Я тот же, что был, несчастный евнух, которого вы спасли от смерти. Я и ныне евнух и не могу быть никем иным.

— Где ты его достал? — спросил Асамоа Нкванта.

— Спокойствие,— ответил Осон.— Я никогда ничего не крал и не буду красть. Я нашел алмаз у истока реки Тано. Когда вас здесь не было, я ходил туда со жрецами. Царице-матери было нужно о чем-то спросить реку.

— Ты знаешь закон,— сурово сказал Асамоа Нкванта.— Все найденные сокровища принадлежат царю.

— Я знаю закон,— согласился гость.— Но я услышал в себе голос. Осаджифо, как мог я отдать алмаз кому-нибудь, кроме вас? Я давно мечтал принести вам не один дар, а целую вселенную даров. Разве вы забыли, что вы подарили мне? А я никогда не мог ничего дать вам взамен. Что может дать раб? А евнух ниже раба. У истока реки Тано я нашел этот драгоценный камень. Лишь я увидал его, душа моя, вся моя кровь закричала ваше имя. Я не мог пойти против моей души. Я пошел против закона. Я не знал, где вы. При дворе говорили, что вы сошли с ума и исчезли. Я был в отчаянье. Но я надеялся и хранил алмаз. Это было опасно. И когда я начал думать, что больше мне не

удастся его утаить, я услышал, что вы вернулись. Теперь я вижу, душа верно советовала мне сберечь этот камень для вас. Возьмите его, осаджифо.

Асамоа Нкванта накрыл алмаз правой ладонью.

— Спасибо тебе, Осон,— сказал он.— Но впредь не рискуй жизнью ради того, чтобы доставить мне удовольствие.

Осон радостно рассмеялся.

— Могу ли я чем вам служить, осаджифо?

— Можешь. Во-первых, берегись, чтоб тебя не убили. Если они узнают...

— Никто не узнает,— сказал Осон.— Даже слон ходит неслышно, когда у него есть это,— он постучал пальцем по лбу.— Простите, что разбудил вас. Осаджифо, я должен спешить. Вероятно, я должен попрощаться и с вашим разбойником. Как его зовут?

— Денсу.

— Ладно. До свиданья, Денсу,— сказал Осон.— Если шея моя распухнет, знай, что это твоя вина.

И он скрылся в ночи так же тихо, как появился.

2. Предзнаменованья

На третий день после возвращенья Асамоа Нкванты в Кумасе выслушать его собрался царский совет. Это был не полный совет. Многие цари не успели бы добраться до Кумасе, и царь Кофи Карикари заявил, что так даже лучше, ибо речь пойдет о больших тайнах.

Поэтому на совете присутствовали только нана Асафо Аджеи из Джуабена, нана Квабена Джумо из Мампонга, вождь Квамен Аджапонг, вождь Аманква Тия из Бантамы и его соперник Эду Бофо.

Последней в дом совета вошла царица-мать, Эфуа Кобри. Стройная, с нежной коричневой кожей, как у младенца, в пестрых шелках, сегодня она была с небольшой свитой — всего семь служанок и трое толстых мужчин, евнухи. В одном из них Денсу признал Осона, словно видел его раньше при свете дня. Однако здесь, в доме совета, Осон не подавал виду, что знает Денсу. Он не приветствовал даже самого Асамоа Нкванту.

Эфуа Кобри, царица-мать, уселась, и совет начался. Сначала царица-мать говорила о горе Асамоа Нкванты. Потом она говорила о горе всего народа Ашанти. Она говорила искусно, красиво, суть ее слов была ясна: пусть Асамоа Нкванта забудет прошлое. Пусть требует какой угодно награды. Но пусть он вернется к войску Ашанти, которое истекает кровью, пусть спасет войско и народ от погибели.

Говорили другие. Никто из них ни мыслью, ни изяществом слов ничего не прибавил к сказанному царицей-матерью. Настало время говорить Асамоа Нкванте. Великий воин был поразительно краток. Он сказал, что перед лицом народного горя готов забыть о своем горе, но прежде всего ему нужно знать, чего от него хотят.

Цари не успели как следует пошептаться, как Эфуа Кобри ответила Асамоа Нкванте:

— Осаджифо Асамоа Нкванта, спаси войско. Сейчас оно возвращается домой, но у него нет вождя, и оно погибает. Встань во главе войска!

— Это дело нетрудное,— сказал Асамоа Нкванта.

— Есть и другое дело,— сказала царица-мать.— Есть слухи и признаки, что войско белых готовит вторженье в Ашанти. Кое-кто слышал, что белые мечтают завоевать даже Кумасе.— Один из вождей громко хихикнул. Другой обругал заносчивость белых. Остальные ограничились тем, что с деланным изумленьем покачали головой.— Никто из нас,— продолжала царица-мать,— никто из нас не знает, как противостоять вторженью белых. Когда говорят об этом, люди только вздыхают: если бы Асамоа Нкванта был с нами! Если бы Асамоа Нкванта возглавил войско!

Теперь ты с нами. За то, что ты сделал для войска, ты уже заслужил звание осаджифо. Выше его только звание Зрафо Кра, Душа Войска. Осаджифо, ты можешь заслужить и высшее звание. Протяни руку — и оно твое. Мы призываем тебя: вернись к войску! Верни нашим воинам боевой дух.

На этот призыв Асамоа Нкванта ответил согласьем. Оставалось только вернуться к войску. Но перед этим следовало обсудить намеренья белых пойти войной на Ашанти и захватить Кумасе.

— Я надеюсь, у них хватит смелости прийти сюда,— сказал Асамоа Нкванта.

При этих его словах у нескольких царей перехватило дыханье.

— Некоторые из нас не понимают, на что ты надеешься,— сказала царица-мать.

У Асамоа Нкванты был хорошо обдуманный план действий. Он объяснил его:

— Я видел, как наши братья на берегу в Эдине ловят рыбу. Во-первых, они не мешают движенью рыбы. Они расставляют сеть. Когда рыба в нее попадает, они вытаскивают ее на берег.

Поэтому пусть белые придут в Ашанти. Я выберу для битвы самое удобное место. Когда белые дойдут до него, они будут как рыба в сети. В середине их удержат одни наши отряды. Другие отряды обойдут их сбоку и встанут сзади белых. Белое войско в лесу не продержится долго.

Ружья у белых лучше, чем у нас. Больше того, все ружья мы получаем от белых. Но белые боятся леса, потому что знают: в бою лес не на их стороне, а на нашей. Они могут готовиться к войне против Ашанти, но они не могут приготовиться к долгой войне в наших лесах. Вернейший путь победить белых — заставить их надолго остаться в лесах и вести с нами долгую, долгую войну. Поэтому, когда мы поймаем их в сеть, нам останется только удерживать их и позволить лесу убить их всех.

За речью Асамоа Нкванты воцарилось молчанье. Молчанье это прервали слова хвалы. Цари состязались друг с другом в восхваленье великого воина. Он слушал их, немой как стена.

Денсу посмотрел в лица царям. За показными восторгами он увидел опасенья и горечь. Лица царей Кофи Карикари и наны Асафо Аджеи из Джуабены выдавали глубокое разочарованье. Царица-мать сидела окутанная холодным безмолвьем, как гробница. Лицо ее было непроницаемо.

Царский совет без обсужденья одобрил план Асамоа Нкванты. И поручил ему командованье войском. Уходя, полководец и Денсу заметили, что из дома совета выгнали всех, кроме царей и трех евнухов. В числе их был Осон.

Назад к реке Пра они дошли быстро. Асамоа Нкванта шагал с силой счастливого человека, передававшейся Денсу. У Прасо они переночевали в селенье целителей. Рано утром они простились с целителями и переехали на левый берег реки. Асамоа Нкванта шел по еле заметной тропе вдоль теченья. Тропа привела их к чему-то вроде лесного охотничьего шалаша. В нем их ждали семь человек, боевые командиры войска Ашанти. Командиры приветствовали Асамоа Нкванту, а Денсу приветствовал командиров.

— Он мой помощник,— сказал командирам Асамоа Нкванта.

Извилистым путем командиры привели их к только что расчищенной поляне, на которой стояли три дома. Командиры с Асамоа Нквантой и Денсу вошли в средний. Нагибаясь у низкой двери, Денсу вдруг увидал дрогнувшую ветку. Взглянув пристальней, он разглядел на дереве часового с ружьем.

Не успев сесть, Асамоа задавал вопрос за вопросом. Он спросил у командиров, сколько солдат ушло с ними на войну и сколько осталось. Когда отступавшее войско должно было достигнуть реки Пра? Когда царские гонцы отозвали войско назад? Что сейчас мешает передвиженью войска?

От услышанных ответов Асамоа Нкванта помрачнел. Большая часть войска уже вышла на берег Пра. Не было средств для переправы через реку.

Денсу посмотрел на полководца, тот понял его взгляд.

— Говори,— сказал Асамоа Нкванта.

— Разве у войска нет лодок для переправы? — спросил Денсу.

Озадаченные командиры переглядывались. Асамоа Нкванта посмотрел на них.

— Может быть, вы ответите? — тихо спросил он.

Один командир покачал головой. Остальные молчали. Денсу задал еще один вопрос:

— Разве в войске нет мастеров, умеющих делать лодки?

Снова тот же командир покачал головой.

— Я знаком с этим ремеслом,— сказал Денсу.— Если мне дадут достаточное количество работников с инструментом, я берусь поставить войску все нужные лодки.

— Так и сделаем,— решил Асамоа Нкванта. Он посмотрел на командиров.— Кто из вас дает работников?

Один командир вызвался дать работников.

— Кто возьмется валить лес на постройку лодок?

Вызвался другой командир.

— А я пока что отправлюсь на юг и соберу отстающие отряды,— сказал Асамоа Нкванта.

Переправа возвращавшегося войска через реку Пра началась в четвертый день недели. Воины первого отряда были порывисты и нетерпеливы. Четыре их командира, сверкая глазами, заявили, что не намерены ждать, пока выдолбят лодки. Два из них с пятнадцатью воинами в старой лодке переправились на правый берег, два других со всем отрядом остались на левом.

Они решили, что повалят стоящие на разных берегах друг против друга два гигантских шерстяных дерева. Стволы упадут в реку, так что макушки встретятся в середине, и воины смогут перебраться по ним без лодок. Деревья свалили. Макушки почти встретились. Почти, но не совсем. С берега было трудно сказать, можно ли перепрыгнуть с одной на другую.

Один смелый воин пошел первым, и ему повезло. Он прыгнул, схватился за дрожащую ветку и по ней добрался до прочного ствола. Несколько воинов нетерпеливо рванулись вслед за ним. Мало кому удалось добраться до правого берега. Большинство из них не допрыгнуло даже до верхних листиков кроны. Через некоторое время с ветвей обоих деревьев огромными странными плодами свисали безвольные людские тела.

Нетерпенье воинов сменилось признаньем необходимости ждать и работать. Днем и ночью плотники высекали из огромных древесных стволов лодки. Вскоре нужное число их было готово, и переправа наладилась. По тридцать воинов возвращались домой в каждой лодке.

Беда случилась всего однажды. Сорок воинов, предпочитая спешку безопасности, набились в одну лодку. Она перевернулась в середине теченья. Плавать умели только гребцы.

Когда в шестой день недели тьма опустилась над миром, все воины войска Ашанти вновь были дома.

Но каким невеселым было возвращенье войска! Какой ужасный исход войны видел народ! Шествие воинов двигалось по Кумасе, по Кумасе — исконной столице, Кумасе — непобедимой твердыне, Кумасе — вечнозеленому саду. Но это было не гордое шествие победителей. Вышедшие из домов, чтобы приветствовать возвратившихся, видели медленное, унылое шествие уцелевших, каждый шаг их повторял одно: в этой войне одержала победу только смерть.

Языки у певцов прилипли к гортани. Они не могли петь победные восхваленья. Кто бы сейчас стал их слушать? Жаждавшие жестоко потешиться над пленниками были разочарованы. Ни одного пленника, только свои, и отнюдь не все. Воины в цвете юности уходили на эту войну с сорока товарищами каждый. Теперь они возвращались одни с сиротливыми узлами, которые напоминали живущим о тех, кого смерть поглотила вдали от дома.

На улицу вынесли скелеты убитых врагов, чтобы показать доверчивым, что ашанти — могучие воины. Уловка эта не могла скрыть лицо истины: она лишь пачкала его грязью. К какому еще обману прибегнут цари, чтобы объяснить народу, почему в числе возвратившихся нет трехсот гордых боевых командиров, которые у всех на виду уходили воевать? Каким новым обманом попытаются они облегчить горе тех, кто собирал дорожные узлы для семи братьев, а теперь встречал только двух?

Прикусите свои языки, царские певцы славословий! Вы сделали свое дело. Вы посылали тридцать тысяч на юг против забытых братьев — и вы лучше всех знали, что ваши песни веселья и гордости служат приготовлением к долгой пляске смерти.

Смерть сделала свое дело. Настала пора для медленных песен прощанья. Дорогу плакальщикам! Пусть воздух будет прохладен и чист. Пусть его заполняют песни о тысячах, унесенных смертью. Если в середине похоронных песнопений у вас иссякнут слезы, молитесь, чтоб вам их послала полноводная Пра. Можете взывать даже к священной Тано. Они помогут вам достойно оплакать близких.

В Кумасе уцелевшие молча разошлись по домам. Их горе слезами было не выразить. Что им еще оставалось? Когда они, наконец, смогли раскрыть рот, они мужественно старались говорить о чем угодно, только не о смерти. Они пересказывали все истории о знаменитых победах Асамоа Нкванты. Они рассказывали вновь и вновь, как

Асамоа Нкванта услышал, что войско Ашанти умирает от смертельных болезней, теснимое к берегу смертоносной реки Пра исполненными ненавистью и хорошо вооруженными соседями. Как Асамоа Нкванта услышал это и позабыл о своей долгой скорби и вновь занял свое место во главе своих учеников-полководцев. Как мудрость и труды Асамоа Нкванты помогли избежать полной гибели и благополучно переправиться через опасную реку Пра. И они заканчивали свои рассказы тем, что правители страны в неизреченной щедрости присвоили великому воину почетнейшее звание среди воинов: Зрафо Кра, Душа Войска.

И вот все гордые слова были исчерпаны, и от неожиданных утрат на душе народа проступили зияющие раны. А в умах людей воцарилась пугающая пустота, пустота, при которой народ отдается во власть самых диких домыслов.

Неужели войско белых, войско призрачных солдат, на самом деле надвигается на Кумасе, неприступную столицу страны? Кумасе, мать городов, Кумасе, зеленая красавица. Кумасе, на чью землю никогда еще не ступала вражеская нога,— неужели на этот раз слухи верны? Неужели сам царь в эти дни, как безвольная марионетка, раскачивается на веревочке между отчаянием и надеждой?

А почему бы всему этому и не быть правдой? Настало время предзнаменований и странных рассказов. Поток злых вымыслов и нелепых происшествий затопил умы и чувства людей, слишком долго живших ожиданьем беды. Россказни были бредовые, но в дни страха их развелось слишком много; происшествия были невероятны, но рассказчикам быстро, охотно верили. О чем ни подумай, все было страшно, но теперь даже самым трусливым не удавалось зажмурить глаза.

Настало время предзнаменований, и вот каким было первое предзнаменование. В сухое время года, до наступления дождей, светлый день внезапно сменился ужасной ночью. Огромные тучи заполонили небо и задушили воздух. Вспышки молний пронзали их как злобные слуги смерти, ищущие кого погубить. Что до грома, грохот его сотрясал дома, по сто лет выдерживавшие ливни и половодья. Весь остаток погибшего дня над землей недвижно висели грозные тучи. В полночь они зарычали, как взбесившийся великан, и, раздавшись, обрушили на изумленный мир не дождь, но твердые камни. Один камень пронзил крышу дома и пробил голову шестидневного младенца, возвратив его в мир предков.

Другой рассказ тайными шепотами долетел из Вантамы, священного царского кладбища. Царский евнух увидел, как площадь перед царской усыпальницей медленно переходит дикобраз, символ народа Ашанти. Евнух позвал кладбищенских стражей полюбоваться священным зверем. Не успел дикобраз дойти до середины площади, как следом за ним выполз огромный серебристый питон. Дикобраз повернулся к питону мордой и выпустил длинные, острые иглы, позванивавшие друг о друга.

Как зачарованные, евнух и стражи смерти глядели на столкновение тварей. Питон по-прежнему полз на дикобраза. Он не попытался удушить его своими кольцами — он просто проглотил его вместе с иглами, а проглотив, свернулся грудой блестящих колец, положил голову на верхнее кольцо и уснул на семь дней.

Евнух и стражи бросились искать жреца. Жрец опасался, что произойдет что-то ужасное, если кто-нибудь побеспокоит питона. Действительно, целую неделю, пока он спал, его обходили стороной даже земляные муравьи. Чудеса на этом не кончились. Когда прошла ровно неделя, питон изверг из себя одну за другой тридцать игл дикобраза. После этого он вдруг бесследно исчез.

Шептали, что в Кумасе обеспокоенный слухами царь попросил дворцовых жрецов истолковать смысл предзнаменованья. Все они были сведущие люди, но ни один из них не открыл рта. В глазах их мелькали блуждающие огоньки опасного пониманья. Кому не известно, что недобрые вести царям Ашанти не сообщают?

Из Эджисо в Кумасе пришел рассказ о том, что год назад бесплодная женщина неожиданно зачала. Прошло девять месяцев, десять и одиннадцать. Беременность продолжалась. Когда истекло ровно двенадцать месяцев, в полночь она родила. В довершенье чудес новорожденный сразу же заговорил, младенец заговорил, как старик, съевший на своем веку бочки соли и перца:

— Мать, зачем ты меня родила в этот мир? И зачем ты меня родила в такое ужасное время? Мать, что мне делать сейчас в этом краю? Я пришел сюда из мирного дома, и я туда возвращусь. Больше ты меня не увидишь.

С этими словами чудесный младенец исчез. Мать, измученная родами и ошеломленная невероятными речами, выползла из дома и стала звать и искать сына. Его нигде

не было. В отчаянье она возвратилась в свой дом и не могла его узнать. За мгновенья ее отсутствия весь дом порос травой и кустами, словно никто не жил в нем два времени года.

Когда жрецов в Эджисо спросили, что это значит, они тоже не сказали ни слова.

Из Бекваи в Кумасе пришел рассказ о том, как три долгих дня по городу ходила готовая разродиться коза и громко, жалобно блеяла. Такая тяжесть была у нее во чреве, что тонкие ноги с трудом носили ее. Мальчишки швыряли в нее камнями. Коза не пыталась бежать от них. Она глядела им прямо в глаза, казалось, она жалеет их, как мать жалеет беспутных детей, обрекших себя на погибель. При всем народе она уронила наземь слезу и отвернулась. На маленького мальчишку, который бросил в нее больше всех камней, напал колотун, и он, как больной, продрожал три дня подряд.

Как только мальчишку заколотило, у козы начал рождаться козленок. Появились на свет две ноги, потом еще две, потом вместо головы еще две — всего шесть.

Зеваки говорили друг другу, что, наверно, это сдвоенное животное. Но козленок родился, и у него на шесть ног оказалась одна голова. Беспомощный, мокрый, он полежал на песке. Не успев обсохнуть, он поднялся на шести шатких ножках и пошел за матерью, медленно и спокойно.

Коза вела шестиногого козленка посередине Бекваи и заглядывала в глаза людям. Так они трижды обошли середину города. Потом, точно спохватившись, коза стала кормить своего чудовищного козленка. Напившись молока, козленок помчался в заросли. Коза побежала за ним. Никто их больше не видел.

Из Мампонга в Кумасе пришел рассказ о том, как жена одного человека понесла в седьмой раз. Когда жена его беременела, он терял к ней влеченье до родов и на сто дней позже. На этот раз он потерял не только влеченье, но и сочувствие.

Жена, как всегда, кротко и терпеливо переносила выпавшее на ее долю испытанье. Но муж ни на миг не оставлял ее в покое. Каждый день с утра до ночи он осыпал ее незаслуженными оскорблениями. Он смотрел на ее живот и злобно плевался. Женщина старалась не обращать на это вниманья и занималась обычными хозяйственными делами. Ее спокойствие лишь распаляло мужа. Никто не просил его объяснить, почему он вдруг стал испытывать отвращенье к жене. Он сам нашел объясненье: ему казалось, что у нее некрасивый живот. Он стал рассуждать вслух, что такой большой живот не от того, что в нем младенец, а от чрезмерного чревоугодия. Не потому ли она так часто сплевывает на землю? И он сам плевал от отвращенья. И кроме того, кто добудет еду для всех этих детей, которых она рожает, словно свинья? И вообще, едва они подрастут, они оберут отца дочиста и убегут к дядьям.

Шесть месяцев жена выслушивала эти и другие оскорбленья. В начале седьмого она сказала мужу, что устала от них и что он должен умолкнуть, не то...

— Не то что ты мне сделаешь? — глумливо спросил муж. Он задал ей этот вопрос тридцать раз, но она не прибавила к своей угрозе ни слова. Разъяренный, как юное пламя, муж ударил жену, он бил ее до потери сознанья и, избив, ушел из дому, чтобы охладить злость пальмовым вином. Он не возвращался домой до конца месяца, седьмого месяца ее беременности.

Жена встретила его так, словно ничего и не произошло, словно муж выходил на улицу по нужде на какую-нибудь минуту. Он был голоден и много съел на ночь. Он принес с собой пальмового вина и все его выпил. Он уснул спокойным, глубоким сном. Ему снилось, что жена стоит над ним, улыбается и просит помочь.

— Чем я могу тебе помочь? — спросил муж во сне.

— Подержи нашего ребенка,— сказала приснившаяся жена.

С этими словами она положила свой огромный живот на живот спавшего мужа — и вдруг улетела сквозь крышу в дыру для дыма.

Настало утро. Муж проснулся. Он хотел потянуться, но не смог. Что-то тяжелое мешало ему пошевелиться. Он взглянул на свой живот и увидел гору плоти. Презиравший беременную жену муж сам был беременным. Жена его, как улетела, так и не вернулась. Тайно муж послал за жрецами, он молил их о помощи. Помочь они не могли. Сами они, жрецы, которые должны отвечать на его вопросы, непрестанно спрашивали его:

— Что с нами будет? Что происходит в нашей стране?

Еще один рассказ в Кумасе пришел из Бонвире, дома царских ткачей. Женщина пошла на свое поле в лесу. На краю поля она нагнулась и стала выдергивать сорняки из грядки с ямсом. Вдруг она почувствовала, что сзади что-то в нее проникает. Она

взглянула через плечо — сзади нее было только дерево. Она продолжала полоть грядку. Ощущенье сделалось несомненным. Она попыталась освободиться — дерево крепко держало ее, но каким образом, потом она не могла объяснить. Она не теряла сознанья. Ей не было больно. Наконец, дерево само ее отпустило. Она взглянула на дерево и увидела, что дерево это — мужчина.

Женщина побежала домой в Бонвире и рассказала, что с ней случилось. Вместе со слугами она возвратилась на поле. Там не было ничего, даже следа зловещего дерева. Но все, слышавшие ее рассказ, клялись, что, по всем признакам, она говорила чистую правду.

В самом Кумасе впервые с сотворенья света родился белый ребенок. Это был сын белых пленников, приведенных полководцем Эду Бофо после бесплодного похода на восток против племени крепи. Родители были — священнослужитель белого бога и его жена. Никто не знал, зачем Эду Бофо привел их в Кумасе. Говорили, что он досадовал на неудачный поход и хотел сделать что-то такое, чего никогда не делал его соперник Аманква Тиа.

В припадке безумия он решил, что захват белых пленников посрамит Аманкву.

Но появленье в Кумасе белых пленников вызвало лишь неуверенность и разногласья. Белые на берегу просили вернуть их. Цари не могли договориться между собой и предоставили решать Эду Бофо. Эду Бофо заявил, что в обмен на освобожденье пленников хочет получить деньги. Белые поторговались, но в конце концов заплатили. Но Эду Бофо передумал, и пленники остались в Кумасе.

Белые пленники не теряли надежду. Рожденье сына так явственно указывало на мощь белого бога, что царскую семью в Кумасе охватил страх. Вспомнилось, как в древности, стоя лицом к северу, пророчествовал Моши:

— Когда первый белый появится в нашей стране, народ наш погибнет.

Теперь люди задавались вопросом: если появленье первого белого человека означало гибель народа, не означает ли рожденье первого белого человека поминки по погибшему народу?

И, наконец, после всех рассказов и предзнаменований людям было дано еще одно предзнаменованье.

Допустим, все рассказы и предзнаменованья, какие приходили в Кумасе,— чистая выдумка. Но вот что случилось в самом Кумасе, столице Ашанти, которую у дерева кум основал сам великий жрец Окомфо Аноче. То, что случилось в Кумасе, чистая правда. То, что случилось, видели все, так что сомненьям не было места. Дерево кум, посаженное при рожденье народа, дерево, считавшееся нерушимым, великое дерево из деревьев, дерево кум вдруг упало.

В отдаленные времена, когда род Ойоко еще не был самой грозной силой в Ашанти, в те отдаленные времена, когда ашанти еще не были самой грозной силой во всей стране, в те первоначальные дни основатели государства не знали, где заложить столицу государства, о котором они еще только мечтали. Они спросили об этом великого человека, жреца Окомфо Аноче. Он посоветовал им посадить по дереву в двух самых лучших местах. Так были посажены два дерева кум.

Одно из деревьев засохло. На месте его вырос маленький город, дом для многих ашанти, но не дом домов для всего народа. Другое дерево выжило и превратилось в могучего великана с широко раскинувшимися ветвями — достойный символ могучей семьи ашанти.

Дерево стояло в середине столицы. Люди даже шепотом не осмеливались повторять ужасное пророчество, гласившее, что падение дерева кум означает, что сила ашанти дошла до предначертанного свыше конца. И вот это самое дерево рухнуло на виду у всех жителей Кумасе — великой столицы, Кумасе — неприступной твердыни, Кумасе — зеленой красавицы.

Ничто не предвещало беды. Не засыхали сучья, не болела кора или корни. Великое дерево рухнуло неожиданно. Казалось, огромная невидимая рука выдернула его из земли и с размаху швырнула на каменистую почву. Дерево, поверженное самой сильной бурей, разбивается в худшем случае на несколько частей. Одна ветвь обвивает саму себя, другая вывихивается из сустава или раскалывается. Дерево кум упало не так. Великое дерево, рухнув, разбилось на тысячу тридцать маленьких щепочек, словно обрушившаяся на него злая сила хотела не просто повергнуть его на землю, но обратить в прах.

Люди слышали, что случилось, и не хотели верить. Они медленно шли на главную площадь и убеждались, что невероятное произошло. И языки прилипали к нёбу, и люди уходили прочь, ибо страх не позволял им подойти туда, где стояло дерево кум, и коснуться рукою его обломков. Царь Ашанти созвал всех жрецов Ашанти. Он потребовал, чтобы они открыли ему правду и истолковали смысл предзнаменованья, каким бы зловещим оно ни было. Жрецы выслушали царя. Ни один из них не рискнул своими устами сказать царю то ужасное, что они уже были не в силах скрывать. Поэтому они нашли жестокий косвенный способ передать царю то, что они знали. Они потребовали, чтобы им дали двух рабов, предназначенных для принесения в жертву.

Обреченные были совсем юные. Один из них отчаянно молил губителей о пощаде. Он взывал к царскому милосердию и заклинал царя именами всех предков — царей от Оти Акентена до Кваку Дуа. Он обращался к материнским чувствам царицы-матери. Чтобы заставить его умолкнуть, палач пронзил его левую щеку и язык стрелкой с колючками, так что острый конец ее вышел через правую щеку.

Второй обреченный знал, что надеяться не на что. Он прекрасно понимал намеренья палачей и никого ни о чем не умолял. Он не издал ни звука, когда щеки его пронзила стрелка с колючками.

Жрецы объявили царю, что будущее народа зависит от того, когда умрут эти рабы. Если они умрут быстро, за одни сутки, значит, предки с радостью приняли жертвоприношенье и войско Ашанти одержит над белыми захватчиками великую победу. Если обреченные будут умирать долго, скажем, трое суток, значит, настало время всему народу заучивать долгую, заунывную песнь пораженья.

Обреченных отвели в лес рядом с Болотом Смерти, накрепко привязали к деревьям и оставили умирать.

Прошли одни сутки. Оба обреченных были живы. Прошли вторые сутки. Оба обреченных были живы. Больше того, в глазах второго, гордого, который не молил палачей о пощаде, появилась усмешка — усмешка, наводившая страх на жрецов, каждый день приходивших в надежде увидеть его мертвым.

Первый умер лишь на шестой день. Второй, спокойный и гордый, был жив на седьмой день и на восьмой. Он спокойно скончался лишь на девятый.

В Кумасе Денсу отдыхал три дня. На четвертый он отправился в Аду. Он взял с собой еды на десять дней — вяленой рыбы, соленого мяса, кенкея и на первые два дня немного сушеных бананов. Путь он прошел быстрее, чем предполагал. Устав, он не принуждал себя шагать дальше, зато с наступленьем темноты спал не больше, чем требовалось для восстановленья сил. Он шел целый день и, выспавшись, как правило, пускался в дорогу вскоре после полуночи. Местность быстро менялась. Он никогда не был так далеко на востоке и никогда еще не видел такой гористой страны с острыми скалами и огромными валунами. За день до того как он вышел к великой реке Фироу, ему пришлось взобраться на такую крутую и высокую гору, что в ушах зазвенело и голова закружилась. С вершины ему показалось, что он видит впереди огромную широкую реку, но как только он начал спускаться по прохладному каменистому склону, река скрылась из глаз, и он увидел ее вновь лишь назавтра.

Он встретил мало путников на своей дороге, но все, кого он встречал, знали, как пройти в Аду, и говорили, что он выбрал нелегкий, но верный путь.

— Когда доберешься до города, не входи в него,— наставлял его Дамфо накануне путешествия.— Отыщи самый высокий холм слева от города, вверх по теченью. Обогни холм и ступай к реке. Там увидишь деревню Атике. Это даже не деревня, а всего несколько домов. Там живут только целители. Спроси Дуоду. Сделай наши условные знаки и скажи ему, что ты отсюда. Передай ему наш поклон и объясни, зачем ты пришел. Он друг соседнего царя Сакити, поэтому он хорошо знает, что происходит, и они вдвоем сделают для тебя все, что нужно.

Денсу без труда отыскал дома у реки. Целитель Дуоду был дома. Несмотря на болезнь, он радостно приветствовал Денсу и слабым голосом задал ему тысячу вопросов о жизни целителей на реке Пра. Денсу объяснил ему, зачем он пришел. Дуоду внимательно выслушал его и задумался.

— Сакити мог бы помочь во всем,— он покачал головой.— Дамфо говорил верно. Но ты не найдешь Сакити. Его посадили в белую тюрьму в Аккре. Он не сумел сдержать себя на встрече с белым по имени Гловер. Должно быть, у этого Гловера много

денег, спиртного и ружей, и он щедро раздает это добро всем царям, которые обещают выступить против Ашанти. У царей нет ни малейшего желанья идти в поход на Кумасе, но им нравится выпивка Гловера, его деньги и ружья. Поэтому они охотно обещают все, о чем он их просит, и получают его подарки. Когда придет время, они оставят его наедине с его мечтами. Один Сакити сказал, что так поступают только дети, лжецы и трусы. Он всегда говорит правду. Он отказался присягать в верности Гловеру. Он сказал, что ничего не должен белым и не собирается клясться в верности. Разумеется, остальные цари испугались, что из-за него потеряют все, что им дал Гловер. Они хотели убить Сакити. Гловер посадил его в тюрьму. Будучи белым, он, конечно, сказал, что, сажая Сакити в тюрьму, он лишь спасает его от гнева его же черных братьев.

— Кто еще может помочь? — спросил Денсу.— Есть еще кто-нибудь, кроме Сакити?

— Боюсь, никого нет,— ответил Дуоду.— Этот Сакити — самый странный человек в мире. Представь себе царя, дорожащего собственными словами. Твой Дамфо говорил, что Сакити — целитель, который делает вид, что он царь. А Сакити уважает Дамфо больше всех на свете. Не без оснований. Дамфо спасал его от безумья. И не однажды. Дважды.

— Значит, помочь мне некому.

Дуоду наморщил лоб, но память не подсказала ему ни одного имени.

— Некому,— решительно сказал он.— Тебе придется избрать другой путь. Ты говоришь на языке белых?

Денсу кивнул.

— Тогда ты сам пойдешь к Гловеру. Как солдат и слуга.

— Лучше как слуга. Я всегда буду рядом с ним. И он не попросит меня убивать черных людей.

— Сам я не знаю этого Гловера,— сказал Дуоду.— Но о нем говорят всюду. Из того, что я слышал, главное его свойство — тщеславие. Этот дурак думает, что все черные должны его любить. Что мы для него готовы на все. Он в восторге, когда его зовут Великий Белый Отец чернокожих, друг и защитник. Он глуп, как царь, и, как царь, любит хвалебные имена. Самая широкая дорога к его сердцу лежит через его тщеславие.

Денсу кивнул и улыбнулся.

— Я вижу, ты не мальчик,— улыбнулся в ответ Дуоду.— Когда ты будешь готов?

— Хоть завтра.

— Какой сегодня день недели? Третий. Гловера в Аде нет. В седьмой день он уплыл вверх по теченью. Пока он не возвратился. Мы сразу узнаем, когда он вернется. Дело в том, что лодки его при движенье шумят. А пока что ты отдохни, я покажу тебе наши края, а ты мне поможешь набрать нужных трав и расскажешь еще о Дамфо и других целителях в Прасо.

Белый человек Гловер не вернулся в Аду ни в третий, ни в четвертый день недели. На пятый день на реке показались две большие лодки. Как неуверенные в себе чудовища, они тыкались вправо и влево, в мелкой реке выискивая дорогу поглубже.

Дуоду услыхал их еще до того, как они показались из-за поворота.

— Ты можешь понять, что на них написано? — спросил Дуоду.

Денсу подождал, чтобы лодки подплыли поближе.

— Я думаю, что названья. На первой написано «Морская дева». На другой, должно быть, человеческое имя «Гертруда».

— Оно что-нибудь значит?

— Не знаю. Я никогда не слыхал этого имени,— сказал Денсу.

С высоты холма они смотрели, как лодки медленно причаливают к дощатому помосту у берега. Не успели они причалить, как с них посыпались люди с большими узлами и тяжелыми корзинами — на берег спрыгнули трое белых. На таком расстоянии было невозможно разглядеть их лица.

Дуоду и Денсу ничего не ели с утра. Тела их требовали еды и отдыха. Они спустились к реке, умылись, поели и до наступленья ночи говорили о Гловере. Спать легли они рано. Денсу проснулся перед восходом солнца. Он лежал в темноте и обдумывал, что ему надо сделать за предстоящий день. Он почувствовал возбужденье и постарался

его подавить, ибо прежде, чем приступить к действию, необходимо обрести нерушимый покой. Когда взошло солнце, он умылся и, взойдя на холм, посмотрел, что творится у реки. Город Ада уже проснулся, в лагере Гловера кипела работа. Денсу спустился в Атике.

— Ты готов? — спросил Дуоду.

— Да.

Денсу снял свой халат и вместо него надел рваную набедренную повязку. Он попрощался с Дуоду.

— Может быть, для того, чтобы выяснить все, что нужно, тебе придется прожить там долгое время,— сказал Дуоду.— Есть какой-то предельный срок, когда ты должен вернуться домой?

— Я должен оставаться там столько, сколько будет нужно, но как только я получу то, за чем пошел, я сейчас же брошусь назад.

— Может быть, тебе придется прожить там много месяцев,— сказал Дуоду.

— Надеюсь, что не придется,— ответил Денсу.

Он дважды обежал вокруг основанья холма, так что пот ручьями потек с него. Потом длинными размеренными шагами он побежал к лагерю белых в Аде.

Миновав последний холм перед лагерем, он ясно увидел цель. Тратя больше сил, чем кто-либо из работавших, по лагерю взад и вперед сновал один-единственный белый человек. Он подходил к группе черных работников, вбивавших в землю колья, выхватывал у одного из них молот и показывал всем, как вбивают кол в землю. После этого он спешил к носильщикам и учил их переносить камни. Потом он заметил, что работники вырубают кусты. Он не мог не дать наставленье и им. Гловер был всюду. Он занимался самыми ничтожными мелочами и поучал всех.

Белый человек в действии, Гловер божественный, Гловер, сошедший к черным людям, чтобы творить чудеса. В это утро седьмого дня недели он казался законченно счастливым. А почему бы и нет? Здесь он был богом, настоящим богом среди простых людей, возлюбленный бог отец среди людей-младенцев.

Вот он, белый человек, про которого известно, что он путешествовал на востоке вдоль реки, более великой, чем великая река Фироу, по долине бесконечной, привольной реки Кварры. Вот он, человек, прошедший вдоль таинственной Кварры и сделавший то, чего не мечтал до него сделать ни один белый, даже если бы у этого белого были тысячи поклонников. Вот он, маг и чародей во всем, что касается натравливания одних черных людей на других черных — для пользы белых. Вот он, единственный белый, способный похвастаться тем, что черные люди из чистой любви к нему, Гловеру, по первому его знаку мгновенно сделают любое, даже самое трудное дело. Вот он, Гловер, отец воинов хауса, защитник любящих его рабов. Вот он, Гловер, одного слова которого достаточно, чтобы тридцать тысяч черных самозабвенно бросились в зияющую пасть смерти. Вот он, Гловер, хвастливый, прославленный Гловер, чей девиз: «На каждых пять черных, которых привлечет на нашу сторону любой другой белый, я берусь привлечь многие тысячи». Вот он, великий белый человек. Ищущий его не должен утомлять себя поисками. В это утро седьмого дня недели Гловер у всех на виду, как солнце.

Что там, до сих пор выгружают корзины с лодок? Гловер, словно оса, летел между берегом реки и серединой лагеря и следил, чтобы все в точности соответствовало его фантастическим замыслам. Что там, ставят палатки по внешнему кругу лагеря? Гловер мчался туда, как молния, и указывал, как натянуть каждую веревку. Что там, с реки на голове люди несут узлы? Гловер распоряжался, какой узел нести в какую палатку. Гловер был всюду. Гловер—великий белый отец, Гловер—вездесущий, всемогущий бог.

В далекой от реки, плоской части лагеря работники длинными тесаками вырубали кустарник. Гловер поспешил к ним, и они остановились, чтобы выслушать его волю. Он шагами измерил и показал им, какую площадку надо расчистить.

За спиной у Гловера человек сто в синих куртках и синих коротких штанах, повинуясь начальнику, обучались ружейным приемам. Гловер несколько минут наблюдал за муштрой, затем, стремительно рванувшись, выхватил у командира ружье и показал, как полагается исполнять приемы «на плечо» и «к ноге», как делать выпад и отступать, как поворачиваться налево, направо и кругом. Другой на его месте, затрачивая столько сил, утомился бы, но Гловера напряженная суета, казалось, только бодрила.

Сделав что-нибудь, Гловер оглядывался, точно выискивая новое поле деятельности. Ему явно нравилось обнаруживать недостатки и своими силами преодолевать их.

Он уже повернул в свою палатку, когда худой, мускулистый юноша со всех ног вбежал в лагерь. Не сбавляя скорости, он направлялся прямо к Гловеру.

Несколько человек постоянно увивалось вокруг Гловера. Одни из них ждали приказов. Другие держались с ним рядом, ибо составляли его стражу. Третьи, по-видимому, собирались что-то ему сообщить.

И эти окружавшие Гловера люди вдруг увидали юношу и, насторожась, бросились наперерез ему, незнакомцу, устремившемуся к белому солнцу, великому богу, средоточию их жизней. Однако бегущий их обманул. По всему было видно, что он забирает вправо, и окружавшие Гловера тоже ринулись вправо — но в последний момент юноша резко подался влево, так что между ним и Гловером не было никого.

Лицо Гловера, красное от усилий утра, сделалось белым. Он отступил на шаг, и рука его стала что-то искать у пояса. Но в это прекрасное утро Гловер вышел из своей палатки, самонадеянно не захватив с собой ни шпаги, ни пистолета.

Но ему нечего было бояться преждевременного краха своих великих замыслов. Ничего воинственного и зловещего в юноше не было. В шаге от Гловера он бросился на колени и вытянул вперед руки, пытаясь достать пальцами до сапог белого военачальника.

Белый человек Гловер не принадлежал к числу высоких людей. Но при виде стоящего на коленях он повел себя так, словно он — Асебу Амамфи, великан, который в кашу себе подсыпал камешки, чтобы тратить избыток сил на разжевывание еды. Краска вновь прилила к его щекам.

Пытавшиеся перехватить юношу уже опомнились, осознанье униженности вызвало в них злобу. Коленопреклоненного они схватили под мышки и поволокли прочь. Но сам Гловер, вновь уверенный в себе Гловер, Гловер милосердный, Гловер — отец всех черных племен, Гловер-бог, Гловер приказал им не трогать просителя и дать ему высказаться. Пресмыкавшийся у его ног юноша уже что-то говорил. Один из черных слуг Гловера начал переводить.

Что юноша говорил Гловеру?

Он пел белому человеку хвалебную песнь. Когда приближенные Гловера отпустили его, он возвел благодарные очи на полководца. Первым делом он назвал Гловера спасителем порабощенных, надеждой угнетенных и верным другом несчастных. При переводе каждого хвалебного имени Гловер важно кивал головой.

Перечислив хвалебные имена Гловера, юноша заговорил о себе. Он сказал, что он несчастная тварь, бездомный беглец, которому удалось сбежать от жестокого хозяина из Ашанти. Он давно прослышал про Гловера — да и кто на свете не слышал этого имени? Он давно хотел разыскать Гловера. И наконец, ему удалось бежать, и он много дней и ночей бежал по лесам к спасителю.

Гловер выслушал юношу, пока тот не задохнулся от слов и чувств. Тогда он приказал переводчику спросить, чего именно юноша от него хочет. Ответ был скор и прост:

— Позвольте мне быть вашим слугой. Позвольте мне каждый день и миг видеть ваше лицо. Позвольте мне делать все, что вам нужно. Тогда я буду счастлив.

Гловер тщетно пытался придать своему лицу подобающую суровость. Ничто не могло удержать улыбку радости, заигравшую на его губах. Он принял еще более важную позу — выставил левую ногу на полшага вперед, левую руку упер в бок, правую заложил за борт мундира между пуговицами, поближе к сердцу. Гловер, без сомненья, был счастлив, что обнимавший его сапог проситель хочет стать его верным слугой.

Через переводчика Гловер спросил, как зовут юношу.

— Денсу,— ответил беглец.

Гловер сурово взглянул в лицо Денсу. Денсу ответил ему робкой улыбкой.

— Ты говоришь по-английски? — со внезапной свирепостью спросил Гловер. Робкая улыбка на лице Денсу не пропала. Переводчик расхохотался при мысли, что несчастный беглец может говорить по-английски. Он перевел вопрос. Денсу, казалось, был так озадачен невероятностью вопроса, что потерял дар речи.

— Ладно, ладно, Денсу, мой мальчик,— улыбнулся Гловер,— ты будешь моим слугой.

Денсу нарядили в новую одежду и назначили помощником главного слуги великого Гловера. Работа была нетрудная. Денсу следил за тем, чтобы после стирки белье Гловера хорошо отглаживали и хранили в чистоте. Он подметал палатку и подавал еду. Гловеру нравилось, как его новый слуга бегает. Иногда по вечерам он заставлял Денсу

бегать наперегонки с наиболее быстрыми солдатами. Денсу всегда побеждал соперников, и Гловер хвалился победами слуги, как будто это были его собственные победы. Дни превращались в недели. С самого начала в присутствии Денсу Гловер не боялся говорить о чем угодно. Он рассказывал о своих замыслах — это были безумные замыслы — и о безумных способах осуществить безумные замыслы. Денсу видел в его руках больше денег, чем за всю свою жизнь,— больше денег, спиртного и ружей.

Каждый день к Гловеру приходили цари. Они улыбались, пили и шутили с белым человеком, получали подарки и уходили восвояси. Подарки были щедрые — большие бутылки джина, часто целыми ящиками; блестящие новенькие ружья и к ним порох и пули; и всегда монеты, заставлявшие радостно улыбаться даже самых сердитых царей.

Денсу неотступно наблюдал за белым хозяином, он слышал самые тайные его слова, но неделя сменялась неделей, а ему не удавалось узнать то, зачем он был здесь: кто главнее у белых, Гловер или Вулсли? Кто из них кому подчиняется?

Но то, что Денсу узнал, удивляло его. Днем Гловер был шумным, деятельным человеком, ночью он становился брюзгливым и яростно страдал от одиночества. Иногда он разговаривал с кем-нибудь из белых, но чаще он просто пил, укрывшись в палатке. Тогда, не в силах сдерживать боль, он разражался злобными речами. Порой даже во сне он подолгу спорил с невидимыми людьми. Он доказывал им, что во всем прав и добьется успеха, если только они перестанут мешать каждому его шагу.

Своим собеседникам Гловер жаловался, что ему отпускают слишком мало денег на подарки царям. Он хвастался, что видит черных насквозь.

— Одари черного, и его душа — твоя,— говорил он тощему белому командиру с черными блестящими усами.— Одари его, и он вместе со своим народом пойдет за тебя на войну. Но подумайте, Сарториус, откуда мне взять союзников, когда у меня так мало денег?

Гловер жаловался, что в Аккре такие же англичане, как он, обирают его. Он купил джина для раздачи царям, выставляющим воинов, и за ящики ценою четыре шиллинга каждый с него содрали по восемнадцать шиллингов.

Гловер жаловался, что он заказал четыре с половиной тысячи ружей и не получил ни одного. Для мелких подарков ему необходимы серебряные монеты, в них тоже ему отказали. Он купил несколько пушек, но к ним прислали ядра совсем для других пушек.

Гловер жаловался, что на тысячи воинов, готовящихся ко вторжению в Ашанти, у него всего один врач. Даже его лодка не в надлежащем порядке, что тоже мешало осуществлению его замыслов.

Чтобы получить от Гловера деньги, выпивку и ружья, цари наполняли его голову самыми щедрыми обещаниями. Они обещали привести к нему тысячи и тысячи сильных мужчин, готовых работать, сражаться и умирать за Гловера. Он готовил военный лагерь на четырнадцать тысяч воинов крепи — царь крепи обещал ему именно столько людей. Гловер готовил лагерь на двенадцать тысяч воинов с земель от Аккры до Ады, на семь тысяч из Экуапема и семь тысяч из Кробо. Из Акима должны были прийти по меньшей мере четыре тысячи воинов.

Иногда по ночам Гловер вслух называл эти тысячи, казалось, он ведет их в великие сражения, которые всегда без труда выигрывает. Просыпаясь утром, он иногда вслух мечтал о том, как вернется домой с великой победой и вместе со своими командирами удостоится небывалых наград. Он восхищался собственным уменьем заставлять черных воевать с черными ради белых.

Шли недели, и совещанья Гловера с царями учащались. Очень скоро он понял, что черные цари отнюдь не торопятся умирать за него, что налицо не единство стремлений, но всего лишь коварные попытки всех и каждого извлечь выгоду для себя. Совещанья Гловера с царями превратились во встречи людей с огромными ртами и крохотными ушами.

— Мы должны выступить на Кумасе! — говорил Гловер.

— Сначала мы должны разбить наших врагов на том берегу реки,— говорили ему цари.

— Каких врагов? Разве мои враги — не ваши враги? — спрашивал хитрый Гловер.

— Да, да,— отвечали хитрые цари,— а наши враги — ваши враги.

— Мы выступаем на запад! — кричал Гловер.

— Мы выступаем на восток! — кричали цари.

Гловер продолжал мечтать. Он мечтал несколькими набегами на восток через реку удовлетворить притязанья царей и затем во главе огромного войска ликующих союзников выступить на Ашанти. Гловер мечтал о великом победоносном наступленье на Кумасе, в конце которого будут петь хвалебные песни ему, победителю из победителей, благодаря мудрости которого белые завоюют огромное царство, не пролив ни капли своей крови.

Гловер продолжал мечтать до самого рокового дня. Между шестой и седьмой неделей пребывания Денсу в лагере действительность обратила мечты Гловера в прах. Их сладость превратилась в невыносимую горечь. Торжествующий герой пал с высот своей воображаемой славы и ударился о землю жалким шутом. Гловер великолепный, Гловер всезнающий, Гловер — отец воинов хауса, Гловер — спаситель рабов, Гловер, чей девиз: «На каждых пять черных, которых привлечет на нашу сторону любой другой белый, я берусь привлечь многие тысячи» — за одну быструю неделю Гловер — белый спаситель из великана превратился в карлика. Ночами его одолевала бессонница. В те несколько мгновений успокоительной тьмы, которые ему удавалось украсть у всечасной боли, незваные голоса называли его не хвалебными именами, но глумливыми кличками. Гловер перестал быть великим белым человеком. Даже в своих глазах он сделался всего-навсего непристойным белым шутом.

Отчего же высокий человек пал так низко?

Денсу жил у Гловера третью неделю. Как принято у белых и их рабов, в седьмой день недели никто ничего не делал. В следующий за ним первый день надлежало отправить важное сообщение другому великому белому человеку, Вулсли, на Береговой Мыс. Гловер спешно созвал царей для решительного совещания. Это был беспокойный день, день суеты, а не настоящего дела.

Зато второй день недели, день моря, был полон действия. Гловер безумствовал. Он снова созвал царей и, словно бог-громовержец, послал по небу на другой берег реки Фироу пылающие снаряды. Когда страна Авона заполыхала, он направил через реку воинов под началом Сарториуса, высокого белого офицера с блестящими черными усами. Сарториус быстро добился успеха, и к вечеру Гловер был счастливым человеком.

Третий день недели Гловер отдыхал. Но на четвертый его страсть к войне разгорелась вновь, и он отдался ей с такой силой, что весь пятый день он сам и его подчиненные изнемогали от утомления. Именно в этот день пришли ужасные вести.

С Берегового Мыса от белого военачальника Вулсли прибыли гонцы. Они не застали Гловера в лагере, переправились через Фироу и нашли его на левом берегу. Принесенные ими вести погубили покой Гловера. С этого часа все его ночи освещал мучительный белый свет бессонницы.

В шестой день, великий день недели, Гловер, мечтавший без труда достичь многого, Гловер, великий белый отец, срочно созвал царей, которые за ружья, деньги и выпивку обещали ему выставить многие тысячи воинов, готовых сражаться и умереть за него. Он постарался не показать, какие сомнения терзают его, и твердым голосом сообщил царям, собравшимся в Адидоме, неприятную новость.

Сначала он напомнил им, что на Береговом Мысе есть еще один великий белый человек. Голос Гловера дрогнул, когда он стал объяснять, что, по законам белых, он, Гловер, обязан повиноваться тому, другому великому белому человеку.

Тот белый, кому он обязан повиноваться, Вулсли, прислал приказ ему, Гловеру, вместе с воинами хауса, иоруба и всем тридцатитысячным войском, которое он, Гловер, обещал собрать, немедленно выступить против Ашанти. Прежде чем пойти на Кумасе, два великих белых полководца, каждый со своим войском, должны встретиться в Прасо на берегу реки Пра.

В голосе Гловера слышались слезы. Он говорил не как уверенный в победе герой. Он заглядывал в лица царям и напоминал, что они клялись ему в верности. Он просил их вернуться за реку и вместе с обещанным войском выступить в сторону Пра и потом на Кумасе.

Трудно сказать, какое чувство сильнее испытывали цари — изумленье, страх или возмущенье. Не веря своим ушам, они спрашивали, зачем им прекращать войну на левом берегу Фироу. Зачем прекращать войну в то время, когда их исконные враги уже в их власти и осталось лишь до конца истребить народ Авоны? Зачем отказываться от полной победы и идти против Ашанти, против чужих врагов?

Шестой день недели стал днем страшного унижения для Гловера. Он пытался уговорить царей подчиниться приказу. Но те лишь сыпали соль на его раны. Улыбаясь, они

заявили, что с радостью пойдут за Гловером хоть на Ашанти, хоть к самой середине земли, но не прежде, чем перебьют всех людей Авоны.

Настал седьмой день. Гловер не находил себе места. Вместо того, чтобы хоть как-нибудь готовиться к походу, Гловер в бешенстве бегал по своей палатке, рвал на себе волосы, проклинал Вулсли, называл его дикими именами: ничтожеством, завистником, трусом, предателем.

Все время, что великий белый человек бушевал, точно юная буря, Денсу сидел молчаливый, недвижный в палатке, у самого входа. Вновь Гловер призвал к себе гонцов. Казалось, он хочет проверить, действительно ли такие ужасные вести они принесли. Он хотел расспросить всех с Берегового Мыса, гонцов и сопровождавших их солдат.

Первый гонец вошел в палатку и, взглянув влево, увидел неподвижную фигуру безмолвного Денсу. Вероятно, из-за резкого перехода с яркого солнца в полумрак палатки гонец принял Денсу не за слугу и прежде, чем направиться к Гловеру, почтительно поклонился юноше. Подражая первому гонцу, поклонился второй. За ним третий.

За гонцами следовало шесть солдат. Они вошли колонной по одному. Самый малорослый шел первым, самый большой и высокий последним. Все они кланялись человеку у входа, что, естественно, рассмешило Денсу.

Палатка Гловера была изрядных размеров, но никак не рассчитана на толпу гонцов и солдат. Солдаты помещались в середине ее перед Гловером. Поэтому они стояли ближе к входу, а последний, самый огромный, стоял почти снаружи. От него до Денсу было буквально рукой подать.

Огромный солдат, как и все, не глядя приветствовал Денсу неуклюжим жестом. Пыхтя, он остановился у входа. Он стоял на свету, и Денсу сразу узнал его и, глядя прямо перед собой, попытался успокоить сердце. Уголком правого глаза он еще раз взглянул на гиганта — точно тому, что он уже увидал, требовалось подтвержденье. Тяжелое тело, толстая, широкая шея поднимается из плеч, как ствол дерева одан, маленькая плоская голова — все это Денсу узнал с первого взгляда. Последним среди вестников и солдат был не кто иной, как свирепый, безмозглый Бунтуи из Эсуано.

Глаза Бунтуи не скоро освоились с полумраком в палатке. За это время Гловер начал задавать вопросы и слушать ответы переводчиков. Гловер хотел знать, в каком настроении был Вулсли, когда гонцы покидали Береговой Мыс. Он спрашивал, не помнит ли кто, каким тоном он отдавал приказанья. Смеялся ли он, когда вручал им посланье? Появились на Береговом Мысе за последнее время новые белые?

Вопросов Гловер задавал много, ответов получал мало. Не удовлетворившись расспросом гонцов, он перешел к солдатам. Чем меньше они говорили, тем яростнее бушевал его гнев. Чтобы успокоить его, переводчик объяснял, что это простые солдаты, что обычно они не подходят близко к белым командирам, что, во всяком случае, они не могут слышать, о чем между собой говорят белые. Кроме того, они не знают английского языка.

Стоявший последним Бунтуи заметно обалдел от долгих разговоров и от нечего делать стал разглядывать все, что было в палатке. Он поглядел вверх, он поглядел вперед, он поглядел направо и налево. Его глаза во второй раз проделали этот путь. Завершая его, они резко повернули влево и остановились.

Бунтуи, моргая, глядел на того, кто был от него слева. Он глядел и глядел. Любопытство на его лице медленно сменялось сомненьем, сомненье уверенностью, уверенность страхом. Рот Бунтуи раскрылся от изумленья. Из глотки гиганта непроизвольно вырвался дикий рев. От неожиданности Гловер выронил жезл, который вертел в руках. Он злобно поднял глаза на вопившего, но тот стоял против света, и Гловер ничего не увидел.

— Выведите этого болвана! — приказал он.

Ошеломленные странным поведением Бунтуи, солдаты не сразу исполнили приказ Гловера. Жилы на шее Бунтуи вздулись от возбужденья, изо рта его тек такой быстрый поток слов, что никто даже не пытался его понять. Бунтуи докладывал белому человеку, что Денсу — из Эсуано, что он сбежал от испытанья напитком истины, что жизнь его заколдована, что Ababio назвал его чародеем, разведчиком войска Ашанти, сыном дьявола от жены дьявола и многими другими именами.

Белый человек Гловер не знал языка фантсе. Он видел только, что вход в палатку закрывает огромный урод, изо рта которого бешеным потоком вылетают дикие крики.

Он повторил приказ. Бунтуи боялся вступить в борьбу с Денсу и лишь указывал на него обвиняющим пальцем, а когда воины сообща навалились на крикуна, справиться со всеми ему не удалось.

— Вон его отсюда! — кричал взбешенный Гловер.

Воины вытащили Бунтуи из палатки. Судя по крикам, они стали его избивать, а он, воя, пытался напомнить им, что он их товарищ.

Шум, поднятый Бунтуи, еще больше испортил настроенье Гловера, и без того омраченное неожиданным поворотом событий. Он с ненавистью оглядел всех и безо всякой причины закричал переводчику и гонцам:

— Вон отсюда! Все вон отсюда!

Все удалились. В палатку вошел высокий белый офицер с блестящими черными усами. Гловер взглянул на Денсу. До сих пор он ни разу грубо не говорил с ним и даже теперь колебался — но только один миг.

— И ты тоже,— сказал он,— чего ты ждешь?

Денсу не надо было повторять приказанье. Наконец он узнал то, что хотел узнать. Теперь он спешил в Прасо. Выйдя из палатки, он направился прочь из лагеря.

В дальнем от реки углу лагеря возле леса пять воинов, обступив Бунтуи, яростно хлестали его по голой спине концами веревок.

Денсу обошел их подальше. В палатке для прислуги он взял тыквенный кувшин и стал спускаться к реке. Один конец раздваивавшейся тропы вел прямо к воде. Денсу бросился по нему бегом. Брода не было, но река в этом месте казалась уже, чем где-либо на виду. Теченье довольно быстро, но плавно стремилось влево, и на поверхности не было ни одного опасного завихренья. Денсу поставил кувшин на берег и, нагнувшись, вошел в реку.

Вода была мутная, но прохладная и освежающая. Денсу подчинился теченью. Он поплыл к правому берегу, позволяя реке уносить его вниз сколько угодно.

На правом берегу он не стал дожидаться, пока солнце высушит его одежду. Перемежая ходьбу бегом, он быстро добрался до Атике. Целитель Дуоду был дома.

— Рад тебя видеть,— сказал он так спокойно, словно Денсу отсутствовал всего день или два. Он дал гостю напиться.— Ну как, успешно?

Денсу кивнул.

— Я хотел поблагодарить вас... — начал он.

— Прощаться со мной подожди,— перебил его старик.— Отдохни у меня несколько ночей. Я еще не кончил задавать вопросы. Впрочем, я еще и не начал.

— Мне надо спешить,— сказал Денсу.— Белые люди собираются выступить на Кумасе через несколько недель.

— Понятно,— сказал Дуоду.— Но ты должен ко мне вернуться. Сам я уже стар, чтобы разгуливать по земле. Так ты меня навестишь? Обещай!

— При первой возможности,— заверил его Денсу.

Старый целитель накормил его и заставил отдохнуть после еды. Потом он проводил его на западную дорогу.

Аджоа, Дамфо, Нианеба и другие целители радостно встретили Денсу. Араба Джесива была для него счастливой неожиданностью: плавной походкой она гуляла в середине селенья целителей. Казалось даже, она узнает его, потому что она остановилась и долго не сводила с него глаз. Но говорить она до сих пор не могла.

Аджоа принесла Денсу воды; он сказал ей, что еда может подождать. Целитель и Асамоа Нкванта собрались слушать принесенные Денсу известия. Умывшись, он предстал перед ними.

Молча они выслушали рассказ обо всем, что с ним приключилось, что он видел и слышал. Когда он кончил, Асамоа Нкванта потребовал подтвержденья:

— Значит, этот Гловер получает приказы от Вулсли?

— Да.

— И ему приказано выступить на Кумасе?

— Да, и этому он не рад. Он говорит, что его союзники не готовы. На самом деле они отказались идти вместе с ним на Кумасе.

— Если он подчинится приказу, какое войско пойдет с ним?

— Никакого войска у него нет,— ответил Денсу.— Самое большее, у него тысяча воинов. Те, которых он привел с крайнего востока. Люди из Бонни и Опобо и рабы хауса.

— И они должны выйти к Пра в середине следующего месяца?

Денсу кивнул.

Счастливая улыбка смягчила лицо Асамоа Нкванты.

— Все будет замечательно,— задумчиво проговорил он.— Этот Гловер приведет с востока всего тысячу человек. Значит, Асафо Аджеи не придется не спать ночами и тревожиться за свою столицу. Он может оставить себе для защиты Джуабена несколько тысяч воинов. Освобождается основная часть его войска. Она и захлопнет ловушку, в которую белое войско заведет этот хромой белый военачальник Вулсли. Теперь самое главное — замедлить наступление белого войска.— Он повернулся к Дамфо.— Успешно ли осуществляется замысел целителей?

— Довольно успешно,— сказал Дамфо.— Так успешно, что белые теперь считают своей худшей бедой бегство черных работников и носильщиков. Некоторых из наших людей им удалось схватить. Двух вы знаете — это Квао Твенебоа и Коджо Менса. Они были здесь совсем недавно.

— Как именно вам, целителям, удалось так напугать белых? — спросил Асамоа Нкванта.— Я не могу понять, почему они боятся безоружных мужчин и женщин больше, чем они боятся нас, воинов?

— Войско белых тяжелое,— улыбнулся Дамфо.— Это войско вещей, оно зависит от веса и силы вещей. Белым самим ничего с места не сдвинуть. За ними всюду надо носить тяжелые пушки, еду, лекарство, даже воду. Они не могут обойтись без носильщиков. Так что от целителей требуется только поговорить с носильщиками. Мы приветствуем их и спрашиваем: «Брат, ради чего ты потеешь? Разве твой народ так жестоко рассорился с другими черными народами, что ты должен поэтому стать для белых вьючным животным? Ты бы стал это делать по своей воле? Или ты так стараешься для того, чтобы какой-нибудь царь стал еще жирнее? Когда ты в последний раз отдыхал? Когда ты в последний раз ел? А обещанную плату ты получаешь?» Вот и все. Мы разговариваем с людьми. Мы напоминаем им, кто они. Мы открываем им глаза на то, что с ними делают. Иногда они молча швыряют на землю свои вьюки и убегают. Часто. Существует только одна непобедимая трудность. Бывает, что носильщики соглашаются с нами, но спрашивают, что лучше, быть рабами царей Ашанти или рабами белых. Целители не могут честно ответить на этот вопрос, потому что видят то же, что и другие люди: цари Ашанти не желают единства черных людей в нашей стране. Они заботятся лишь о делах Ашанти. О делах Эбибире они ничего не знают и знать не хотят. В этом наша беда.

— Хотел бы я знать, что замышляют цари,— вздохнул Асамоа Нкванта.— При дворе у меня есть верный человек Осон. Но вот уже несколько дней я не могу его разыскать. Остается только надеяться, что он жив и здоров.

Когда все вопросы были обсуждены, Дамфо обеими руками взял правую руку Асамоа Нкванты и пожелал ему успехов.

— Вы покидаете нас? — Голос полководца дрогнул.

Дамфо кивнул.

— Вы совсем исцелились, и мне пора возвращаться на юг. Араба Джесива теперь может идти пешком. Ей осталось только вернуть дар речи. В каком-то смысле это будет самая трудная часть исцеленья. Я осмотрел ее тело. Теперь оно совершенно здоровое. Неспособность разговаривать не от телесной слабости. Для того, чтобы ей, в конце концов, удалось заговорить, нам придется немало поработать, и для этого потребуется самое полное спокойствие. А здесь становится все оживленнее. И многие из моих лекарств остались на юге.

Опечаленный воин не знал, что сказать. Наконец он нашел нужные слова и поблагодарил целителя:

— Если вам или другим целителям что-то понадобится, дайте мне знать.

— Хорошо,— сказал Дамфо.— А мы все желаем вам счастья и удачи во все дни вашей жизни.

Полководец медлил, и Дамфо спросил его, не хочет ли он что-то прибавить.

— Я бы очень хотел, чтобы в предстоящие дни со мной был Денсу,— сказал Асамоа Нкванта.— Я не умею выразить, что он делает для мира в моей душе. Он много больше, чем просто помощник.

— Так же, как и для всех нас,— сказал Дамфо.— Но пусть он решает сам. Мне может помогать Аджоа.— Он взглянул на Денсу.— С кем ты пойдешь?

Денсу взглянул на Аджоа.

— Я тебя буду ждать,— улыбнулась она.— Только не пропадай слишком долго.

— Я скоро вернусь,— сказал Денсу.

Когда Асамоа Нкванта ушел, два целителя, испугав друг друга, в один голос спросили:

— Дамфо, вы уходите?

— Да, я ухожу,— ответил Дамфо.

— Почему?

— Я пришел в Прасо, чтобы исцелить Асамоа Нкванту. С этой работой кончено. Он здоров и занят делом, которое любит. Я возвращаюсь в Эсуано. Исцеленье Арабы Джесивы не закончено, а я хочу его завершить.

— А мы, целители, не собьемся с пути?

— Каким образом? — спросил Дамфо.

— В нашу работу входит исцеленье отдельных людей?

— Это меньшая часть нашей работы,— согласился Дамфо.

— А другая часть нашей работы — исцеленье всего черного народа?

— Это бóльшая часть нашей работы,— сказал Дамфо.

— Мы надеялись, что в Прасо мы будем исполнять большую часть нашей работы.

— Верно,— согласился Дамфо.

— А теперь ты уходишь из Прасо,— вступила Нианеба,— не бросаешь ли ты большую часть работы ради меньшей?

— Хороший вопрос, Нианеба,— сказал Дамфо.— Я долго над этим думал. Часто я спрашивал себя: что, Асамоа Нкванта — просто больной человек, нуждающийся в излеченье, или нечто большее — сила для исцеленья всего народа? Пока я лечил Асамоа Нкванту, я все время к нему приглядывался. Я внимательно его выслушивал и, кажется, могу кое-что сказать о природе его души. Асамоа Нкванта — хороший человек. К тому же он очень ценный человек — из тех, кто в совершенстве постиг свое дело. Но все его хорошие свойства всегда растрачивались на служенье царям Ашанти. Цари — это страшная болезнь черного народа. Кто служит царям, тот служит болезни, а не исцеленью. Он работает на разделенье народа, а не на объединенье, о чем бы он сам при этом ни думал.

— Может ли слуга болезни, как Асамоа Нкванта, так измениться внутренне, что станет служить исцеленью?

— Давайте над этим поразмыслим,— предложил Дамфо.— Допустим, Асамоа Нкванта хочет исцелить наш народ и послужить объединенью черных людей. Он сможет делать это лишь с помощью царского войска и под началом царей. Мы знаем, что для царей исцеленье означает погибель, ибо вся сила их происходит от разделенья между людьми. Как же Асамоа Нкванта может служить исцеленью, оставаясь в числе тех, кто служит болезни?

— А не может он обратить войско против болезни?

— Он? Один? — медленно проговорил Дамфо.

— Да. Ведь он — Асамоа Нкванта.

— В возможность этого я не верю,— сказал Дамфо,— и даже не желаю об этом мечтать. Труд целителей — не азартная игра. Для этого труда нужен вдохновитель, а не заправила. Если мы, целители, должны послужить воссоединенью всего народа, нам не следует забывать, что такую работу можно сделать лишь сообща. Один отдельный человек, каким бы героем он ни был, ничего не добьется. Тем более ничего не добьются люди, не знающие, в чем состоит призванье целителя,— пусть это будут самые лучшие люди на свете. Целители, вдохновители должны сообща трудиться в теченье многих поколений, пока среди всех племен не появятся такие целители, вдохновители, которые смогут воссоединить всех черных людей.

— Ты хочешь сказать, что наше время не пришло? — спросила Нианеба.

— Я хочу сказать, что наше время — время посева и до жатвы еще далеко,— сказал Дамфо.

— Но нет ли в этом постоянного уклоненья от власти? — спросил другой целитель.— Не может ли быть, что мы сами, целители, больны болезнью, которая называется боязнь власти и которая будет всегда обессиливать нас, ибо, даже когда нам хочет помочь такой человек, как Асамоа Нкванта, мы боимся использовать его власть и силу для наших благих целей?

Наступило тяжелое молчание. И когда заговорил Дамфо, голос его звучал приглушенно.

— Было бы великим несчастьем, если бы мы болели слепой боязнью власти,— сказал он.— Но я не считаю, что мы слепо боимся власти. Мы сознательно избегаем власти, пока эта власть — власть заправил. Есть и другая власть, и ее мы должны утвердить на свете. Это та власть, которой мы пользуемся в повседневной работе. Власть вдохновителей. Власть, которая уважает дух каждой твари, каждой вещи и позволяет каждому живому существу оставаться верным своему духу. Целители должны приветствовать такую власть. Целители должны утверждать такую власть на свете. Но эту власть, власть вдохновителей, заправилы нам подарить не могут. Если мы, целители, увлечемся быстрыми успехами заправил, мы погубим себя и больше чем себя — наше призванье.

— Я выслушала тебя,— сказала Нианеба.— Но я уже старая. Мое поколенье уже завершает свой полукруг жизни, а надежды целителей ни на шаг не приблизились к осуществленью. Оставшиеся мне дни ничего для меня не стоят. За что бы я теперь ни взялась, все будет пустой тратой времени. И все-таки мне любопытно посмотреть, что выйдет из той возможности, которую нам предоставил Асамоа Нкванта.

В конечном итоге мнения целителей разделились. Но все поняли, что имел в виду Дамфо, когда он спросил:

— Разве мы позабыли, что жизнь для целителей означает жизнь не отдельных людей, но всего народа?

Такой вопрос нельзя было пропустить мимо ушей. Все поняли Дамфо, но все сочувствовали Нианебе, и все понимали ее недовольство медлительностью работы.

Дамфо ушел на юг. Другие целители остались в Прасо. Чего они ждали? Вслух они не произносили ни слова, но им было трудно расстаться с надеждой, что Асамоа Нкванта станет верховным вождем Ашанти. И если бы в решающий миг ему потребовалась их помощь...

В Кумасе надеялись, что белый человек Вулсли не сумеет довести белое войско до Кумасе. Надежда подверглась сомненью, когда стало известно, что Вулсли приказал проложить широкую дорогу на север от Берегового Мыса до самой Пра. Если бы белые переправились через реку, они оказались бы прямо в Адансе. А что такое Адансе, как не ворота в Ашанти?

Для постройки дороги требовался долгий напряженный труд. Вулсли разослал белых командиров по всем городам собирать черных работников. Некто Хирл отправился в Денчиру, Филитер — в Думинасе, Кокрин — в Асабу, Поллард — в Данкву.

Белые люди приносили царям монеты и выпивку, и цари принимали подарки. Почти все цари повторяли щедрые обещанья, но когда доходило до их исполненья, белые обнаруживали, что черные цари не меньше, чем они сами, владеют скользким искусством лжи.

Там, где не помогали монеты и выпивка, помогала грубая сила. Один белый командир даже прославился необычайной способностью к разрушению. Он рыскал по всей стране, жег по ночам деревни, угрожал городам разгромом, брал заложников и наводил страх всюду, где не мог набрать достаточного числа работников для прокладки белой дороги. Именем полковника Колли пугали детей.

На Береговом Мысе черные солдаты по приказу белых врывались в дома и уводили мужчин. Священники вместо того, чтобы спасать души уверовавших в белого бога, превращали свою паству в слуг белого человека. Самые доверчивые имели возможность лишний раз убедиться в том, что замыслы христианского бога не так уж непостижимы. Белый бог требовал того же, чего требовали белые люди.

Дорогу на Пра прокладывали из-под палки. Но все же ее прокладывали. Даже на завершенной дороге то и дело обнаруживался гнев тех, кого заставляли ее строить. То по ночам на ней неожиданно вырастали кучи мусора. То не по воле природы на ней образовывались глубокие провалы.

Двести тридцать мостов вели через реки и ручьи, чтобы белый полководец Вулсли по пути на Кумасе не замочил ноги. Мосты эти растаскивались по бревнышку. Но белые заставляли других черных восстанавливать все, что разрушено. Стоило ружьям белых удалиться, как черные мужчины разбегались. Тогда белые пригоняли на их место их жен и детей. Дорога продвигалась вперед.

Дорога шириной в два с лишним больших человеческих роста продвигалась вперед мимо лагуны Фосу, Сивдо, Педу, Какомдо, Ниаме Бечере, Кубе Кора — и ни бегство строителей, ни разрушения не могли задержать или остановить ее. А строилась не одна только дорога. Вдоль нее на равных расстояниях друг от друга строились дома для белых солдат, чтобы они могли отдыхать в пути. Вдоль дороги работники вырубали лес. Там, где были маленькие деревни, возникали целые города.

Пот невольников поливал землю, и из земли вырастали просторные складские помещения. Спешно строили дома длиной в десять больших человеческих ростов и шириной в три. Издалека несли ветви тысячи больших пальм, чтобы покрыть ими крыши возведенных домов. Повсюду срезали и раскалывали вдоль стволы молодого бамбука на кровати в больших домах. Строились небольшие дома, всего на четыре кровати. И в каждом месте всегда был особый дом для Вулсли, великого белого полководца.

В Нквабеме объявили, что желающие работать на белой дороге будут получать по шиллингу в день, а их вожди — по два с половиной шиллинга. Люди не побежали записываться толпами. Почва была каменистой. И надо было не только строить дома, но и рыть колодцы и устанавливать громоздкую машину для очистки воды, ибо белые всегда боятся заразы.

В Экрофоре и Фантсе Ньянкомасе история повторилась. Белые боялись леса. Они отказывались пить воду из самого чистого ручья.

В Мансо работать было труднее, чем в Нквабеме, Экрофоре и Фантсе Ньянкомасе, вместе взятых. В лесу расчистили огромную площадь и основательно ее утоптали. Дома там построили просторнее, чем в любом другом месте. В работе постоянно требовалась осмотрительность. Каждый дождь губил часть сделанного. По обеим сторонам дороги пришлось прорыть канавы для стока бушующих вод. Даже во время дождей работникам не позволяли ночевать на месте работы. К дневной усталости белые прибавляли им неудобства ночью и награждали болезнями до конца жизни.

В Нсуте было иначе. По красной скользкой почве туда не удалось доставить тяжелые машины для очистки воды. Однако белым требовалась очищенная вода, и работникам пришлось громоздить странные сита одно на другое.

В Ассене Ньянкомасе белые остановились как зачарованные перед яркой красотой реки Субин, такой прозрачной реки, что на дне ее можно было рассмотреть каждую песчинку. В Ассене Береку река Брупе также зачаровала белых, а Ассен Береку был последней остановкой на пути в Прасо.

В Кумасе с берега пошли тревожные вести. Однажды в шестой день недели белый полководец Вулсли по новой дороге выехал с Берегового Мыса к реке Пра. Тревогу слегка развеял царский гонец Квамен Овусу, который уверенно заявил, что это ничего не значит. В шестой день недели ровно два месяца назад Вулсли уже выезжал с Берегового Мыса. Он не доехал ни до Кумасе, ни даже до Прасо. Безумье и лихорадка заставили его возвратиться в Береговой Мыс бессильного, как подыхающая собака. И на этот раз ему придется вернуться.

Беспечный Квамен Овусу оказался плохим пророком. Лазутчики приносили в Кумасе вести о продвижении Вулсли. Белый военачальник и не помышлял возвращаться. Он должен был выйти к реке Пра в пятый день недели. При дворе тревога переросла в настоящий ужас. Невероятное — что войско противника вступит в Кумасе — кое-кому не казалось теперь столь невероятным.

— Что-то надо предпринять — и немедленно,— мрачно шептали друг другу при царском дворе. Но никто не знал, что следует предпринять, пока кто-то не высказал еще одно обнадеживающее сужденье:

— Пока мы не придумали, что надо делать, мы должны как-нибудь задержать белых на берегу Пра.

Посольство было отправлено в Прасо. В него вошли чистоголосый царский глашатай Осеи Кваку, Коранче Сафо, Квамен Овусу и еще девять человек: четыре воина, четыре носильщика и полубелый с Берегового Мыса, переводчик, которого звали Роберт Доусон, хотя он был черный, как остальные черные люди.

В пятый день недели посольство добралось до северного берега реки Пра. Белый командир с солдатами переправился к ним и перевез их на другой берег в лагерь белого войска. Осеи Кваку сказал белым, что он и его спутники должны передать посланье от царя белому полководцу Вулсли. Ответ был краток: белый полководец не желает говорить ни с кем, кроме самого царя или его ближайшего родственника. Осеи Кваку при-

шлось примириться с тем, что посланье царя белому полководцу передали другие. Посольство дожидалось ответа.

Ожиданье выводило из себя Квамена Овусу.

— Мы должны заставить дерзкого белого дурака есть дерьмо,— говорил он.

— Успокойся, Квамен, и спрячь свой гнев,— говорил ему Осеи Кваку.

Посланцы ждали. Наступил шестой день недели. Белые не говорили ни слова, дела посольства не продвигались ни на шаг. Но они увидели в лагере белых так много, что, хотя Квамен Овусу не перестал пророчить погибель врагов, язык его ныне болтал много медленней.

В тот день в лагерь вступил новый отряд, двести солдат черных и двести белых. Таких странных белых солдат они никогда не видели. Эти солдаты шатались, как пьяные, они были багроволицы, как пьяные, и пели громко, тоже как пьяные. И все же было ясно, что они не пьяные: они шатались, но при этом шагали прямыми рядами, и даже в их неистовом пении была какая-то стройность.

Приход солдат повел к новому униженью посланцев. Их попросили освободить место для новоприбывших и перевели в маленький дом, где о них ни разу не вспомнили остаток дня и всю ночь.

И седьмой день недели не принес долгожданного ответа. Посланцы тревожились, особенно Квамен Овусу. После полудня, однако, за ними прислали гонца, и они решили, что сейчас, наконец, им будет вручен ответ. Но встретившие их белые командиры даже не обмолвились об ответе. Не сдержавший ярости Квамен Овусу сам спросил про ответ.

Белые заверили, что волноваться не следует: когда ответ будет готов, полководец сам пошлет его с белым человеком в Кумасе. Услышав это, Квамен Овусу рассмеялся своим знаменитым презрительно-гордым смехом. Осеи Кваку не успел удержать его, и он уже злобно проговорил:

— Белый, который поедет в Кумасе, живым не вернется!

Коранче Сафо суровым взглядом заставил его замолчать, но сам ничего не сказал.

Белые люди призвали посланцев не ради пустой болтовни. Они хотели показать им маленькую игру. Игра эта оказалась приготовленьем к пляске смерти.

В Прасо доставили новую пушку. Белые называли ее Гатлинг и иногда Райт. Один человек не мог бы ее поднять, поэтому белые разбирали ее на части, и по частям ее несли сильные черные люди из племени хауса.

Самое трудное для белых и их помощников-хауса было установить пушку для начала смертоносной игры. В конце концов они развернули ее так, что она смотрела вверх по реке. Белым не сразу удалось заставить ее стрелять. Квамен Овусу улыбался ехидной самодовольной улыбкой и повторял шутку о том, что на Береговом Мысе установили новую большую машину, которая возвращает пленных прямо в Прасо, чтобы они пришли в Кумасе и рассказывали об удивительном могуществе белого человека.

— При подъеме на первый же холм за Береговым Мысом машина развалилась на части,— говорил Квамен Овусу.— Что белые понимают во власти? Они не умеют управлять даже собственными машинами. Как могут они мечтать о покоренье Ашанти? — Он сплюнул. Коранче Сафо призвал его к спокойствию.

И вот все хлопоты, которые доставляла белым новая пушка, остались позади. Издав три пронзительных крика, они отбежали в сторону и стали хлопать по спине того, который, по-видимому, больше всех смыслил в пушке. Они радостно смеялись и громко выкрикивали его имя:

— Райт! Райт! Райт!

Пушка стала стрелять. Бедный Квамен Овусу, какое ужасное мученье было тебе видеть, как новое, чудовищное орудие власти победоносно сеет разрушенье, каково тебе было сознавать, что оно служит отнюдь не тебе и твоим друзьям, но направлено против тебя и твоего обожаемого царя! Как далеко могло забросить семя смерти самое могущественное ружье в войске Ашанти? На три сотни человеческих ростов? На четыре? На пять сотен? А эта ужасная новая пушка посылала смертоносный металл на тысячу человеческих ростов и более. Пуля из ружья ашанти теряла всякую силу меньше чем на половине этого расстоянья. Но даже пролетев все расстоянье, металл из новой пушки был смертоносен. Квамен Овусу, как в твоих жилах холодела кровь, когда ты видел, как пули из белой пушки впивались в воду, точно стремились убить саму вечную Пра! И пули эти летели не наугад, не куда попало. Стрелявший из пушки белый человек по имени Райт обладал искусством точно попадать в цель. Он позаботился о том, чтобы посланцы увидели, что он может пулями начертить на воде маленький

кружок и затем большой круг. Он также умел размерять скорость, с какой смерть пронзала стонущий воздух. Именно это белые и хотели показать посланцам в седьмой день недели.

Посланцы и воины возвратились в отведенный им дом. Коранче Сафо грустно, без злобы, сказал Квамену Овусу:

— Незачем тебе было пугать белых людей, Овусу. Кроме того, все, что ты сказал, неправда.

Квамен Овусу сидел потрясенный. Казалось, он вдруг лишился своего достоинства. Он мог лишь, покачивая головой, признавать свою неправоту. Осеи Кваку тоже долго глядел на Квамена Овусу.

— Я сам,— сказал Осеи Кваку,— я сам часто смеялся при мысли, что белое войско может напасть на Кумасе. Но сегодня смеяться я не хочу. Да и как мне смеяться, когда я видел то, что мы видели все?

Над посланцами нависло безмолвие полного пораженья. Настала ночь. Половина ее прошла, прежде чем последний из посланцев забылся сном.

Сон их прервался резко, в один миг. Близкий ружейный выстрел разбудил всех в доме. Не только гром выстрела, но и сила взрыва разбудила всех спящих. Люди бросились к двери, чтобы узнать, что случилось. Стоявшие на страже солдаты, испугавшись, загоняли их назад. Принесли свет. При свете ламп стало ясно, что разбудивший всех выстрел раздался не на улице, а в самом доме.

Стрелял Квамен Овусу — не во врага, в самого себя. Он приставил дуло своего длинного ружья к своему подбородку и нажал на спуск большим пальцем ноги. Выстрелом ему снесло полголовы. Стена сзади него была забрызгана кровью и мозгом.

Несколько человек белых пришли посмотреть. При свете ламп было видно, что на лицах их не удивленье, но предвкушенье чего-то огромного и прекрасного в будущем. Они были чересчур возбуждены, чтобы пытаться скрыть свою радость.

Настал первый день недели. Со стороны Кумасе ворвался сильный прохладный харматтан. Черные люди на ветру задрожали, белые облегченно вздохнули. Квамена Овусу положили в гроб. Днем его тело перевезли на лодке на правый берег Пра, ближе к Кумасе, и там похоронили. Проводившие его сотоварищи бросили на гроб по прощальной горсти земли. На обратном пути в лагерь белых Коранче Сафо посмотрел на Осеи Кваку и покачал головой.

— Плохо так умереть,— сказал он.

Всю ночь лил дождь. И всю ночь было слышно, как солдаты с хриплыми песнями валили лес на постройку моста через реку Пра.

Пришло утро. Посланцам, наконец, вручили посланье белого полководца. На обратном пути им не пришлось плыть через реку. Они перешли ее по крепким сухим доскам. Белые люди успели построить мост. Мало того, на глазах у посольства они переправили по этому мосту часть войска, выступившего на Кумасе. Посланцам пришлось пройти мимо солдат, десятки которых продолжали шагать вперед, десятки строили лагерь, а десятки просто валялись и отдыхали.

Когда посольство вернулось в Кумасе, посланцам, видевшим новый мост у Прасо, видевшим то, что сломило дух Квамена Овусу,— Кумасе показался не тем городом, из которого они уходили с царским посланьем. Выслушать их собрались цари — и, несмотря на все самообладание и долгую выучку, ни Коранче Сафо, ни Осеи Кваку не сумели скрыть от них правду: они говорили, и их голоса дрожали.

Вернувшись из Прасо, посланцы принесли посланье от Вулсли. Стараясь сдерживать чувства, Коранче Сафо и Осеи Кваку рассказали царям обо всем, что видали у белых. Пока посланцы рассказывали, цари сидели немые, как камни. Молчал Кофи Карикари, царь Ашанти. Молчал упрямый Асафо Аджеи из Джуабена. Квабена Обен, царь Абанса, не пришел на совет и прислал посланье, яростное, как его нрав. Он заявил царям, что мужчинам пришло время воевать, а женщины и дети могут, как прежде, чесать языки. Он прибавлял в заключенье, что если другим царям не хватает силы и мужества для войны с наступающим белым войском, то у него, Квабены Обена, в избытке того и другого. Из Мампонга пришел Квабена Джумо. Пришли цари из Бантамы, Хеманга, Кокофу, Эджису. На совете, конечно, присутствовала Эфуа Кобри, царица-мать.

Когда посланцы кончили рассказывать, Кофи Карикари отпустил их. Он приказал привести полубелого человека Доусона и белых пленников. Доусон прочитал и перевел посланье Вулсли. Белый полководец объявлял в нем, что посылает против Ашанти

и на Кумасе не одно, не два, не три, а целых четыре войска. С самомненьем безусловного победителя он указывал, что первое войско пойдет с запада по дороге от Вассы, второе пойдет с юга по дороге от Ассена Прасо, третье — с юго-востока по дороге от Акима Прасо, четвертое — с востока через Бигоро в восточном Акиме, мимо Джуабена и выйдет на встречу с первыми тремя у Кумасе. Белый полководец заявлял, что послал войска не ради переговоров, а для того, чтобы заставить царей подчиниться белым людям и их заморской белой царице.

После чтенья и перевода воцарилось молчанье, молчанье заброшенных кладбищ. Карикари велел белым пленникам прочесть послание и сказать, верно ли Доусон передал его смысл. Как всегда, говорившие медленно, священники Куне и Рамзайер подтвердили все, что перевел Доусон. Царь отослал прочь Доусона и белых пленников.

При посторонних цари безмолвствовали. Стоило посторонним выйти, как страшная ноша услышанного сломала величественное молчанье.

Карикари, царь Ашанти, беспокойно вглядывался в лица царей, ища в них опору и надежду. Сначала он посмотрел на мать, Эфуа Кобри, потом осмотрел всех царей и опять посмотрел на мать. Того, что он искал, не было ни на одном лице. Поэтому за поддержкой он обратился в единственную безопасную сторону — в прошлое.

— Со времен Окомфо Аноче и Осеи Туту, с самых начальных времен, ни один враг — ни черный человек, ни белый человек, ни чудовищный зверь — не ступал на землю Кумасе. С тех пор мы не покорялись никому на свете.

Слова его должны были вдохновить царей, но голос Кофи Карикари предательски дрожал. Даже его мать видела страх на его лице.

— То, что ты сказал, вероятно, правда,— грустно проговорила она.— Увы, сейчас не времена Осеи Туту, и Окомфо Аноче умер давным-давно. Сейчас не начальные времена. Сейчас...— Цари с тревогой смотрели на Эфуа Кобри, а она, погруженная в свои мысли, смотрела себе под ноги. Она не продолжила нить речи с того места, где эта нить порвалась.— С самых начальных времен мы полагались не только на свою силу, но и на помощь бога всего сущего Одоманкомы Кваме. Когда правда была на нашей стороне, он давал нам победу. Но ради какой правды мы вели войны в последние годы? Мы сделали все, чтобы навлечь на наши головы божье проклятье, и бог нас карает. Скажите, зачем Эду Бофо повел войска на восток? Неужели он воевал там так долго для того, чтобы привести с собой несчастных белых пленников? Какая нам от них польза?

Белые пытались их выкупить. Эду Бофо назначил сумму, и белые заплатили. Но пленников он не отпустил.

Зачем Аманква Тиа повел такое множество воинов к морю? Кажется, он говорил, что собирается раз и навсегда покорить народ фантсе и принести мир и процветанье. Чем кончился этот поход? Войско его не дошло до Берегового Мыса. Воины сражались с обычным мужеством, но это не помогло. Войско побежало не от ружей. Не люди разгромили его, но сам бог. Как иначе объяснить гибель стольких тысяч людей от болезней? Даже Пра, священная дочь бога, отнимала жизни воинов и при выступленье в поход, и при возвращенье. Бог послал нам предзнаменованья. Он указывал, что мы творим зло. Я уже не говорю о зле, причиненном Асамоа Нкванте. Быть может, нам удастся спасти свои жизни. Но давайте сначала вернем белых пленников белым. Их присутствие среди нас приносило нам беды. Слишком много предзнаменований мы видели в последние дни. И все это были дурные предзнаменованья.

Царица-мать говорила не зло, но печально. Ясные слова ее породили новое кладбищенское молчанье. Заговорил царь Ашанти:

— Может быть, нам пора вернуть заложников? Вы знаете, что их здесь удерживали не по моему веленью.

— Может быть, их надо вернуть,— сказал Квабена Джумо.— Но только осторожно. Если люди узнают об этом, они потеряют голову. Они скажут, что царь испугался белых.

Царь Ашанти хотел что-то сказать, но не сказал ни слова.

— Мы должны собраться с силами и остановить войско белых,— сказал Асафо Аджеи.— Кто сказал, что нам надо кого-то бояться? О боги Ашанти! У нас достаточно воинов, которые умеют сражаться!

— Когда Аманква Тиа перестал пьянствовать, он собрал остатки нашего войска, а Асамоа Нкванта привел его сюда,— сказала Эфуа Кобри.— Наши воины разошлись по домам.

— Их можно собрать снова,— сказал Асафо Аджеи.

— Я сейчас же отправлю гонцов ко всем военачальникам,— сказал царь Ашанти.

— Какими пулями наши воины будут стрелять? — грустно спросила Эфуа Кобри.— В напрасных войнах мы истратили все пули.

— Мы можем купить новые,— сказал Асафо Аджеи.

— На что? — спросила Эфуа Кобри.— Из Кумасе все время уходит золото к царям и вождям, но почему-то больше оно не возвращается. Хотела бы я знать почему? Да если бы у нас было достаточно золота, кто бы нам продал пули или хотя бы свинец? Белые люди на берегу?

— Рабы могут делать пули из железной руды,— сказал Квабена Джумо.

— Я сейчас же отправлю гонцов во все большие дома, чтобы рабы в них приступили к работе,— сказал царь Ашанти.

— Где мы соберем наше войско? — спросил Асафо Аджеи.

— Здесь,— сказал царь Ашанти.— Где же еще?

— Меня это не радует,— помолчав, сказал Асафо Аджеи.— Белое войско пойдет на Джуабен. Если все воины соберутся на защиту Кумасе, что станет с другими городами?

Встал Асамоа Нкванта:

— Я посылал на восток человека разведать, есть ли правда в угрозе белого полководца направить сюда с востока еще одно войско. И вот что он узнал: это войско существует лишь в болезненном воображенье белого человека по имени Гловер. С востока бояться нам некого. Нам следует только привести в исполненье наш замысел. Мы позволим войску белых с юга дойти до Кумасе — но медленно. Когда придет время для нанесенья удара, войско из Джуабена под водительством наны Асафо Аджеи выйдет в тыл белым и отрежет им путь к отступленью. Мы разрушим мосты и заставим их остаться и воевать в лесу. Белые боятся леса. Им не уцелеть — если мы осуществим наш замысел.

В Кумасе во всех больших домах по приказу царя рабы изготовляли пули из железной руды. Царские гонцы с золотыми пластинками на цепи поспешили из столицы ко всем царям страны, чтобы скликать воинов на войну.

Царь решил отпустить первого белого заложника, больного священника Куне. Ему вручили царские подарки — мешок золотого песка и дорогую шелковую одежду. Чтобы не вызывать кривотолков, священника отпустили во мраке ночи. Даже ночью, когда на улицах нет никого, кроме длинноволосых стражей с острыми копьями, белого пленника сначала тайно доставили в царскую деревню Каасе. Там к нему явился сам царь и попросил напомнить белому полководцу, что Ашанти воюет лишь с черными народами и не желает вовлекать в эту войну белых. Из Каасе четыре носильщика понесли белого священника в гамаке к Пра. Священник имел при себе посланье, в котором царь умолял белого полководца Вулсли не наступать далее и перейти к мирным переговорам.

Каждый раз, отправив посланье с просьбой о мире, царь Ашанти ждал, остановится ли белый военачальник. Белый военачальник не останавливался. Каждое посланье лишний раз убеждало Вулсли в том, что настал час для сокрушения власти Ашанти, и он все решительней направлял войска на Кумасе.

В отчаянье цари спрашивали жрецов, могут ли духи помочь народу ашанти в час опасности. Жрецы отвечали, что духи первым делом требуют крови — крови животных и щедро пролитой человеческой крови.

Чего только не предпринимали жрецы для того, чтобы остановить неотвратимое продвиженье белой силы, силы, которую они были не в состоянье понять! Известно, что от Берегового Мыса до Пра белые на столбах протянули проволоку. Жрецы объяснили, что это не что иное, как могущественное колдовство. Они знали, как заставить белое чародейство служить целям ашанти: они приказали протянуть на деревьях от Квисы до Фомены белый шнурок. Теперь, сказали жрецы, наступленье белого войска прекратится.

Но белое войско по-прежнему продвигалось к Кумасе.

Торжественно и с уверенностью жрецы провозгласили, что открыли могущественное заклинанье против белых захватчиков. Вся сила белых заключается только в силе их ружей. Жрецы приказали вырезать из дерева изображенья ружей. В деревянные изображенья ружей вонзили ножи, настоящие ножи. Жрецы объяснили, что это — безошибочный способ отнять силу у наступающего войска белых, ибо эта сила заключается только в силе ружей. Деревянные ружья с вонзенными ножами дулом вперед разложили вдоль дороги, по которой двигалось белое войско,— у Квисы, у Фомены, у Дампоасе Нкванты, у Боджаве, у Квамана, у Эдвинасе, у Амоафо и Бекваe. Жрецы объяснили,

что, лишившись силы, войско белых повернется и уйдет за реку Пра, туда, откуда пришло.

И все же белое войско по-прежнему продвигалось к Кумасе.

Но скольким людям пришлось погибнуть до срока, чтобы насытить духов, которым служили жрецы!

— Не убивайте слабых, не убивайте больных и детей! — возглашали жрецы.— Духи требуют самых молодых, самых здоровых, самых сильных. Приносите им в жертву лучших!

Тела принесенных в жертву изувечивались. Жрецы объясняли, что это не для того, чтобы умиротворить духов, которые жаждали только крови, но для того, чтобы испугать наступающих белых солдат и повернуть их вспять. Изуродованные тела разложили вдоль дороги, на каждом перекрестке, за каждым поворотом.

И все же белое войско по-прежнему продвигалось к Кумасе.

На следующий день после того, как цари встретились и поклялись воевать с захватчиками до самой смерти, у Фомены увидели белых разведчиков. Это был седьмой день недели. А на второй день следующей недели рано утром белый военачальник сам перешел Пра и возглавил войска, наступающие на Кумасе. В третий день новые отряды белых перешли Пра. В четвертый и пятый — новые и новые.

Цари опять попытались задержать продвиженье Вулсли словами и запоздалыми знаками миролюбия. Царь Ашанти направлял белому полководцу посланье за посланьем. Он отпустил всех белых пленников, торговца Бонната, священника Рамзайера и его жену с сыном. Царские посланцы делали все, что им было приказано. Изо всех сил они старались заверить белых, что их царь воюет не с белыми людьми, а только с черными.

И все же белое войско по-прежнему продвигалось к Кумасе.

В оставшиеся до сраженья дни Асамоа Нкванта готовил к войне тех воинов, которые откликнулись и явились на царский призыв. Бездействие и отчаянье замедлило их движенья, но очень скоро они восстановили свою обычную ловкость и вновь могли быстро, невидимо и неслышно скользить меж деревьями леса.

Способ ведения боя был старый, испытанный и одобренный. С каждой стороны воины выстраивались в три ряда. Первый ряд стрелял. Второй после того, как первый ряд выстрелит, занимал его место. Третий ряд заряжал ружья.

Бессчетное число раз Асамоа Нкванта заставлял воинов повторять маневр: первый ряд стреляет и отступает на место последнего, второй выбегает вперед на место первого, третий заряжает ружья и становится на место второго — и так далее до бесконечности.

Асамоа Нкванта осмотрел хорошо знакомую ему местность и между Эдвинасе и Амоафо выбрал прекрасное место для битвы.

К северу от Эдвинасе дорога спускалась в широкую долину, по которой один из рукавов Апрапонга струился на запад к Данкранангу, который потом впадает в Оду. Дальше дорога поднимается к Амоафо и проходит под полукольцом холмов, с которых она видна как на ладони. На этих холмах Асамоа Нкванта и расположил серединные полки войска Ашанти.

Войско белых появилось утром шестого дня недели. Это был мрачный день. Тяжелые серые тучи закрывали солнце. Казалось, вот-вот пойдет дождь.

Первые белые солдаты спустились в долину и со странной завывающей песней стали взбираться на холмы.

Когда они оказались достаточно близко, Асамоа Нкванта отдал приказ, и войско Ашанти обрушило на врагов громы и молнии. Грохот не смолкал долго. Последний ряд становился вторым, второй первым, первый последним — и так круг за кругом в теченье всего утра. Долина, лес и холмы дрожали. Пули, точно топорики, обрубали ветки деревьев. От многих тысяч ружей поднимались неразвеивающиеся клубы дыма, утро, так и не став днем и вечером, перешло в ночь.

В намеренья Асамоа Нкванты не входило давать решительный бой здесь, под Амоафо. Все утро он ожидал вестей из тыла белых. Воины из Джуабена под командованьем Асафо Аджеи должны были обойти войско белых и захлопнуть за ним ловушку. Именно признаков этого все утро ждал Асамоа Нкванта.

Но с юга, из тыла неприятеля, в это утро шестого дня недели доносилось мрачное молчанье вселенной, безразличной к его надеждам. Он ждал, он мечтал, чтобы его опа-

сенья оказались безосновательны. Но со стороны белого войска не долетало ни одного обнадеживающего звука, и глаз не видел ни одного обнадеживающего знака.

Наоборот, Асамоа Нкванта видел самое худшее, чего мог опасаться. Большие новые пушки белых стали сеять смерть на холмах. Какой быстрый и страшный урожай смерти собрали белые в этот шестой день недели! Только что здесь был ряд воинов, заряжавших ружья, и вот лежат мертвые тела, окровавленные кости, вырванные куски плоти, кровь залила опаленную траву и забрызгала ветки.

До того как стали стрелять большие новые пушки, белым не удалось продвинуться ни на шаг. Теперь же войско Ашанти могло найти спасенье в одном отступлении. Пушки, которые довели заносчивого Квамена Овусу до самоубийства, говорили жестоким языком и расчищали для белых солдат путь вперед. К середине странного бессолнечного дня, в разгар кровавой бани белые прошли по бесчисленным телам воинов ашанти и захватили Амоафо.

Асамоа Нкванта не считал, что битва при Амоафо должна быть последней битвой войны. Отступающие воины должны были стать сетью, завлекающей белых захватчиков в глубь лесов Ашанти. Сеть эта должна была закрыться за войском белых и отрезать его от всего мира.

После Амоафо Асамоа Нкванта еще мог надеяться, что произошла какая-то ошибка. Он пытался выяснить у царей, почему Асафо Аджеи с воинами из Джуабена не выполнил то, что было условлено. В ответ он слышал лишь нелепые рассказы о том, что огромное войско белых якобы напало на Джуабен.

Асамоа Нкванта приказал отступать к Одасо. Там тоже было благоприятное место для боя — если бы на помощь пришел Асафо Аджеи. Асамоа Нкванта как безумный ждал известий об Асафо Аджеи, но не мог услыхать ничего вразумительного.

Без Асафо Аджеи и войска из Джуабена Асамоа Нкванта должен был изменить свой тщательно обдуманный и одобренный царями замысел. Цель его оставалась прежней — держать войско белых в лесу до тех пор, пока время, дожди и сила самого леса не уничтожат захватчиков до единого. Изменились лишь средства для достиженья цели.

Он хорошо знал местность, но обследовал край между Одасо и Кумасе, как если бы он был посторонний, впервые в жизни видящий каждый холм. Он шагал стремительно; казалось, в каждом шаге его — избыток сил; казалось, ноги его не поспевают за движеньем ума и ему нужно что-то, куда более быстрое, чем человеческие ноги. К полудню он созвал командиров и указал им их места в битве, которую он намечал на следующий день.

Асамоа Нкванта объяснил им свой замысел. Убедившись, что командиры поняли его до мелочей, он, наконец, обрел равновесие духа. Тревогу сменил бездонный покой. На лице полководца был мир, он улыбался.

После полудня лазутчики принесли вести: англичане вышли к реке Оде и строят через нее мост. Лазутчики еще не кончили свой рассказ, а издали по ветерку долетел звон топоров, врубавшихся в древесину. Шум падающих деревьев и изредка перекличка голосов доносились до самой ночи.

Весь день светило солнце, но ночью пошел затяжной дождь. Из-за реки воины ашанти слыхали, как проклинают погоду белые солдаты. Асамоа Нкванта поблагодарил тучи и пожелал, чтобы они не рассеивались множество дней.

Войско белых не спало всю ночь и промокло до нитки. На второй день недели, прежде чем сделать шаг вперед, напуганные солдаты подолгу стреляли из больших новых пушек.

Утром у Асамоа Нкванты еще оставались крупицы надежды. Быть может, войско из Джуабена вчера просто запоздало. Быть может, сейчас оно подойдет. Но час шел за часом. Большие пушки белых без устали посылали смерть на дорогу к Кумасе. Асамоа Нкванта, чтобы не давать лишней пищи стервятникам, отзывал воинов даже из самых надежных засад.

Он собрал своих лучших помощников-командиров. Он спросил их, что, по их мнению, надо делать и каким путем отправить людей за вестями о войске из Джуабена, когда на дороге из Кумасе показались три взмыленных гонца.

Они сразу узнали Асамоа Нкванту. Им не пришлось говорить, что они — царские гонцы. На груди одного из них висела на цепи золотая пластинка. Другой из них просто подбежал к Асамоа Нкванте и без слов положил ему на руку браслет из бус — знак

того, что совет царей требует, чтобы войско Ашанти прекратило сопротивленье и отступило.

— Что это значит? — спросил Асамоа Нкванта, его глаза метали молнии. Он прекрасно знал, что это значит.

— Мое дело — только передать посланье,— сказал гонец.— Не мне знать, что это может значить.

— Ты прав,— сказал Асамоа Нкванта.— Ты сделал все, что от тебя требовали. Ступай назад.

Асамоа Нкванта пошел к переднему ряду воинов. Он с отчаяньем думал, что завел белых в ловушку, которую некому захлопнуть. Нет больше сети для белого войска, рухнули все его планы. Но что же произошло?

Он обошел боевых командиров и каждому отдал непонятный приказ:

— Прекратить огонь!

Он не задерживался, чтобы объяснять то, чего не понимал сам. Он искал Денсу, которого нигде не было видно. Некоторые командиры кричали ему вслед:

— Мы хотим воевать дальше!

Он пропускал их слова мимо ушей и лишь однажды резко ответил:

— Не хотите ли вы сами перебить друг друга?

Яркий блик на миг ослепил его. Он увидел, что внизу в долине царский вестник с золотой пластинкой на груди направляется в сторону англичан. Рядом с ним шагал другой вестник с большим белым флагом в правой руке. В левой у него было что-то вроде посланья. Первый вестник заунывно выкрикивал призывы к миру. Прислушавшись, Асамоа Нкванта узнал хорошо поставленный голос Осеи Кваку.

Вокруг полководца стояла такая тишь, что шаги по траве показались ему громом. Он оглянулся и увидел бегущего к нему Денсу, хмурящегося и улыбающегося одновременно. Дуло его ружья еще дымилось.

— Делается что-то странное,— задыхаясь на бегу, кричал Денсу.— Белые наступают, а наши на них только смотрят.

— Твои глаза лучше моих,— ответил Асамоа Нкванта.

— Что случилось? — спросил Денсу.

— Я не знаю.

— Кто же тогда знает?

— И этого я не знаю,— Асамоа Нкванта говорил со злобой.— Неожиданно от царей пришел приказ прекратить сопротивленье и отступить. Мне надо спешить в столицу и узнать, что происходит.

— Можно я пойду с вами? — спросил Денсу.

Асамоа Нкванта молча взял его за руку, и оба они зашагали по направленью к Кумасе.

3. Гибель

Асамоа Нкванта и Денсу достигли Кумасе еще до наступленья вечера. Полководец прямо направился во дворец. На улицах встречались воины, и, несмотря на то что полководец шагал с яростной быстротой, многие подходили к нему и спрашивали, почему он отдал приказ прекратить сопротивленье. Он ни разу никому не ответил. Задававшие вопросы в недоуменье покачивали головой и глядели ему вслед.

Асамоа Нкванта шагал прямо во дворец. Он прошел все внутренние дворы, он обошел все комнаты в поисках кого-нибудь, с кем было бы можно поговорить. Везде было пусто. По дворцу разгуливали одни кошки, любимицы царя Ашанти.

Неожиданно появились дворцовые слуги. Они принялись спешно собирать драгоценности, ткани и прочее царское имущество.

— Где царь? — спросил Асамоа Нкванта главного слугу. Тот в ужасе посмотрел на полководца, потом на Денсу, но не мог открыть рта. Другие слуги старались от них отворачиваться и спешили кончить работу.

Когда Асамоа Нкванта увидел, что происходит во дворце, силы, подгонявшие его на быстром пути в Кумасе, сразу пропали. Он молчал, но в глазах его появилась краснота, как на похоронах. Он ушел из дворца слабыми, неуверенными шагами. В одном месте он, как старик, споткнулся о камень и упал бы, но его поддержал Денсу.

— Куда вы собираетесь идти? — спросил юноша.

— В дом, где мы были в прошлый раз,— ответил Асамоа Нкванта.

Маленький домик находился неподалеку. Асамоа Нкванта сам взял циновку, расстелил ее и грузно улегся.

— Принести вам чего-нибудь? — спросил Денсу.

— Нет,— сказал полководец.— Оставь меня в покое. Пойди погляди, что происходит в городе. Если можешь, найди Осона и приведи сюда.

Тьма нависала в воздухе. От прошедшего дня оставались лишь слабые отблески. По улицам города без цели, без смысла бродило множество народу. Казалось, все они просто вышли из домов и ожидают какого-то чрезвычайного события.

Чрезвычайным событием было вступление белых захватчиков в Кумасе, куда никогда еще не ступала вражеская нога. Когда солнце ушло на запад, в город въехал верхом на осле калека — белый полководец Вулсли, окруженный белыми командирами и краснолицыми разгоряченными солдатами. Денсу услышал знакомый голос: сладкозвучный глашатай Осеи Кваку именем царя заклинал население в гневе не трогать ни одного белого человека.

Белые шагали по главным улицам. Из дворца и домов вождей они выволокли ящики с джином, и вскоре воздух наполнился веселыми криками. В одном месте они даже трижды прокричали «ура».

Быстро спустилась ночь. Денсу по всему городу разыскивал Осона, но великанаевнуха нигде не было видно. Подобно роям призраков, белые сновали во дворец и из дворца. Черные слуги волокли за ними узлы с вещами — шло разграбленье. Узлы доставляли в дома, где остановились белые командиры. Вновь послышался голос Осеи Квату. На этот раз он объявлял, что уличенные в грабеже умрут быстрой мучительной смертью. Рядом с Денсу в тени кто-то рассмеялся:

— Чудные люди эти белые. Сами грабят, а нам говорят, что это преступленье, за которое полагается смерть.

В дом напротив под водительством белого командира вошла группа солдат. Двое из них несли факелы, и в их пляшущем свете Денсу вдруг различил знакомые очертанья. В доме солдаты не задержались надолго. С ящиками на голове они вышли назад на улицу. Знакомого среди них не было.

Денсу подождал, пока солдаты уйдут подальше, и затем неслышно вошел в дом. Он миновал двор и передние комнаты. В дальней комнате он услыхал шорох. Дверь ее оставалась распахнутой. Он осторожно в нее заглянул. В темноте он долго всматривался в человека и наконец убедился, что это тот, кто ему нужен.

— Бунтуи,— тихо позвал он.

Гигант, взвизгнув, подпрыгнул.

— Не кричи,— сказал Денсу.

— Ты кто? Я ничего не сделал! — неистово зашептал Бунтуи.

— Может быть, ты ничего не сделал. Но белые будут тебя искать. На твоем месте я бы здесь не остался.

— Кто ты?

— Денсу.

Гигант улыбнулся. Слышно было, как тяжело и неровно он дышит.

— Я тебя встречаю везде,— сказал он.

— Я тебя тоже,— усмехнулся Денсу.

— Чего тебе надо? — спросил Бунтуи.

— Поговорить с тобой,— ответил Денсу.

— О чем?

— О будущем.

— Каком будущем? — спросил гигант.

— Ты что, решил умереть за Абабио?

— Ты меня не пугай! — воскликнул гигант.

— Отвечай!

— Почему я должен умирать за Абабио?

— Потому что он так решил.

— Что я за него умру?

— Да.

— Почему?

— Подумай сам,— сказал Денсу.— Он приказал тебе кое-что сделать. Ты это сделал. Ты один знаешь, что он связан со злодеяньем. Больше ему ты не нужен. Ты ему

даже опасен. Если он сможет навсегда избавиться от тебя, он это сделает. Ему только надо, чтобы тебя судили за убийство.

Гигант молчал.

— Ты в этом уверен? — наконец спросил он.

— Уверен.

— Что мне делать?

— Это зависит от того, чего ты хочешь — жить или умереть за Абабио.

— Я должен жить,— торжественно провозгласил гигант.

— Живи,— сказал Денсу.— Когда ты вернешься на берег, там будет суд. Ты расскажешь на нем правду, все, что ты знаешь. Это единственный способ спасти свою жизнь.

Гигант не отвечал.

— Подумай об этом,— сказал Денсу.— На твоем месте я бы все бросил и как можно скорее убрался из этого дома.

Уходя, Денсу слышал радостное хихиканье Бунтуи...

Денсу заметил, как за тайный дом Асамоа Нкванты во тьме метнулась тень человека. Нарочито громкими шагами Денсу приблизился к двери и бесшумно, на цыпочках поспешил за дом. Столкнувшись с Осоном, он тотчас узнал его.

— Осон, это я,— сказал Денсу.

— Ты, наверно, родился, чтобы пугать меня до смерти,— проворчал евнух.— Где он?

— В доме,— ответил Денсу.

Они вошли. Асамоа Нкванта не спал, но он не сказал им ни слова. Осон разрыдался:

— Я давно хотел пойти к вам, осаджифо. Я так давно хотел к вам. Но как я мог вас разыскать, когда с меня не спускали глаз? Я так хотел вам рассказать...

— Рассказать о чем? — спросил Асамоа Нкванта.

— Обо всем, осаджифо,— проговорил евнух дрожащим от слез голосом.— В тот день, когда вы сообщили совету царей свой замысел, когда рассказали, как собираетесь воевать против белых...

— Все цари со мной согласились,— сказал Асамоа Нкванта.

— Пока вы были там,— сказал Осон.— Пока вы были там, осаджифо. Но потом вы ушли, и остались только цари и евнухи, и цари сказали, что они думают на самом деле. Если бы вы только знали! Осаджифо, я не мог побежать к вам, потому что за мной присматривали днем и ночью.

— Что там произошло? Что они говорили?

— Когда вы ушли, царица-мать сказала царю и нане Асафо Аджеи, что они не дети и не должны верить, что вы, Асамоа Нкванта, простили их. Она сказала, что ваш замысел войны против белых очень хитрый, потому что это также замысел мести всему царскому дому.

Царь спросил царицу-мать, думает ли она, что вы собираетесь не только спасти Кумасе от белых. Она ответила, что не сомневается в этом, и сама спросила царя, что он предпочитает: быть царем в царстве, подвластном белым, или же стать никем в независимой стране.

Да, она прямо так и спросила. Она сказала, что, если Ашанти последует замыслу Асамоа Нкванты и победит белых, ничто не сможет помешать Асамоа Нкванте объявить себя царем независимой страны. Она сказала, что мудрость царя состоит в том, чтобы всегда знать, как остаться царем. И что лучше уступить часть власти белым, чем отдать ее целиком какому-то полководцу.

Асамоа Нкванта охнул.

— А что Асафо Аджеи? Что он говорил?

— Он подтверждал мудрость всего, что говорила царица-мать,— ответил Осон.— Это он спросил, что надо делать.

Царица-мать сказала: «Пусть Асамоа Нкванта устраивает для белых ловушку, пусть он их ловит в сеть. Его успех зависит от того, захлопнешь ли ты, Асафо Аджеи, эту ловушку. Хочешь ли ты помочь Асамоа Нкванте взойти на престол Ашанти?»

«Что надо делать?»

«На твоем месте,— сказала царица-мать,— я бы со своим войском защищала свой собственный престол. Ступай назад в Джуабен и предоставь Асамоа Нкванте ловить рыбу половинкой сети».

Евнух вытер слезы.

— Осаджифо, вы меня слышали? — спросил он.

— Я тебя слышал, Осон,— хрипло ответил Асамоа Нкванта и, помолчав, попросил: — Денсу, оставь нас вдвоем.

Денсу вышел из дому в мир, сошедший с ума. Как ураган, мимо него ко дворцу пронесся человек, от которого несло джином. В правой руке, отведенной назад, чтобы не опалиться, он держал полыхающий факел. Он подбежал к дому рядом с дворцом, швырнул факел в распахнутую дверь и побежал назад с воем, как одержимый духами.

Почти все дома на главных улицах были в огне. Пламя освещало небо и придавало ночи жуткое желтоватое свеченье. Денсу подошел к еще не подожженному дворцу и завернул за угол.

Навстречу ему по направленью к главной площади двигалось несколько человек. У шедшего в середине была веревка на шее. Черный солдат держал свободный конец этой длинной веревки. Четыре солдата прикладами ружей подталкивали пленника. Шестой солдат сзади катил бочку. Денсу хотел подойти поближе, но тут человек с веревкой на шее издал громкий жалобный рев, как ведомый на бойню бык. Этот голос нельзя было спутать ни с чьим. Солдаты вели вешать Бунтуи.

Денсу неожиданно ощутил приступ боли. Он не понимал себя. Никогда ничем Бунтуи не вызывал в нем сочувствия. И все же нельзя было видеть без состраданья, как человека ведут на убой, точно животное. Бунтуи громко, отчаянно заклинал своих стражей:

— Не убивайте меня! Я ничего не взял. Я все вернул!

В ответ солдаты лишь подталкивали его прикладами. На главной площади солдаты с быстро выросшей толпой зевак остановились под огромным деревом вава с могучими раскидистыми ветвями. Первый солдат с концом веревки в зубах влез на дерево и уселся на толстый сук. Шестой солдат подкатил бочку прямо под сук. Четыре солдата поставили Бунтуи на бочку. На шее его была петля.

Бунтуи отчаянно сопротивлялся, но этих четырех солдат явно отбирали из числа самых крепких, и они грубо осилили обреченного. Первый солдат натянул веревку, несколько раз обмотал ею сук и крикнул:

— Давай!

Четыре солдата выбили бочку из-под Бунтуи. Тело гиганта дернулось на веревке. Чудовищный вопль вырвался из сдавленной глотки:

— Не убивайте!

Солдаты захохотали, они передразнивали его жалкие крики:

— Спасите! Помогите!

Солдаты веселились от всей души.

Точно поняв, что он один и никто ему не поможет, Бунтуи обеими руками схватил веревку над головой и изо всей силы дернул ее. Петля на шее немного расширилась. Солдаты перестали смеяться. Освободив глотку, Бунтуи вновь продолжал мольбы:

— Не убивайте меня! Помогите мне кто-нибудь! Я умираю! Помогите!

Первый солдат развязал узел на суку и отпустил веревку. Бунтуи с размаху рухнул на землю. Он тотчас же вскочил на ноги и попытался сорвать петлю с шеи.

Это ему не удалось. Четыре солдата снова его осилили.

Отрезав кусок веревки, они связали его руки за спиной и швырнули свободный конец первому солдату, который опять обхватил им сук, когда они водрузили Бунтуи на бочку. Снова бочка вылетела из-под ног. Он раскрыл рот, чтобы крикнуть о помощи, но с губ его сорвался всего один резкий, хриплый звук. Настало молчанье. Слышно было только, как посмеивается первый солдат на суку.

Вскоре площадь опустела. Денсу подошел к повешенному и осторожно снял с его руки единственное запястье.

4. Охота на ведьм

Когда Денсу вернулся в тайный дом Асамоа Нкванты, Осон уже ушел.

— Что значит этот шум? — спросил Асамоа Нкванта.

— Умер один мой знакомый. Он служил стражем на Береговом Мысе. Белые приказали его повесить.

— Что он сделал?

— Он подражал белым и крал имущество бежавших царей Ашанти,— сказал Денсу.

Асамоа Нкванта вздохнул. При свете пожара, проникавшем сквозь все щели, Денсу увидел искаженное лицо полководца.

— Осон сказал мне то, о чем я не подозревал,— сказал Асамоа Нкванта. Словно колеблясь, он помедлил, но все же закончил мысль: — Денсу, тебе надо вернуться к целителям.

— Когда?

— Как только ты отдохнешь. Ты можешь пойти завтра?

— Да,— ответил Денсу.— Но что случилось?

— Цари решили, что вы, целители, уловили мою душу, околдовали меня и старались с моей помощью лишить их власти. Они думают, что вы, целители, сами надумали стать царями.— Асамоа Нкванта сухо рассмеялся.— Представляю себе, как Дамфо разгуливает по городу в царских одеждах.— Больше он не смеялся.— Понимаешь, времени даром тратить нельзя.

— Вы думаете, цари решили напасть на целителей? — спросил Денсу.

— В этом я убежден,— сказал Асамоа Нкванта.— Поэтому целителей надо предупредить.

— Я должен идти сейчас же,— сказал Денсу.

— Сначала отдохни,— сказал Асамоа Нкванта.— Ты сегодня ни минуты не отдыхал. Осон принес нам еды. Поешь. Потом я тебе передам кое-что для Дамфо и других целителей.

Когда Денсу поел, Асамоа Нкванта положил на его ладонь камешек.

— Погляди хорошенько,— сказал он.

Денсу узнал алмаз, который Осон принес полководцу.

— Это же было подарено вам,— сказал он.

— Я не могу оставить его у себя. Если они узнают, они убьют Осона. И я хочу что-то дать Дамфо на память. Скажи ему, что со временем он мне понадобится и я его отыщу. А сейчас дела мои здесь.

— Вам ничего не угрожает? — спросил Денсу.

— Ничего, пока у меня есть силы и воля к жизни.

Больше до утра Асамоа Нкванта не сказал ни единого слова.

Ливень не прекращался все утро, но Денсу и не собирался пережидать его. Путь от Кумасе до Прасо занял больше времени, чем обычно. Вдоль дороги группами бродили остатки рассеявшегося войска Ашанти. Кое-где постреливали. Денсу все время должен был обходить людей, поэтому он добрался до Прасо лишь к ночи.

Он шагал по полям к дому, в котором когда-то жил, и вдруг, несмотря на тьму, увидел, как тень человека мелькнула в кустах впереди него. Денсу прижался к стене дома и замер. В кустах мелькнула вторая тень, третья.

Быстро и бесшумно Денсу скользнул в дом. Без света он сразу нашел, что искал. Прислоненные к левой стене, стояли три ружья. Он зарядил их и выскользнул наружу. Необходимо было поднять всех целителей. Но навстречу ему уже бежал человек с двумя полыхающими факелами.

Он швырнул факел на крышу дома, в котором жил Денсу, и перекладывал другой факел из левой руки в правую, когда Денсу прицелился и выстрелил. Человек упал на пылающий факел. Пламя с шипеньем погасло. Но поджигатель был не один. Из кустов выбегали все новые тени — каждая с двумя факелами. По упорядоченности их действий было ясно, что они поделили между собой селенье целителей. По трое они подбегали к каждому дому и забрасывали факелы на крышу. С жутким криком «Гори-и-и-и! Гори-и-и-и-и!» они убегали назад в кусты.

Денсу прицелился и выстрелил из второго ружья. Один из поджигателей беззвучно рухнул в кустах. Денсу выстрелил в третий раз. Раздался вопль: «Я ранен!»

Прячась за стену дома, Денсу стал на колено и перезарядил ружья. Выстрелы, шум и огонь разбудили целителей. В поисках спасенья они выбегали из горевших домов. На фоне пожара их было слишком хорошо видно.

— Берегитесь! — закричал Денсу.

Но было уже поздно. Или поджигатели превратились в стрелков, или в кустах с самого начала сидели стрелки, но в полыхающем мраке защелкали выстрелы. Для

спрятавшихся охотников целители были удобной мишенью. Укрыться им было некуда. За спиной бушевал пожар, спереди, справа и слева свистели пули.

Нианеба, шатаясь, вышла из дома. Денсу отчаянно закричал, чтобы она легла наземь и отползла в сторону. Но она, казалось, ничего не слыхала. Как во сне, она шла к другим горящим домам и попала в целую тучу пуль. Она упала не сразу, сначала она села и повернулась лицом к двери, из которой только что вышла.

Сколько целителей погибло, не выходя из домов? Скольких разорвали на части пули невидимых убийц?

Денсу понял, что спасти никого не сумеет. Ползком, со всеми тремя ружьями он добрался до кустов. Осмотревшись, он увидел человека с ружьем, прицелился и выстрелил.

Человек упал. Стрелков было много, и, когда один из них упал, Денсу увидел, как заметались остальные. Он переменил место и вновь выстрелил.

Кто-то испуганно закричал:

— Мы убили их всех. Какой-то дух убивает нас!

— Пошли назад! — откликнулся кто-то один, потом все.

Денсу хотел было их преследовать, но неотложная мысль заставила его переменить намеренье. Он обошел тела целителей и убедился, что в живых никого не осталось. Оставшиеся в домах превратились в пепел. Выбежавшие наружу были простреляны по множеству раз. Помочь им никто не мог.

Уходя из сожженной деревни, он вдруг услышал стон. Неподалеку от своего дома Денсу увидел лежащего и подошел к нему. Лицо его было чем-то знакомо, но Денсу узнал его не сразу. Умиравший был жрец, сопровождавший Асамоа Нкванту, когда полководец впервые пришел к целителям. Сначала Денсу подумал, что жрец узнал его и зовет, но тот только просил воды.

— Зачем? — с трудом произнес Денсу.

Жрец понял его.

— Эти целители,— из последних сил проговорил он,— эти целители околдовали моего осаджифо. Они обратили его против меня и других жрецов. Все они должны умереть. Все до одного. Все! Воды. Дай мне воды.

Жрец умирал. Пуля попала ему в голову. Договорив слова ненависти, он не мог уже оторвать голову от земли. Денсу встал и пошел прочь.

5. Противостоянье

Дорога на юг была усеяна брошенными селеньями и выгоревшими домами. На местах былых полей и рощ торчали пни и лежали мертвые листья. Над дорогой стоял смрад от непогребенных тел. Душа Денсу была опустошена зрелищем непоправимой разрухи, ум терял осознанье цели, и путник порой сбивался с пути. Он добрался до восточного леса только через неделю. Он брел по тропинке, как заблудившийся чужестранец. Аджоа увидела его и привела домой.

Когда Денсу, наконец, понял, где он находится, он рассказал Аджоа, Арабе Джесиве и Дамфо все, что произошло,— о паденье Кумасе, об отчаянье Асамоа Нкванты, об избиенье целителей в Прасо. Дамфо не прятал слез. Аджоа рыдала. Хотя Араба Джесива еще не заговорила, Дамфо знал, что она поняла все, потому что слезы заливали ее лицо.

Последовавшие дни были днями тоски и болезни. Иногда Денсу чувствовал, что ничто больше не привязывает его к жизни. Но его окружали любовь и забота, и со временем к крови в его жилах стала возвращаться сила. В теченье всей болезни он слышал в душе своей зов, могущественный и непрестанный, как биенье сердца, как дыханье легких. Он не мог противиться или не противиться этому зову. Он видел слишком много горького и непоправимого.

— А Джесива до сих пор не поправилась,— не раз рассеянно говорил он Дамфо.

Хотя силы Денсу восстанавливались, пережившая столько душа его более не сопротивлялась чему-то, похожему на отчаянье, что звало его назад, к местам, дням и страданьям, которые отдалились во времени и пространстве, но так и не были изжиты внутри него.

— Почему Джесива не говорит? — спросил он Дамфо.

— Я не знаю,— ответил Дамфо.

— У нее повреждено горло?

— Тело ее совершенно здорово,— сказал Дамфо.— Для того чтобы заговорить, необходимо такое сильное желанье, которое победило бы страх, сковывающий ее с той минуты, когда она увидела убийство князя Аппии.

Однажды Денсу даже подумал, не одолеет ли страх и его. Но, шагая в одиночестве по дороге в Эсуано, он вдруг с пронзительной ясностью понял, что давно привык жить вне страха.

Он вошел в Эсуано ночью. Город нисколько не переменился. Почему он ожидал найти в нем что-то невиданное? Он шагал мимо домов, в которых бывал мальчишкой, мимо дома Энана, мимо дома, в котором жил белый торговец Коллинз, а после — его соотечественник, христианский священник Уорнер. Так он дошел до дворца.

Страж у ворот, не узнав, остановил его. Денсу протянул ему запястье, которое он снял в Кумасе с повешенного Бунтуи.

— Передай это эджа Ababио,— сказал он.

— Нане Ababио,— поправил его страж.— Он царь.

— С каких пор? — спросил Денсу.

— С тех пор как умер нана Канта,— ответил страж.— Чего тебе надо ночью от царя? Подожди до утра.

— Покажи ему это запястье,— спокойно сказал Денсу.— Скажи ему, что тот, кто принес запястье, пришел один и принес важное известие. Он тебе не простит, если ты заставишь его ждать до утра.

Слова Денсу убедили стража, и он пошел во дворец. Вскоре он возвратился с другим стражем, великаном, который ни разу не раскрыл рта. Немой великан провел Денсу к Ababио, в главную комнату дворца.

Ababио лежал, развалившись, на большой бронзовой кровати под красным шелковым пологом. Он растолстел, кожа лоснилась сильнее, казалось, он даже сильней облысел, если только лысый может стать более лысым. В ногах кровати стояло большое зеркало. Комнату освещало несколько факелов. Немой великан оставил Денсу в середине комнаты и отошел в сторону. Ababио долго, с недоуменьем глядел на гостя и в конце концов визгливо расхохотался.

— Я думал, это Бунтуи,— сказал он.

— Бунтуи умер в Кумасе несколько недель назад,— сказал Денсу.

Смех Ababио звучал теперь весело.

— Кажется, вы довольны,— сказал Денсу.

— Доволен,— сказал Ababио.— Очень доволен.— Он снова уставился на Денсу, словно только теперь осознал, кто стоит перед ним.— Я бы не смог тебя понять, даже если бы прожил тридцать тысяч лет. Убежавший от смерти олень сам возвращается в западню. Почему?

— Что почему? — спросил Денсу.

Большим пальцем через плечо Ababио показал на великана-телохранителя:

— Он ничего не слышит. А если бы даже слышал, ничего бы не мог никому сказать. У него отрезан язык. Поэтому побереги слюну. Не задавай умных вопросов, так чтобы я проболтался, а он стал твоим свидетелем. В этом большом новом мире, Денсу, ты один. Совсем один.

— Вам незачем беспокоиться,— сказал Денсу.— Сюда меня привела не надежда.

— Это ясно, как дождевая вода,— улыбнулся Ababио.— Что же тебя привело сюда?

— Я думал, вы сами поймете.

— Гордость, наверно,— сказал Ababио.— И любопытство.

— Давайте остановимся на любопытстве,— сказал Денсу.

— Что же тебе любопытно узнать? — спросил Ababио.

— Почему вы убили Аппию?

Ababио рассмеялся неподдельно счастливым смехом. И все-таки он понизил голос:

— Ты хочешь сказать, что сам до сих пор не понял? — Он вытянулся на кровати, запрокинул голову и, глядя на потолок, продолжал: — Ты всегда плохо понимал действительность. Позволь, я тебе кое-что объясню для твоего же блага. В нашей стране настал новый день. Белые стали хозяевами. Они признают тех, кто оказывает им помощь. Они признали меня, Ababио, царем Эсуано. Кто идет против меня, идет против белых. Они меня зашищают. Они обо мне заботятся. Чего бы я ни пожелал, я могу у них попросить и наверняка получу.

— Стоило ради этого убивать родственника? — спросил Денсу.

— По-настоящему Аппия не был моим родственником,— ответил Абабио.— Тебе следовало бы знать, как устроены царские дома. Твой отец это знал, и, к несчастью для себя, так хорошо, что прекратил всякое общенье с ними. Это его и погубило. Всякий, кто удаляется от власти, причиняет себе ущерб.

Если ты раньше не знал этого, то узнай сейчас. Каждая царская семья — также семья рабов. Царей без рабов не бывает. Как и рабов без царей. Моя семья была частью царской семьи — сначала ее низшей частью, семьей рабов.

Мой дед был рабом в Кумасе. Чудо, что там его не ископили. Он служил у царицы-матери. Говорят, он был такой верный, что царь доверял ему во всем. Говорят, он был такой уродливый, что ни одному мужчине в голову бы не пришло опасаться за своих женщин. Говорят, он всегда был так тих и обходителен, что его сочли лишенным мужской силы. По крайней мере, царь оставил мошонку деда в покое.

Мой дед был благодарным рабом. Он верно служил своему царю. В награду за это его отдали как подарок белому человеку. Ты знаешь, как поступают цари. Белый человек не знал, что с ним делать. Он, в свою очередь, подарил его тогдашнему царю Эсуано.

Навыки, усвоенные при большом дворе в Кумасе, весьма помогли моему деду здесь. Он знал, как, когда и что говорить, и никому не говорил, что думает. Он использовал свое красноречье с выгодой, он всегда льстил власть имущим. Он никогда не задавал вопросов, и верность его никогда не ставилась под вопрос. Отец рассказывал мне, что дед однажды при всем народе лег перед царем на землю и провозгласил: «Царь, будь добр, плюнь мне в рот, чтобы мне передалась частица твоей несказанной мудрости!» — Абабио рассмеялся — смех его был тверд, как металл.— Царь принял предложенье. Он плюнул. Должно быть, он хорошо прицелился, потому что плевок целиком попал деду в рот. И дед проглотил его. К его вечной славе и бесконечной выгоде для его потомков, деда не вырвало.

Нужно ли мне еще доказывать тебе, что я знаю все о дорогах, ведущих к власти? Это знанье смешалось с кровью бабки и матери и передалось мне от деда. И вот самый быстрый путь к власти: слепое повиновенье тому, у кого верховная власть.

Вскоре после того, как мой дед геройски проглотил царский плевок, никто не мог попасть к царю, миновав моего деда. И я спрошу тебя, Денсу, может ли быть более прочное основанье для власти?

Мой дед начал долгое восхожденье от безвластия к власти. Погляди на меня и скажи: разве я предал его мечты? Или, может быть, я недостойный внук? Кто посмеет теперь назвать Абабио рабом? Абабио сидит на престоле. Абабио — царь.

— И убийца,— тихо добавил Денсу.

— Поразмысли получше,— Абабио почти мурлыкал.— Денсу, скажи мне, как может царь быть убийцей? Если царю надо, чтобы кого-то убили, этого человека объявляют изменником. А изменников не убивают. Их казнят — на благо народа.

— Бунтуи сказал мне... — начал Денсу.

— Бунтуи мертв,— оборвал его Абабио.— Мертвых свидетелей не выслушивают.— Абабио сел на кровати и свесил ноги на пол.— Как жаль, что мы не сумели тогда закончить суд над тобой. Это было захватывающее зрелище. Кстати, что случилось с твоим приятелем? Энан всегда был такой, как ты.

Денсу не ответил.

— Теперь мы устроим новый суд,— продолжил Абабио.— Это будет совсем другой суд. Культурный суд. Белые постоянно твердят нам, что в прошлом мы жили как во сне. Теперь они говорят, что открыли нам глаза. Теперь мы стали культурные. Испытанье напитком истины отошло в прошлое. Мы устроим настоящий суд. С Берегового Мыса приедет белый человек. Он позаботится, чтобы все было сделано как следует, культурно, по-новому. Ты получишь возможность говорить в свою защиту. А потом мы тебя повесим.

Абабио поднял руку. Великан-телохранитель вышел вперед. Уходя, Денсу сказал:

— Не опасайтесь ничего. У меня больше нет желанья бежать.

Суд устроили во дворце. Из приемного зала вынесли барабаны, сиденья, звериные шкуры. К дальней стене поставили высокий стул, как у белых, привезенный с Берегового Мыса. Для зрителей соорудили длинные скамьи. Перед началом суда десять вест-индских солдат вошли в зал и встали в два ряда по обе стороны стула.

Судья был старый белый человек с белыми волосами, красным лицом и багровым носом. Он удобно уселся на высокий стул, но все время судебного разбирательства ему, несомненно, было не по себе. Каждый раз, когда раздраженье брало в нем верх над терпеньем, он отхлебывал какой-то жидкости из большой темно-серебристой фляги. Что бы в ней ни содержалось, настроенье судьи немедленно улучшалось, по крайней мере на несколько минут.

Денсу посадили на открытое место между судьей и зрителями и тотчас же объявили заседанье открытым. Переводчик с Берегового Мыса изложил судье суть дела: Денсу подозревается в убийстве князя Аппии, наследника эсуанского престола. Доказательства его вины многочисленны. Во-первых, Денсу и убитый князь были непримиримыми соперниками. В играх прошлого года Аппия взял верх над Денсу. Денсу в них оказался вторым.

Другое доказательство. У убитого князя, явно для колдовских целей, были вырезаны глаза и полоски кожи с рук и ног. Спрашивается, почему колдуну понадобилось именно это, а не что-то иное? Нельзя забывать, что Аппия превзошел Денсу в стрельбе, то есть искусстве глаз. Аппия должен был победить в борьбе, и только по доброте своей отказался от легкой победы. Не потому ли у него вырезали полоски кожи с рук? Аппия победил в коротких забегах — сила его ног была всем известна. Больше того, после окончанья игр Аппию чествовали как победителя, на Денсу же не обращали никакого внимания. Все время торжеств он бродил в сумрачном одиночестве, избегая людей.

Призвали свидетелей. Они рассказали, что знали, что видели и что слышали. Основным свидетелем был Абабио.

Абабио с чувством напомнил суду, что он в течение многих лет был опекуном Денсу. С самых первых дней его тревожили две главные черты характера подопечного: заносчивость и завистливость.

Заносчивость не позволяла Денсу признать чье-либо, даже самое очевидное, превосходство над собою. Поэтому он всегда яростно завидовал всем, кто превосходил его. Он не мог не завидовать Аппии. Зависть переросла в ненависть. Ненависть довела до убийства.

Тут печаль одолела Абабио, и он прервал свой рассказ, чтобы отереть слезу из правого глаза. Он молчал долго и выразительно, так что за это время судья успел хорошенько хлебнуть из серебристой фляжки. До этого Абабио глядел в сторону переводчика, теперь он взглянул прямо в лицо судье. Голос его задрожал от сильного чувства:

— Прежде чем продолжать, я хотел бы, чтобы призвали другого свидетеля. Он тоже хорошо знает преступника.

Этим свидетелем был Эсуман, эсуанский придворный жрец.

Эсуман рассказал потрясающую историю. Накануне убийства князя Аппии Денсу пришел к нему и задал странный вопрос. Денсу спросил, верно ли, что человек может приобрести некоторые свойства, если съест нужные части тела того существа, которое обладает этими свойствами в высшей степени.

— Я ответил ему, что это верно,— сказал жрец Эсуман.— Тогда Денсу захотел уточнить, произойдет ли то же самое действие, если имеющееся в виду существо — человек. Удивленный и обеспокоенный, я спросил Денсу, не собирается ли он есть части человеческого тела. В ответ юноша рассмеялся безумным смехом и спросил, как следует приготовить для еды добытые части тела. Я объяснил, что приготовить их может только такой жрец, как я.

Назавтра после убийства князя Аппии Денсу снова пришел ко мне. Вот что он мне принес.— Эсуман вынул из-под халата мешочек, измазанный белой глиной. Из него он извлек один за другим два высохших человеческих глаза и четыре полоски свернувшейся кожи.— Все это взято у убитого князя Аппии. Это принес мне Денсу. Прибавить мне больше нечего.

Жрец Эсуман опустил голову и отошел в сторону. Было видно, что он не в силах выдержать такой бездны зла.

Абабио добавил всего одну фразу:

— Я знаю о преступленье Денсу не со слов Эсумана — сам юный злодей в смятенье духа пришел ко мне и во всем признался.

Денсу оглядел зал суда. Белый судья на высоком стуле отхлебнул из фляжки, чтобы победить скуку. Абабио и Эсуман стояли мрачные и величественные. На скамь-

ях сидели зрители. Между ним и всеми остальными, казалось, было огромное расстоянье, и поэтому все люди казались маленькими, как на большом удаленье.

В притихшем от ужаса зале снова раздался голос Абабио:

— Денсу пришел ко мне и во всем признался. Он сказал, что был не в силах сдержать себя. Он сказал, что не собирался убивать Арабу Джесиву, мать князя. Но когда ее сын попал в западню и на него набросился убийца, несчастная женщина попыталась спасти князя Аппию. Денсу рассказал мне, что она билась с ним, словно разъяренный леопард, до тех пор, пока он не переломал ей все кости и она не умерла.

Выслушав перевод, краснолицый судья спросил:

— Обвиняемый в самом деле признался вам, что он убил князя и его мать?

— Клянусь, он признался в убийстве обоих! — воскликнул Абабио.— Я только не сумел выведать у него, куда он дел тело матери.

Терпенье судьи явно иссякло. Фляжка его почти опустела.

— Вы кончили? — резко спросил он.

Нет, Абабио отнюдь не кончил.

— Сегодняшний подсудимый много лет был моим воспитанником. Мне мучительно говорить, но чувство ответственности, ответственности царя перед народом, лишает меня возможности промолчать. Это опасный человек. Ненасытная жажда власти толкает его на злодеянья. Если он будет свободно разгуливать по земле, совершенные им преступленья покажутся шуткой по сравнению с теми, которые он совершит в будущем.

— Довольно,— прервал его судья.— Обвиненье мы выслушали. Что имеет сказать обвиняемый в свою защиту?

Два вест-индских солдата поставили перед судьей Денсу, закованного в кандалы. Судья повторил вопрос. Переводчик снова его перевел. Денсу не произнес ни слова.

— Что, этот болван оглох? — зашипел судья и, неловко взмахнув рукой, опрокинул фляжку. Последние капли жидкости вылились на пол. Судья злобно взглянул на фляжку и пробормотал что-то себе под нос.

Абабио выскочил вперед с ответом:

— Преступник прекрасно слышит. Чувство вины мешает ему говорить.

— Не чувство вины мешает ему говорить, Абабио,— раздался голос у входа в зал. Голос слегка дрожал, он был негромкий и хрипловатый. Но это был голос такой сладкий для слуха, такой прекрасный, что бесконечное расстоянье, отделявшее Денсу от присутствующих мгновенно пропало.— Нет, не чувство вины. Ему мешает говорить чувство изумленья. Он изумлен тем, что его собственный опекун клевещет на него и хочет, чтобы его убили.

Говорила женщина. Она медленно, словно превозмогая мученья, вышла на середину зала, опираясь на другую женщину, почти девочку. Араба Джесива и Аджоа теперь были в середине зала. В дверях стоял Дамфо.

Завидев Арабу Джесиву, все в зале окаменели на несколько долгих мгновений. Оглушительный шепот вдруг прервал тишину — словно все одновременно узнали невозможную правду. И снова настала мертвая тишина.

Судья пожелтел от злобы, потом снова побагровел. Он яростно молотил кулаком по ручке высокого стула.

— Кто это, черт возьми? Кто эта женщина?

Словно обязанный повиноваться зомби, переводчик перевел вопрос судьи. Ответили зрители, многие из них выкрикнули одновременно:

— Это сама Араба Джесива! Мать убитого князя!

Так велик был шум в зале, что переводчику пришлось проговорить ответ прямо в ухо судье. Слова его произвели неожиданное действие. Судья словно проснулся, происходящее ему стало явно небезразлично.

— Бог ты мой! — воскликнул судья.— Впервые слышу, как говорят с того света. Черт возьми, дайте слово даме!

Араба Джесива заговорила. Слезы потоком лились по ее щекам.

Она рассказала о своей бесконечной благодарности целителю Дамфо. Она рассказала, как отправилась к Дамфо со своим драгоценным сыном. Затем она рассказала, как ловушка неожиданно оторвала Аппию от земли и лишила силы. Как жестокий гигант Бунтуи выбежал из-за дерева и набросился на ее сына и как сын ее

был мгновенно убит. Она пыталась помочь сыну. Но она не умела бороться, беда застигла ее врасплох, и она оцепенела от страха. Что могла она сделать?

— Гигант Бунтуи переломал мне все кости. Я до сих пор помню, с каким страхом глядел он на меня, поверженную, изувеченную. Он не знал, что со мной делать. Боль победила меня, и я потеряла сознанье.

Когда я пришла в себя, я была в незнакомом месте. Кругом стояла полная тьма. Я даже подумала, что ослепла. Я не могла пошевелиться. Мне было трудно дышать. Но слышала я хорошо. Я услышала топанье ног и злобные крики.

Я узнала голоса. Абабио кричал на Бунтуи за то, что он бросил меня в лесу и я исчезла. Он кричал, что Бунтуи все погубил. Он заставил Бунтуи обыскать всю окрестность. Но уже светало, и Абабио боялся, что в лес придут люди. Поэтому им вдвоем пришлось уйти в Эсуано, не разыскав меня. Так я лежала еще какое-то время, а потом снова лишилась чувств.

Я думаю, прошло несколько часов, когда меня пробудил знакомый приветливый голос, его голос,— Араба Джесива указала на Дамфо.— Он дал мне напиток, который унес боль и снова погрузил меня в сон. Я спала долгие века, и не видела сновидений, и проснулась в восточном лесу, в селенье целителей. Я очень не скоро смогла понять, жива я или мертва. Но целители ухаживали за мной. Постепенно они изгнали дух смерти из моего тела. И вот я стою перед вами.

Я знаю, кто убил моего сына и почти убил меня: это Бунтуи. Я также знаю, кто заставил Бунтуи совершить убийство: это Абабио.

Не скрывая любопытства, белый судья повернулся к Абабио, новому царю. Абабио обливался потом, он, казалось, сделался меньше ростом. Его друг Эсуман так дрожал, что едва держался на ногах. Не ожидая вопросов, он начал оправдываться:

— Я не хотел ничего говорить. Это он заставил меня лгать,— Эсуман указал на Абабио.— Я ничего не знал ни про Денсу, ни про глаза и кожу. Мне их принес Абабио. Я тут ни при чем.

Происходившее явно забавляло белого судью.

— Черт побери, кажется, мы судим не того туземца,— сказал он.— Освободите немого парня, а этих двух мы заберем на Береговой Мыс.— И он громко повторил: — Освободите подсудимого!

Вест-индский солдат снял с пояса связку ключей и, отомкнув кандалы на Денсу, отдал честь белому судье.

— Можешь идти,— сказал судья Денсу.

Прежде чем переводчик успел вымолвить слово, Денсу повернулся и пошел.

— Черт возьми! — воскликнул судья.— Этот немой парень не глухой. И он понимает по-английски. Черт побери! — Всю его злость и усталость словно рукой сняло. Он поднялся с высокого стула, весело посмеиваясь.

6. Новый танец

Толпа окружила Дамфо, Арабу Джесиву, Аджоа и Денсу. Еще недавно на лицах людей изображалось одно безразличье. Теперь все они изображали облегченье, благожелательство. Все теперь были готовы отпраздновать освобождение узника.

Араба Джесива первой выбралась из толпы. За ней последовали Аджоа, Дамфо и Денсу. Грустно кивая, Джесива обошла знакомый и переменившийся дворец. Она посетила комнаты — могилы Канто и старой царицы-матери Эси Аманиивы. Она посетила собственную комнату — могилу Аппии.

Выйдя во двор, она увидела, что люди собираются принести ягненка в жертву.

— Пусть он живет,— остановила она жертвоприношенье.— Кровью ягненка не отмоешь грязные души людей.

Вечером старейшины Эсуано пришли к Джесиве. Они умоляли ее простить город.

— За что? — спросила Араба Джесива.— Вы ничего не сделали.

— Именно за это,— ответил человек, говоривший от имени всех старейшин.— Мы ничего не сделали в то время, когда мы должны были что-то сделать.

— Незачем теперь просить за это прощенья,— сказала Джесива.— Вы просто хотели покоя. Я сама вам желаю покоя.

Старейшины не решались прямо задать важный вопрос. Окольными путями они, наконец, добрались до него. Это было ошеломляющее предложенье, обращенное к Денсу. Не согласится ли он стать царем Эсуано?

Денсу грустно покачал головой. Слова ему не понадобились.

Суд над Абабио должен был состояться в крепости на Береговом Мысе.

Дамфо, Араба Джесива, Аджоа и Денсу дошли до Бакано к вечеру второго дня. Они остановились у Амы Нкромы.

Утром она спросила, хорошо ли спали гости.

— Говорят, белый полководец сегодня уезжает,— сказала она.— Может быть, вам будет приятно поглядеть на его отъезд.

Она повела их вдоль лагуны на восток. Возле крепости она повернула налево, а в городе направо и снова направо, так что они вышли к бухте с восточной стороны крепости.

В море ждал корабль. На границе моря и суши лежало десять больших шлюпок. Перед каждой наготове стояло по три десятка голых по пояс гребцов.

Шум толпы возвестил о появленье белого полководца. Четыре силача принесли его в покоившемся на длинных шестах плетеном кресле, так что он сошел в первую шлюпку, не коснувшись ногами песка. Под красным зонтом стоял Ата, царь Берегового Мыса. Возле бухты виднелись и другие зонты царей. Царские трубы пронзали воздух. Полководец заговорил, резко взмахивая рукой. Его окружали вест-индские солдаты с ружьями и музыкальными инструментами. Когда полководец Вулсли закончил речь, гребцы вывели лодку в бурный прибой и яростными усилиями рассекли последнюю высокую волну, за которой царил покой открытого моря. За первой лодкой последовали остальные. Гребцы пели хвалу белому завоевателю.

Полководца Вулсли подняли на корабль. В мгновенье ока корабль, отвозивший счастливого победителя на родину, умчался в неуловимую даль моря.

Прощаясь с белым военачальником, вест-индцы играли торжественную музыку. Но только корабль исчез, их музыка изменилась. Негибкие, прямолинейные, грубые ритмы музыки белых сменились новыми, изощренными, странно сплетавшимися счастливыми ритмами танца: на обратном пути солдаты плясали, а не маршировали. Толпы присоединялись к их танцу. Танцующие миновали крепость, прошли направо по большой площади и растеклись по улицам Берегового Мыса.

Танцевали люди всех племен, набранные в солдаты белыми. Не танцевали одни белые, они глядели на ликующую толпу, покачивая головой, и хохотали, когда замысловатые прыжки и фигуры поражали их воображенье.

И все они слышали, как вест-индцы превратили белую музыку смерти в музыку танца и радости. Все они умели и хотели танцевать под эту музыку, и огромная, пестрая, немыслимо разнообразная толпа весело струилась по улицам города, и за ней тянулся длинный безумный хвост лентяев, зевак и детей.

— Это новый танец,— покачала головой Аджоа. Ее грусть была отражением грусти Дамфо, Арабы Джесивы и Денсу.

А стоявшая рядом с ними старая Ама Нкрома тихонько посмеивалась от бесконечного счастья.

— Чему ты радуешься, странная целительница? — спросил Дамфо.— Может быть, на тебя напало прославленное безумье всех целителей?

Ама Нкрома не таила веселья.

— Да, это новый танец,— сказала она.— И это нелепый танец. Но посмотрите на всех этих черных людей, которых сюда привели белые. Мы, целители, ломаем голову, как соединить черные племена в единый народ. Белые, наоборот, стараются нас разобщить. Разве вас не радует то, что, стараясь разобщить черных, белые, сами того не желая, помогают нам создавать наше будущее? Только взгляните!

Ама Нкрома смеялась, и из глаз ее текли слезы.

◆

СЕРГЕЕВ АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ (род. в 1933 г.).

Советский переводчик с английского. В его переводе выходили книги избранных стихотворений Роберта Фроста, Т. С. Элиота, Э. А. Робинсона. Переводил классику — Э. Спенсера, Дж. Донна, У. Вордсворта, У. Уитмена и др. В «Иностранной литературе» в его переводах печатались романы В. Рида «Леопард», Г. Окары «Голос», В. Шойинки «Интерпретаторы», Р. Харвуда «Одинаковые тени».

Литературное наследие

ШЕРВУД АНДЕРСОН

Рассказы

Перевод с английского Н. ВОЛЖИНОЙ

Эти рассказы выдающегося американского писателя Шервуда Андерсона — последняя работа талантливой советской переводчицы Натальи Альбертовны Волжиной, много сделавшей для ознакомления советских читателей с произведениями английской и американской литературы.

Творческое владение богатствами родного языка, совершенное знание языка подлинника, разносторонняя образованность, безупречный художественный вкус позволили Наталье Альбертовне создать высокие образцы переводческого искусства. Ей равно давались и спокойное течение классической прозы, и прихотливые ритмы новейшей, но внутренне она тяготела к прозрачной форме, и отличительными чертами ее переводческого стиля были простота и изящество.

Такие ее работы, как перевод «Лавки древностей» Диккенса, «Собственника» Голсуорси, «Овода» Войнич, «Гроздьев гнева» Стейнбека, «Снегов Килиманджаро» и «По ком звонит колокол» Хемингуэя (совместно с Е. Д. Калашниковой), «Нашего человека в Гаване», «Ценой потери» и «Комедиантов» Грэхема Грина, восхищали и знатоков, и широкую читательскую аудиторию и были достойным вкладом в дело дружбы советской культуры с культурами других стран.

Наталья Альбертовна Волжина была человеком большого личного обаяния, исключительной привлекательности. Переводческая молодежь тянулась к ней, она была ее требовательным наставником и любимым учителем. Память о Наталье Альбертовне будет долго жить в сердцах ее близких друзей и всех почитателей ее прекрасного дарования.

А. СТАРЦЕВ

Его комод

Мы с ним несколько лет работали в рекламном бюро, оба занимались сочинением рекламных объявлений, столы наши стояли рядом, и время от времени он делился со мной, поверяя мне нехитрые секреты своей жизни. Этот маленький, щуплый, деликатного сложения человек весил вряд ли больше ста двадцати фунтов. У него были маленькие руки и ноги, черные усики, копна волос цвета воронова крыла и узкая грудь.

Последнее обстоятельство и осложняло ему жизнь, и он часто заговаривал со мной об этом.

ШЕРВУД АНДЕРСОН — SHERWOOD ANDERSON (1876—1941).

Американский писатель. Автор романов и рассказов. Литературную славу Ш. Андерсону принесли сборники рассказов «Уайнсбург, Огайо» («Winesburg Ohio», 1919), «Торжество яйца» («The Triumph of the Egg», 1921), «Кони и люди» («Horses and Men», 1923) знакомые советским читателям по русским переводам. На русский язык переведен также роман «По ту сторону желания» («Beyond desire», 1932).

Публикуемые рассказы взяты из книги «Воспоминания» (Sherwood Anderson's Memoirs. Chapel Hill, 1969), впервые изданной в 1942 г.

— Поглядите на меня,— говорил он.— Разве я могу чего-нибудь достичь? Разве я могу продвигаться по работе?

Говоря это, он вставал и подходил к моему столу. И ударял себя в грудь.

— Не хватает мне здесь объема,— говорил он.— Сейчас, куда ни глянь, все такие важные, надутые персоны, ходят выпятив грудь. А что я? Мне и выпячивать-то нечего.

Мой приятель происходил по отцу от испанцев, тонкость чувств и гордость были у него поистине испанские, но звали его Билл. Когда я познакомился с ним, у него уже была жена, которая народила ему четверых ребятишек. Все четверо — девочки. Иногда он заводил речь и об этом.

— Туговато приходится,— говорил Билл. Он был набожный католик и однажды признался мне, что мечтал о священническом сане.— Я хотел стать иезуитом, пойти в священники,— сказал Билл.— Но женился.

— Только не думайте,— добавил он,— будто я плохо отношусь к своей жене.— Он считал, что мы, мужчины, должны почитать женщин.

— Вот поглядите на вашего покорного слугу. Вид у меня совершенно невзрачный, и я прекрасно это понимаю. Женщина выходит за такого замуж. Дарует ему свое расположение. Он выкажет неблагодарность, если будет роптать на судьбу. Но вот возьмите священника. Ему запрещено жениться. Он может быть человеком ничтожным или человеком значительным. Таким или сяким, но прихожане все равно будут почитать его.

Мой приятель был в одинаковом положении со всеми нами — сочинителями рекламных объявлений.

В рекламном бюро, которое нас нанимало, были и другие служащие, называвшиеся «агентами». Теперь их, кажется, именуют «посредниками». Эти «посредники» привлекают в бюро клиентуру, всячески ублажая ее, внушая ей, что мы, сочинители их рекламных объявлений, люди талантливые, люди совершенно исключительные, но самим посредникам, естественно, приходилось держать фасон. Им отводились персональные кабинеты, часто богато обставленные, они приходили в бюро и уходили, по-видимому, когда им вздумается, им не надо было отбивать табель, они проводили долгие часы за игрой в гольф с кем-нибудь из наших клиентов, тогда как мы, авторы рекламных текстов, теснились на задворках в одной комнате окнами на высокое здание, где ряды женщин строчили на швейных машинках мужские брюки. Но все же нам казалось, что наше заведение держится только на нас. И мы постоянно твердили это друг другу.

— Мы всему делу голова. Если не мы, так кто же?

— Да уж, конечно, не эти молодчики, не эти фанфароны из парадных кабинетов,— говорили мы.

У нас в бюро, как и во всех подобных учреждениях, время от времени случались неприятности. Тексты рекламных объявлений, составленные кем-нибудь из нас, передавались одному из наших клиентов. Он отшвыривал их мановением руки.

— Не годится,— заявлял клиент, и когда это случалось, мы, авторы, внутренне исходили яростью.

— У этого типа, наверно, несварение желудка,— говорилось у нас. Но что касается собственной работы или работы других в нашем отделе, то мы плохо о ней никогда не отзывались. Тот тип, тот клиент, просто не умел отличать плохое от хорошего.

Или же виноват был комиссионер, посредник. Его забота — продавать нашу продукцию. А если он продавать не умеет, какой от него толк. Почему им отводят отдельные помещения, почему разрешают вести такую вольную жизнь, когда вся работа лежит на нас, злосчастных рабах.

Мы, бывало, доходили до белого каления, обсуждая все это, а когда терпежу у нас больше не было, кто-нибудь из нашей братии напивался. Такого следовало ожидать, и большей частью это сходило нам с рук, если не считать случая с Биллом, когда клиент, на которого он давно работал, неожиданно приехал в город. Билл срочно понадобился, и меня послали разыскать его и, если можно, привести в чувство. Полагали, что встречу клиента с ним можно оттянуть до следующего утра.

— Найдите и протрезвите его. И доставьте сюда,— было сказано мне.

И вот я отправился на поиски Билла и, имея кое-какое представление о его повадках, пропажу скоро отыскал. Он нашелся в салуне, где хозяин был тоже из испанцев, и когда я обнаружил Билла, он стоял, прислонившись к стойке в кучке мужчин,

угощавшихся выпивкой за его счет. Билл держал речь о положении мужчины небольшого роста в современном обществе, оценивающем человека, по его словам, в зависимости от размеров.

Я вытащил Билла из этого заведения и повел в турецкую баню. Настроение у него было мрачное.

— Вы, конечно, думаете, будто вам известно, почему я напился, но это ваша ошибка,— сказал он. И пустился в объяснения. Он сказал, что теперешний запой не имеет никакого отношения к его делам в бюро.

— У меня в жизни есть трагедия посерьезнее,— сказал он. Мы сидели в парилке, и покуда пот ручьями стекал с нас, он объяснял, что, поскольку его рост, его неспособность выступать «выпятив грудь», как мне известно, служат ему помехой в делах, я, вероятно, и понятия не имею, что точно такая же помеха ставит ему палки в колеса и дома.

— Я правду вам говорю,— сказал он, мрачно покачивая головой.— У меня дома, видите ли, полным-полно женщин.— И пояснил, что, поскольку вышеупомянутые причины лишают его возможности получать хорошую оплату, ему приходится снимать маленький домик в пригороде.

— Вы же знаете,— говорил он,— что у меня жена и четверо дочерей.— Дочери быстро подрастали.— Я уж перестал мечтать о сыне,— сказал он и пустился в длинные объяснения, что дом у него маленький, следовательно, место в платяном шкафу несколько ограничено и, повинуясь чувству порядочности, ему пришлось сократить собственный гардероб.

— Какой смысл обзаводиться одеждой такому замухрышке, как я? — спросил он и добавил, что, поскольку его дочери подрастают, все лишние деньги должны пойти на покупку туалетов для них.

— Ведь дочерям надо найти мужей. Надо же создать им подходящие условия.

Он пояснил, что, следуя этой политике, постепенно отказался у себя дома от пользования шкафом и вот уже года два-три ограничивает место для своей одежды комодом, и по мере того как я слушал его объяснения — все более и более серьезные, мне стало ясно, что комод превратился для него в некий символ.

Дело дошло до той точки, когда комод стал этому человеку дороже всего на свете. Он был уверен, что мне этого не понять и что ни один человек, не побывавший в таком же положении и не живущий в доме с пятью женщинами, которые, по его словам, заслуживают только глубочайшего уважения, никогда этого не поймет.

Так складывалась жизнь в их доме уже несколько лет, но недели две-три назад его старшая дочь стала невестой. Она обзаводилась новым гардеробом, и вот, придя однажды домой, он обнаружил, что верхний ящик комода ему уже не принадлежит.

Он перенес это.

— Нужны же девушке платья,— сказал он. И даже не пожаловался.

А потом, два дня назад, к ним приехала погостить его теща. И он лишился второго ящика в комоде.

— Нелегко мне было проглотить это, но я все-таки проглотил,— сказал он.

Его жена, которую он неизменно называл прекрасной женщиной («Вы не подумайте, что я ее осуждаю»), по-видимому, старалась сделать все как можно лучше. Она вынула из комода его вещи: рубашки, нижнее белье и прочее — все, кроме того, что ему было нужно изо дня в день, и сложила это в коробку.

— Она задвинула ее под кровать,— сказал Билл и добавил, что, придя вечером домой и обнаружив, что и второго ящика у него больше нет, он не обмолвился ни единым словом.

— Я не обмолвился ни словом, но когда мы сидели в тот вечер за ужином и я хотел взять отварную картофелину с блюда и положить ее на тарелку моей теще, то рука у меня от расстройства дрогнула, и когда я держал картофелину на вилке, собираясь положить ее теще, она упала прямо в соусник.

Он сказал, что соусом забрызгало все платье старшей дочери.

Его жену это рассердило, так как она подумала, что он выпил, хотя ничего такого с ним и в помине не было.

А потом пошел рассказ о тех событиях, которые произошли накануне. К ним приехала сестра его жены. Он считал, что женщин взбудоражила помолвка его старшей дочери и они начали съезжаться к ним в дом.

— Наверно, захотели посмотреть, какой у нее жених,— сказал он.

Но вот вчера он приходит домой, лезет в свой комод, в последний свой ящик в этом комоде, и выясняет, что ящика у него больше нет.

— Впрочем,— сказал он,— надо быть справедливым. Его не весь у меня отобрали.— Жена оставила ему половину последнего ящика. Он считал, что она сделала все, что могла. Ей бы следовало выйти замуж за какого-нибудь коммерсанта, говорил он, а не за жалкого писаку из рекламного бюро.

— Я считаю, что с нашими женщинами надо обращаться уважительно,— сказал он.

— В конце-то концов,— добавил он,— они дарят нас своим расположением. Я взглянул на этот ящик и тут же ушел из дому. Сел в поезд, поехал в город и там напился.

— А что тут такого? — спросил он.— Когда человек выпьет, то на какое-то время у него может родиться мысль, будто он что-то собой представляет в этом мире.

Пастораль

Из всех, кого я когда-либо знал, мне не забыть врача — человека небольшого роста и такого тихого с виду, который разъезжал по вызовам из дома в дом в одном среднезападном городке и по всей ближайшей округе. Как-то раз он остановил свою машину — старенький «форд» — у проселочной дороги и нашел в лесу неизвестный гриб. В машине у него была книга о грибах, книга о птицах, еще одна о деревьях, о насекомых и о полевых цветах. Я тогда работал в рекламном бюро и часто бывал в этом городе. Составлял каталоги, буклеты и брошюрки для одного фабриканта и останавливался там на неделю-другую.

Однажды я заболел, и мне вызвали врача. Врач был плотный, низкорослый, лет сорока пяти, голубоглазый, с большой головой и с жидкими светлыми волосами, уже начинавшими седеть. Остановился я в единственной тамошней гостинице, врача ко мне прислал мой фабрикант. Мне было сказано, что это лучший врач в городе, что у него огромная практика.

— Только вы мало что у него узнаете. Он не из разговорчивых,— сказал фабрикант.

Врач пришел. На столике возле кровати у меня лежала книга одного старого, мало кому известного писателя.

Врач осмотрел меня. О болезни моей он сказал мало, вернее почти ничего не сказал, и его молчание начало меня раздражать. Я уже был готов вспылить, потребовать от него точного диагноза, как он вдруг взял со столика ту книгу. Он взволновался. Издал какое-то восклицание. Заходил взад и вперед по комнате. Автор этой книги был единственный писатель, которого он читал. Такие читатели иногда встречаются. Он был поклонником одного-единственного автора, и мне случилось попасть именно в эту точку его соприкосновения с художественной литературой. Между нами возникла некая связь. Он сказал, что впервые встречает человека, который знает этого писателя, и что писатель этот, по его понятиям, великий человек.

— Чего он только не делал! В каких только местах не побывал! А как умел разговаривать с людьми! Сколько они ему чудес порассказали!

Этот маленький доктор принадлежал к тому сорту молчаливых людей, которые, раз уж заговорив, не могут остановить поток слов. Он сказал, что, по его убеждению, второго такого писателя не было и быть не может.

И вдруг смутился.

— Что это я, какую чепуху несу,— сказал он. И объяснил, что еще в колледже один знакомый студент дал ему почитать книгу этого писателя, но с тех пор, как он стал врачом, на чтение времени у него почти не остается.— Перечитываю вот этого,— сказал он.— Я часто страдаю бессонницей, и какая-нибудь его книга всегда лежит у меня на столике возле кровати... Или, бывает, сижу у тяжелобольного пациента. Уйти от него нельзя. Помочь ему я ничем не могу. В машине у меня всегда есть книга этого писателя. И я читаю, дожидаясь, когда наступит смерть. С моей стороны, конечно, глупо говорить, что это один из самых великих писателей в мире,— ведь других-то я не читал.

Моя болезнь оказалась пустяковой, но мы с доктором подружились. Я часто ездил с ним. На главной улице городка с какими-нибудь четырьмя тысячами жителей,

на втором этаже двухэтажного кирпичного дома, у него была приемная; поднимались туда по наружной лестнице. В часы, которые он отводил приему больных, большая, плохо обставленная комната, где они ждали вызова, всегда была полна. Итак, была у него большая комната для ожидания, а прием он вел в кабинете окнами на улицу.

Загородная практика у него была солидная, и, если не считать часов приема, когда больные приходили к нему, он редко бывал в городе, и я приладился ездить с ним. Вот когда у него выпадала возможность поговорить о похождениях своего автора. Книги этого писателя он читал и перечитывал много раз. Одна из них — автобиографическая — стала его любимой. Он читал ее много раз, читал запоем, и похождения автора, большинство которых казались мне маловероятными, а то и просто враньем, были для него настолько реальными, будто случилось все это с ним самим.

Мы стали встречаться с этим доктором все чаще и чаще. Приезжая в город, я работал по вечерам у себя в номере гостиницы, так чтобы можно было ездить с ним в дневные часы. Он принадлежал к тому типу людей, на вид невзрачных, тихих, но внутренне напряженных, деятельных, которые неизменно удивляют вас своей работоспособностью. Он будто и не знал усталости. У себя дома принимал пациента за пациентом без перерыва. Всегда умел сразу ухватить суть дела. Обращался с больными как в свое время со мной, когда я лежал в номере гостиницы. Проверял пульс, кровяное давление, измерял температуру. И сидел молча, глядя на пациента. В городе и в округе его считали бесконечно мудрым. Так он сидел минуты три-четыре. Если пациент начинал говорить или задавать ему вопросы, он молчал. Не знаю никого другого, кто до такой степени уходил бы в себя в присутствии посторонних. Смерив взглядом сидевшего перед ним больного или больную, он улыбался или хмурился. Если пациент жил за городом, он доставал лекарство из медицинской сумки, если же был горожанин — выписывал ему рецепт. Так или иначе, у него была слава блестящего диагноста.

— Это все чепуха,— сказал он мне однажды.— Я знаю только одно: что большинство больных хотят быть больными. Вот им и потакаешь и некоторое время принимаешь их всерьез. А что? Это помогает.— А иногда он, не признаваясь в этом, относился к людям с величайшим презрением. Идет, бывало, по улице, и когда встречные заговаривают с ним, молчит, не отвечает. Посмотрит в упор на того, кто обратился к нему, уставится на него, точно уйдя в свои мысли, и не ответит на приветствие. В начале нашего знакомства меня удивляло, что никто в городе не испытывает к нему неприязни.

Какая там неприязнь! Им восхищались! «Он крупный ученый»,— говорили о нем люди. В городе ходило множество рассказов о том, сколько научной литературы он прочитал из области медицины. Так это или не так, я до сих пор не знаю. Рассказывали и о глубоком интересе доктора ко всему, что касается природы. Горожане, видимо, решили, что и это обогащает его широкие познания и дает ему возможность временами творить чудодейственные, по их понятиям, исцеления. Встречаясь с доктором на улице, люди взирали на него с уважением. «Нам бы такую образованность!» — говорили они между собой.

Наши беседы — в тех редких случаях, когда мы с ним беседовали,— всегда касались биографии писателя, книгу которого он нашел у меня в номере. Иногда мне думалось, что ему просто хочется поговорить о жизни и похождениях этого писателя, потому он и ищет моего общества. О своей собственной жизни он никогда ничего мне не рассказывал, моею тоже не интересовался. Единственное, что нас сближало, это похождения третьего лица, описанные в книгах любимого доктором автора. Я часто пытался пробиться сквозь те долгие паузы, когда доктор вдруг замолкал, изредка спрашивал о его работе или о пациентах, но ответа на свои вопросы не получал.

Иногда меня это забавляло, а иногда бывало и так, что я терял терпение и раздражался. «Если я ему не нужен, зачем тогда он заезжает за мной в гостиницу?» — спрашивал я себя. Однажды мы с ним ехали проселочной дорогой, и он вдруг остановил машину и ушел в лес, не позвав меня с собой. Я сидел в машине и ждал его, и он вскоре вернулся, но так и не нарушил своего молчания.

Бывали случаи, когда он заговаривал со мной и говорил охотно, с увлечением. Говорил, что нашел в лесу гнездо птицы, которую давно искал, или обнаружил новый вид гриба.

Вытаскивал книгу о птицах или о грибах, лежавшую у заднего стекла. Страницы

этих книг были грязные, захватанные. И одежда у доктора была потрепанная от долгой носки, а машина, в которой мы ездили, казалось, того и гляди развалится.

Когда ему вдруг случалось пускаться в такие разговоры, у меня всегда возникало чувство, что его слова обращены не ко мне. Он знал все длинные научные названия птиц, деревьев, полевых цветов, насекомых. Однажды попалась ему крохотная букашка с тонко окрашенными, почти прозрачными крылышками. Он определил ее и стал распространяться о ней подробно и всесторонне, но, повествуя обо всем этом, не смотрел на меня и как будто не ко мне обращался. Мы остановились у дверей фермерского дома, и, осмотрев своего пациента, доктор ушел на огород за домом, а я вылез из машины и стал во дворе.

Из дома вышла фермерша и заговорила со мной. Вернувшись с огорода, доктор подошел к нам — в руках у него была жаба. Он заговорил о повадках жаб, но и на этот раз обращался не ко мне и не к женщине. Жаба сидела у него на левой пухлой ладони, пальцами правой руки он поглаживал ее. Он смотрел куда-то в сторону и говорил, говорил, а когда фермерша сказала ему что-то, повел себя с ней так же, как и со мной.

Он повернулся и уставился на нее. «Ах, вы здесь? — говорили его глаза.— А что вам, собственно, от меня нужно?»

Взгляд его был устремлен куда-то очень далеко, и фермерша, которую доктор так явно поставил на место, посмотрела на меня поверх его головы и улыбнулась.

— Вот он всегда так,— сказала мне как-то одна женщина. И добавила, что к нему привыкли и на него не обижаются.— Мы знаем, какой он хороший врач,— сказала она.

Недалеко от того места, где стояла наша машина, человек вспахивал поле вдоль дороги. Доктор сидел, сосредоточенно глядя на приближавшуюся к нам упряжку, на отвалы земли, остававшиеся за плугом, и на мускулатуру, игравшую у лошадей на груди.

Пахарь тоже заговорил с доктором, тоже не получил ответа и, поворачивая коней назад, подмигнул мне. Молчание доктора тоже не показалось ему обидным. Когда он был на дальнем конце поля, доктор все еще смотрел на него и на его упряжку, а потом, прежде чем тронуть машину с места, вдруг заговорил.

Но заговорил не со мной. С минуту он сидел, глядя мне прямо в глаза, как глядел в глаза пациента, потом отвернулся и заговорил, опять же будто не со мной. В эти минуты мне казалось, что рядом присутствует кто-то третий, невидимый. Ощущение это было довольно неприятное. Будто тебя оттолкнули в сторону. И когда доктор вот так заговаривал, в его голосе слышалась необычная мягкость. Да и говорил-то он не бог весть о чем: несколько слов о местах, которые были перед нами, о птице, порхнувшей через дорогу, или о цветущем кустике на опушке леса — и снова умолкал. Случалось, что, проведя со мной несколько часов, он вдруг поворачивался ко мне и с удивлением устремлял на меня взгляд. «Ах, вы все еще здесь?» — словно говорили его глаза.

Доктор женился вскоре после того, как начал практиковать в этом городе, и раза два-три мне случалось бывать у них в доме, но не по его приглашению. Я ездил к ним вместе со своим фабрикантом и его женой.

У доктора были две красивые дочери и очень красивая, хотя и несколько величественная жена. Они жили на лучшей в городе улице, в собственном, прекрасно обставленном, многокомнатном деревянном доме. Мой маленький доктор, видимо, хорошо зарабатывал. Он выстроил большой дом на просторной лужайке, у него была дорогая машина, на которой он сам никогда не ездил, старшая его дочь училась в одном из лучших женских колледжей на востоке страны. Как выяснилось после смерти доктора от сердечного приступа, он был застрахован на солидную сумму, что дало его семье возможность и дальше жить в достатке.

Жена его, женщина крупная, с яркой внешностью, возглавляла всю общественную жизнь в городе. Она была полной противоположностью мужу: инициатор, активный член местных организаций, лучшая гольфистка в городе, участница соревнования по гольфу в округе, председатель женского политического клуба, школьного родительского комитета, член общества библиофилов и музыкального клуба. Трудно было представить себе, как и почему она вышла замуж за доктора.

Он принимал больных у себя в кабинете, и приемная до полудня была полна ожидавших своей очереди больных. Ездил с визитами в стареньком «форде» по городу и далеко за город. Принимал младенцев, вправлял сломанные руки и ноги, дежурил

с книгой о насекомых на одной из ближайших ферм, дожидаясь смерти какого-нибудь старика. Ранним вечером возвращался домой после очередного выезда за город. Скоро должно стемнеть. Он останавливал машину на улице около дома и, не выходя из нее, сидел с книжкой по естествознанию и дожидался темноты. Многие горожане видели его там. Они приветливо улыбались, заговаривали с ним, но он не удостаивал их ответом. Когда становилось совсем темно, он осторожно подходил к дому и заглядывал в окно. Если у них были гости к обеду или к его дочерям приходили молодые люди, он тихо удалялся. Часто обедал в каком-нибудь дешевом ресторанчике в нижней части города. Потом заходил к себе в приемную, закрывал за собой дверь кабинета и запирался на ключ. Задергивал занавески на окнах, выходивших на улицу. На телефонные звонки в это время не отвечал. Когда его нашли мертвым в машине, стоявшей у обочины проселочной дороги, на сиденье рядом с ним лежало несколько грибов, а толстая книга о грибах валялась у него в ногах. Делами его занялся один городской адвокат.

Он нашел в кабинете у доктора в небольшом, запертом на ключ сейфе толстую пачку писем. Доктор, видимо, писал их долгие годы. Адвокат взял эти письма к себе и, когда в очередной раз я приехал в их город, попросил меня зайти к нему. Все письма были обращены к одной женщине. В аптекарском магазине на главной городской улице как раз напротив кабинета доктора служила продавщицей миниатюрная, довольно бесцветная женщина, и все письма были обращены к ней. Видимо, за несколько лет до нашего знакомства летними вечерами доктор сидел один-одинешенек у себя в кабинете. Он был уже давно женат, у него были две дочери. Я уверен, что на первых порах после женитьбы он пытался заинтересовать жену своей любовью к природе.

Им владела страсть к познанию ее тайн, он приносил жене свои находки, и, как мне кажется, она пыталась разделить его интересы, но это оказалось делом безнадежным. Ничего у нее не получилось. Все, что для него было одухотворено жизнью, для этой женщины было мертво. Гриб был всего лишь поганкой, птица — птицей. Он не осуждал жену за то, что она ничем таким не интересуется. «Она одно, я другое»,— думал доктор. До конца дней своих он был, как говорится, «верен» ей, работал не покладая рук, чтобы она и обе его дочери, так похожие на мать, с такими же интересами, получали все, что им требовалось от жизни.

Он принадлежал к тому роду людей, которым трудно общаться с другими. Наверно, сидел однажды вечером у себя в кабинете (мне всегда казалось, что сидит он в темноте и смотрит на освещенную главную улицу) и увидел, как в аптекарский магазин входит миниатюрная продавщица.

Он встал со стула, стоявшего у окна. Задернул занавески и зажег свет. И начал писать письмо к ней. Адвокат придерживался того мнения, что доктор не уничтожил своих писем подобно тому, как многие люди собираются написать завещание, но каждый раз откладывают это на завтра. Начал писать и вдруг понял: вот как можно излить душу. После тщательной проверки адвокату стало ясно, что женщина, которой писались все эти письма, понятия не имела о чувстве доктора к ней. Считанные разы, когда ему случалось заходить в аптекарский магазин, он был вынужден заговорить с этой женщиной и грубил ей, а однажды даже довел ее до слез. Он написал об этом в одном из своих писем. И, вернувшись в тот день домой, сам тоже расплакался.

Письма маленького доктора были очень нежные. Так как теперь все они уничтожены, я не стану их цитировать. В них было много бесхитростных рассказов о его открытиях. Несмотря на кажущееся равнодушие доктора к людям, письма обнаружили, что он очень внимательно к ним приглядывался. Он рассказывал о том, как они вели себя в смертную минуту, рассказывал о своих пациентах — мужчинах и женщинах, об их отношениях друг к другу. Хотя в каждом письме он называл эту продавщицу из аптекарского магазина «моя дорогая», о любви к ней в них открыто не говорилось ни слова, и ни разу, ни при каких обстоятельствах, не было там осуждения его жены, а только непрестанные излияния чувств, которые вызывали в нем и люди, и природа. В этих строках сквозила даже подспудная поэтичность, и, читая письма поздно вечером в его кабинете, мы с адвокатом были глубоко тронуты.

Вот человек, вот его жизнь — такая, какой и я, и все, кто его знал, видели ее, как ее понимали его жена и дочери, а вот другая, тайная, которую он вел. Адвокат — почтенный человек с седеющими волосами — прочел все. Писем было по меньшей мере около двухсот. Мы начали читать среди дня, а кончили уже под вечер. Потом пошли

к адвокату домой, спустились в подвал. И сожгли письма в печи. Вышли вдвоем на улицу и вскоре, подчиняясь какой-то внутренней силе, очутились в аптеке.

Хотя час был поздний, миниатюрная продавщица все еще хлопотала там. Аптекарский магазин был поставлен на современную ногу, и там имелся бар, где подавали легкие безалкогольные напитки. Там теснился народ, большей частью молодежь; сидели в кабинках и за маленькими столиками. Мы с адвокатом сели за один из таких столиков далеко от входа.

Миниатюрная продавщица бегала взад и вперед. В этот вечер она, наверно, очень устала, но все же старалась улыбаться. Шутила с гостями. Адвокат рассказал мне, что ее отец был фабричным рабочим и умер несколько лет назад. Осталась мать — полуинвалид, которую дочь, несомненно, содержит. Сидя рядом с адвокатом за столиком в глубине аптеки, я увидел, как эта женщина прошла за стойку, уставленную разным товаром, и остановилась там, невидимая посетителям.

Плечи у нее поникли, и она взялась за голову. Она была олицетворением бесконечной усталости, но через минуту снова забегала от столика к столику, подавая гостям заказы. И снова начала улыбаться. И снова отпускала шуточки.

Мы с адвокатом вышли из аптеки и на минутку остановились на пустой городской улице, глядя друг другу в глаза. Сказать нам было нечего. Мне помнится, что мы смотрели друг на друга так, как всегда смотрел на людей мой маленький доктор. И пожелали друг другу спокойной ночи.

Незабытый

Одна из самых странных вещей на свете — это отношения между отцом и сыном. Теперь я сам в этом убедился, потому что у меня у самого есть сыновья. Надеюсь только, что ни один из них не станет писателем.

Как ужасно, если твой сын вдруг писатель! До чего же мы, авторы, бессовестные люди! Пишу эти слова и думаю, конечно, о своем отце, и, думая о нем теперь, когда я сам стал отцом, считаю его, давно умершего, человеком незабываемым.

Как это опасно, когда писатель — твой собственный сын. Мы, авторы, используем всех подряд. Мы охотимся за сюжетами для рассказов. Мы вырываем людей из той жизни, которой они живут или считают, что живут, и помещаем их в мир, вымышленный нами. Мы и с собственной жизнью поступаем точно так же. Однажды я нехорошо, непорядочно обошелся с одним человеком из Огайо. Он был моим другом, а я вроде предал его. Он на меня рассердился. Мое имя уже пользовалось некоторой известностью в мире, и он пригрозил мне. Заявил, что напишет — пусть все знают, что я за человек.

— Сделай милость, напиши,— сказал я ему.— Набросай начерно и пришли мне. А то я всю эту историю подзабыл.— И подчеркнул, что напишу лучше, чем он. Говорил я это вполне серьезно. Ведь я, признанный рассказчик, знал, что у меня все получится гораздо лучше.

Существуют люди, которые называются у меня «поставщиками». Рассказчик обожает таких людей. Эти люди докладывают вам обо всем, что бы с ними ни случалось. Написать про это они не могут, а рассказывать рассказывают. Вложите перо им в руку, и рассказ тут же исчезает.

Я знал одного такого ирландца в Чикаго. Я год за годом питался «поставками» этого человека и в конце концов загубил его. Он поставил мне столько хороших рассказов, я записал их, продал и под конец устыдился самого себя. Я решил поговорить с ним.

— Почему ты сам ничего не напишешь? — спросил я его. Он стал пробовать и с тех пор только этим и занимается. Ничего у него не выходит. А ведь мог бы добиться успеха в чем-нибудь другом, если бы я не вбил ему в голову, что он может стать писателем.

Работал у меня на ферме один человек, тоже рассказчик. Каких только историй он мне не рассказывал! В таких людях чувствуешь некоторую наивность. По сути дела это простодушные младенцы, простодушно, чистыми глазами взирают они на жизнь. Рассказывают вам замечательные вещи о своих чувствах, о своих делах, о том, что с ними случалось в жизни. Рассказывают все очень понятно, с поразительной простотой. Этот человек жил у меня целое лето, и я на нем хорошо заработал. Записал несколько замечательных историй, бывало, услышу от него что-нибудь, когда мы

работали вместе, тут же бегу домой и записываю все так, как он рассказывал. Потом свалял дурака. В конце лета признался ему во всем, и он стал бояться меня.

А может, он решил, что мне слишком много досталось на даровщинку. Надо было мне держать рот на замке. Вот и лишился хорошего «поставщика». А замечательные истории, которые он мог бы поведать людям с моей помощью, пропали бесследно.

Мальчик всегда ждет чего-то особенного от своего отца. Сколько раз приходится слышать, что отцы ждут от своих сыновей того, что, как им кажется, у них самих не получилось, но, уверяю вас, это бывает и в обратном направлении. Я, например, мальчишкой хотел, чтобы мой отец был таким, каким он не был и не мог быть, то есть человеком гордым, молчаливым, достойным. Когда я бегал в компании других ребят, а он проходил по улице, мне хотелось, чтобы в груди у меня затеплилась гордость.

— Вот он, видите? Это мой отец.

Но он таким не был. Не мог быть таким. В ту пору мне казалось, что отец всегда рисуется. Допустим, затеяли у нас в городе любительский спектакль. Так часто бывало. Скажем, в пользу ВАР — Великой Армии Республики. Спектакль устраивали, чтобы из выручки внести часть арендной платы за помещение, которое эта организация снимала.

Итак, значит, спектакль с участием аптекаря, приказчика из обувного магазина. Коновал тоже всегда играл в этих спектаклях у нас в городе, уж не говоря о молодых женщинах и девицах. Актеров набирали побольше, так чтобы на представления приходили все их родственники. Играли, конечно, комедии.

И мой отец тоже участвовал. Он всегда ухитрялся захватить роль главного комика. Пьеса, скажем, была времен Гражданской войны, и он играл солдата-ирландца. Ему приходилось выделывать самые нелепые штуки. И все считали, что он очень смешной, но я ничего смешного в нем не видел.

По-моему, он был ужасен. Я не представлял себе, как это терпит моя мать. Она даже смеялась вместе со всеми. Я, пожалуй, сам бы посмеялся, не будь он моим отцом.

Или, скажем, идет парад в день 4 июля или в День памяти погибших в войнах. Он и тут поспел. Возглавлял парад. Получал звание Великого маршала или какой-нибудь другой чин и восседал на белой лошади, взятой на прокат в платной конюшне.

Держался он на лошади как собака на заборе. То и дело валился на землю, и тогда все разражались хохотом, но ему было наплевать на это. И, по-моему, даже нравилось. Помню один случай, когда он выкинул нечто несусветное, да на главной нашей улице, и я этого не стерпел. Я был в компании с другими мальчишками, они все смеялись и что-то кричали ему, он тоже кричал им в ответ и веселился не меньше их. Я убежал. За магазинами на главной улице у нас начинался проулок, и туда я и кинулся. Позади пресвитерианской церкви стояли загородки, куда приезжие ставили своих лошадей на время церковной воскресной службы. Туда я и забился. И долго плакал там.

Или вечером, когда я уже лежал в постели, отец приходил домой немного навеселе и приводил с собой гостей. Этот человек один никогда не бывал. Около него всегда кто-то увивался. До того, как он потерпел крах со своей шорной лавкой, у него в этой лавке всегда торчал кто-нибудь из приятелей. А разорился он, конечно, потому, что слишком много отпускал в кредит. Никому не мог отказать и, как я считал, ничего не смыслил в делах. Просто был глупый. Я его ненавидел. Я лежал наверху в передней комнате маленького домика, где мы жили, а он приводил с собой своих приятелей и устраивался с ними у нас на веранде.

В этой компании встречались люди, которым, по-моему, нечего было водиться с ним, а вот водились. Здесь мог оказаться даже заведующий городским отделом образования и хозяин скобяной лавки — человек скромный, тихий. Помню, как-то раз видел я там и седовласого кассира из банка. Меня изумляло, что они не стесняются знаться с таким пустомелей. Каковым я и считал отца. Теперь я знаю, что́ их влекло к нему, а тогда не знал. Теперь я догадываюсь, что жизнь в нашем городке, как и во всех маленьких городках, часто тянулась нудно, а он оживлял ее. Он смешил их. Он был мастер рассказывать разные истории. Эти люди даже пели вместе с ним. Если они собирались не у нас дома, то он уводил их вечером куда-нибудь к реке, на травку. Они занимались там стряпней, пили пиво. Сидели вокруг него кружком и слушали, что он рассказывает. Теперь-то я знаю, что почти все его рассказы были чистейшие выдумки.

Рассказывал он всегда от первого лица. Рассказывал про разные чудеса, которые с ним случались. И нередко выставлял себя чудаком. Но его это мало беспокоило. Если история была интересная, он ее вам рассказывал.

Вот, например, приходит к нам в дом ирландец. Отец тут же заявляет, что он тоже из ирландцев. Говорит, из какого графства родом. Рассказывает, какие приключения у него случались в детстве. И все это кажется таким подлинным, его детство в Ирландии расцвечивается такими подробностями, что не знай я, из каких он мест — из одного южного округа в Огайо,— сам поверил бы ему.

Если гостем был шотландец, повторялось то же самое. Он становился шотландцем. Даже «ррр» у него звучало раскатисто. Превращался и в немца и в шведа. В кого угодно, под стать своему собеседнику.

Теперь я думаю, что все знали, какой он враль, но тем не менее хорошо к нему относились. Но мне, мальчишке, это было совершенно непонятно.

А моя мать? Как она могла терпеть такое? Я хотел спросить ее об этом, но так и не спросил. Боялся спрашивать. Она была из тех, к кому с таким вопросом не сунешься.

Я лежал в постели у себя в комнате над верандой, а отец разглагольствовал внизу. У него было много всяких рассказов из времен Гражданской войны. Послушать моего папашу, так он участвовал чуть ли не в каждом сражении тех лет. Знал Гранта, Шермана, Макферсона, Шеридана и мало ли кого еще. Особенно был дружен с генералом Грантом, так что, когда Грант двинулся на восток принять на себя командование всеми армиями, он взял отца с собой.

— Я был ординарцем при штабе, и Сэм Грант сказал мне: «Эрв,— сказал он,— я возьму тебя с собой».

Они с Грантом, бывало, уединялись и выпивали потихонечку. Так уверял мой отец. Еще был у него рассказ, как в тот знаменательный день, когда Ли решил капитулировать, Гранта нигде не могли найти.

— Про книгу генерала Гранта, про его «Воспоминания», вы слыхали? — говорил мой отец.— Читали ее, а? Помните, как он пожаловался на головную боль, а только ему доложили, что Ли готов просить пардону, как у него вдруг сразу все прошло чудесным образом.

— Гм! — хмыкал мой отец.

— Мы с ним в лесу тогда были,— говорил он.

— Сижу я тогда в лесу, прислонившись к дереву. Сильно под мухой. При мне бутылка с весьма крепким содержимым. Я нашел ее в одном доме.

Так вот, сижу я в лесу, а Гранта тогда везде разыскивали. Он ехал по дороге верхом, слез с лошади и заходит в лес. И тут натыкается на меня. А понадобилось ему... ну, знаете, по нужде. И весь заляпан грязью.

А у меня в руке бутылка. Сижу, привалившись к дереву. Сам черт мне не брат. Война кончилась. Я знал, что мы их расколошматим.

Мой отец говорил, будто это он и сказал Гранту, что Ли готов капитулировать. Рассказывал, будто шел по дороге, спрятав бутылку под мундир, и встретил какого-то ординарца верхом, который все ему и выложил. Отец говорил, будто этот ординарец знал, что они с Сэмом Грантом друзья-приятели.

Вот в этом лесу он все и рассказал Гранту, и Грант смутился: «Да ты погляди на меня, Эрв! Я же весь заляпан грязью!»

И тогда, рассказывал мой отец, они с Грантом решили выпить. Он говорил, что они малость выпили, а потом, не желая, чтобы Грант предстал пьяным перед всегда подтянутым Ли, отец встал и разбил бутылку о то самое дерево.

— Сэм Грант теперь в могиле, и мне хотелось бы, чтобы все про это узнали,— говорил мой отец.

Вот такие истории он рассказывал, и те, кто сидел вокруг него, знали, что все это враки, но тем не менее слушали с удовольствием. Над ним потешались, а ему было на все наплевать. Однажды кто-то решил вести за ним подсчет. Они сидели как-то вечером всей компанией то ли у лавок, то ли у нас на веранде, и отец рассказывал, сколько лет он прожил там-то, сколько в другом месте, сколько в третьем. Его послушать, так во всей стране не было ни штата, ни города, где бы он не побывал.

— Я там три года проработал,— говорил он. В другом городе пять лет, еще где-то десять. Всему этому подвели итог. Его все звали Майор, хотя он никогда майором не был. «Майор,— говорят ему.— Мы за вас все подсчитали. Получается, что вам

сто восемьдесят лет». Думаете, это его рассердило? Как бы не так! Он рассмеялся вместе со всеми.

Мы разорились в пух и прах, и думаете, отец хоть раз принес что-нибудь домой? Как бы не так! Если дома есть было нечего, отец шел гостевать. Он обходил все фермы поблизости от нашего города. И везде был желанным гостем. Иной раз пропадал из дому по неделям, и мать работала, чтобы прокормить нас, а потом он являлся домой и приносил, ну, скажем, окорок. Подарок знакомого фермера. И шлепал его на кухонный стол.— Можете не сомневаться, уж я позабочусь, чтобы моим ребяткам было что перекусить,— а мать стояла, смотрела на него и улыбалась. Она ни словом не поминала те недели и месяцы, когда он уходил из дому, не оставив нам ни цента на прокорм. Как-то раз я слышал, как мать разговаривала с одной женщиной на улице. Наверно, эта женщина осмелилась посочувствовать ей.— Да нет, у нас все хорошо,— сказала моя мать.— Вы не беспокойтесь. Он не такой скучный, как большинство мужчин на нашей улице. Когда он рядом, с ним не соскучишься.

Вот я наверху, у себя в комнате, отец внизу, на веранде, в своей обычной компании. Стоит летний вечер. Он плетет свои небылицы. Тогда я этого не понимал, а теперь знаю, что отец никогда ничего такого не придумывал, что бы было кому-нибудь в ущерб. Ему просто хотелось развлечь людей, рассмешить их. Он знал, как горько приходится в жизни почти каждому, кто живет на земле. У него, по-моему, было стремление приукрасить жизнь, немножко тронуть ее кое-где краской. Я думаю, ему хотелось сделать ее поярче, и, по-моему, мать это знала.

Я лежал у себя наверху и не спал. Меня часто брало зло, когда я слушал, как отец разглагольствует внизу, и мне часто хотелось, чтобы он не был моим отцом. И тогда я придумывал себе другого отца.

Конечно, мою мать надо было оградить от осуждения. Я сочинял истории о тайном браке, о котором по каким-то непонятным причинам никто так и не узнал. Например, какой-то человек, скажем, председатель правления железнодорожной компании, а может, конгрессмен, женился на моей матери, считая, что его жена умерла, но потом вдруг выяснилось, что она жива.

Значит, им пришлось сохранить свой брак в тайне, а тем временем я все-таки родился. И выходит, я не сын своего отца. Существует где-то в мире таинственный, весьма достойный, замечательный человек, который и есть мой настоящий отец. Понимаете? Я даже самого себя почти заставил верить в эти фантазии.

И вот помнится мне один вечер. Матери дома не было, и пришел отец, пришел один. Он пропадал где-то недели две-три. И застал дома меня одного.

Он тихо вошел на кухню; на улице хлестал дождь. Может быть, в тот вечер в церкви шла служба, и мать была там. Я один сидел на кухне. На столе у меня лежала книга, я сидел и читал.

И вот входит мой отец. Он шел под дождем и был весь мокрый. Он сел и посмотрел на меня, и я испугался, потому что в тот вечер в лице у него была тоска, такой тоски я никогда ни у одного человека не видал. Он долго сидел так, глядя на меня, и не говорил ни слова.

И тут со мной что-то случилось.

Бывают дни, когда мальчишку охватывает такая лютая, неизвестно откуда взявшаяся тоска, что, кажется, больше ему жить нельзя. Нет, думает он, лучше умереть. Такая тоска приходит большей частью в дождливые дни или осенью, когда с деревьев опадают листья. Ничего особенного в этом нет. Просто мальчику становится тоскливо. Так вот, отец пришел в дождливый летний вечер. Он был грустный, и, глядя на него, я тоже затосковал. Он долго сидел так, не говоря ни слова, а с него все капало и капало. Должно быть, он долго шел под дождем. Он встал со стула.

— Пойдем. Пойдем со мной,— сказал он.

Я встал и вместе с ним вышел из дому. Я был сам не свой от удивления, но хотя он вдруг показался мне каким-то чужим, это меня ничуть не испугало. Мы пошли по улице. В то время мы жили в желтом деревянном домике совсем на городской окраине. В этом домике мы жили недолго. Нам приходилось то и дело переезжать с места на место. Однажды я слышал, как моя мать сказала отцу: «По-моему, нам пора менять жилье»— сказала она. Она сказала, что мы задолжали хозяевам за три месяца, а платить нечем. Она не бранила отца. Она даже посмеивалась. Она просто считала, что это в порядке вещей: если за жилье давно не плачено, значит, надо переезжать.

Я шагал рядом с отцом, город остался позади. Мы вышли на грунтовую дорогу. Эта дорога вела на взгорье, мимо полей и рощиц, потом спускалась с холма вниз, в небольшую долину за милю от города — туда, где был пруд. Мы шли молча. Тот, кто всегда любил поговорить, теперь не говорил ни слова.

Я не знал, что он задумал, и у меня было такое чувство, что со мной рядом идет чужой человек. Теперь я не знаю, так ли отец все задумал или нет. Вряд ли, конечно. Этот пруд за чертой города был довольно большой. Речка, впадавшая в него, была перегорожена плотиной, и принадлежал он человеку, который торговал льдом у нас в городе. Мы остановились на берегу. Мы подошли туда молча. Дождь все еще лил, сверкала молния, сопровождаемая ударами грома. Мы стояли на заросшем травой берегу, и тут отец вдруг заговорил. В темноте, под дождем голос его прозвучал странно. Это было единственный раз за весь вечер, что он обратился ко мне.

— Разденься,— сказал он. И все еще сам не свой от удивления, я начал раздеваться. Сверкнула молния, и я увидел, что отец уже стоит голый.

И вот так, голые, мы вступили в воду. Он ничего больше не сказал, ничего не объяснил мне. Взяв меня за руку, он подошел вместе со мной к краю пруда и подтолкнул меня вперед. Может, я испугался, может, был сам не свой от необычности происходящего, но я молчал. До этого дня отец будто и не обращал на меня внимания.

«Что он теперь задумал?» — спрашивал я себя. Получалось так, что этот человек, мой отец, которого я не признавал своим отцом, вдруг возымел какую-то власть надо мной.

Я испугался, но испуг у меня сразу прошел. Мы стояли в воде в полном мраке. Пруд был большой, плавал я не очень хорошо, но отец положил мою руку себе на плечо. И все так же, молча, ринулся в темноту.

Он был человек плечистый и плавал прекрасно. Я чувствовал в темноте, как у него ходят мускулы. Дождь заливал нас, дул ветер, и следом за вспышками молний раздавались раскаты грома.

А мы все плыли, и я не знаю, сколько это продолжалось. По-моему, несколько часов. Мы доплыли в темноте до противоположного берега и возвращались обратно к тому месту, где была наша одежда. Дождь хлестал нам в лицо. Иногда отец поворачивался и плыл на спине, и тогда он брал мою руку в свою, большую, сильную, и клал ее себе на плечо, и. плывя рядом с ним, я смотрел ему в лицо. Ударяла молния, и его лицо было ясно видно мне.

Оно было такое же, с каким он вошел к нам на кухню, где я сидел за книгой. Лицо, исполненное тоски. Мимолетный проблеск его лица, а потом снова тьма, ветер и дождь. У меня было такое чувство, какого я не испытывал до этого дня.

Чувство близости. Странное чувство. Будто мы двое только и были во всем мире. Будто меня одним рывком выдернули из самого себя, из мира, в котором живет школьник, из того мира, где я стыдился собственного отца, сорвали с того места, откуда я вершил суд над собственным отцом.

Мы стали единокровными. Я почувствовал это. Он был сильный пловец, а я всего лишь мальчишка, цепляющийся за него в темноте. Мы плыли молча, так же молча надели мокрую одежду и вернулись той же дорогой в город и к нам домой.

Странным стал для меня наш дом. Вот маленькая веранда, где столько вечеров сиживал со своими знакомцами мой отец. Вот дерево у родника и навес позади него. Вот зажженная лампа, и, когда мы вошли на кухню, мокрые до нитки, вот моя мать. Такая же, как всегда. Мать улыбнулась нам. Помню, она назвала нас «мальчики».— Что вы такое придумали, мальчики? — спросила она, но отец не ответил ей. Так же молча, как он начал в тот вечер испытывать меня, так же молча он и кончил это испытание. Он повернулся, посмотрел мне в лицо и вышел из кухни с каким-то новым для него, необычным чувством собственного достоинства.

Он ушел в свою комнату снять промокшую одежду, а я поднялся наверх в свою. Я разделся в темноте и лег в постель. Я все еще был во власти того чувства, которое овладело мною в темноте в пруду. Заснуть я не мог, да мне и не хотелось спать. Впервые я понял, что я сын своего отца. Он был рассказчик, и мне тоже предстояло стать рассказчиком. Очень может быть, что в ту мою детскую ночь я даже тихо посмеивался, лежа на кровати в темноте. Если так, значит, посмеивался я, твердо зная, что сколько бы мне, рассказчику, ни пришлось выводить его в моих рассказах, я больше никогда не буду мечтать о другом отце.

Большая рыба

Должно быть, все дети актеры. На нашей улице жил мальчик, который болел суставным ревматизмом. Так эта болезнь называлась. Ему не разрешали посещать школьные занятия.

Но ходить он мог. Мог ловить рыбу на речке или в заводи на пруду. На этом пруду было такое место, где весной вода перекатывала через плотину и образовывала глубокую заводь. Место было хорошее. Иногда там шла на удочку отличная рыба.

Однажды весенним утром я завернул туда по пути в школу. Мне было совсем не по дороге, но я хотел посмотреть, не сидит ли там Уолтер.

Там он и сидел как ни в чем не бывало с этим своим суставным ревматизмом. Сидел с удочкой в руках. И, должно быть, прекрасно дошел туда.

Вот тогда ноги у меня и заныли. И в спине тоже заныло. В школу я все-таки пошел, но на перемене начал плакать. Особенных болей у меня не было. Учительница Сара Саггетт вышла на школьный двор.

Она тут же подошла ко мне.

— Что с тобой, Шервуд? — спросила она.

— У меня все болит,— сказал я. И правда, у меня все болело. А сам плачу, и это, конечно, подействовало.

— Тогда иди домой,— сказала она.

И я ушел, припадая на больную ногу. И припадал до тех пор, пока не свернул с улицы, на которой стояла школа.

Тогда мне полегчало. Суставной ревматизм все еще мучил, но идти стало легче.

Я пришел домой и не сказался матери. Наверно, по дороге кое-что обдумал.

Пожалуй, не стоит ей жаловаться на суставной ревматизм: может, при такой болезни опухают. Хотя я не заметил, чтобы Уолтер был опухший, подумал я.

Я решил, что надо сходить на то место, где сидит Уолтер, и разузнать у него про эту болезнь, но когда пришел туда, Уолтера там уже не было.

«Наверно, сегодня клева нет»,— подумал я.

Я боялся, что стоит мне только заикнуться о суставном ревматизме, как моя мать или братья и сестра Стелла поднимут меня на смех. Они частенько надо мной потешались, а я этого терпеть не мог.

«Ну и пусть,— сказал я самому себе.— Все равно я больной». И у меня опять все заныло и заболело.

Я вернулся домой и сел на ступеньки переднего крыльца. Я сидел там очень долго. Дома у нас никого не было, кроме матери и двух меньших. Рэю тогда было, наверно, года четыре-пять, а Эрву, по-моему, три. Мне надоело сидеть на ступеньках, и я улегся на крыльце.

Увидел меня там Эрв. Эрв был у нас мальчуган тихий, серьезный.

Он, должно быть, что-то сказал матери, потому что вскоре она вышла на крыльцо.

— Что с тобой? Почему ты не в школе? — спросила она.

Я чуть было не выложил ей, что у меня суставной ревматизм, но вовремя спохватился. Как раз накануне отец с матерью обсуждали за столом болезнь Уолтера.

— Это на сердце отражается,— сказал отец.

Я вспомнил его слова и испугался.

«Так и умереть можно»,— подумал я. Когда мать спросила меня, почему я не в школе, мне сразу стало хуже. Вдруг сердце перестанет биться, вот и помру здесь, на месте. А накануне я бегал наперегонки с моим братом Эрвом.

Мы с ним пошли после уроков на ярмарочную площадь, а там была круговая дорожка с полмили длиной.

— Спорим, ты полмили не пробежишь. Спорим, я тебя обгоню на этой дорожке,— сказал он.

Мы побежали, и я его обогнал, но потом сердце у меня ужасно колотилось.

Я вспомнил про это, лежа на крыльце.

«С моим-то суставным ревматизмом! Просто чудо, что я не свалился замертво!» — подумал я.

Эта мысль ужасно меня напугала. И все во мне заныло хуже прежнего.

— Мама, у меня все ноет. Сам не знаю почему. Ноет и ноет,— сказал я.

Она велела мне идти домой, подняться наверх и лечь в постель.

Это было уже хуже. День был весенний.

Я провалялся в постели то ли час, то ли два часа, и тогда мне полегчало.

— Мама, у меня прошло,— сказал я.

Мама сказала:

— Вот и ладно.— Она была чем-то занята в тот день и не очень-то обратила на меня внимание. Отправила меня наверх, в постель, и даже не поднялась посмотреть, как я там.

Пока я лежал наверху, меня это мало беспокоило, но когда я спустился вниз и сказал, что все прошло, а она сказала: «Вот и ладно» — и не только ничего не добавила, а снова занялась своими делами, вот тогда у меня опять все заныло.

Я подумал: «На спор иду, что помру. Обязательно помру».

Я вышел на переднее крыльцо и сел там. Я был очень сердит на маму.

«Если бы она знала, что у меня суставной ревматизм и что это отражается на сердце, а значит, я в любую минуту могу свалиться мертвым, ей бы тоже было все равно»,— подумал я.

Чем больше я думал об этом, тем становился все злее и злее.

«Я знаю, что мне делать,— подумал я.— Пойду рыбу удить».

Я подумал, что если пойти удить рыбу в таком настроении и сесть на высоком берегу как раз над глубокой заводью, где вода перекатывается через плотину, то сердце у меня перестанет биться.

И тогда я, конечно, свалюсь с берега в пруд и если не умру от удара о воду, то уж утону-то наверняка.

Наши придут домой к ужину и хватятся меня:

— А где Шервуд?

Тогда мама вспомнит, что я пришел из школы совсем больной.

Она поднимается наверх, а меня и там нет. В прошлом году в бочке у родника утонул один мальчик. Он был из семьи Уайэттов.

В конце улицы под березой у нас был родник, и там была вкопана в землю бочка.

Все говорили, что родник надо огородить и подвести под крышу, но он так и оставался неогороженный.

И вот маленький сынишка Уайэттов бегал там один, заигрался, упал в бочку и утонул.

Нашла утопленника моя мать. Она пошла с ведром за водой и видит: утонул ребенок и уже мертвый.

Это случилось вечером, когда мы все были дома, и мама бегом бежала по улице с мертвым ребенком на руках, и с него лила вода.

Она во весь дух бежала к дому Уайэттов и была вся бледная.

Вид у нее был ужасный. Это мне запомнилось.

Значит, подумал я, они меня хватятся и начнут искать. Может, кто-нибудь проезжал по дороге мимо заводи, видел, что я сижу на берегу с удочкой, и скажет об этом.

Тревога поднимется страшная, весь город выйдет на поиски, и заводь обследуют тралом.

Однажды уже было, что там купался какой-то мальчик и утонул, и тогда всю заводь обследовали. Я сам этого не видел, но слышал.

Мне было страшно весело от того, что я умер. Мой труп найдут и вытащат из глубокой заводи, и тогда мама, может, схватит меня на руки и побежит к дому, как она бежала с сынишкой Уайэттов.

Я спустился с крыльца и зашел за кусты, росшие у нас во дворе. Взял там свою удочку и побежал к заводи под плотиной. Мама была чем-то занята, это уж как всегда. Она не видела, как я исчез. Я прибежал туда и решил, что лучше садиться подальше от края высокого берега.

К тому времени боли у меня почти совсем прошли, но я подумал: «А кто его знает, этот суставной ревматизм».

«Может, он то схватывает, то отпускает»,— подумал я.

«Уолтер-то болен, а сам на рыбалку ходит»,— подумал я.

Я забросил леску в заводь и вдруг почувствовал, что клюет. Клюнула какая-то громадина. У меня такого клева никогда не было.

Я знал, что это за рыба. Это был один из крупных карпов мистера Фенна.

Мистер Фенн — это тот самый, кто сделал у себя собственную большую заводь. Летом он торговал льдом, а лед брал в заводи. Он купил несколько крупных карпов

и пустил их туда, но ранней весной во время сильного паводка плотину у него прорвало.

Так что эти громадные карпы попали к нам в речку, а один-два уже попались на удочку, но, конечно, не такому мальчишке, как я.

Карп тянул на себя, и я тянул на себя. Я боялся, как бы он не оборвал мне леску, и взял да и скатился вниз по высокому береговому откосу, не выпуская лески из рук, и угодил прямо в воду.

Там в воде мы с этой рыбиной и схватились. Мы дрались изо всех сил. Боролись что есть мочи, но я изловчился запустить ему руку под жабры и вытащил его из воды. Ну и громадина же он был! Мне по пояс длиной. Я выволок его на берег и, не отпуская руки из-под жабр, бросился бежать.

Так быстро я еще никогда не бегал. Карп был скользкий и то и дело начинал извиваться, вырываясь у меня из рук. Раз я споткнулся, упал на него, но до дому все-таки дотащил.

Вот так все и было. Я стал героем дня. Мама достала стиральную лохань, налила в нее воды и пустила туда карпа, и все наши соседи приходили посмотреть на него.

Я переоделся во все сухое, и мы сели ужинать. Тут меня и прорвало. И я загубил весь тот день. Но моя сестра и мои братья только этого и ждали.

Им хотелось утереть мне нос: я, видите ли, слишком выставлялся перед ними. Сидим мы все за столом, и отец вдруг спрашивает, что такое со мной случилось в школе.

Оказывается, он на улице встретил нашу учительницу, Сару Саггетт, и она сказала ему, что мне стало плохо на перемене.

— Что с тобой было? — спросил отец, и, не сообразив, что я такое говорю, я ляпнул:

— У меня был суставной ревматизм,— сказал я, и тут все так и грохнули. И, слушая их хохот, я, кажется, опять заболел.

У меня все заныло, и я, дурак, заревел.

— Ревматизм у меня, суставной ревматизм! — закричал я, выскочил из-за стола и убежал наверх.

Я пролежал там, пока мама не пришла. Я знал, что теперь конца не будет припоминаньям про мой суставной ревматизм, и вправду заболел, но ныла у меня теперь совсем не спина.

Наша утренняя перекличка

Люди. Они проходят перед тобой по ночам. Вот, например, был такой Фискал Пит. Мужчина крепкого телосложения, холостяк, жил со своей старухой матерью. То и дело нанимался в солдаты, но в Великую Армию Республики его не брали. Мой отец и другие старые служаки говорили про Пита — мол, схватит пособие, и наутек.

Он был человек веселый, задиристый, чуть что — лез в драку. Весной работал на огороде у матери, но потом весь год ничего не делал. Его мать, видимо, жила на небольшой доход.

Весной он набирал в корзинку ранних овощей, отправлялся с ними вдоль железнодорожного пути и доходил до нашей главной улицы. Он рассчитывал выменять их на утреннюю порцию виски у хозяина какого-нибудь салуна. Он орал во весь голос. Он хохотал. Он распевал песни.

— Зачем прибедняться, когда весь мир может стать твоим за десять центов! — кричал он. Десять центов была обычная цена за порцию виски в салуне.

Фискал Пит и начал проводить у нас утреннюю перекличку. Изображать в карикатурном виде моральный облик некоторых наших сограждан. И наводил ужас на весь город.

Дом его матери стоял на городской окраине, и рано утром, в расчете на выпивку, Пит шел вдоль железнодорожного пути и выходил на главную улицу. В городе царила тишина. Могло это быть и весенним, и летним, и осенним утром. Фискал Пит шествовал с важным видом, поблескивая глазами. Бородка у него была короткая, черная, «генерал-грантовская», и курил он глиняную трубку с коротким черенком. Табачный дым клубился в его бородке точно облако в горной чаще.

В то время на завтрак людям подавали мясо с жареной картошкой. Наши городские хозяюшки по старинке любили жарить-парить. Приверженцев наимоднейшего апельсинового сока, гренков и кофе тогда у нас не было.

Наши горожанки брали в ближайшей мясной лавке кусок недорогой огузочной части. Где-нибудь на окраине каждого среднезападного городка обязательно была бойня, кишащая крысами и мухами, в окружении пустыря, заваленного костями старых коров. Женщины приносили куски недорогого мяса домой, клали их на разделочную доску. И начинали колотить по ним молотком. Стучали кто во что горазд. Барабанная дробь стояла такая, будто тут работала добрая сотня дятлов.

Фискал Пит появлялся вдали у железнодорожных путей. Видно, на кого-нибудь ему уже донесли. Это мог быть служащий банка или так кто-нибудь — ни то ни се. А случалось, и человек, который учит детей в воскресной школе при одной из наших церквей.

В городе у нас, как и во всех других городах, были определенные женщины и девицы. Назывались они «дамочки». Они «туляли». Мужчины встречались с ними по вечерам на боковых улочках. Автомобилей тогда и в заводе не было, но почти каждый человек в нашем городе держал лошадь с легкой коляской.

«Дамочку» подхватывали и сажали в коляску. Увы! Нередко подхватывал ее какой-нибудь почтенный женатый обитатель нашего города. «Дамочку» увозили в тихое местечко, куда-нибудь за город. Вот такие-то дела!

И еще раз — увы! Об этом уже успели шепнуть Фискалу Питу. Приказчики из лавок на главной улице, кончив подметать пол в самих лавках, теперь подметали тротуары перед лавками. Кто-нибудь из них подавал голос. Имя человека, который, как ему казалось, тайно свиделся накануне вечером с Салли Грейвс на темной улице возле церкви Адвентистов Седьмого дня, усадил ее в свою коляску и уехал с ней в темноту, теперь разносилось по всему городу:

— Джон Хантингтон!

Горе тебе, несчастный Джон! Ты думаешь, никто не видел, как ты усадил к себе Салли, да?

Один из приказчиков был человек очень уж зловредный.

— Джон Хантингтон!

Это имя, провозглашенное громогласно, пролетало по тихим утренним улицам нашего городка, и хозяйки, отбивавшие мясо к завтраку, переставали барабанить. Они кидались к кухонным дверям в ожидании, что с железнодорожных путей до них донесется ответный возглас Фискала Пита.

И вот, пожалуйста:

— Са-а-лли Грейвс!

Приказчики встречали это имя громовым хохотом.

— П. Т. Смит!

Ответный возглас:

— Мэри Томпсон!

Бедная Мэри была хромоножкой. Она не ходила, а ковыляла. И вот так, ковыляя, забиралась по ночам в темные коляски мужчин — и весьма солидных, и тех, кто помоложе.

— П. Т. Смит.

— Мэри Томпсон.

Все это было довольно жестоко. Фискалу Питу приходилось участвовать в бесконечных драках, но он относился к этому спокойно. Великая Армия Республики не желала его брать. Воинская репутация Пита была подмочена. Вот он и развлекался. Мстил кому следовало. Люди, которые докладывали ему о всех грязных делишках в городе, всегда находились.

В окружном городе был дом, которым заправляла некая Молл Хантер. И вот оступился один весьма уважаемый у нас человек. Однажды ночью он отправился туда тайком. Надеялся, что все сойдет — будет шито-крыто.

Теперь он сидит у себя дома, ждет, когда ему подадут завтрак, но, услыхав раскатистый голос Фискала Пита, доносящийся с железнодорожных путей до тихих утренних улиц, начинает трястись всем телом.

Неужели кто-нибудь видел, как он шмыгнул в тот дом под покровом ночи?

Оглашались имена почтенных граждан нашего города. У лавок на главной улице

с метлой в руке стояли теперь двадцать — тридцать приказчиков. Если кто-нибудь из них выкликнет его имя, будет трудно, а то и невозможно опознать подлеца по голосу.

— А. Г. Боттомли.— Боттомли сказал жене, что ему надо съездить в окружной город по делам.

И тут — матерь божия — вот оно!

— А. Г. Боттомли! — И ответный вопль Фискала Пита:

— Молл Хантер!

С ума можно сойти! К вечеру на главной улице завяжется драка, но Фискалу Питу все нипочем. Он обожал драки. И почти всегда выходил из них победителем.

Фискал Пит шел вдоль железной дороги, мимо железнодорожной станции, выкликая имя за именем, частенько сочетая имена почтенных наших граждан с именами женщин, пользующихся дурной славой. Если время было весеннее, он нес свою небольшую корзинку с овощами. Шел человек, довольный собой, довольный жизнью. Он сеял смуту в городе. Он затевал драки. Он сводил счеты с жизнью. Он выходил на главную улицу и становился лицом к приказчикам, выстроившимся перед лавками. Он подносил к губам руку, изображая трубу. Его голос раздавался по всей улице, вызывая громкие раскаты смеха. Мужчины, имен которых Фискал Пит не называл в этой утренней перекличке, надрывались от хохота. Женщины, мужья которых не были упомянуты, хихикали, снова принимаясь колотить мясо. Древнее побуждение человека наслаждаться бедами своих ближних сотрясало город хохотом.

Вытянувшись во весь рост, точно солдат, стоял Фискал Пит в самом начале нашей главной улицы. Рука у него трубой была поднесена ко рту.

— Получили по заслугам? — За раскатами его голоса, замиравшими вдали, следовали взрывы смеха. Утренняя перекличка подошла к концу, и трое-четверо наших сограждан тряслись от страха в ожидании суда людского.

Землевладелец

Когда я был еще мальчишкой, одним из нескольких сыновей в очень бедной семье в среднезападном американском городке, то некоторое время работал разносчиком газет, и среди моих клиентов, которым я ежедневно доставлял газету, поступавшую к нам из соседнего большого города, была одна маленькая старушка.

Старушка эта, как я узнал позднее, тоже коротала свои дни в большой бедности. Впрочем, у нее, вероятно, был небольшой доход из неизвестного нам источника, хотя жила она в своем домике очень одиноко. Существование это было убогое, каждый пенни на счету. Она ютилась совсем одна в деревянном домике рядом с другими деревянными домами на этой улице, и возле ее дома был пустырь, где росло несколько старых яблонь-дичков. В комнатах у нее всегда было прибрано, всегда чисто, но зимние месяцы она проводила на кухне. Это чтобы сэкономить топливо. Она только кухню и отапливала в доме.

Среди таких старушек часто попадаются люди замечательные. Они стареют терпеливо, в безмятежном покое, их морщинистые старческие лица часто светятся необычной красотой. На долю мужчин такая красота выпадает значительно реже. Бывает, какая-нибудь старушка еле влачит свою дряхлую плоть, ступает с трудом, тело у нее изуродовано болезнью, но старческие глаза все еще живо поблескивают, может быть потому, что современная жизнь не так гнетет женщин. Такая мысль часто приходила мне в голову. Женщины—творцы. Их тела дают жизнь детям. Может быть, им дано чувство свершения, то, что не часто дается нам, мужчинам.

— Вот смотри. Мое дело сделано. Теперь я состарилась, устала, но есть же другие — есть мужчины и женщины, есть семена, которые я взрастила в своем теле. Они ушли от меня, но они живы, они где-нибудь в мире. А это — я. И я не только жила, я дала жизнь другим.

Старушка, о которой я говорю, часто зазывала меня к себе в дом. В холодные или дождливые дни она стояла в дверях кухни, дожидаясь моего прихода. Она получала вечернюю газету, а поезд из соседнего города иногда запаздывал. Она ставила на кухонное окно керосиновую лампу. И окликала меня:

— Заходи, мальчик. Обсушись немного. Погрейся у плиты.— У нее был приготов-

лен пирог, или она угощала меня печеньем. Она была крошечного роста и, когда я стоял у плиты, подходила и обнимала меня за плечи худенькой старческой рукой.— Как хорошо быть молодым, вся жизнь у тебя впереди,— говорила она, улыбаясь, и отсветы огня плясали в ее старческих глазах.— Я знаю, ты вырастешь прекрасным человеком. Чувствую, знаю наверняка,— добавляла она, и я упивался этими словами. Выходя из ее дома, я весело припускал бегом по тесным вечерним улицам нашего городка и, сунув руку в карман куртки, обнаруживал, что, обнимая меня за плечи, она ухитрялась подложить мне еще несколько печеньиц.

Она умерла и проставила мое имя в своем завещании. Как я гордился этим! Дом и вся его обстановка отходили ее сыну-механику, жившему далеко от нашего города, но пустырь возле своего дома, где росли старые яблони-дички, она завещала мне.

Это был дружеский жест. Дружеский потому, что мои ежедневные посещения ее дома нарушали в нем одиночество. Потому, что ей хотелось, чтобы я вспоминал ее и думал о ней после ее смерти. Для меня это было делом огромной важности. Ведь завещание следовало провести через утверждение судом. Слово «утверждение» я узнал от одного из наших городских адвокатов, которому тоже доставлял ежедневную газету. Мою фамилию огласят в суде. Меня вызовут подписать какой-то документ. Я ходил по улицам, горделиво выпятив грудь.

Мало того. Я стал землевладельцем, земельным собственником. Я повел кое-кого из своих приятелей посмотреть мой участок. Среди них был один мальчик, сын бакалейщика.— Понимаешь, Герман, у твоего отца лавка, а у тебя ведь ничего нет.— Стояла осень; мелкие дикие яблочки росли на старых дичках и валялись в высоком бурьяне. Я расщедрился: — Угощайся, Герман. Набивай карманы. Мне не жалко.— Я и собственные карманы набил яблоками, принес их домой и потребовал, чтобы мать испекла мне яблочный пирог, и когда пирог был готов, завладел им и стал отрезать братьям и сестрам по небольшому клинышку. Пирог был не общий. Пирог был мой, с начинкой из яблок с моих собственных яблонь, которые росли на моей собственной земле. Каким я стал непомерно щедрым! Щедрость, с какой я распоряжался своей собственностью, наградила меня новым и очень приятным чувством. Я повел своих братьев посмотреть мой участок, но они отнеслись к нему с презрением.— Подумаешь! — сказал один из них.— Деревья-то старые, какая от них польза.

— А вон там, в самом конце, где уклон к речке, там топко. Болото начинается.

Этого я не мог перенести. Я подрался со своим братцем. Мы с ним стояли под моей яблоней, и я дубасил его кулаками, а наш младшенький стоял на тротуаре перед моим участком и плакал.

С сестрой, которая была на два года старше меня и, по-моему, рассуждала обо всем разумно, дело обошлось лучше. Голова у нее работала хорошо. Она похвалила мой участок.— Деревья замечательные,— сказала она.— И земля тут, наверно, очень плодородная. Вон какой высокий бурьян вырос.

Семья наша вечно переезжала с места на место. Мы только и знали, что перебираться из одного деревянного домишка в другой. Нас, детей, было шестеро, и хоть бы двое родились в одном и том же доме. Мы переезжали, наверно, потому, что слишком много были должны хозяевам за квартиру. Впрочем, я в этом не уверен.

Но вот теперь у меня был свой собственный земельный участок, и со временем я выстрою там дом — замечательный дом! Какая это будет радость для нашей матери! Мы с сестрой часами ходили по этому бурьяну и строили разные планы.— Подожди, сестренка. Увидишь, как все будет. Я еще разбогатею! — В одном городке, миль за пятьдесят от нашего, недавно обнаружили нефть.— Как знать? Может, вот здесь, на этом самом месте, где я стою, тоже есть нефть?

В канцелярском магазине у нас в городе я купил журнал, где печатались разные строительные планы, и принес его домой. Чтобы не сталкиваться с братьями, которые продолжали издеваться надо мной («Это они все от зависти»,— сказал я сестре), мы с ней поднялись наверх, в спальню. И сели на край кровати.

Сколько у нас было всяких проектов! Наш дом рос и рос. Мы что ни день добавляли к нему то одну, то другую комнату. Время от времени моя сестра, как мне казалось, слишком уж входила в роль совладелицы нашего дома, и приходилось немного ее осаживать. Предлагать что-нибудь она могла, но все решения должны были оставаться за мной. И я старался внушить ей это со всей ясностью.

И тут грянул гром. Мечта моя пошла прахом. Взлетела на воздух.

Взорвал ее все тот же адвокат из нашего городка, от которого я узнал слово «утверждение».

— Слушай, паренек,— сказал он мне однажды.— Я насчет того участка, который тебе оставила твоя старушка.

— Я с этим делом ознакомился,— сказал он. И объяснил мне, что налог, не выплаченный за мою землю, почти в четыре раза превышает ее стоимость.

— Ты вряд ли захочешь настаивать на праве собственности,— сказал он, но ответа от меня так и не дождался. Я убежал. Его контора была над обувным магазином, и я слетел вниз по лестнице, выбежал в проулок позади магазинов, потом на главную улицу и, наконец, очутился за городом.

Когда адвокат преподнес мне эту чудовищную новость, была весна, было весеннее утро, и я еще должен был разнести по адресам утреннюю газету, но в то утро доставка газет так и не состоялась. В ярости я выбросил их в реку на городской окраине. И убежал в лес.

Но кто поймет мальчишеское горе? Я был в лесу недалеко от нашего городка. Сначала я плакал, а потом разозлился. Оказывается, есть на свете такая вещь, как «налоги». Тебе подарили незастроенный участок, великолепный участок, думал я, где растут замечательные деревья. Вот он твой и вдруг не твой. Какая-то таинственная, непонятная тебе сила вдруг вмешалась и отняла его у тебя. Надо уплатить налог. Но где взять такие деньги?

Я обозлился на город, в котором жил сам. И решил: убегу. Если вернуться домой, так там братья, они узнают, что участок, который считался моим, теперь вовсе не мой, и поднимут меня на смех.

Я пробыл в лесу весь тот день и в школу не пошел. Все думал, как мне быть дальше. Придет вечер, я вернусь в город и сяду на поезд. Вечером там проходит местный товарняк, я заберусь в вагон, и тогда в городе поймут, что расстались со мной навсегда, и пожалеют об этом. Кажется, в то время, когда все это случилось, я читал «Гекльберри Финна». По каким-то непонятным мне причинам я решил уехать в Кейро, штат Иллинойс. Буду там уличным чистильщиком сапог. Потом стану капитаном парохода, разбогатею, богачом вернусь в наш город в Огайо, уплачу налоги за свой участок, выстрою на нем великолепный особняк. Настроение у меня было очень решительное, окончательное, но к вечеру заладил дождь, и я подумал, что в конце концов побег можно отложить на день-другой. Оставались еще кое-какие дела, которыми надо было заняться. У меня был велосипед, купленный в рассрочку, и почти все взносы за него я уплатил. Велосипед надо будет продать, а на эти деньги купить все, что нужно для чистки сапог.

Поздно вечером я пробрался в город. Мужество мало-помалу возвращалось ко мне. Я пришел на железнодорожную станцию и у запертой двери транспортной конторы увидел лежавшую там связку моих вечерних газет.

Надо было придумать какое-нибудь объяснение, почему некоторые из моих клиентов не получили утреннего номера. Это и заняло мои мысли, а кроме того, надо было придумать, что сказать братьям. Я бегал под дождем, разнося газеты, и на темной улице жилого района начал говорить вслух. Я произносил речи, обращенные к моим братьям.

— А, ну вас! Молчите лучше. Вас-то в завещании никто никогда не упоминал,— говорил я.

Кончив разносить газеты по адресам, я не мог удержаться, чтобы не навестить мой участок. Я прибежал туда; а улица была темная. Маленький деревянный домик, в котором жила моя старушка, тоже стоял темный. Ее сын, механик, уже вывез из него всю мебель. Я остановился посреди высокого бурьяна, под дождем, и опять чуть не заплакал, потом, поборов в себе страх перед нежилым домом, зашел за него сзади, со стороны кухни, в окне которой при жизни хозяйки в такие вот дождливые дни меня всегда поджидал свет лампы.

Я недолго простоял там. Я убежал. Пробегая под дождем по жилому району нашего маленького городка, я опять плакал, а потом плакать перестал. Я вспомнил слова, которые собирался сказать моим братьям. Проговорив их вслух, я, вероятно, начал понимать то, что с годами казалось мне все более и более важным. Ведь факт оставался фактом: старушка проставила в завещании мое имя. Этот благородный жест любви и дружелюбия дошел до меня даже после ее смерти.

◆

Критика

МУХАММЕД ДАКРУБ

АРАБСКАЯ НОВЕЛЛИСТИКА СЕГОДНЯ

Фрагмент из книги «Новая литература и революция»

Вступление и перевод с арабского Э. А. АЛИ-ЗАДЕ

Арабская литература последних двух десятилетий представляет собой сложную картину, в которой взаимодействуют, противоборствуют различные течения и направления (от реалистических до авангардистских).

И в литературно-критической мысли — та же пестрота взаимоисключающих идеологических убеждений и эстетических теорий, за которой просматривается напряженность борьбы в общественно-политической и духовной сфере стран Арабского Востока,— идут споры о выборе путей социального и культурного развития. На страницах газет и журналов разной политической ориентации обсуждаются судьбы реализма, проблемы отношения к классическому наследию, его роли в творчестве современников.

Но главной темой литературно-критических дискуссий остается проблема соотношения литературы и жизни окружающего общества. В чем истинное назначение писателя, где его место сегодня? Особое внимание литераторов привлекают вопросы поиска новых форм отражения действительности.

В этих дебатах важное значение имеет позиция арабских критиков-марксистов. Одним из первых среди них следует назвать ливанского писателя и критика Мухаммеда Дакруба, которому принадлежит видная роль в формировании прогрессивного, марксистского направления в литературной науке арабских стран. В 1980 году в бейрутском издательстве «Дар-аль-фараби» вышла книга М. Дакруба «Новая литература и революция. Критические исследования».

Представление о проблемно-тематических аспектах и идейной направленности книги дает уже само название ее разделов: «В свете идей Энгельса и Ленина о литературе, искусстве и литературной критике», «Взгляд на некоторые литературные явления и спор вокруг понятия «литературная критика», «Исследования и дискуссии о новой поэзии... массах... революции».

В предисловии к книге М. Дакруб определяет свою главную задачу — дать отпор современным псевдомарксистам, которые искажают, ошибочно толкуют идеи Маркса, Энгельса, Ленина.

По мнению М. Дакруба, особую значимость приобретают на современном этапе развития критической мысли в арабских странах высказывания В. И. Ленина по литературно-эстетическим вопросам. Это и определило стремление автора популяризировать ленинские идеи о литературе и искусстве, в частности, положения В. И. Ленина, изложенные в работах «О пролетарской культуре», «Партийная организация и партийная литература» и других — под их влиянием шло формирование мировоззрения М. Дакруба.

Основным материалом для исследования М. Дакруб избрал произведения — это в основном новеллистика,— созданные после «шестидневной» арабо-израильской войны в июне 1967 года.

МУХАММЕД ИБРАХИМ ДАКРУБ (род. в 1929 г.)

Ливанский новеллист, литературный критик, общественный и политический деятель. Главный редактор ливанского ежемесячного журнала «Ат-Тарик». Автор сборника новелл «Длинная улица» (1954), публицистической книги «Корни красного падуба» (1974), многих статей об арабской культуре и литературе. Новеллы Дакруба неоднократно переводились на русский язык.

Автор не может не отметить, что трагические последствия израильской агрессии оказали свое воздействие на сознание и литературную деятельность творческой интеллигенции. Вместе с тем он полемизирует с теми исследователями, которые считают июньскую войну неким рубежом в развитии литературы, полностью перечеркнувшим прошлое. Дакруб указывает на преемственность современной литературы, основываясь прежде всего на ее органической связи с социальной действительностью. И одновременно отмечает появление в суровых произведениях последнего десятилетия новых тенденций — усиление критического начала, дух протеста против отрицательных явлений жизни. Не закрывает он глаза и на присущий некоторым писателям идейный негативизм, склонность абсолютизировать отчуждение личности.

Ливанский критик призывает писателей активно включиться в жизнь народа, говорит о необходимости контакта с читательской аудиторией. При этом он придает важное значение художественному уровню произведений, поиску новых форм, способных выразить всю сложность бытия.

Критик решительно отвергает творческие установки писателей, находящихся под влиянием эстетических критериев «экспериментальной литературы» Запада, ставящей на передний план формалистическое начало в искусстве. Эти писатели, считает Дакруб, превратно толкуют понятие «современность», а их формалистические эксперименты отнюдь не укрепляют столь необходимую связь искусства с читательскими массами. Не говоря уже о том, что, отдавая предпочтение «наиновейшим» формам, они отметают художественные приобретения своих предшественников, и прежде всего писателей 50-х годов, которым принадлежит важная роль в развитии современной реалистической литературы. «Истинное творчество,— говорит М. Дакруб,— может играть преобразующую роль в литературном процессе лишь в опоре на лучшие достижения национального наследия». И потому сугубо формалистические произведения не могут участвовать в «судьбоносной битве» народов.

В 60—70-е годы перед арабскими писателями и критиками остро встал вопрос о творческом методе. Какой художественный метод наиболее плодотворен при решении задач, стоящих перед литературой, в центре внимания которой конфликт прогрессивно мыслящей личности и окружающего ее общества? Именно в это время в литературу усиленно проникают модернистские течения, экзистенциалистское мироощущение. Реалистическое направление оценивается как устаревшее, изжившее себя. Особенным нападкам подвергается социалистический реализм, будто бы отличающийся «заданностью идей и представлений». М. Дакруб выступает против догматического, ограниченного понимания социалистического реализма. Он рассматривает его как художественную систему, способную к постоянному развитию и обогащению. Такая особенность социалистического реализма, пишет М. Дакруб, обусловлена тесной связью этого метода с действительностью, его внутренней готовностью к творческому контакту с другими явлениями в литературе, способными обогатить палитру художника. В качестве примера критик обращается к творчеству советских писателей, ссылаясь, в частности, на произведения М. Шолохова, Ч. Айтматова, В. Катаева, Ю. Нагибина. Именно социалистическому реализму принадлежит будущее в арабской литературе — вот главный вывод, к которому приходит автор сборника «Новая литература и революция».

В статьях, написанных уже после выхода этой книги в свет, М. Дакруб вновь возвращается к проблеме реализма и в подтверждение своих прогнозов отмечает растущее стремление демократически настроенных арабских писателей к реалистическому отображению актуальных проблем, связанных с жизнью их народов. «Сегодня прогрессивная арабская литература,— говорит М. Дакруб,— развивается в русле национально-освободительного движения. Своим девизом она провозглашает идею борьбы за свободу и демократические преобразования» (журнал «Ат-Тарик», август 1981 года).

В реалистической арабской новелле наших дней социальная проблематика выдвигается на передний план. Писателей волнуют проблемы искоренения нищеты и улучшения образования, борьбы за демократические права, тема войны и сопротивления израильской агрессии, глобальные проблемы человечества. В решении ее идейно-эстетических задач значительную роль сыграли писатели, творческие поиски которых по достоинству оценил М. Дакруб в своей книге — фрагмент из нее предлагается вниманию читателей.

Мы не считаем, в отличие от некоторых критиков, что трагическое поражение 5 июня является переломным для арабской литературы моментом. Арабская литература и после 5 июня — естественное продолжение литературы предшествующей.

Но в то же время нельзя не признать глубокого воздействия на художественную жизнь арабского мира июньских событий, вызвавших изменения и в идейных установках писателей, и в эстетическом облике литературы.

Вслед за «шестидневной войной» — прямым следствием империалистической, сионистской агрессивной политики, направленной против ряда арабских стран,— в этом регионе начался процесс «пересмотра взглядов» [1], захвативший все сферы жизни: политику и культуру, идеологию и государственность. Пафос критики и самокритики имел определенные практические последст-

1 В арабской прессе так назывался процесс, включавший в себя и непосредственную борьбу, и анализ общественного мнения (*прим. перев.*).

вия. Одним из важных политических событий этого периода было возникновение народного вооруженного движения сопротивления израильской оккупации, сплотившего палестинский народ с передовыми силами других арабских стран.

Процессы эти, характеризующие общественный климат стран Арабского Востока, большое влияние оказали и на развитие литературного творчества в самых разных его аспектах. Это сказалось не только на проблемно-тематической и идейной сущности новых произведений, но и во многом определило изменения в композиционной структуре, художественных приемах современных литераторов, дав арабским поэтам и прозаикам импульс к смелым творческим экспериментам.

Правда, иные представители нового литературного поколения доходили до крайности, порывая с традициями, полностью отвергая все созданное их предшественниками, занимаясь лихорадочными поисками новых тем и новых форм. А у некоторых новеллистов события общественно-политической жизни вызвали чувства тоски, горечи, скорби, ощущение бессмысленности протеста, абсурдности бытия.

Но нельзя не признать, что, несмотря на крайние свои проявления, процесс «пересмотра взглядов» привел и к позитивным результатам. Как уже было сказано, отображая сложность окружающего мира, писатели стали смелее в выражении критических идей, решительнее в использовании новых изобразительных средств.

Важно отметить и то, что на этом этапе был отброшен — и надолго — идеалистический тезис об обособленности художника от общества, упал фиговый листок с теории «искусства для искусства»... И это не ограничилось сферой теории, но, что существенно, непосредственно коснулось творческих принципов и художественной практики писателей.

Как же все эти явления воплотились эстетически, какое выражение нашли в большинстве произведений арабской новеллистики, в настоящее время находящейся на подъеме? Разделим условно эти произведения на несколько тематических узлов.

Прежде всего — это новеллы о событиях, которые привели к военному поражению арабов, о народном вооруженном движении сопротивления израильской оккупации. Арабские новеллисты впервые в столь широком масштабе создают произведения о войне. Проникнутые духом пылких и искренних исканий, эти произведения порою не лишены недостатков в чисто художественном плане. Некоторые из них по стилю буквально напоминают фронтовые репортажи военных корреспондентов, в других явно ощутимо отсутствие у писателя личного опыта. Но есть новеллы, в которых содержатся серьезные попытки создания живых, нередко трагических образов людей неповторимых, наделенных огромным душевным богатством.

Так, в новелле «Июньские печали» Сулеймана Файяда (АРЕ) выведен драматический образ солдата, лишившегося в июньской битве обеих ног. Вернувшись домой, он считает дни в ожидании, когда его народу вернут захваченные врагом земли, и, вспоминая о трагических событиях на Синае, сжигаемый страстным стремлением к победе, мастерит деревянное ружье... Образ солдата предстает здесь символом скованного народа, который хотят лишить возможности самозащиты и надежды на возвращение своих земель.

В новелле «Качели» Мухаммед Хдейр (Ирак) тоже запечатлел образ солдата, вернувшегося с фронта. Он посещает семью друга, павшего в битве,— жену, мать, маленькую дочку. Играя с девочкой, солдат качается с ней на качелях, привязанных к ветви дерева у реки. Обоим, ему и девочке, кажется, что дух ее павшего отца витает над всем окружающим... И солдат начинает ощущать себя главой этой семьи, ибо в него — как он думает — вселился дух погибшего друга.

Новелла «Каска полумертвого» Ахмада Халафа (Ирак) — реалистическое описание трагических последствий войны. Мужчина возвращается с фронта домой. Война, которую он приветствовал как освободительную, искалечила его. Герой сломлен: лицо его обезображено ранением, он не способен больше воевать, не может быть и полноценным мужем молодой жене. В отчаянии, словно бы пытаясь остановить время, он стреляет по часам. Но время продолжает свой ход — его соратники не прекращают борьбы.

В этих и многих других произведениях, прежде всего в новелле Гамаля аль-Гитани (АРЕ) «Записки юноши, жившего 1000 лет назад», мы встречаемся с самыми разными людьми, чья психология сформирована войной и поражением, проникаем в их богатый и трагический, полный противоречий внутренний мир.

Произведения, рассказывающие о движении сопротивления, можно признать наиболее близкими жизни. В большинстве из них обращает на себя внимание сходство общей сюжетной линии, которое, в свою очередь, подчеркивает сходство судеб: их герои — по большей части образованные молодые люди или простые рабочие, оставившие учебу или работу,— вступают в ряды федаев. Много общего и в их духовном облике — они глубоко и мучительно переживают поражение и видят выход в борьбе. И в концовках этих новелл нередко можно заметить то же сходство судеб.

Среди произведений на темы, о которых идет речь, немало и таких, где возможности создания живых художественных образов, воспроизведения окружающей атмосферы и выражения авторской позиции реализуются посредством современной техники письма. В этих новеллах отчетливо слышен пульс времени, дух борьбы, отражена трагическая разобщенность арабов и сокровенные их надежды.

Например, в «Открытом пространстве» Сухейля Идриса (Ливан) подобное кошмару душевное состояние героя — арабского интеллигента — подчеркнуто передается эмоционально-напряженным стилем, что дало возможность глубже и убедительнее раскрыть трагическую картину жизни, в которой все же остается место надежде.

Сходны с упомянутыми и новеллы палестинца Гассана Канафани, концентрирующего внимание на внутренней, духовной жизни соотечественников. Это особенно ха-

рактерно для сборника его новелл «О солдатах и винтовках», в которых писатель создал образы палестинцев, наделенных высшей человечностью и обостренным чувством долга перед народом.

Сборник Эмиля Хабиби «Секстет — шесть дней», включающий шесть композиционно связанных между собой новелл, можно считать одним из лучших образцов арабской прозы послеиюньского периода. В нем нет непосредственного описания военных событий. Авторский взор обращен к человеческому сознанию. Шесть описанных здесь грозных дней сфокусировали словно на экране накопленные за двадцать лет в душах находящихся в оккупации палестинцев разобщенность, тоску, надежду, разочарование, печаль. Книга повествует о том, как события тех шести дней сказались на представлениях и понятиях палестинцев. Страдания все множились и в конце концов вылились в неотступное сопротивление длительной муке оккупации.

Во всех этих произведениях, в целом отличающихся высоким художественным уровнем, широко используются приемы смещения временных планов, кинематографического монтажа. Они написаны короткими, напряженными фразами, и прочтение их требует определенной активности мышления. Читатель, таким образом, становится как бы соучастником самого творческого процесса.

В совокупности названные новеллы создают реальную трагически-выразительную картину борьбы народа, который, потрясенный поражением, с оружием в руках продолжает сражаться за освобождение своих оккупированных врагом земель.

Выделяются и новеллы, чьи авторы обращаются к нравственным проблемам жизни своих народов. Чаще всего с острокритических позиций они вскрывают социальные, политические, идеологические причины поражения, которое обрекло арабские народы на неимоверные страдания.

Осмысление всех этих событий нашло законченное выражение в блестящих новеллах Нагиба Махфуза (ОАЕ), опубликованных в сборнике «Под навесом». В них египетский писатель продолжает борьбу против непрекращающейся коррупции новых бюрократических сил, использующих прогрессивные явления в арабских странах лишь в целях обогащения, выступает против индифферентности и нерешительности в вопросах, касающихся преобразования основ старого общества... Новеллы Н. Махфуза со многих срывают маски. Суровое обвинение писателя адресовано не только бюрократической системе в стране, но и той части населения, которая попустительствует преступлениям, совершаемым на ее глазах якобы во имя народа и революции.

Нагиб Махфуз — классик современной арабской литературы. Смелая идейная направленность его художественно выразительных произведений ставит его в ряд тех арабских литераторов, которые осознали свою гражданскую ответственность за судьбы народа.

Подобные новеллы-разоблачения, срывающие покровы со всех и вся, встречаются и у ряда молодых писателей. В них решительно обнажаются язвы общества, правдиво, несмотря на некоторую гиперболизацию, воссоздается атмосфера глубокого кризиса, переживаемого молодежью, атмосфера растерянности, волнений, лихорадочных, зачастую бесплодных поисков путей внутреннего освобождения от пустых мечтаний и от устремлений мелкого буржуа.

Но среди произведений об июньских событиях, как уже говорилось, встречаются также новеллы, проникнутые нигилистическим духом,— они утверждают отчужденность индивидуума, бессмысленность всякой борьбы, крайнее отчаяние, абсурдность бытия, безысходность.

Некоторые новеллисты, касаясь пороков и реальных причин социальной отсталости, видят тем не менее спасение в мистическом миросозерцании (характерный пример — новелла иорданского писателя Амина Шанара «Кошмар»). И все же упадническими либо мистическими настроениями сущность этих произведений не исчерпывается; и в них ощутим протест против социальной отсталости и бесчеловечных отношений, против попрания свободы отдельной личности, против забвения общественных интересов в целом.

Наконец, послеиюньская арабская новеллистика включает новеллы палестинских писателей, таких как Тауфик Файяд, Мухаммед Нафаа, Набиль Авдат, Мухаммед Хасс и другие.

Их произведениям присущи прежде всего своеобычные формы, правдивость изображения действительности, эмоциональный повествовательный тон. Созданные образы достоверны, поскольку многие авторы — очевидцы событий, происходящих в Палестине. Это придает новеллам значимость, даже несмотря на то, что некоторые из них художественно несовершенны и не поднимаются над уровнем простой описательности.

Однако новеллы большинства палестинских писателей отличаются художественной новизной в показе душевного надлома сынов палестинского народа — как оставшихся в стране, так и эмигрировавших,— их тоски по родной земле. Они как бы подводят к мысли о том, что если этот народ, который пытались уничтожить, сломив его дух, поднимется вновь, живой, вдохновенный и храбрый, сплотит свои силы с силами сторонников свободы и прогресса во всем мире, чтобы освободить свою территорию от гнета нового фашизма, имя которому сионизм, то он построит демократическое палестинское государство, свободное от расизма, насилия и жестокости.

Таковы основные идейно-эстетические особенности послеиюньской новеллистики, которая ныне во всем арабском мире находится в стадии уверенного подъема.

◆

К 75-летию Эмилияна Станева

НАДЕЖДА СТАНЕВА

ДНЕВНИК С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Два года назад София прощалась с Эмилияном Станевым, одним из выдающихся болгарских прозаиков нашего века. Теперь ему исполнилось бы семьдесят пять. Юбилей, конечно, будет отпразднован, но, как это ни горько, без него. Он, впрочем, не любил юбилеев. Не любил парадной шумихи в литературе, не любил торжественных (и не торжественных) заседаний и разговоров о творчестве вместо самого творчества.

Литература для него была потребностью души и трудной, изматывающей, но прекрасной работой, которая не терпит суеты.

В записках его жены и верного друга Надежды Станевой, отрывки из которых мы предлагаем вниманию читателей, постоянно чувствуется это не слабевшее десятилетиями напряжение творческой работы. Созданная еще при жизни писателя, но увидевшая свет уже после его смерти, эта книга, куда вошли и отрывки из дневников писателя, необыкновенно точно доносит облик Станева и характер интересов, которыми он жил.

Пусть не смущает читателя кажущаяся противоречивость мыслей, сохраненных для нас Надеждой Станевой в ее «Дневнике с продолжением». В самом деле, Станева легко упрекнуть в непоследовательности. Он то восхищается Толстым, то именует его морализатором. То называет Гёте филистером и царедворцем, а то — после поездки в Веймар — всерьез намеревается бросить собственный роман, когда сам в полной мере ощутил величие автора «Германа и Доротеи».

Здесь дело не только в том, что Станева отличала импульсивность, вроде бы не подобающая живому классику и поражавшая всех, кто его знал. И даже не в том, что был он заядлым спорщиком, в пылу полемики порой не останавливавшимся перед крайностями.

Дело прежде всего в том, что Станев непрерывно менялся, меньше всего дорожа былыми завоеваниями и не признавая канонов, если, на его взгляд, они переставали отвечать главной задаче искусства, как он ее понимал,— «перерасти» современность, «шагнуть в будущее». Не отбросить современность, а преодолеть связанность одной лишь сиюминутной актуальностью. Так, чтобы в текущей действительности открылась живая жизнь духовных и этических традиций, накопленных народом за долгие века его истории. Так, чтобы в герое проступили черты Человека «в его противоречивости и развитии».

Поэтому он не проявлял интереса к съемкам фильма по роману «Иван Кондарев». Эта эпопея об антифашистском восстании 1923 года и путях Болгарии в предвоенные десятилетия стала явлением болгарской прозы, но Станеву она уже казалась пройденным этапом. Законный наследник великой реалистической традиции, связанной для него в мировой литературе прежде всего с именем Толстого, а в болгарской литературе — Йовкова, он периодически «уставал» от своих кумиров, но, снова и снова к ним возвращаясь, всякий раз открывал в перечитываемых книгах новые пласты содержания и те мотивы, которые были созвучны замыслам, овладевавшим Станевым на этом нелегком пути к «будущему».

Из своих книг он больше всего любил «Антихриста», центральное произведение цикла, включающего знакомые читателям «Иностранной литературы» повести «Легенда о Сибине, князе преславском» и «Тихик и Назарий». Все эти произведения созданы в последние полтора десятилетия творчества, все обращены к далекому прошлому, и все — это ничуть не парадокс — как раз и являются «шагом в будущее», потому что в них подняты сложнейшие проблемы нравственности, духовности, искусства. Проблемы глубоко национальные, очень болгарские, ибо Станев не признавал писателя «без родного места». А вместе с тем проблемы общечеловечески значимые, так как речь идет о драматизме истории и ответственности человека перед историей, перед народом и перед собственной совестью.

Наверное, не будет преувеличением сказать, что в исторической прозе Станева воплотилась самая знаменательная черта сегодняшней болгарской (и не только болгарской) литературы — понимание социализма как эпохи, которая «вбирает в себя все чаяния человечества». Оттого так просторен созданный им художественный мир. В нем и правда звучат «тысячи колоколов», о которых говорил Станев, характеризуя «внутренний аппарат» художника. И отзвуки этих колоколов доносятся со страниц книги Надежды Станевой, передающих богатство творческих устремлений писателя и неустанную работу его души.

С первых дней нашей совместной жизни с Эмилияном я почувствовала, что характер у него нелегкий. Меня поразила его кажущаяся непоследовательность, подчеркиваю — кажущаяся, позднее поняла, что непоследователен он только на первый взгляд. В сущности же удивительно последователен, суждения его по основным жизненным вопросам вполне определенны и почти не меняются, хотя в разговоре он перескакивает с одной мысли на другую, противоположную, и связь между ними, даже ассоциативную, уловить трудно. Достаточно перечитать его высказывания, интервью, данные им для газет и журналов, чтобы убедиться — он отстаивает неизменные свои взгляды.

Постоянно он чем-то взволнован, ум его непрерывно занят — то вечными вопросами бытия, то международной политикой, то нашими, болгарскими делами. Он никогда не бывает спокоен, потому что рассуждает обо всем этом не так, как другие — то есть не отстраненно, с философским спокойствием, как о вещах, их лично не касающихся,— а всегда увлеченно, эмоционально, решительно. Впрочем, личные интересы всегда были у него на втором плане. К ним он часто проявлял подчеркнутое пренебрежение. Волнуют его мировые проблемы, они для него личная боль или радость. Иногда, услышав сообщение о важных политических событиях, он не спал ночами.

Помню, например, какое сильное впечатление произвел на него запуск ракеты на Луну, а позднее первый полет человека в космос. Бессонная ночь полна была волнения, мечтаний, раздумий. Он уносился на крыльях фантазии: может быть, теперь исчезнет угроза войны, поскольку перед человечеством, по всей вероятности, встает новая задача — выйти за пределы своей планеты, найти другие миры, и, если человек убедится, что одинок во Вселенной или хотя бы в Солнечной системе, он возлюбит ближнего своего, люди сплотятся, и самоуничтожение прекратится. Кроме того, заглянув в космос, человек другими глазами посмотрит на нашу дорогую планету, старушку Землю. И то, что прежде представлялось важным, покажется ему незначительным, он легче и быстрее разрешит свои социальные проблемы. Человечество уже не удовлетворяют многие старые представления, надо произвести известную переоценку жизненных ценностей. Человека будущего надо искать среди людей, живущих новыми идеями, среди ученых и рабочих, создателей космических кораблей, новых отраслей науки.

Мечты чередовались с трезвыми, реалистическими рассуждениями о том, что неизменно в человеческой природе, что обусловливало историю человечества, закономерности его жизни. Эти рассуждения умерили оптимизм Эмилияна. Так, кидаясь из одной крайности в другую, он рассуждал, пока, устав, наконец, не заснул.

На другой день мы должны были пойти в гости в один дом, к художникам-модернистам. Там собралась разношерстная компания интеллигентов, людей лет тридцати — сорока. Он шел воодушевленный, готовый излить свой энтузиазм, доказывать, спорить, а оказалось, что спорить не с кем — натолкнулся на равнодушие. Его поразила убогая психология и духовная нищета этих людей, незадачливых подражателей Пикассо...

Когда мы вернулись домой, он сказал с отвращением: «Эти люди подражают пресыщенным жизнью, с презрением относящимся к ней западным интеллектуалам. Подражают разным там «истам», которым все надоело и которые паясничают, высмеивают старое, но не находят нового и втискивают в якобы новые формы старое содержание. Они ненавидят жизнь и людей, а потому уродуют человеческое лицо, рисуют нос в профиль, глаза и подбородок — анфас. У них нет почвы под ногами, нет идеалов, нет радостей, все им кажется уже известным, давно сказанным, и, не зная, чем бы заняться, они переворачивают действительность вверх тормашками. Ты видела, как они равнодушны и духовно бедны? Проблемы нашего времени их не волнуют, великие события не вызывают ни чувств, ни мысли, ничто их не интересует, кроме пустяков, ерунды, повседневных мелочей,— а истинное искусство так не создается. Произведение искусства отличают не только его идея и тема, но и его звучание. Когда художник творит, он должен быть в приподнятом настроении, я бы сказал — в экстазе, должен быть вдохновлен».

Здесь уместно сказать, что с течением времени отношение Эмилияна к живописи мало изменилось. Абстракционизм до сих пор ему чужд, он предпочитает реализм и в своем эстетическом восприятии не идет дальше импрессионизма, а в музыке и его не приемлет, считая, например, Дебюсси всего лишь «интересным»... Несмотря на такое как бы инстинктивное недоверие, сдержанное отношение к модерну, к «новаторским» течениям в искусстве — я имею в виду прежде всего живопись и музыку,— Эмилияна ни в коем случае нельзя обвинить в косности.

Впрочем, доказательством служит все его творчество: он ищет, неустанно ищет, не успокаивается на достигнутом. Он ненавидит застой, каждое его произведение не похоже на предыдущее, и «Легенду о Сибине, князе преславском» он написал не так, как «Ивана Кондарева», а «Антихриста» не так, как «Легенду». Разве не видно, что «Скотт

Рейнолдс и непостижимое» или «Барсук» существенно отличаются от рассказов из раннего сборника «Будни и праздники»? О своем отношении к новаторству в литературе, прежде всего болгарской, он говорил: «Я не консерватор ни во взглядах, ни в своих книгах. Всегда поддерживал и поддерживаю новое, но только то, что не муть, а чистая вода, и то, что взросло на родной почве...»

Он любит музыку, воспринимая ее как высшую форму искусства. Предпочтение отдает Бетховену, этому гению, который «сидит по правую руку от бога», но с не меньшим наслаждением слушает Шопена, Глинку, Брамса, Баха, Моцарта, который, по его словам, «говорит с ангелами». Чайковского находит несколько тривиальным. Волнует его «Ленинградская» симфония Шостаковича. Очень ценит «Неоконченную» симфонию и «Ave Maria» Шуберта, но к песням его равнодушен...

Музыка помогает ему в работе, успокаивает, уменьшает хаос в его душе, вносит в нее гармонию. Когда он трудился над «Антихристом», часто слушал пластинки с записями Гяурова и Бориса Христова, работая над рассказом «Скотт Рейнолдс и непостижимое», ставил Третью, «Героическую», Бетховена, а когда писал «Тихика и Назария», слушал «Жили двенадцать разбойников» и арию из «Мефистофеля» Бойто в исполнении Шаляпина.

Поразительным всегда был для меня его юношеский жар во всех делах, хотя, когда мы поженились, Эмилияну было почти сорок три. Горячность его часто берет верх над рассудком, да он и не пытается себя сдерживать (во всяком случае я этого не замечала) и временами дает ей полную волю. Он так безоглядно растрачивает свою энергию, что иногда кажется юношей, который просто притворяется взрослым. В первые годы нашей совместной жизни было истинным удовольствием наблюдать, как по-юношески он воодушевляется, какой бесконечный восторг охватывает его, когда спорится работа или когда он находится на лоне природы. Идея новой книги, нового рассказа воспламеняла его, глаза словно испускали искры, он не находил себе места, готов был бегать, кричать и, если мы бывали где-то за городом, издавал громкие крики, словно призывающие на борьбу с невидимыми врагами. И вот он начинает рассказывать, рассказывать, рассказывать и не умолкает часами, независимо от того, было ли то днем или ночью. Злится, если я устану и засну, потому что обдумывает все вслух и ему нужен слушатель. Словесный поток не стихает, и не раз мы сидели так до утра, хотя я умирала от усталости и впечатлений. Жалею, что не смогла запомнить высказанные им оригинальные мысли, о которых он потом забывал...

В одну такую бессонную ночь он рассуждал о таланте, художественном мастерстве. Приводил в пример сцену из «Анны Карениной», где говорится о художнике Михайлове, который сумел так верно нарисовать незнакомую ему Анну, что никак не удавалось Вронскому. Этот пример он часто приводил и в разговорах, и в интервью. Что такое талант? «Этим словом пытаются объяснить все, а талант — это вместе взятое душевное богатство, личность художника, процессы, происходящие в его душе. Эта работа души и есть талант: словно скрытый механизм вбирает без всяких сознательных усилий со стороны человека отдельные впечатления, образы, движения, игру красок, уличные сценки, копит и хранит их, чтобы в нужный момент воспроизвести. Работа эта непрерывно обогащает ум и душу художника, но в то же время мучает его, если он чувствует, что она ему не подчиняется, погружает его в раздумья и сомнения, превращается в некоего властвующего над ним демона и порою бывает опасна для физического и душевного его здоровья.

Чем лучше устроен этот внутренний аппарат, это внутреннее зрение художника, тем богаче его индивидуальность, многообразнее его настроения, шире познание жизни. Талантливый человек похож на огромную колокольню с тысячью колоколов — стоит зазвучать одному, начинается перезвон остальных. Особенно характерно это для великих поэтов и ярче всего выражается в богатстве сравнений, которое мы находим в их стихах. Здесь особую, главную роль играет память, все пережитое становится источником познания, сокровищницей опыта. Талантливый человек отличается врожденной интеллигентностью, внутренней культурой и чувством прекрасного. Эта душевная тонкость, стремление к красоте — неотъемлемая часть таланта. Ими определяется его размах, масштабы, возможности роста. Естественно, для развития таланта необходимы внутренние и внешние условия, как почва, свет и влага для растения, но не вырастет цветок там, где не посеяно семени...

В талантливом человеке заложено то, что он воплощает в своем творчестве. Чтобы описать ничтожное, я должен его понимать. Талант — это неосуществленная возможность. Обычно противоречие между человеком и художником бывает велико...»

Хочу, однако, подчеркнуть, что не все в рассуждениях и мнениях Эмилияна, которые я собираюсь излагать в своем рассказе,— глубокое его и твердое убеждение. Часто это случайные мысли, вспышки воображения, увлекавшие его своей парадоксальностью и питавшие его неистощимую страсть к спорам с другими и самим собой.

«Искусство,— заявлял Эмилиян,— можно создавать лишь тогда, когда мыслишь честно и говоришь искренне. Писатель должен подчиняться только своей совести».

Позднее я поняла, что каждое произведение Эмилияна рождается из смутного воспоминания: сначала появляются краски, запахи, затем в его воображении всплывает картина, и вокруг нее завязывается сюжет. Помнится, повесть «Чернушка» началась с такой картины: Эмилиян вообразил себе черненькую лисичку, попавшую в капкан, расставленный дорожным мастером. Часто он сам не знает, как дальше пойдет действие, но видит детали картины и особенно краски.

Тема произведения определяется значительно позднее, и проходит немало времени, пока она окончательно оформится. Эмилиян сам объяснял это следующим образом:

«Начальная стадия творческого процесса — не изучение и не наблюдение. Художественное произведение рождается не из готовой идеи, а из воспоминания о чем-то пережитом или увиденном. В сущности произведение рождается из эстетического чувства, потому что искусство выражает стремление человека к красоте. Идея приходит позже, когда писатель размышляет над поразившим его впечатлением. Тогда он начинает изучать факты и людей, или, точнее, проверяет правдивость своего замысла. В творческом процессе есть особый момент, когда художник освобождается от субъективности, проецируя на другие, воображаемые личности свои чувства, мысли, конфликты...»

Когда он писал о Христакиеве, то становился Христакиевым, а другие герои отходили на задний план. Однажды в разговоре с Эмилом Кирилловым — с ним он консультировался по поводу юридических тонкостей того времени, которое описывалось в романе «Иван Кондарев»,— Эмилиян так горячо принялся защищать один из тезисов Христакиева, что привел Эмила в недоумение. «Что это с Эмилияном?» — спрашивал Эмил меня глазами, но я засмеялась и объяснила: «Сейчас он Христакиев, понимаешь? Поэтому он так и говорит. Завтра, когда начнет описывать поручика Балчева, он будет распевать военные марши. Вживается в образ, но не настолько, чтобы перейти грань, за которой перестает бодрствовать его сознание».

Он никогда не торопится ознакомиться с отзывом о своем творчестве. Может, боится не найти в нем того, что сам думает о себе? Все время откладывает, и проходит несколько дней, пока решится его прочесть. Когда я говорю, что видела где-то статью о нем или хочу ее прочитать ему, он неизменно отвечает: «Потом, потом!» — и делает вид, будто чем-то занят. Когда его начинают хвалить в глаза, он переводит разговор на другую тему, а когда я принимаюсь читать ему полное восхищения письмо читателя, он тут же прерывает меня. Если продолжаю, он сердится: «Перестань! Я сам не ставлю себя так высоко» — и тотчас заговаривает о чем-нибудь другом или приносит мне только что написанную страницу.

Однажды я сказала ему, что, по-моему, все это поза. Тогда он уже спокойно объяснил мне: «Понимаешь, мне просто неудобно слушать, когда обо мне так говорят. Неловко, когда кто-то меня хвалит или когда читаю хвалебную статью о себе. Кроме того, я знаю, что в книгах я сказал больше того, что увидели в них критики, и боюсь найти ложь в их статьях. Не люблю, когда меня хвалят, я сам люблю хвастаться и, чем больше сомневаюсь в себе, тем больше хвастаюсь».

«Иными словами, предпочитаешь, чтобы тебя ругали. Только чтобы не испытывать неловкости»,— пошутила я.

Я спрашивала себя: в чем очарование его личности? С одной стороны, он доверчив и щедр. Никогда не замечала у него ни корысти, ни хитрости, ни карьеризма, ни двуличия, ни тени зависти. Расточительность — необыкновенная, даже чрезмерная, как все черты его характера. Удивляло меня и то, что он — индивидуалист, эгоцентрик, вечно сосредоточенный на своем «я» и своих мыслях, мало заботится об устройстве своих дел, но охотно откликается на просьбы других и, если может, спешит помочь. С другой стороны, характер колючий. Напоминает розовый куст: прекрасные цветы, упоительный аромат, а попробуй сорви, везде — шипы.

Хорошие его черты часто не видны за грубостью, резкостью, бесцеремонностью. Фасад некрасив и не позволяет разглядеть внутреннее богатство.

Когда однажды сказала ему об этом, он засмеялся: «Ты, вероятно, права. Иногда я делаюсь неприятным, потому что не терплю пошлое, ничтожное в человеке. Больше того — я это презираю и не желаю с этим мириться. Раздражаюсь, когда другие бывают снисходительны и пытаются меня убедить, что нельзя относиться к этому так, как я отношусь. А я хочу видеть великие умы и благородные души. Люблю мужественных людей, делающих свое дело».

Сегодня купила Полное собрание сочинений Толстого, выпущенное недавно издательством «Народна култура». Эмилиян едва дождался, когда я вернусь из книжного магазина. С увлечением принялся расставлять книги по полкам. Долго этим занимался. К 7.30 устал, ему ужасно захотелось пойти погулять, в гости или позвать кого-нибудь к нам. «Выпить хочется! Позвони Талеву[1], хочу с ним выпить!»

Когда выяснилось, что Талев прийти не может, он решил пойти к Сырбову. Заторопился, не стал дожидаться ужина, ограничился чаем и... успокоился. Лень на него напала. Желание выпить улетучилось...

Он снова занялся книгами и лег около двенадцати. Уже ложась, сказал: «Все-таки Толстой для меня — прошлое. Я уже прошел через него и через Достоевского. Хочется чего-нибудь другого. Вот если б найти что-то новое, какого-то нового великого писателя!»

Не верю, что Толстой и Достоевский для него — прошлое. Убеждена, что он еще не раз будет их читать и перечитывать, заново открывая в них новое для себя. То обстоятельство, что он не знает никаких языков, кроме русского, очень ему мешает.

Видимо, природа для него действительно — самый чистый и глубокий источник вдохновения и мудрости. Не напрасно он заявлял: «Только моя любовь к природе — нечто истинное, цельное и неизменное. Только перед красотой мироздания я смирялся и скулил от умиления. Ни к кому — ни к матери, ни к жене — я не испытываю столь глубокой любви и привязанности. Только с природой могу слиться, только среди нее не чувствую себя одиноким. А

[1] Димитр Талев (1898—1966) — известный болгарский писатель, автор романов «Железный светильник», «Преспанские колокола», «Ильин день». *(Здесь и далее прим. перев.)*

вообще-то я одинокий волк, никакие обязанности, никакие оковы не могут удержать меня, лишить моей свободы».

Здесь, мне кажется, уместно было бы сказать об охотничьей страсти, владевшей им с детских лет и до старости. Он унаследовал ее от отца, который, когда мальчику было лет девять-десять, начал водить его с собой по полям и лесам, а когда Эмилияну исполнилось пятнадцать, купил ему ружье. Свою исключительную ловкость и выносливость Эмилиян поддерживал с помощью этого вида спорта. Впрочем, другого он не признает, считает делом несерьезным, а туристские прогулки без ружья — пустой тратой времени. И своей выносливостью, и способностью легко справляться с болезнями он, вероятно, обязан охоте.

С некоторых пор он снова погрузился в мир Толстого. Снова читает «Войну и мир», «Анну Каренину» и «Хаджи-Мурата». Удивляется, как много нового открывает для себя, тому, что Толстой просто неисчерпаем. «Словно я читаю эти книги в первый раз». Особенно его поражает простота, с которой написан «Хаджи-Мурат». Это произведение зрелого Толстого, по его мнению, совершенно. Он читал его бесконечное число раз и всегда прищелкивал языком, ахал, вздыхал от восторга. «Вот что такое пить воду из чистого родника!» Совсем забыл, что «Толстой для него — прошлое».

Вчера вечером в разговоре с Талевым долго говорил о Толстом и Достоевском. Обоих нельзя себе представить без бога, которого, как говорит Эмилиян, они всю жизнь неутомимо искали. Талев утверждает, что Толстой верил в бога, но Эмилиян не согласен и пытается по-своему объяснить трагедию Толстого...

Потом заговорили о другом богоборце, Достоевском, «каторжнике, который,— по словам Эмилияна,— прошел по всей мировой литературе, звеня кандалами». Он невероятен, говорил Эмилиян, он поставил все с ног на голову. «Чем больше я его читаю, тем больше удивляюсь — родится же такой человек! Какое умение строить сюжет, передавать диалог!»

Достоевский, по его мнению, страшен, он потрясает, но не очищает душу. «Когда я,— рассказывал Эмилиян,— прочитал в юности «Преступление и наказание», у меня было такое ощущение, точно я прикоснулся к чему-то нечистому. В то время как, читая Толстого, я словно бы погружался в благоуханную ванну, читая Достоевского, я чувствовал себя больным. И искал утешения в природе.

Она говорила мне другое, обещала добро, бессмертие и красоту. Но позднее, уже в зрелом возрасте, я понял, какой титан Достоевский, и сейчас представляю себе, что он сидит в ногах у бога рядом с Бетховеном, Шекспиром и древними авторами».

Я не удивляюсь тому, что Эмилиян думает так, и полагаю, что он всегда будет так думать, поскольку «проклятые вопросы» Достоевского ему близки. Он тоже старается глубже заглянуть в человеческую душу, чтобы увидеть в ней и ад и рай, спуститься в ее бездну и подняться до ее вершин...

Достоевского и Толстого Эмилиян знает чуть ли не наизусть и может цитировать не задумываясь, когда угодно. Но, несмотря на глубокое преклонение перед ними, потребность спорить часто берет у него верх, и он начинает их поносить. Свергает свои кумиры без всякого страха. Очень уж остро сверло его ума — глубоко проникает, очень уж зорок его глаз — все подмечает. Словно он стоок. В такие минуты он видит недостатки любого из великанов литературы и искусства, потому что отнюдь не склонен идеализировать ни их личность, ни их творчество. Оттого он относится и к себе так критически. Помню, когда в 1955 году мы посетили дом-музей Гёте в Веймаре, он почувствовал себя столь ничтожным по сравнению с великим олимпийцем, что пережил глубокий творческий кризис и решил не продолжать «Ивана Кондарева». Начал запихивать страницы в печку. Я позвала на помощь друзей, и нам с трудом удалось спасти книгу.

Много раз я слышала, как он то хвалил, то ругал Толстого (этого морализатора), Достоевского (который испортил роман и которому никакое преступление не было чуждо), Гёте (этого филистера и царедворца, который, однако, написал самую совершенную по форме и языку поэму «Герман и Доротея»). При подобных «критических взрывах» особенно крепко достается Бальзаку. Недосягаем один Гоголь (из чьей «Шинели», как говорил Достоевский, мы все вышли), а в болгарской литературе — Ботев, Яворов и Йовков.

Забегая вперед, отмечу сказанное Эмилияном позднее, в 1978 году, когда в больнице он прочитал сборник воспоминаний о Гоголе. Смерть Гоголя, нарисовавшего «такую тоскливую Россию», произвела на него сильное впечатление, от которого он долго не мог освободиться. Сказал мне: «Спрашивают, отчего умер Гоголь? Да оттого, что дух его умер. Энтелехия[1] исчезла. Наклонился он над миром, увидел весь его ужас, душа не выдержала, и он пожелал умереть. То же самое случилось и с нашим художником Илией Бешковым. И с моим героем Назарием. В нем тоже погиб дух, исчезла жажда творчества. Он утратил веру в искусство, и, даже если бы Тихик не убил его, он сам, наверно, стал бы искать смерти».

В мае 1966 года окончательно созрела идея «Легенды о Сибине», и фабула коренным образом изменилась. Эмилиян решил, что действие будет происходить только в Болгарии. От первоначального замысла сделать героем Роберто Бугаро (болгарина-богомила, переселившегося во Францию) он отказался, поскольку сам почувствовал ненадежность почвы под ногами. Образ Сибина стал вырисовываться по-иному: хотя и уходящее явление в нашей истории, он должен быть величавым, а не с опустошенной душой, что предполагалось сначала. На мой взгляд, тема стала глубже, приобрела более яркую национальную окраску.

Это было вполне логичное решение, как,

[1] Энтелехия (*греч.*) — в философии Аристотеля и в схоластике целеустремленность, целенаправленность как движущая нематериальная сила, превращающая возможность в действительность (например, душа — энтелехия тела).

впрочем, всегда бывает у Эмилияна: сюжет определяется темой, а тема — образом. Никогда предварительно не обдумывая сюжета, он создает в своем воображении образы, человеческие характеры. Когда прояснятся характеры, сюжет выстраивается сам собой. Так было и с «Иваном Кондаревым» — Эмилиян почти до конца романа не знал, что произойдет с Иваном, события сами привели его героя к гибели. В небольшой повести «Легенда о Сибине» развязка наметилась быстрее, хотя и не совсем точно, но я знала, что, когда начнется работа над отдельными сценами, где подробности порой являются неожиданно, даже вроде бы случайно, непременно произойдут какие-то изменения и логика вещей, может быть, повернет действие как-то иначе. Конечно, это может быть лишь незначительным отклонением, потому что «книга вытанцовывается», как любит выражаться Эмилиян, когда прояснится для него замысел.

Вчера закончил четырнадцатую главу. Велел мне прочесть ее вслух и остался доволен. «Искусство — это красота. Сотворишь ее, значит, создашь и его». Горячо говорил на эту тему. И сто раз спрашивал, чувствуется ли в написанном искусство. «Избавился я наконец от старого реализма». Но, по-моему, не избавился. Пространно объяснив, что испытывает, стоя на скале, Сибин в тот самый момент, когда дошел он до чистой эротики, до того любовного восторга, лишенного всякой сексуальности, при котором начинается слияние с богом, Эмилиян добавил, хитро посмеиваясь: «Потом он отречется от всего этого, и уж куда его занесет!»

А когда я ему сказала, что он остается все таким же сильным реалистом, Эмилиян согласился и сказал: «Ну и паршивец же я! Ты посмотри, как при всей возвышенности я это описал». И прочитал: «Одна коса соскользнула меж розовых грудей, другая ниспадала на спину». Громко рассмеялся, походил по комнате, потом вдруг задумался и произнес:

«Мой «жестокий реализм», как выражаются некоторые критики,—это мое постоянное желание избавиться от него, уверен, что он подрезает крылья моему духу».

И заговорил о языке «Легенды», который должен отличаться от языка его прежних произведений, и о том, чего с его помощью хочет добиться. А хочет он обогатить современный язык некоторыми забытыми языковыми формами, не злоупотребляя, однако, архаизмами. Одним построением фразы и ее ритмом хочет передать атмосферу средневековья, воскресить эпоху. Чтобы произведение стало динамичнее и больше чувствовалось, что это легенда, он будет пользоваться простыми предложениями, как в сказках. Вместе с тем в языке должна звучать легкая ирония.

В этот период я записала и некоторые высказывания Эмилияна о книге. «Хорошая книга,— говорил он,— как весна. Она пробуждает жажду жизни, веру и надежду. Она открывает нам что-то новое, а не рассказывает о давно известном. Но не ждите от книги, что она научит вас жить. В ней художник показывает вам только правду и красоту, не поучая вас, потому что он не моралист и не философ. Он стоит над изображаемым, рисует его и предоставляет вам самим подумать об этом. Не пытайтесь сделать книгу своим учебником. Книг, которые непременно стоит прочесть, очень мало, а миллионы, лежащие в библиотеках, служат лишь для развлечения. Не будем забывать, что книга подобна острому скальпелю хирурга, которым мы часто разрезаем сами себя, чтобы себя изучить. Если чувствуешь, что не умеешь держать скальпель в руке, не читай книгу. Не всякая книга для всякого читателя, особенно для того, кто печется о своем душевном покое. Великий Дон Кихот не для всех бывает примером. Сегодня на Западе пишется немало книг, в которых авторы соревнуются друг с другом в откровенности, доказывая, что человек — это несчастная свинья. Кто-то из древних писателей — не помню кто — сказал: «Адам, выбирай. Можешь вознестись до ангелов, а можешь уподобиться кроту». Одни устремляются ввысь, другие — вниз. Вторым произведение Сервантеса ничего не скажет.

Не стыдитесь своих суждений, даже если они наивны. Это лучше, чем повторять оценки других, лучше, чем не иметь собственного мнения о книгах».

А по вопросу об идейности он высказался так:

«Идейность, мировоззрение не создают таланта. Однако они первостепенный фактор, от которого зависит, что и как видит художник. Художественная идея диалектична, в ней борются душа и ум художника, столкнувшегося с жизненными явлениями. Характер не создашь, если не уловишь сути человека — настоящего узла противоречий: его стремлений, вожделений, классовых интересов, нравственных качеств.

Даже в пейзаже есть противоречия, поскольку есть игра света и тени и контрасты форм. Мышление художника определяется прежде всего эстетическими и этическими категориями, главным образом эстетическими. Искусство рождается из любви к прекрасному, а не из любви к материальным благам».

Из своих произведений Эмилиян выше всех ценил «Антихриста». Согласятся ли время и история с ним, не знаю, но это книга, написанная с особым вдохновением. Она была нескончаемым источником творческой радости и «пиров души», как он сам выражался...

Не выношу болтливости, считаю ее неумением выразить мысли и целиком согласна с Эмилияном, который не раз говорил: «Словам, повторенным тысячу раз, перестаешь верить». Творчество Эмилияна всегда поражало меня немногословием, ясностью мысли, которая достигается путем избавления от балласта лишних слов. Он не боится сокращать, потому что его сокращения целесообразны — они делают фразу точнее и красивее, мысль четче, не лишая ее образности и живописности. В «Антихристе», мне кажется, он добился в этом плане наибольшего успеха—получилась очень синтетическая проза.

В его сознании одновременно живет несколько замыслов. Наряду с главным, кото-

рый выдерживает испытание временем и в конце концов осуществляется, потому что до такой степени властно овладевает им, что заставляет забыть все остальные, несколько идей — временных и недолговечных—вспыхивают и гаснут...

Выбор главной темы, однако, не случаен, хотя вряд ли бывает совершенно осознанным. Он сопровождается колебаниями и сомнениями, которые с возрастом все сильнее одолевают Эмилияна. Все труднее ему остановить на чем-то свой выбор, все чаще он бросает начатое, чтобы заняться другим, которое тоже вскоре бросает. Может быть, это естественно для зрелого художника, чья взыскательность с годами возрастает, но Эмилияну вообще присуща вечная неудовлетворенность собой. Его все время мучает сознание того, что он не сумел нащупать главное и выразить его как следует. Но есть и другое, что снижает рабочий ритм и усиливает сомнения,— это некоторые явления сегодняшней действительности. Они становятся все сложнее, тревожнее, они чреваты опасностью для человечества. Он не находит в себе достаточно сил, чтобы изобразить и объяснить их, сосредоточивая свое внимание преимущественно на том, что «связано с нашими, болгарскими делами».

27 июля 1972 года я отметила:

Его мучает то, что темы, над которыми он сейчас работает, мало его увлекают. Кажутся ему незначительными. Он хочет постичь современность. Не может не замечать некрасивые вещи в нашей жизни — бездушие, эгоизм, стремление к материальному благополучию. Видит, что мало проявляется озабоченности, волнения, обеспокоенности неудачами, что молодые как-то не любят своей работы, стараются как можно дольше жить за счет родителей, за счет их заслуг. «Каждый пытается устроиться получше, а об общем, народном не радеет. Мы утешаемся тем, что то же самое происходит повсюду. В других странах пусть, но разве в нашем мире не должно быть иначе? Вот что меня тревожит. Мы должны уяснить причины этих явлений и бороться с ними».

В сентябре 1972 года начал сниматься фильм «Иван Кондарев», сценаристом и режиссером которого был Николай Корабов. Эмилиян не принимал никакого в этом участия... Согласился было присутствовать на первых съемках, однако в назначенный час запел свою старую песню: «Чего там смотреть! Пусть делают что хотят! Не пойду, иди одна!..»

Вечером я попыталась снова заговорить с ним о фильме, но он нервно прервал меня: «Прошу тебя, перестань! «Иван Кондарев» меня не интересует Это пройденный этап. Сейчас я пытаюсь найти что-то другое. Хочу, чтобы оно было сильным, возвышало человека, хочу приподнять его над современностью, как это сделал Сервантес своим Дон Кихотом и Шекспир — Гамлетом. Милый Дон Кихот, как он велик и трогателен! А Шекспир, если бы не написал «Гамлета», не был бы великим писателем. Потому что отразить современность нетрудно, трудно — перерасти ее, шагнуть в будущее. Этого он добился Гамлетом. Он увидел и показал человека в его противоречивости и развитии. Шекспир смеется над человеком, оплакивает, унижает и возвышает его».

Он увлекся, начал развивать эту тему, перешел к настоящему: «Чем трагичнее мир, тем легкомысленнее становится человек. Как ты думаешь, прав я? Оттого, что человек сыт и одет, он не делается добрее. Особенно если он слишком сыт!»

.

Был в жизни Эмилияна в те годы момент, когда его призывали отказаться от исторической тематики и обратиться к современности. Нам нужны книги, отражающие социалистическую действительность, порыв, энтузиазм, подъем, характерный для нашей жизни, нашего трудового человека. Такие произведения помогают нашему социалистическому строительству и показывают преимущества нашего строя — раздавались голоса среди писателей. Нам ни к чему, утверждали многие, издавать и предлагать для перевода россказни о попах. Они не дадут представления о нас миру, который вряд ли интересуется тем, что происходило в XIII и XIV веках. Все великие художники слова (назывались Гомер, Шекспир, Толстой, Достоевский!) отражали современность, так должен писать и Эмилиян Станев... В противном случае «он не оставит следа в нашей литературе».

В таких разговорах Эмилиян сначала пытался защищать свою точку зрения, но это примитивное толкование роли литературы вывело его из себя.

«Послушайте,— сказал он,— я сорок лет посвятил литературе, и вам не удастся меня ни запугать, ни сбить с толку. Для меня искусство — это культура, поиски истины о человеке, мире и жизни, а не просто пропаганда и агитация. Не занимайтесь его профанацией! Каждый народ и его родина созданы из праха мертвых. Того, кто погружается в человеческую душу, интересует не только сегодня, но и вчера. Если вы считаете патриарха Евтимия попом, то тем хуже для вас. История будет вас судить за это. Неужели Паисий, Софроний, Миткало, Левский [1] и тысячи других были слугами церкви, а не слугами народа? Жаль, если вы так думаете. А меня оставьте в покое, потому что книгу, над которой я работаю, я ценю особенно высоко и пишу ее с большой любовью и вдохновением... И советую вам никогда не противиться ни красивой женщине, ни хорошей книге. Обе вас победят. Книга заставит вас устыдиться, а женщина влюбиться!»

Так оно и получилось. И «Легенда о Сибине, князе преславском», и «Антихрист» были хорошо приняты, и никто не смог помешать им разойтись по всему свету...

Я упоминаю об этом ответе Эмилияна, чтобы еще раз подчеркнуть тот факт, что его нелегко было заставить сойти с избранного пути. Сталкиваясь с препятствиями, он не падает духом, наоборот, заявляет: «Пусть себе болтают! Никто меня не убедит, что я не прав. Марк Аврелий говорил, и притом совершенно справедливо, что самый постыд-

[1] Деятели национально-освободительного движения в Болгарии XVIII—XIX веков.

ный вид жалости — это жалость к самому себе».

И принялся за работу с еще большим увлечением, словно хотел доказать, что книга его будет и хорошей, и «полезной». «Потому что,— подчеркивал он,— я пишу для своего народа, говорю ему то, что думаю, как я объясняю его судьбу, и хочу, чтобы прежде всего меня услышал он, а не иностранцы».

Он не признает писателя «без родного места», «без роду, без племени», то есть не связанного со своей нацией. Для него настоящее искусство всегда национально. «Я называю болгарским интеллигентом того, кто не рубит отцовской груши и не сажает на ее месте саженцы, привезенные из Франции, Америки или России, а делает прививки на этой груше, чтобы вывести сорт, чьи плоды не уступают по качеству заграничным, но сорт отечественный. Для меня интеллигент тот, кто обогащает культуру своего народа. Национальное — это прежде всего культура народа. Мы должны сделать так, чтобы иностранцы уважали нас за нашу мысль, оригинальность, вкус и эстетику. Плохо то, что иногда молодые писатели вместе с чужой формой заимствуют и чужое содержание, а это опасно. Это мешает литературе выполнять ее истинное предназначение — быть непреходящей национальной ценностью, быть духовной пищей. Вместе с тем надо, чтобы национальное не превращалось в ширму, за которой прячутся отсталость, устарелые представления о жизни. Плуг нашей литературы должен пахать болгарское поле. Это поле сейчас стало общим, но это болгарская земля, и в ней наши корни. И мы, современные писатели, должны сильнее налегать на свой плуг».

В связи с отрывками из хроник Кристофера Марло [1], которые артист Иван Кондов великолепно читал по телевидению, Эмилиян заметил следующее:

«Есть наука, которую можно назвать характерологией. Ее, правда, нигде не преподают. Не найдете вы нигде и такого учебника. Ее изучают по литературе. Если, к примеру, вы хотите изучить француза времен Второй империи, читайте Золя и Бальзака. Там целая галерея французов на фоне общественного развития. В нашем же народе таятся могучие, но еще не раскрытые интеллектуальные силы. Он соприкасался с великими древними культурами, но глубоко скрыто то, что осталось от них в его духовной сущности. Цель моих книг «Легенда о Сибине, князе преславском» и «Антихрист» — показать большие духовные ценности нашего народа...»

Когда на следующий день пришел академик Петр Динеков и они, как всегда, заговорили о литературе и о современной теме, Эмилиян сказал:

«Современность — сложное понятие, охватывающее прежде всего духовные проблемы. А эти проблемы — общие для людей всего мира. Социализм как новая эпоха вбирает в себя все чаяния человечества. Художественное произведение только тогда становится истинным творением искусства, когда воздействует на человеческий дух, когда терзает и радует человеческую душу. Подлинно художественное произведение — вне времени, ибо может быть источником наслаждения и через века. Кто интересуется человеческой душой, того интересует не только сегодня, но и вчера. У современности нет даты. Она — тема своей эпохи и включает в себя все ее духовные проблемы. Однако писатель пишет не только для читателей, но и для себя, и если он думает о том, будет ли написанное им напечатано и сколько ему за это заплатят, то лучше пусть вообще не пишет, потому что не создаст истинно художественного произведения».

Перевод с болгарского М. ТАРАСОВОЙ

◆

[1] Марло Кристофер (1564—1593) — английский поэт и драматург, предшественник Шекспира.

Трибуна переводчика

СОЗВУЧИЕ ТРАДИЦИЙ

Русская и советская литература в Шри Ланке

СИРИЛ ПЕРЕРА

ИЗ ОПЫТА ПЕРЕВОДЧИКА

Меня часто спрашивают, почему я занимаюсь переводами произведений русской и советской литературы на родной сингальский язык. Спрашивают и о том, какое влияние оказывают эти переводы на наших читателей и нашу литературу, интересуются техническими приемами, которыми я пользуюсь, а также трудностями, с которыми сталкиваюсь в работе.

Чтобы лучше понять то, что я обычно на это отвечаю, нужно кое-что знать о моей стране и ее историческом прошлом.

Моя родина, Шри Ланка[1],— страна древняя. Уже в античности она поддерживала связи с Грецией, Римом, Индией, Китаем и многими другими государствами. Марко Поло, Ибн Баттута, знаменитые ученые и путешественники, а в прошлом веке и выдающиеся русские писатели Бунин и Чехов восхищались ее красотой. Многие советские литераторы — русские, и не только русские — бывали в Шри Ланке. В повести «Ранние журавли» известный киргизский прозаик Чингиз Айтматов написал о моей стране как о сказочном острове, что находится в океане близ берегов Индии. «Каплей под выменем большой земли» называет его Айтматов.

[1] Демократическая Социалистическая Республика Шри Ланка (до 1972 г. Цейлон) — государство, расположенное в Индийском океане на одноименном острове. (*Здесь и далее — примечания М. Салганик.*)

Письменная история Шри Ланки насчитывает более двух с половиной тысяч лет. По свидетельствам первых летописцев, сингалы — коренные жители острова — происходят от одного из арийских племен, которое иммигрировало на остров из Индии в V веке до н. э. Из Индии пришел на остров и буддизм, распространению которого способствовал император Ашока (IV век до н. э.). Буддизм оказал сильнейшее влияние на развитие архитектуры, искусства и литературы нашей страны.

Мирной жизни и независимости острова постоянно угрожали вторжения. В период между 1515 и 1815 годами приморские провинции острова последовательно оккупировались тремя европейскими колониальными державами — Португалией, Голландией и Великобританией. Народ сражался с захватчиками, защищая свободу и независимость, но в конце концов сингальские власти договором от 1815 года все же вынуждены были передать управление островом англичанам. С тех пор он оставался британской колонией вплоть до 1948 года, когда Шри Ланка вновь обрела независимость. В 1972 году она стала республикой.

В ходе долгой бурной сингальской истории развивались искусство, архитектура, язык и литература страны. Об этом свидетельствуют величественные памятники, спроектированные древними зодчими, всемирно известные теперь фрески Сигирии[1], созданные нашими предками-художниками, мелодии и ритмы наших народных танцев,

[1] Сигирия — каменная глыба на о. Шри Ланка, на вершине которой находился дворец царя Кассапы (V в.). По его приказу были созданы фрески, изображающие молодых женщин с цветами и драгоценностями, по-видимому, участниц священной церемонии.

СИРИЛ С. ПЕРЕРА — CYRIL C. PERERA (род. в 1923 г.).

Переводчик на сингальский язык. Автор многих переводов произведений классиков мировой литературы и современных писателей. Один из пионеров перевода в Шри Ланке русских и советских писателей. В его переводе выходили произведения Пушкина, Толстого, Достоевского, Горького, Шолохова, Айтматова и др. В 1979 г. С. Перера был награжден премией советского Фонда мира за переводы классической русской и советской литературы. За перевод «Братьев Карамазовых» Ф. М. Достоевского ему была присуждена правительственная премия Шри Ланки.

и сейчас поражающие слушателей. Ни единой капле дождей, орошавших остров, не позволяла утечь в море сложная ирригационная система, построенная древними сингальскими инженерами. Эти сооружения по сей день вызывают изумление и восхищение специалистов. Замысловатые узоры и огромные статуи, высеченные в скалах, все еще живы, несмотря на превратности климата. А помимо всего этого мы унаследовали от предков язык, классическую литературу и сокровища фольклора — легенды и песни, которыми по праву можем гордиться.

Зарождение классической сингальской литературы относится к III веку до н. э. Авторами классических произведений сингальской литературы были большей частью образованные буддийские монахи. Следует, кстати, сказать, что сами эти произведения были в основном переводами с языка пали [1]. Однако переводы воспринимались как оригинальные произведения, более того, они отличались красотой и очарованием, подлинникам не всегда присущими, так как переводчики придавали текстам национальные формы и черты. Наши древние прозаики были искусными переводчиками.

Сингальская классическая поэзия по истокам отлична от национальной классической прозы. Древние сингальские поэты вдохновлялись санскритской поэзией и писали, следуя традициям своего времени. Классическая сингальская литература веками формировала наш национальный характер. И сегодня ее изучают у нас в школах и университетах.

Первый сингальский роман был написан в 1905 году под влиянием романа английского. С появлением романа, рассказа и драмы сингальская литература обрела новое качество и стала проводницей современной общественной и политической мысли. Первые сингальские романисты использовали эти жанры как оружие в борьбе против британского владычества, против тех пороков западной цивилизации, которые развращали наш народ. По своему стилю и жанровой специфике роман и рассказ весьма отличались от классических форм сингальской прозы; однако новая проза развивала духовные ценности, основанные на морали и этике буддизма.

Итак, с 1948 года Шри Ланка — суверенное государство. Новая политическая ситуация пробудила в народе пристальный интерес к Советской стране. Но из-за антисоветской пропаганды и недостатка достоверной информации между нашими странами долго существовала пропасть. Навести мосты через нее, сблизить наши народы и помогли писатели — переводчики русской литературы.

Первая статья о русской литературе была написана Мартином Викрамасинге [2] и опубликована в шести выпусках ведущей сингальской газеты «Динамина» в апреле 1918 года. Это была статья о Толстом, философия которого рассматривалась в сопоставлении с философией буддизма. Толстой стал первым русским писателем, с которым познакомились сингальские читатели. Мартин Викрамасинге был близким другом Советского Союза. Он неоднократно приезжал в Советскую страну и написал книгу о различных сторонах жизни советского народа — «Расцвет Страны Советов». За нее он был удостоен премии ЮНЕСКО.

Первый сингальский перевод рассказа Льва Толстого, появившийся в журнале «Весак», я прочел в 1940 году. Каждый год, в день майского полнолуния, буддисты всего мира отмечают рождение Будды, познание им всего сущего и его уход. К этому дню газеты острова выпускают специальные приложения со статьями по буддизму, написанными известными учеными. В одном из таких приложений и был напечатан рассказ Льва Толстого «Чем люди живы». Он вызвал восторг сингальских читателей, потому что мысль Толстого, открывшаяся им, была дорога их сердцам и отвечала образу их мыслей.

До обретения независимости преподавание в школах Шри Ланки велось только по-английски. Мы изучали английских классиков и могли читать литературу и Востока, и Запада в английских переводах. Произведения же Толстого были чем-то совершенно новым: они были близки к нашей жизни и литературной традиции, чего о западной литературе не скажешь.

В те годы я был студентом. Рассказ Толстого произвел на меня столь глубокое впечатление, что я серьезно заинтересовался его творчеством и прочел все его произведения, какие только мог достать. Мною овладело восхищение и жгучее стремление разделить его с другими. В книгах Толстого были благородство, глубина и красота, отвечавшие сокровенным чаяниям нашего бытия и дорогие нашим сердцам. Пусть же сингальский читатель испытает на себе их благотворное воздействие! Это желание и заставило меня взяться за перевод Толстого на родной язык. Так я вступил в мир перевода, мир поистине захватывающий.

Я принес свой первый перевод (это был «Крестник» Льва Толстого) в редакцию одной из ведущих газет Коломбо. Хорошо помню тот день. Редактор, известный писатель, был немало удивлен, увидев столь юного переводчика Толстого. Однако, сказав мне несколько ободряющих слов, пообещал перевод напечатать. Я, тогда еще совсем мальчик, испытал глубокое волнение, увидев в газете свой первый перевод и свое имя, напечатанное под именем Льва Толстого! Позднее мне посчастливилось перевести несколько его рассказов и пьес и выпустить их в двух томах.

Это было первое в нашей стране книжное издание переводов Льва Толстого на сингальский язык. Оно было горячо принято читателями и так воодушевило меня, что я серьезно углубился в изучение и перевод русской литературы.

«Пиковую даму» и «Повести Белкина» Пушкина я тоже перевел на сингальский

[1] Пали — индийский диалект, язык священных книг буддистов.

[2] Мартин Викрамасинге (1891—1979) — крупнейший сингальский писатель, зачинатель реалистической прозы Шри Ланки. Советским читателям известен трилогией «Последний век» и рассказами.

первым. Затем последовали «Мертвые души» Гоголя, встреченные с большим энтузиазмом, так как выведенные Гоголем персонажи и описанные им события нашему читателю хорошо понятны. А когда в 1969 году вышли в свет в моем переводе «Братья Карамазовы» Достоевского, это было расценено как литературное событие. После этого я перевел «Сон смешного человека», «Кроткую», «Честного вора», «Елку и свадьбу» Достоевского, переводил Лермонтова, Чехова, Тургенева, Горького и других русских писателей.

К тому времени целая плеяда наших прозаиков занялась переводами с русского. Среди них был и лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», выдающийся буддийский деятель Удакендавала Сарананкара Тхеро. Русская литература вызывала у нас все больший интерес, и Толстой, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Чехов, Тургенев, Горький, Короленко стали в Шри Ланке широко известны. В нашей литературе эти писатели и их произведения занимают почетное место.

Почему русская литература покорила сердце Шри Ланки? Чтобы понимать великую литературу, созданную другим народом и выражающую культурные ценности, отличные от наших, читателю необходимо обладать некоторой подготовкой. Читатель Шри Ланки нашел у русских писателей именно те мысли и стремления, которые он искал в литературе. Нравственные традиции буддизма, культура и словесность, унаследованные нашими читателями от давних времен, позволяют им понимать и восхищаться произведениями русских мастеров. Особенно Толстого и Достоевского, исследующих человеческую природу и воспевающих добро и гуманизм.

Человек может накопить за свою жизнь большое богатство, но в конце концов ему потребуется всего три аршина земли на могилу. У нас в народе эта мораль очень популярна, особенно когда хотят сказать об алчности землевладельцев. Наша литература не знает рассказа на эту тему, равного по силе рассказу Толстого «Много ли человеку земли нужно».

Когда я перевел «Сон смешного человека», некоторые читатели спрашивали, изменил ли я что-нибудь в этой истории, чтобы внести в нее элементы буддийской морали.

Мы считаем высокие духовные и нравственные принципы, идеалы гуманизма и прогресса, воплощенные в литературе, высшими ее достоинствами. Именно они привлекают наших читателей в русской литературе и вдохновляют наших писателей. Не думаю, чтобы среди них нашелся хоть один, кто стал бы отрицать, что испытал вдохновляющее влияние великих русских художников слова.

Другая причина популярности русской литературы в нашей стране — в известном сходстве сингальской и русской культур. С русской литературной традицией мы находим гораздо больше точек соприкосновения, чем с западноевропейской.

Мартин Викрамасинге в большой книге «Буддийская джатака и русский роман» сравнивал персонажи буддийских притч и жизненную философию, носителями которой они являются, с некоторыми героями романов Достоевского.

Еще одна черта, привлекающая нас в русской литературе,— изображение в ней страдания и очищения через страдание. Мы все страдаем по тем или иным причинам. В страдании заключена сила, трогающая человеческие сердца и объединяющая их. Доктрина сострадания (каруна) является одной из важнейших в буддизме. Читая русскую классику и советскую литературу, мы убеждаемся, что русский человек знает, что такое страдание, и умеет сострадать, быть может, глубже, чем кто бы то ни было. И, я думаю, именно из этой способности выросла гуманистическая русская литература, по широко распространенному мнению, превосходящая всякую другую. Джордж Стейнер, например, в книге «Толстой или Достоевский» называет русскую классическую литературу одной из трех вершин в истории всей западной словесности; две другие, по его мнению,— это взлет греческой драматургии и Платон и эпоха Шекспира.

Социалистическое общество тоже родилось как реакция на страдания, страдания народа, вызванные его многовековым угнетением.

Социалистическая мораль сдерживает стремление к личному накоплению богатства и позволяет построить общество разумных материальных запросов и высокой духовности. В таком обществе человек достигает больших нравственных высот, и литература, воплощающая их, не может быть нам чуждой. Она становится неотделимой частью и нашей жизни.

Сегодня существует множество переводов русской классики на сингальский язык. Лучшие из них вошли в сокровищницу нашей культуры.

Взаимоотношения же с советской литературой у нас складываются несколько иначе. Наши читатели много знают о Великой Октябрьской революции, о создании первого на земле социалистического государства и о том, как изменило оно политический климат в мире. Но мы еще недостаточно знакомы с литературой, рожденной обществом социализма. В определенных кругах существует неприязненное отношение к советской литературе, там хулят социалистический реализм как пропаганду, ведущуюся в интересах государственных институтов, утверждают, что советская литература утратила гуманистические идеалы русских классиков.

Подобным нападкам советская литература подвергается отнюдь не на основании ее серьезного изучения. Некоторые наши критики лишь повторяют тезисы своих западных коллег, враждебных Советскому Союзу. А читатели не могут составить собственного мнения, так как переводов произведений современной советской литературы на языки нашей страны пока мало.

Мы получаем книги советских авторов, выпускаемые московским издательством «Прогресс» в переводе на английский, и английский выпуск ежемесячного журнала «Советская литература». Немногочисленных англоязычных читателей это кое-

как удовлетворяет, а вот огромное множество читателей сингальских имеет весьма скудные возможности знакомства с советской литературой: немного советских книг, изданных «Прогрессом» на сингальском языке, да ежемесячник «Советская страна», выпускаемый посольством СССР в Коломбо. Он уделяет советской литературе несколько страниц. В каждом номере публикуется в сопровождении кратких биографических данных новелла или отрывок из романа того или иного советского автора.

Этого недостаточно для того, чтобы составить представление о многонациональной советской литературе. Между тем она могла бы помочь нашему читателю понять жизнь советского общества, увидеть прогресс, которого оно достигло, философию, на которой оно зиждется, и прежде всего послужить вдохновляющим жизненным примером.

Сингальским читателям, я уверен, понравилась бы богатая литература кавказских и среднеазиатских республик СССР. Они были бы очарованы новой литературой, созданной народами, иные из которых получили свою письменность только после революции. Эта литература могла бы обрести большую популярность в Шри Ланке — ведь она так близка нашей собственной культуре и традициям.

Есть, например, поразительное сходство между церемонией наречения, описанной Расулом Гамзатовым в книге «Мой Дагестан», и аналогичной церемонией, показанной в великом сингальском эпосе «Пуджавалиа», созданном в XII веке. Сходное описание есть, кстати, и в одном из еще более ранних сингальских литературных памятников, относящихся к VIII веку. Я не исключаю, что фольклорные источники у советских среднеазиатских народов и народов Северного Кавказа те же, что и у нас.

Существуют и другие сходные сюжеты. Например, рассказы, воспевающие женские добродетели,— в буддийских джатаках и в адыгейских народных притчах.

Выбирая книгу для перевода, должно иметь в виду несколько соображений. Как сказал Михаил Шолохов, нужно переводить добрые книги, которые помогают людям становиться лучше, чистосердечней, пробуждают любовь к людям и зовут на борьбу за идеалы гуманизма и прогресса.

Следует переводить книги, которые несомненно обогатят нашу словесность новыми формами и новым стилем, будут способствовать воспитанию вкуса читателей, расширят их кругозор и воодушевят писателей. Это должны быть книги, которые могут стать органической частью нашей отечественной литературы.

Однако вовсе не значит, что книгу стоит переводить уже потому, что она хорошо написана. Для нас она, несмотря на это, может оказаться бесполезной и не заслужит у публики никакого признания. А ведь самое главное — непосредственный читательский отклик. Например, из трех великих романов Шолохова наиболее актуальным для моей страны я считаю «Поднятую целину».

В 1975 году в Шри Ланке была проведена земельная реформа. Чайные плантации, принадлежавшие иностранным компаниям, и все излишки частных владений (свыше 50 акров), включая каучуковые и кокосовые посадки, были национализированы. На этих землях создавались кооперативные хозяйства. Частично угодья распределили среди безземельных крестьян. Это было важнейшим событием в истории Шри Ланки, не нашедшим пока отражения в нашей литературе.

«Поднятая целина», повествующая о сходных событиях в казачьей станице,— книга настолько значительная для Шри Ланки, что мы не могли пройти мимо нее. Тема, конфликты и чувства ее персонажей созвучны нашей действительности и могут вдохновить писателей нашей страны на создание произведений о коренных переменах, произошедших в результате земельной реформы. Я перевел «Поднятую целину» потому, что чувствовал в этом настоятельную необходимость.

Другое важное произведение, мною переведенное,— трилогия Леонида Брежнева. Ее издание на сингальском языке вызвало широкое и горячее обсуждение у нас в стране. Из нее наш народ узнал историю становления политика и государственного деятеля, узнал о неукротимой воле советского народа к миру и о многих сторонах жизни в СССР. Эти книги вдохновляют народы развивающихся стран в их борьбе за социальное возрождение и восстановление разоренной колонизаторами экономики. Их можно назвать современным эпосом, они как долгожданный дождь для пораженной засухой земли. Они с новой силой воспламеняют в наших сердцах любовь к родине и делают нас мудрее и сильнее.

Иногда говорят, что переводить роман, рассказ или поэтическое произведение — значит «переводить культуру», которая дала им жизнь. Однако переводчики лишь помогают ознакомлению читателей с культурами народов мира и их пониманию. При этом культура одних нам более близка, других — менее. «Гордость и предубеждение» Джейн Остин считается шедевром английской прозы, однако я сомневаюсь, чтобы эта книга стала популярной среди сингальских читателей, потому что им было бы трудно освоиться в обществе, представителями которого являются ее персонажи. В моем языке нет, например, адекватных слов, чтобы перевести отдельные места из «Любовника леди Чаттерлей» Лоренса или романов Генри Миллера. Точный перевод невозможен. Ни один издатель, опасаясь убытков, не рискнет опубликовать такую книгу. А если и рискнет, читателям она будет скучна.

Англия правила нами более ста лет. Кое-кто из нас в Англии получил образование. Мы переняли британскую парламентскую систему. Наше высшее общество и по сей день подражает обычаям и манерам англичан. Мы читаем и понимаем их литературу. Но я не могу отказаться от мысли, что большинство ее произведений не будет пользоваться большим успехом у сингальского читателя. Мы живем в другой культурной среде.

Единственное сочинение Диккенса, нашедшее отклик у наших читателей,— «Рождественская песнь в прозе. Святочный рас-

сказ с привидениями». В нашей классической литературе есть сходные истории о скрягах, но нет персонажа, равного диккенсовскому Эбинизеру Скруджу. Эта вещь — единственное, что я перевел из Диккенса. Но, странное дело, раскупалась она плохо, быть может потому, что ее название не было привлекательным для сингала.

Перевод должен звучать как оригинальное произведение, а не как переложение. Он обязан увлечь читателя. Ведь ни один здравомыслящий человек не станет читать перевод по обязанности.

За последние двадцать пять лет я перевел около десяти больших романов и свыше ста семидесяти рассказов более чем семидесяти пяти авторов из двадцати разных стран. И каждый роман и рассказ, мною переведенный, обогатил меня новым опытом. В работе мне довелось сталкиваться со множеством проблем, ответы на которые не сыщешь в книгах. Каждая проблема была нова и требовала собственного решения.

Думаю, все зависит от того, как переводчик подходит к оригиналу. Нужно чувствовать оригинал и обладать достаточным воображением, чтобы и себя раскрыть и в то же время полностью слиться с переводимым произведением, как бы пропустить его через себя. Это пробуждает в переводчике вдохновение, которое переполняет его сердце, как закипающее молоко переполняет сосуд. И он не успокоится, пока не разделит это чувство с другими, пока не расскажет о том, что его переполняет, своим соотечественникам на родном языке. И тогда в переводе рождается красота, равная той, что он видит в оригинале, чувства, равные чувствам, описанным автором, вдохновение, равное авторскому. Такой перевод всегда будет иметь успех. Такой переводчик — художник, выражающий себя через опыт, которым поделился с ним другой художник.

Порой мне представляется, что переводчик — это одинокий благородный дух, жаждущий красоты, скитающийся в поисках достойного автора, живого или мертвого. Найдя такого автора, он отдается в его власть, становится его посредником и воссоздает оригинальное произведение во всей его красоте. Происходит как бы своеобразное переселение души.

Иногда же я думаю, что переводить книгу — все равно что путешествовать по стране, уже открытой и описанной автором. Переводчик посещает те же места и становится участником событий, которые автор уже видел и запечатлел в книге, встречается с персонажами, живет их жизнью, испытывает их чувства. Закончив перевод, он ощущает себя так, будто вернулся домой из долгого путешествия.

Но каковы бы ни были психологические состояния переводчика, весьма существенно для него освоить социальную и культурную историю страны оригинала, а равно и особенности читательского восприятия соотечественников. Переводчик не должен изменять автору и разрушать своим переводом его индивидуальность. Я никогда, кажется, не впадал в этот непростительный грех. Но случается, что необходимо дать себе некоторую свободу. Приведу только один пример.

Лев Толстой, описывая в «Войне и мире» очаровательную молодую княгиню Болконскую, говорит, что у нее была короткая с «усиками» губка. Наши читатели этого никогда бы не поняли. У красивой молодой женщины не должно быть никаких «усиков». Согласно нашей традиции, такая женщина уродлива, более того, по нашим предрассудкам, она приносит несчастье. Если оставить эту деталь в переводе на сингальский язык, она с самого начала, без сомнения, произведет плохое впечатление и может исказить восприятие этого образа. Лучшее, что можно сделать в этих обстоятельствах, забыть об «усиках» на верхней губе княгини Лизы.

По-иному я действовал, когда переводил «Старика и море» Эрнеста Хемингуэя. У наших рыбаков, выходящих на промысел в море, свой язык, полный иносказаний, рожденных, вероятно, страхом и суевериями. Я проделал небольшую исследовательскую работу: побывал в рыбацких поселках и записал словарь рыбаков. Говорил с ними об их ремесле, изучал их манеры, речь и, наконец, вышел с ними в море. Приобретя таким образом некоторый профессиональный опыт и знания, я перевел «Старика и море». Критика высоко оценила этот перевод, назвав его моей лучшей работой.

Иногда я приступаю к переводу романа или рассказа, предварительно ни разу его не прочитав. Так было, например, с «Братьями Карамазовыми». Я знал, что это великое творение Достоевского, и был уверен, что нашим читателям необходимо дать возможность почувствовать радость общения с ним. Начал читать, но испытание оказалось слишком тяжелым, и я испугался, что ощущение красоты и проникающей силы этого произведения, которое испытываешь при первом чтении, будет утрачено при чтении повторном, то есть в процессе перевода. Тогда я изучил всю доступную мне литературу о «Карамазовых», прочел все, что было возможно о жизни и творчестве автора, о социальной, экономической, политической, религиозной и исторической ситуации в России тех лет. Это дало мне необходимую перед столь важной и объемной работой уверенность в своих силах. Я чувствовал себя первооткрывателем, углубляющимся в неизвестный мир, ученым, проникающим в тайны человеческой души. Я старался жить жизнью персонажей книги, испытывать их переживания — это было ужасно! Временами я был близок к отчаянию. Глаза мои застилались слезами, и я, чтобы немного успокоиться, прекращал работу над «Карамазовыми», переключаясь на другие переводы. Так я перевел две небольшие повести и два рассказа Достоевского и научно-фантастический роман Артура Кларка «Большая глубина». Обе книги вышли раньше «Братьев Карамазовых». Работа же над этим произведением заняла много времени: отдельные главы пришлось переписывать по нескольку раз. Но я был вознагражден за труд, получив правительственную премию Шри Ланки за лучший перевод года.

Самое важное в сегодняшнем мире — предотвратить войну, освободиться от стра-

ха, невежества и эксплуатации. Мы должны создать фундамент для лучшего взаимопонимания между народами и на этом фундаменте строить мирное будущее. Писатели и переводчики обязаны внести свой вклад в это благородное дело. Они должны создавать и делать общим достоянием хорошие книги, которые укажут путь к миру и торжеству доброй воли на нашей планете.

Перевод с английского И. ДОРОНИНОЙ

ГУНАСЕНА ВИТАНА

...В СОКРОВИЩНИЦУ НАШЕЙ КУЛЬТУРЫ

Трудно в рамках небольшой статьи рассказать о всем многообразии влияния русской и советской литературы на литературное развитие острова Шри Ланка.

Айвор Дженнингс, бывший ректором Цейлонского университета в период английского колониального господства, заявил однажды, что, хотя Цейлон и являет собой культурную пустыню, он может быть преобразован в маленькую Англию. Наша англизированная интеллигенция пришла в восторг от этой перспективы и с удовольствием стала изображать из себя «маленьких англичан». Эта часть цейлонской интеллигенции признавала литературой только произведения, герои которых были пессимистами, она упивалась сексуальными романами и ратовала за индивидуализм. Цейлонский университет и реакционные средства массовой информации покровительствовали писателям, анатомировавшим интимнейшие переживания своих героев и декларировавшим элитарность литературы. Напротив, книги, посвященные борьбе за свободу, независимость и социализм, суммарно объявлялись пропагандой, и за ними не признавалось никаких литературных достоинств. Постепенно сложилась определенная группа писателей, которые в силу тех или иных причин считали вопросы политического характера — даже такие, как борьба за свободу и суверенитет страны,— недостойными внимания высокого искусства.

С самого зарождения этой тенденции против нее активно выступал крупнейший наш писатель Мартин Викрамасинге. Позднее был образован Фронт народных писателей, который повел кампанию в масштабах всего острова, направленную на разоблачение антинационального, проколониалистского характера такого рода литературы. В своей известной работе, посвященной влиянию японского сексуального рассказа на сингальскую литературу, Мартин Викрамасинге затронул и общую проблему трактовки секса в литературе, в частности, исподьзование этой темы средствами массовой информации в целях отвлечения национальной интеллигенции от решения народных проблем.

Произведения Толстого, Чехова, Горького, Гоголя, Пушкина, Достоевского оказали большую помощь демократическим писателям Шри Ланки в борьбе за становление подлинно национальной, реалистической литературы. К концу сороковых годов многие произведения этих великих писателей были переведены на сингальский язык.

Пути переводчиков были различны.

У. Сарананкара Тхеро, например, переводил классическую русскую литературу с бенгальского языка, которым хорошо владел. Особую популярность получил в свое время его перевод «Каштанской дочки».

Позднее переводами занялись многие наши писатели: Сирил Перера, К. М. Сирисена, К. Г. Карунатилаке, К. Ганеш, К. Раманатхан и К. В. Синнатамби. Они переводили и романы, и рассказы, но в основном тоже не с русского, а через английский язык.

К шестидесятым годам читатели Шри Ланки впервые получили возможность знакомиться с русской и советской литературой, переведенной на сингальский язык непосредственно с русского. Сегодня наиболее читаемый в Шри Ланке роман — «Мать» Горького в переводе с русского Д. В. Родриго. Уже разошлись три издания этой книги общим тиражом в 50 000 экз.— цифра для острова почти невероятная,—и сейчас готовится четвертое. Нужно отметить, что именно Д. В. Родриго, один из лучших наших переводчиков, был первым в Шри Ланке, кто перевел на сингальский язык произведения В. И. Ленина. А всего за двадцать лет неустанного труда он перевел 106 названий книг русских и советских писателей.

Хочу упомянуть еще ряд произведений, завоевавших прочное место в сердцах наших читателей. Это рассказы М. Шолохова, избранные рассказы М. Горького, «Слепой музыкант» В. Короленко, «Как закалялась сталь» Н. Островского, «Первый учитель» и «Джамиля» Ч. Айтматова.

Писатели младшего поколения испытывают на себе сильное влияние Чингиза Айтматова, который производит на них впечатление и тематикой своих произведений, и манерой письма. Пожалуй, наибольшей по-

---

ГУНАСЕНА ВИТАНА — GUNASENA VITHANE (род. в 1931 г.).

Прозаик и поэт. Генеральный секретарь Фронта народных писателей Шри Ланки. Автор романов, сборников рассказов, стихов, очерков, пьес, критических статей. Лауреат Национальной премии и международной премии «Лотос». Русские переводы его новелл печатались в сборниках и периодических изданиях.

Статьи Сирила С. Переры и Г. Витаны получены редакцией в рукописи.

пулярностью в Шри Ланке уже много лет пользуется его «Первый учитель» в отличном переводе П. Куранге, который, кстати, перевел и чеховские рассказы. Необходимо особенно подчеркнуть популярность в нашей стране произведений, рассказывающих о героическом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, таких как «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого или «Горячий снег» Ю. Бондарева.

Хотя количество вышедших у нас произведений русской и советской литературы никак нельзя назвать достаточным, учитывая растущий спрос на них, результат ее воздействия, ее вклад в сокровищницу нашей культуры совершенно очевиден. Хотелось бы привести имена нескольких писателей из народа, которые в своем творчестве развивают традиции Горького и Айтматова. Это — А. В. Суравира, Доминик Джива, К. Джаятиллаке, А. В. Абейсингхе, Сирилал Кодикара, Ранджит Дхармакирти и П. Маллалгода — писатели, стремящиеся отобразить в своих романах и рассказах борьбу народа за счастливое и справедливое устройство общества.

Остров Шри Ланка может гордиться самым высоким в Азии процентом грамотности, поэтому неудивительно, что влияние классической русской и советской литературы непрестанно возрастает в нашей стране. С другой стороны, Советский Союз оказывает нашей литературе весьма серьезную помощь, публикуя на различных языках народов СССР переводы лучших книг, написанных на сингальском и тамильском языках. Знакомя с ними советского читателя, литературный вкус и литературные запросы которого так высоки, Советский Союз показывает пример того, как ведущая социалистическая страна может оказать поддержку прогрессивным литературным силам страны развивающейся.

В этой связи мне хочется сказать и о большой роли личных контактов между советскими писателями и писателями Шри Ланки. Чрезвычайно важными кажутся мне, например, визиты советских писателей в нашу страну, где они встречаются и беседуют с нашими писателями, рассказывают много поучительного нашей молодежи. У нас до сих пор хорошо помнят приезды В. Кочетова, Н. Тихонова, С. С. Смирнова, В. Озерова и других.

Мы боремся за подлинно народную литературу, за литературу национальную, демократическую, свободолюбивую. Уверены, что созданием такой литературы сможем внести свою лепту в дело мира и безопасности на земле, в уменьшение международной напряженности, а это даст нам возможность успешно добиваться социальной справедливости и победы социализма в своей стране.

Перевод с английского М. САЛГАНИК

◆

Советская литература за рубежом

БОЛГАРИЯ

Публицистика Вениамина КАВЕРИНА под общим названием «Собеседник». Издательство «Георги Бакалов».
Книга Леонида ЛЕОНОВА «Литература и время». То же издательство.
Повесть Юлиана СЕМЕНОВА «Семнадцать мгновений весны». Издательство «Воениздат».

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Повести Аркадия и Бориса СТРУГАЦКИХ «Жук в муравейнике» и «Стажеры». Издательство «Макмиллан».
Роман Алексея ТОЛСТОГО «Аэлита». То же издательство.

ВЕНГРИЯ

Повесть Сергея АНТОНОВА «Разорванный рубль». Издательство «Космос».
Повесть Владимира БОГОМОЛОВА «Иван». Издательство «Мора».
«Избранное» Евгения ЕВТУШЕНКО. Издательство «Европа».
«Удивительные маленькие истории» Николая ТИХОНОВА. Издательство «Мора».
Роман Александра ФАДЕЕВА «Молодая гвардия». То же издательство.

ГДР

Повести Чингиза АЙТМАТОВА «Пегий пес, бегущий краем моря» и «Ранние журавли». Издательство «Ауфбау».
Цикл рассказов Исаака БАБЕЛЯ «Конармия». Издательство «Ферлаг дер национ».
Повесть Всеволода ИВАНОВА «Цветные ветра». Издательство «Ауфбау».
Роман Ильи ИЛЬФА и Евгения ПЕТРОВА «Двенадцать стульев». Издательство «Фольк унд вельт».
Роман Константина ФЕДИНА «Города и годы». Издательство «Реклам».
Книга Виктора ШКЛОВСКОГО «Лев Толстой». Издательство «Фольк унд вельт».

ИТАЛИЯ

Роман Андрея БЕЛОГО «Петербург». Издательство «Эйнауди».
«Алмазный мой венец» Валентина КАТАЕВА. Издательство «Мурсиа».
Автобиографическая повесть Бориса ПАСТЕРНАКА «Охранная грамота». Издательство «Эдитори риунити».
Сборник стихов Марины ЦВЕТАЕВОЙ «Земные приметы». Издательство «Гуанда».

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

Федерико Гарсиа Лорка, называвший себя «страстным приверженцем театра социального действия», считал театр «свободной трибуной».

«Театр,— говорил он,— одно из самых действенных и полезных орудий в строительстве страны, это барометр, отмечающий ее величие или упадок. Чуткий театр... может в несколько лет изменить мировосприятие нашего народа. А театр искалеченный, у которого вместо крыльев копыта, может развратить и усыпить целую нацию».

Эти слова вспоминают сегодня, когда испанская пресса все чаще выражает беспокойство по поводу так называемого «франкистского театра», который возник несколько лет назад, но лишь теперь, когда становится очевидным, что он отражает определенные социальные процессы в стране, привлек к себе серьезное внимание.

«12 января 1978 года в мадридском театре «Арлекин» состоялась премьера пьесы Элоя Эрреры «Ничтожество», положившая начало франкистскому театру. Длинные очереди у касс, переполненный зрительный зал, представления, скорее напоминающие бурный митинг, крики «Долой!» и «Да здравствует!», публика, поющая «Лицом к солнцу»[1],— и все это на фоне весьма посредственного театрального сезона, полупустых зрительных залов и всеобщего равнодушия».

Слова эти принадлежат известному журналисту и театральному критику, главному редактору журнала «Тьемпо де история» Эдуардо Аро Текглену и взяты из его статьи «Пора франкистского театра», опубликованной крупнейшей мадридской газетой «Эль паис» спустя более чем три года после упоминаемой премьеры. Статья содержит четкий, последовательный анализ феномена скорее социального, чем относящегося к сфере искусства, и продиктована желанием разобраться в породивших его причинах.

Успех пьесы Эрреры действительно был поразительным: постоянные аншлаги в Мадриде, поездки второго состава труппы с этим спектаклем по стране, затем премьера в Барселоне — только за первый сезон было дано в общей сложности более 2500 представлений.

Действие пьесы происходит в послефранкистской Испании; герой ее — убежденный фалангист, в резкой, подчас грубой и оскорбительной форме критикующий тех, кто не проявил должной твердости и верности идеалам франкизма, «поменял костюм», как говорят в Испании. Причем критика эта отнюдь не была абстрактной: в пьесе этой звучали обвинения в адрес конкретных политических лиц, встречающие бурный отклик в зале, упреки в адрес некоторых членов правительства. По мнению Э. Аро Текглена,

«общественный резонанс пьесы объяснялся тем, что на сцене откровенный франкист со своих позиций критиковал демократию, как таковую, и новых политических деятелей».

Интересно, что ведущие газеты и журналы, в том числе и театральные, практически обошли молчанием этот спектакль, либо решив из-за политических соображений несвоевременным привлекать к нему излишнее внимание, либо сочтя его неприятным, но случайным эпизодом в истории испанского театра, который вскоре будет забыт.

Однако, к сожалению, случилось иначе. Очень скоро Элой Эррера поставил новую пьесу «Бог вам судья», где олицетворением всяческих достоинств, здравого смысла, добропорядочности и рассудительности был ярый фалангист, а источником и носителем всевозможных пороков — те, кто выступают за демократические перемены в стране. Как показывают статистические данные, опубликованные ежегодником «Зритель и критика», в 1979 году эта пьеса делила первое место по количеству представлений с «Филуменой Мартурано» Э. Де Филиппо. Уже тогда прогрессивная критика стала бить тревогу. Сразу же после премьеры пьесы «Ничтожество» Мигель Анхель Медина, театральный критик, автор работы «Новый испанский театр: культурная — нет, социальная альтернатива», предостерегал против проникновения на испанскую сцену идей франкизма. Он же через полгода на

[1] Гимн испанских фалангистов.

страницах еженедельника «Триумфо» выступил с большой статьей, в которой, в частности, писал:

«Озлобление и недовольство тех, кому не по нутру демократические перемены, с поразительной быстротой, как раковая опухоль, стали заполнять собой сцены испанских театров. Долг каждого, кому дорога культура,— помешать постановке в наших театрах постыдных реакционных памфлетов».

Но призыв этот не был услышан. К кампании, начатой Элоем Эррерой, скоро присоединился Антонио Д. Олано, известный ранее как автор легковесных комедий. Его пьесы «Лицом к солнцу, но... в новом костюме» и «Любимая родина, старая Испания» прошли с немалым успехом. Решил попробовать свои силы в драматургии и Вискаино Касас, автор нашумевшего бестселлера «И на третий год он воскрес», проникнутого ностальгией по франкистским временам и порядкам и долгое время уверенно лидировавшего в списке наиболее популярных в Испании книг. Он написал пьесу — она была тут же поставлена в Мадриде,— о содержании которой, зная политические убеждения автора, можно судить уже по ее названию: «Тоска по сороковым»... И хотя художественная сторона всех перечисленных пьес, по единодушному свидетельству критиков, оставляет желать лучшего, не может не вызывать тревоги тот факт, что на сегодняшний день мы имеем дело уже с несколькими драматургами, успех которых у определенной части испанской публики очевиден.

Само по себе выражение «франкистский театр» возникло после смерти Франко и было порождено необходимостью охарактеризовать новые тенденции в испанском театре. Именно новые, поскольку и в самое тяжелое для страны первое послевоенное десятилетие официальный театр сводился либо к псевдоисторическим пьесам Хосе Мариа Пемана, прославлявшим особую историческую миссию испанской нации, либо к бездумно-развлекательным комедиям, сюжеты которых строились на забавных недоразумениях, совпадениях, любовных коллизиях. Острого, политического театра франкизм не создал — возможно, режим, победивший силой оружия, просто в нем не нуждался. Задумываясь о том, почему же сегодня, когда страна встала на путь демократического развития, возник тенденциозный профранкистский театр, какие силы питают его, Э. Аро Текглен пишет:

«Франкистский театр опирается на крайне правых. Их немного, но все же вполне достаточно, чтобы не только поддерживать эту драматургию, но и превращать ее в факт общественной жизни».

За период, прошедший с постановки первой пьесы Э. Эрреры, театр этот несколько изменился, приноравливаясь к политической конъюнктуре.

«Как правило,— пишет Э. Аро Текглен,— критике подвергаются не столько левые силы, сколько демократические преобразования. Пьеса «Ничтожество» положила начало последовательной кампании по борьбе с демократией, которая для этих драматургов сводится к общественным беспорядкам, хаосу, национальной розни, безработице, экономическим трудностям...»

Конечно, в значительной степени успех франкистского театра объясняется тем, что авторы его хорошо знают зрителя, к которому они обращаются: это люди, занимавшие прочное положение при Франко и теперь не желающие смириться с тем, что франкизм безвозвратно ушел в прошлое; это идущий у них на поводу обыватель, который не хочет понять, что, с какими бы трудностями ни сталкивалась Испания на пути демократических перемен, процессы эти отражают поступательное развитие истории, а потому необратимы. Однако дело не только в этом.

Еще в конце 60-х — начале 70-х годов в Испании оформился «независимый», как называли его критики, театр, заметно отличавшийся от прогрессивного испанского театра предшествующих десятилетий, от драматургии Альфонсо Састре, Антонио Буэро Вальехо, Лауро Ольмо и других. Разница состояла не только в иной эмоциональной окраске, в более резкой критической направленности, но главное — в совершенно новой драматургической форме. Эти пьесы-метафоры, пьесы-аллегории, пьесы-параболы не укладывались в привычные для испанского зрителя жанровые рамки. Кроме того, Мануэля Мартинеса Медьеро, Анхеля Гарсиа Пинтадо, Херонимо Лопеса Моссо, Луиса Матилью — а именно с этими именами в первую очередь связано понятие «независимая» драматургия — привлекал не только сегодняшний день Испании, но и завтрашний. Еще при жизни Франко они задумались о том, какими путями пойдет развитие страны после смерти диктатора, пытались построить художественную модель постфранкистского общества. И как стало очевидно через несколько лет, некоторые тенденции общественного развития угадали с точностью, которой могли бы позавидовать социологи. «Независимая» драматургия всегда была фактом не столько собственно театральной, сколько культурной жизни в широком смысле: на профессиональную сцену пьесы эти почти не попадали, и познакомиться с ними можно было или на страницах театральных журналов, или в постановках полупрофессиональных коллективов-групп, которых было очень много в Испании тех лет. Летом 1978 года журнал «Пипирихайна» провел анкету «среди тех, кого не ставят». В качестве причин, закрывавших им доступ на большую сцену, «независимые» драматурги почти единодушно назвали архаичную театральную систему и социальный состав зрителей, их устоявшиеся вкусы.

С тех пор в испанском театре не произошло каких-либо принципиальных перемен, которые могли бы обеспечить сценическую жизнь пьесам М. Мартинеса Медьеро, Х. Руибаля, А. Гарсиа Пинтадо, Л. Матильи и других. Но если раньше оторванность этих авторов от зрителей легко объяснялась цензурными соображениями, то сегодня (театральная цензура в Испании отменена весной 1978 года) эти аргументы не годятся. И отсутствие реальной возможности ставить пьесы становится психологическим фактором, значительно тормозящим разви-

тие драматургии. Образуется нечто вроде заколдованного круга. Может быть, поэтому авторы, тяготеющие к острой политической злободневности, либо молчат (Х. Руибаль и А. Гарсиа Пинтадо), либо пишут исторические пьесы (Х. Лопес Мосо и Л. Матилья), либо, судя по последним пьесам М. Мартинеса Медьеро «Лисистрата» (1979) и «Невеста» (1980), топчутся на месте.

Кроме того, причины, затрудняющие адаптацию «независимых» драматургов к новой исторической ситуации, отчасти заложены в самой природе этой драматургии. Объект ее критики с самого начала был очевиден, а стремление к остраненно-метафорической форме, к моделированию в пьесах определенных исторических ситуаций было возможно реализовать лишь при четкой расстановке общественных сил в стране, что вряд ли характеризует сегодняшний день Испании.

Нельзя, конечно, сказать, что прогрессивная испанская драматургия вовсе не отражает ситуацию в стране. Например, одна из последних пьес А. Буэро Вальехо «Ночные судьи» ставит проблему терроризма. Ее герой, Хуан Луис Паласиос, убежденный франкист, долгое время занимавший пост министра в правительстве Франко, после смерти диктатора становится депутатом в кортесы от правящей партии. Но на самом деле взгляды его остались прежними, он лишь «сменил костюм», став членом одной из левых партий. И готов сменить его еще раз.

«Вы, конечно, понимаете, что я не собираюсь отказываться от политической умеренности,— цинично говорит он.— Но надо думать о будущем и не сдавать позиций. Власть была в наших руках, и мы не должны от нее отказываться, даже если для этого придется перейти на сторону левых».

Буэро Вальехо показывает, что именно такие люди покрывают правые террористические акции, становятся их немыми пособниками. Показательно, что власти пустили в ход все средства, чтобы снять пьесу ведущего испанского драматурга. Она продержалась в репертуаре мадридского «Театро Лара» всего около двух месяцев — и это был именно тот сезон, когда шла пьеса «Ничтожество»! В сентябре 1981 года в Мадриде состоялась премьера новой пьесы Буэро Вальехо «Кайман», которую скорее можно отнести к жанру психологической драмы, чем к политическому театру. Но думается, что справедливо мнение, высказанное по этому поводу одним из старейших испанских театральных критиков Хуаном Эмилио Арагонесом:

«Ночные судьи» предвосхитили события 23 февраля, показали, почему возможен военный переворот. Новая пьеса драматурга открыто и прямо говорит о социальных бедах современной Испании: безработице, нехватке средств на социальное обеспечение, насилии, махинациях строительных монополий...»

Эти социальные проблемы ждут своего решения, ждут они и адекватного отражения в драматургии. А пока более уверенно чувствуют себя на «свободной трибуне» те, кто хотел бы повернуть историю вспять: испанский театр отражает напряженность социальных процессов в стране.

Н. МАТЯШ

◆

Публицистика

Запад: права человека

УИЛЬЯМ АРНОЛЬД

ФРЭНСИС ФАРМЕР. В МИРЕ ТЕНЕЙ

Помню, как я впервые увидел ее. Шло лето 1973-го, мне было двадцать семь, и я только начал сотрудничать в газете «Сиэтл постинтеллидженсер». В кинотеатре на окраине города показывали старый, 1936 года, фильм «Приди и возьми». В главных ролях были заняты Эдвард Арнольд, Джоэл Маккреа и какая-то Фрэнсис Фармер: раньше я не слыхал этого имени. Когда начался сеанс и замелькали кадры изношенной кинопленки, я не мог поверить своим глазам. Эпизод, где Эдвард Арнольд, зайдя в салун, встречает ее, по-моему, одна из лучших сцен в картине — просто чудо как хороша в ней Фрэнсис Фармер. Что-то такое было в ее игре, в ее облике, что, помню, я сказал владельцу кинотеатра: никогда не видел подобной актрисы. А ведь я не пропускал ни одного старого фильма. Почему же до сих пор не было слышно о ней? Куда она делась?

Наступил следующий день, а Фрэнсис Фармер не выходила у меня из головы. Пошел в библиотеку, просмотрел кучу кинематографических справочников, но нигде не нашел даже упоминания о ней. Почти не надеясь что-либо обнаружить, решил покопаться в редакционном досье — вдруг повезет.

Мне действительно попалась довольно пухлая папка с материалами о Фрэнсис Фармер. Удивительное совпадение — актриса оказалась уроженкой Сиэтла, штат Вашингтон. Полдня я читал эти материалы. Узнал, что Фрэнсис Фармер была одной из знаменитейших звезд конца 30-х — начала 40-х годов. Ее стремительный взлет в Голливуде и на Бродвее называли самым ярким в истории американской сцены вариантом приключений Золушки: в двадцать один год Фармер считалась наиболее обещающей молодой актрисой страны, ее часто сравнивали с Гретой Гарбо и Кэтрин Хэпберн. Притчей во языцех оказались ее политические позиции — из кинозвезд в этом смысле с ней можно сравнить, пожалуй, лишь Джейн Фонду. В зените славы, не достигнув и тридцати лет, она внезапно стала жертвой острого помешательства, при весьма загадочных обстоятельствах была помещена в больницу для умалишенных, и тут следы ее затерялись.

Внимательное изучение старых вырезок из газет и журналов, беседы с сиэтлскими репортерами-ветеранами еще более усугубили ощущение нераскрытой тайны. Ясно было лишь, что на протяжении трех десятилетий в журналистских и юридических кругах Сиэтла распространялись слухи о том, что за трагедией Фрэнсис Фармер скрывается некая таинственная история. Время от времени вдруг возникал на этом фоне какой-то новый эпизод, где фигурировали ФБР и ЦРУ, злоупотребления психиатров, жестокое обращение в больнице, распоряжения — на уровне правительственных инстанций — все это тщательно скрывать. В 50-е годы история Фрэнсис Фармер привлекла внимание нескольких писателей, но факты, собранные ими, казались настолько невероятными, что никто не принял их всерьез. В довершение, два года спустя после смерти актрисы, в 1972 году, вышла ее автобиография, носившая характер исповеди, и хотя в ней были кое-какие неясности и, вероятно, не вся она была написана самостоятельно, книга явно подтверждала факты бесчеловечного обращения с ней в психиатрической больнице штата Вашингтон.

Как могло случиться, что полная жизни, талантливая красавица актриса, которую я видел на экране, оказалась в

© 1978 by William Arnold.

УИЛЬЯМ АРНОЛЬД — WILLIAM ARNOLD (род. в 1946 г.).

Американский журналист. Книга «Фрэнсис Фармер. В мире теней» («Frances Farmer. Shadowland»), фрагменты которой предлагаются читателям, вышла в 1979 г. (New York, Jove/HBJ non-fiction).

заведении для буйнопомешанных? Мысль об этом не давала мне покоя ни днем ни ночью. В конце концов я обратился за помощью и советом к своему редактору Руфь Хауэлл, журналистке, три десятилетия проработавшей в газетах Сиэтла. Выяснилось, что она лично знала, хотя и не совсем близко, Фрэнсис Фармер по университету и что ее чуть ли не больше меня занимала вся эта история. Из ее слов я понял, что этого «горестного» сюжета, как правило, предпочитали не касаться. Я сказал, что хочу раскопать факты, свидетельства, тщательно проверить слухи и доподлинно узнать, что же на самом деле произошло с Фрэнсис Фармер. Привел убедительные доводы: с культурного горизонта внезапно исчезает видная фигура. Судьба актрисы покрыта мраком неизвестности. Несколько тяжких обвинений, публично предъявленных властям штата Вашингтон в связи с заточением ее в клинику, остаются без ответа. Миссис Хауэлл взвесила мои доводы и благословила меня.

На следующее утро я приступил к своему расследованию, предполагая посвятить работе в газетных архивах самое большее несколько недель, а телефонным переговорам — несколько часов. На самом деле мне предстояло провести три года в бесконечных разъездах по стране в поисках крупиц информации — отрывочной, зачастую противоречивой. Картина, которая сложилась в результате, выглядела еще более невероятной, чем можно было вообразить. К ней оказались причастными заправилы Голливуда и театрального Нью-Йорка, известные политические деятели и светила медицины. К тому времени, когда мне удалось до конца осмыслить неправдоподобные, ужасающие последствия этой истории, я понял и другое: никогда уже отныне я не смогу рассчитывать на надежное и безопасное течение и своей собственной жизни.

Слабая женщина, загубленная Голливудом,— говорили те, кто ничего не знал о ней. Редактор журнала «Верайети» утверждал, что случившееся с Фрэнсис Фармер — величайшая трагедия в истории Голливуда («она гораздо страшнее той, что произошла с Мэрилин Монро или Джуди Гарланд»). Однако история эта, не считая нескольких коротких лет, разворачивалась не в Голливуде, а в том самом Сиэтле, штат Вашингтон, где она началась.

Фрэнсис родилась в этом городе. Студенткой сиэтлского колледжа получила политическую известность. Сюда, в Сиэтл, неизменно возвращалась, уже будучи знаменитой кинозвездой. Здесь же наступила и ужасная развязка — заточение в больницу для умалишенных.

Поражало то, что почти никто здесь не желал говорить об актрисе. Охотно пускались в разговоры о Генри Джексоне и Бинге Кросби, Джиме Хендриксе и даже Уильяме О. Дугласе, но при упоминании имени Фрэнсис Фармер настораживались и умолкали. Однажды я уже сталкивался с подобной опасливостью жителей штата Вашингтон. Мне довелось жить там в пору учебы в колледже. Я занимался историей рабочего движения, классовыми схватками, которые имели место в первые десятилетия XX века. Сиэтл в те годы был северо-западной штаб-квартирой «Индустриальных рабочих мира» — «уоббли» — организации, взрастившей Большого Билла Хейвуда, Анну Луизу Стронг, Юджина В. Дебса и других. Тысячи людей, недовольных тем, что распределение рабочих мест на Северо-Западе жестко контролировалось железнодорожными и лесозаготовительными компаниями, призывали не просто к социальным реформам, но к установлению нового общественного порядка. К 1919 году сторонники радикальных мер приобрели такое влияние, что им удалось организовать в Сиэтле массовую забастовку — первую и единственную общую забастовку в США. Тогда почти весь мир считал, что в штате Вашингтон начинается большевистская революция, но сейчас, полвека спустя, никто не желал касаться этой темы ни официально, ни в частной беседе.

Добропорядочные граждане штата Вашингтон были так напуганы взрывом радикализма, что зверски подавили выступления идеалистически настроенных «уоббли». В ноябре 1916 года насильственно выдворенная из Сиэтла группа «уоббли» пыталась высадиться с корабля у города Эверетт, расположенного выше по берегу залива, но была встречена градом пуль. Событие это вошло в учебники истории под названием «эверетт-ская бойня». В 1971 году, готовя для

«Лос-Анджелес таймс» статью об эвереттском сенаторе Генри М. Джексоне, я расспрашивал старожилов, имела ли его семья какое-либо отношение к тем событиям. Но никто в городе, казалось, слыхом не слыхивал об «эвереттской бойне». В Сентрейлии, другом городе штата Вашингтон, члены «Американского легиона»[1] кастрировали и повесили одного из руководителей «уобблиз» Уэсли Эвереста. Вздумай вы разузнать подробнее об этой истории, никаких сведений не добились бы. Многие из вершителей жестоких приговоров еще живы, и поэтому осторожные люди предпочитают молчать.

Я прекратил свои расспросы и посвятил целый день работе в сиэтлской публичной библиотеке, просматривая архивы, связанные с первыми поселенцами. Мне удалось найти досье адвоката Эрнеста Мелвина Фармера, отца актрисы. Исполняя волю ее деда, завещавшего своим детям переселиться на Запад, Эрнест Фармер обосновался в Сиэтле и стал практиковать в тот период, когда благодаря буму, вызванному клондайкской «золотой лихорадкой», город входил в число крупнейших на Северо-Западе. Хотя молодой адвокат не принадлежал к числу честолюбцев, дело его процветало. Он женился на Лилиан Ван Орнум, незадолго до того разошедшейся со своим первым мужем. Фармеры купили дом на Гарвард авеню, в фешенебельной части города. Здесь у них родились сначала сын Уэсли, потом дочь Эдит. Последняя запись в досье Эрнеста Фармера относится к началу первой мировой войны. Из нее явствует, что 19 сентября 1914 года у четы уже немолодых супругов появился на свет третий ребенок: крепенькую прелестную девчушку назвали Фрэнсис.

Документы свидетельствуют о том, что в день и почти в час рождения Фрэнсис неподалеку от конторы ее отца произошла кровавая стычка между сиэтлской полицией и группой «уобблиз»: не оказалось ли это зловещим предзнаменованием?

Большая часть материалов прессы указывает на то, что между 1914 и 1920 годами дела семьи пошатнулись. Эрнест Фармер, добрый, но слабохарактерный человек, не хотел или не сумел укрепить свое положение во время и после окончания первой мировой войны, когда весь Сиэтл переживал экономический бум. Его тревожило положение рабочих, и, к ужасу коллег, избрав своим кумиром юриста-радикала Джорджа Вандервеера, он согласился бесплатно защищать в суде интересы нескольких неимущих «уобблиз».

К тому же у Фармера к этому времени сильно испортились отношения с женой, в течение последующих двадцати пяти лет он будет появляться дома только «на уик-энд».

Я обошел людей, знавших семью Фармеров в те далекие годы. Воспоминания их были сходными: мягкий, но бесхарактерный Эрнест Мелвин Фармер; его властная эксцентричная жена, носившаяся со своим патриотизмом (какое-то время она сражалась с хлебопекарнями, потом — с «уобблиз», потом — со школьной системой — насаждают коммунизм!); трое воспитанных детей, которые хорошо учились.

И вот я добрался до района, где они некогда жили. Я сразу же узнал их дом. Высокий, с остроконечной крышей, он стоял в глубине двора, полускрытый оградой и разросшимися ивами, от него веяло чем-то таинственно-жутким. Похоже, он так и стоял заброшенным все долгие годы.

Когда я стал расспрашивать соседей, они пожимали плечами, недоумевали, чем меня могла заинтересовать эта «старая печальная история». Нет, они ничего не знали о том периоде жизни Фрэнсис, когда она стала кинозвездой и потом сошла с ума. Разумеется, они читали об этом в газетах, но все это так и осталось для них загадкой. Помнили лишь девочку, жившую по соседству, хорошенькую, любознательную, не по годам развитую. Судя по всему, детские годы ее протекали безоблачно.

В начальной школе «Лафайетт» Фрэнсис считалась одной из лучших учениц, она была общительна и контактна. Осенью 1929 года поступила в среднюю школу Сиэтла, деятельно участвовала в школьной жизни, успешно выступала на диспутах, писала любопытные стихи. Дома много времени посвящала чтению.

Все, знавшие Фрэнсис в те годы, отмечают ее незаурядность, подчеркивая при этом, что «она всегда поступала так, как ей хотелось, и говорила лишь то, что думала». Она была доброй, отзывчивой и внимательной к людям, особенно к тем, кого считала несправедливо обиженными, и совершенно не умела притворяться, не терпела лжи: не могла соврать, даже чтобы выгородить товарища. Если верила во что-то, ничто не могло заставить ее отступиться. Это было, пожалуй, самой яркой чертой ее характера: не раз ей суждено будет расплачиваться за нее. Впервые это случилось, когда ей исполнилось шестнадцать.

Началось все в апреле 1931 года, когда Фрэнсис уже была старшеклассницей, с литературного творческого семинара самого популярного в ту пору в Сиэтле педагога — мисс Белл Маккензи. Пылкая рыжеволосая женщина, известная своими радикальными взглядами, она первой сумела оценить непосредственность, прямоту, не лишенный иронии ум своей ученицы, поощряла и развивала эти качества.

Целую неделю я разыскивал Белл Маккензи. Она давно отошла от дел и

[1] Основанная в 1919 году крупнейшая организация ветеранов войны в США. Финансируется монополиями. Действуя под лозунгом «стопроцентного американизма», руководство легиона занимает реакционные позиции по вопросам внутренней и внешней политики США (*прим. перев.*).

жила теперь на полуострове Китсэп в штате Вашингтон. Седой как лунь женщине было за восемьдесят, но память ее оставалась ясной, речь — живой. Она призналась мне, что до сих пор ее «неотступно преследует образ Фрэнсис Фармер». Вспоминала о событиях тех дней, как если бы они произошли вчера.

Среди ее учеников проводился конкурс на лучшее сочинение, и Фрэнсис представила эссе на тему об утрате веры. Живо написанная работа содержала интересные мысли и была полна лукавой иронии. Фрэнсис рассказывала, что однажды умоляла бога помочь ей отыскать задевавшуюся куда-то новую шляпку и тот внял ее мольбам. Позднее, когда в результате несчастного случая погибли родители ее подруги, Фрэнсис потрясло до глубины души, что бог мог быть столь несправедливым. Он исполнил пустячную просьбу, но не пожелал предотвратить трагедию. На пожелтевшем тетрадном листе я прочел:

«...Бог стал для меня больше чем отцом. Никогда не наказывал меня, а если мне чего-то очень сильно хотелось, Он всегда устраивал, чтобы это сбывалось.

Меня это удовлетворяло до тех пор, пока я не начала задумываться: если Бог одинаково любит всех своих детей, почему Он занялся моей шляпкой, но допустил, чтобы другие дети потеряли своих родителей? Я стала понимать, что Он не имеет никакого отношения ни к смерти людей, ни к шляпкам, ни ко всему остальному. Все, что происходило,— происходило помимо Него, а Он сидел у себя на небесах и делал вид, будто ничего не замечает. Какая же от Него польза? — недоумевала я. Зачем Он вообще нужен? И вот после этого Бог стал в моих глазах значить все меньше и меньше. Он словно стал таять, пока наконец не превратился в ничто.

Я испытывала чувство гордости оттого, что сама, без чьей-либо подсказки, пришла к этой мысли. Удивительно только, что другие еще не постигли простой истины: Бога больше нет...»

Эссе Фрэнсис произвело на Белл Маккензи такое сильное впечатление, что она послала его на конкурс работ учащихся, проводимый журналом «Нэшнл сколастик»,— один из самых престижных в стране. Фрэнсис завоевала первую премию — сто долларов,— и это вызвало фурор.

Сиэтл в 1931 году явно не был готов воспринять атеистические идеи, к тому же провозглашаемые школьницей. Сообщения об эссе, победившем на конкурсе, разрастались, словно снежный ком: сперва появилась маленькая заметка в «Сиэтл пост-интеллиджженсер» («Девушка из Сиэтла удостоена премии за лучшее эссе»), потом — большие статьи на первых страницах «Стар» и «Таймс» («Девушка из Сиэтла отрицает существование бога и завоевывает первый приз»), и, наконец, новость подхватили телеграфные агентства.

В дом Фармеров стало приходить множество писем от разгневанных христиан с Западного побережья и со всей страны, обвинявших Фрэнсис в том, что она игрушка в руках «коммунистов-безбожников» (Лилиан, мать Фрэнсис, придерживалась антикоммунистических взглядов и была крайне расстроена этими обвинениями, хотя на этот раз в своих интервью приняла сторону дочери). Дело дошло до того, что церковные деятели города стали собирать срочные совещания, дабы обсудить проблему «ползучей заразы атеизма» в системе школьного образования. «Если молодежь этого города находится на пути в ад,— заявил своей пастве один баптистский священник,— то нет сомнений, что возглавляет это шествие Фрэнсис Фармер».

Белл Маккензи до сих пор удивляется, что подобное могло произойти: «Не из-за чего было поднимать шум, абсолютно не из-за чего». И все-таки эта история закрепила за Фрэнсис репутацию смутьянки, едва не помешав поступить в колледж. Для молоденькой девушки происшедшее было сильным потрясением, хотя с другой стороны помогло поверить в свои литературные способности. Весь год она продолжала писать стихи и рассказы, решила поступить в университет и специализироваться в журналистике. Ее брат и сестра уже учились в школе журнализма при университете штата Вашингтон, так что решение Фрэнсис не выглядело неожиданным. Она поделилась с Белл Маккензи, что собирается зарабатывать на жизнь репортерской работой или службой в юридической конторе, хотя главное дело своей жизни мечтала бы обрести в сфере поэтического творчества.

Появившуюся на книжном рынке автобиографию Фрэнсис под названием «Наступит ли когда-нибудь утро?» я читал не отрываясь. Описание того, как под бременем славы и гнетом семейных неурядиц Фрэнсис сошла с ума и была безжалостно упрятана в сумасшедший дом (в какой именно, указано не было), было способно исторгнуть слезы, гнев, вот только полного доверия явно не вызывало. Сопоставляя прочитанное с материалами газетных архивов, я видел, как много неточностей, вымышленных имен и грубо сфабрикованных эпизодов попало на страницы книги. К тому же на протяжении всего повествования Фрэнсис то и дело фигурирует «не помню», «провал в памяти» и т. д.

Я позвонил в Нью-Йорк редактору книги, и тот рассказал, что Фрэнсис закончила работу над ней, уже будучи в «плачевном состоянии»: из ее памяти выпали целые годы жизни. К тому же, сказал он, большая часть рукописи вообще написана не ею самой, а «неким другом» из Индианополиса.

И все же, какова бы ни была степень достоверности, в книге звучит живой голос Фрэнсис Фармер, голос, обвиняющий мать: «...основной источник моих несчастий я вижу в своей матери».

Побывал я и в университете штата Вашингтон.

На мемориальной доске в административном корпусе — имена самых известных выпускников. Среди них политики, адмиралы, несколько художников, но имени Фрэнсис Фармер я не увидел. Не упоминалось оно и в старых выпусках журнала, посвященного питомцам университета. Студенты театрального факультета и вовсе не слышали о ней.

Однако стоило мне поговорить с преподавателями, работавшими тут в начале тридцатых годов, как выяснилось, что все они помнили Фрэнсис... Еще бы! На редкость обаятельная и талантливая студентка, все ее любили. Да, она выделялась своими радикальными убеждениями, что стало причиной одного из самых крупных скандалов в истории университета («а потом, знаете ли, она свихнулась»), наверняка сохранились какие-то документы...

Отправляюсь в университетскую библиотеку. Действительно, там отыскалась папка с вырезками, позволяющими составить представление о студенческих годах Фрэнсис.

Поступила в университет она в разгар «великой депрессии». Помощи от родителей не получала, приходилось одновременно работать и учиться. Служила официанткой в ресторане, продавщицей в универмаге, машинисткой, наконец, билетершей в кинотеатре студии «Парамаунт» (потом она с иронией скажет, что именно там у нее зародилось и осталось на всю жизнь чувство презрения к кинематографу как к искусству «нечестному»). В тот трудный первый год она была занята чуть ли не двадцать четыре часа в сутки, жадно читала все, что попадалось под руку, а изредка выпадавшее свободное время отдавала сочинению стихов.

Стремление Фрэнсис к литературному творчеству не находило отклика. В школе журнализма тогда женщин не принимали всерьез, в особенности таких красивых, как Фрэнсис. Новое, свежее, что она пыталась предложить, встречалось в штыки. Одно стихотворение, правда, приняли в ежедневной университетской газете «Дейли» (отыскать его я так и не смог), однако никто не отметил ее творческого поиска, никто не поощрил. Во время стажировки в редакции «Дейли» ей было поручено писать об университетской больнице. Рассказывать об ангинах ей быстро наскучило, к тому же контакт с коллегами по редакции не получился — слишком они были консервативными. К концу первого года учебы она перестала работать в университетской газете и постепенно совсем отошла от журналистики.

На следующий год она сблизилась с компанией левых студентов с факультетов искусства и театра, где особой популярностью пользовалась известная своими радикальными взглядами молодая преподавательница Софи Розенстайн. Там смело рассуждали о таких материях, как честность художника, неизбежность социализма. Фрэнсис были близки такого рода идеи. Она стала своим человеком в этой среде, общалась с будущими знаменитостями, один из которых, Чет Хантли — рослый, отчаянный парень, звезда студенческих спектаклей,— стал впоследствии известным диктором. Многие потом рассказывали, что он был серьезно влюблен во Фрэнсис.

Я позвонил Хантли в его роскошное поместье в Монтане, чтобы поговорить о Фрэнсис. После томительной паузы он пробормотал что-то о «самой красивой девушке, которую когда-либо знал», о «трагической истории» — и повесил трубку.

Между тем именно Хантли впервые ввел Фрэнсис в мир театра. Он брал ее на репетиции и как-то предложил попробовать сыграть роль без слов. И хотя Фрэнсис не имела никакого сценического опыта, она почувствовала, что именно здесь настоящее ее призвание. Она буквально «заболела» театром, увлеклась системой Станиславского, только начинавшей тогда обретать популярность. Театр, подобно труду писателя, стал для нее средством творческого самовыражения, он привлекал ее своей, как она любила говорить, «правдивостью». Всей душой она стремилась теперь утвердиться на театральном поприще. Говорила своим новым друзьям, что не успокоится, пока не попадет в труппу нью-йоркского «Груп-тиэтр», которую считала самым выдающимся и ярким художественным коллективом на американской сцене тех лет.

Перейдя на театральный факультет, Фрэнсис стала исполнять небольшие роли в университетских постановках, сразу же завоевав успех. Когда молодая прелестная девушка с высоким лбом, нежным овалом лица, с глубоким выразительным голосом появлялась на сцене, аудитория замирала. Декан факультета профессор Глен Хьюз сразу же выделил Фрэнсис среди других. («В ней было неуловимое «нечто», которое делает актрису «звездой», это было видно с первого взгляда»,— говорил он впоследствии своим студентам.) Вскоре он поручил Фрэнсис главные роли в «Дяде Ване» и «Елене Троянской».

Осенью 1935 года молодая актриса выступила в роли Эльзы Брандт в пьесе Сидни Хауорда «Чужой хлеб». Роль была трудной, Фрэнсис работала над ней дни и ночи. Образ молодой женщины-музыканта, задыхающейся в атмосфере провинциального городка, настолько удался, что о Фрэнсис Фармер заговорил весь город. Театральные критики отмечали, что им еще не доводилось видеть столь профессиональной игры на студенческой сцене. То обстоятельство, что молодая актриса и девочка, несколько лет назад возмутившая спокойствие Сиэтла своим крамольным сочинением,— одно и то же лицо, лишь способствовало шумихе вокруг имени Фрэнсис.

При всем том пора первых успехов длилась недолго. Вскоре разразился новый скандал, резонанс его превзошел случай со школьным эссе. Имя Фрэнсис стало

из-за него в ту пору на Северо-Западе чуть ли не синонимом «коммунизма». «Дело» это почти не упоминается в биографических материалах о ней, однако в папке «Коммунизм в штате Вашингтон», обнаруженной мною в газетном архиве, ему отведено немало места.

В начале 1935 года левое крыло политических фракций, потерпевшее сокрушительное поражение в десятые годы, с наступлением депрессии снова укрепило в штате Вашингтон свои позиции. Радикальное рабочее движение достигло такого размаха, что отдельные сотрудники администрации Рузвельта прямо говорили о «сорока семи штатах США и советской республике Вашингтон». Бизнесмены Сиэтла сочли, что мириться с этим далее невозможно. Казалось, вернулись времена «уобблиз» и «эверетт-ской бойни». В январе 1935 года около четырех тысяч видных граждан города, объединившихся в организацию «Стражи порядка из американского штата Вашингтон», предали гласности результаты тайного двухгодичного расследования, якобы доказывающего существование коммунистического заговора на Северо-Западе, «коварно проникающего в профсоюзы, церкви, школы и университеты» и ставящего целью — не более и не менее! — совершить революцию. Желая дать ей отпор, «стражи порядка» принялись инспектировать книжные магазины, сжигать неугодные им книги, «промывать мозги», науськивать ФБР и сиэтлскую полицию, призывая к арестам каждого, кого можно было заподозрить в коммунистической агитации.

Эти события вызвали бурную реакцию студентов театрального факультета. Университетский кампус вообще симпатизировал радикалам, а студенты этого факультета — в особенности. Ближайшие друзья Фрэнсис участвовали в демонстрациях на улицах Сиэтла, которые газеты окрестили «красными стачками». Она была потрясена, увидев, как безжалостно расправляются со свободой слова полицейские дубинки. Она чувствовала, что ее долг — выступать, высказывая свою точку зрения, на университетских собраниях. Стала раздавать листовки, собирать подписи под воззваниями и даже посещать митинги, организуемые Объединенной рабочей партией.

В разгар кризиса сиэтлская коммунистическая газета «Глашатай борьбы» решила, объявив конкурс, шире привлечь студентов к распространению подписки, тем самым обращая внимание общественности на поддержку рабочего движения молодежью. Газета была небольшая, штат ее составляли в основном недоучившиеся студенты университета. «Стражи порядка» сделали ее своей излюбленной мишенью (прокурор графства Уоррен Дж. Магнусон арестовал однажды редакторов за «злостную клевету»). Двое студентов-радикалов обратились через Софи Розенстайн к Фрэнсис Фармер с просьбой распространить подписку от ее имени, на что она с энтузиазмом согласилась. 10 марта 1935 года

Seattle Post-Intel

VOL. CVIII. NO. 124 SEATTLE, FRIDAY, MARCH 29, 1935

OIL FIRMS REPORT 'GAS' SUPPLY GONE

A Seattle Mother's
WARNING AGAINST RED TEACHERS
Parent Unable to Halt Girl's Trip to Russia
'SCHOOL INFLUENCED'

LONDON DROPS HOPE OF NAZI COOPERATION

«Если я должна принести свою дочь в жертву коммунизму, пусть это послужит уроком другим матерям». Из заявления Лиллиан Фармер в «Сиэтл пост-интеллидженсер».

были объявлены результаты конкурса: первый приз — поездку в Советский Союз — завоевала Фрэнсис Фармер.

Как только об этом стало известно, вокруг Фрэнсис разразилась настоящая буря. Ни одно событие в долгой и бурной истории радикализма на Северо-Западе не вызывало такого волнения. Молодая, хорошенькая сиэтлская девушка, гордость театрального факультета университета, собиралась поехать в Россию, и поездка была организована коммунистами! Обыватели усматривали в этом явное доказательство того, что мировой коммунизм покушается на души их детей. «Стражи порядка» заявили, что никогда не допустят этого. В здании сиэтлского отделения Христианской ассоциации молодых людей, где планировалось провести банкет в честь Фрэнсис, произошла стычка между сотрудниками «Глашатая борьбы» и «стражами порядка», и торжество пришлось отменить. Газеты открыли кампанию против Фрэнсис. Ее мать, которая теперь была убеждена, что дочь сделалась коммунисткой, помогала им, созывала пресс-конференции, где выражала свое возмущение. («Советский кинжал глубоко вонзился в сердце Америки»,— заявила она в интервью «Сиэтл пост-интеллидженсер»).

Появившись на первых полосах сиэтлских газет, эта история была мгновенно подхвачена и разнесена по всей стране телеграфными агентствами. Через несколько дней Фрэнсис, обеспокоенная нападками и злобным тоном газетчиков, отправилась в сиэтлское отделение журнала «Таймс» и передала свое опровержение, которое назвала «Почему я еду в Россию». В нем говорилось:

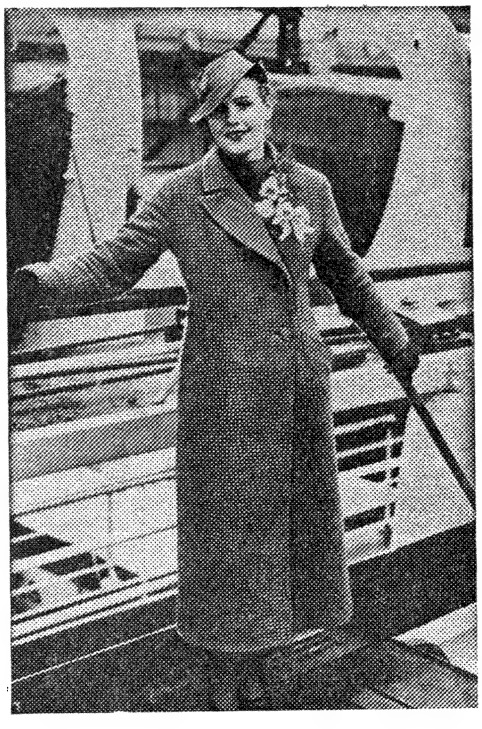
«Россия сейчас — самая интересная страна с точки зрения развития искусства и науки. Мой интерес к ней, моя радость по поводу предоставленной мне возможности поехать туда и увидеть все собственными глазами связаны только с моими творческими запросами. Меня интересует русский театр — не наука и не политика... Конечно, я рада возможности познакомиться с политической системой, непохожей на нашу, но коммунизм, как таковой, занимает меня не более, чем любой другой государственный строй. Я не коммунистка. Но я не знаю никого, в какой бы области ни лежали его интересы, кто отказался бы от подобной поездки...

Я всецело поглощена театром. Русский театр — один из самых ярких и выдающихся. То, что я сама смогу увидеть один из десяти крупнейших театральных центров мира,— самое замечательное событие моей жизни...

Личное знакомство со страной — лучший способ составить свое, непредвзятое мнение для каждого, кто знаком с европейской политической ситуацией. Я рассматриваю эту поездку прежде всего как образовательную. Не сомневаюсь в том, что она значительно расширит мои горизонты».

Хотя заявление Фрэнсис появилось на первой странице городской «Таймс», оно не возымело должного действия. Заголовки в мартовских газетах того года кричали: «Студентка продолжает работать на красных», «Мать разоблачает заговор красных», «Девушка из Сиэтла помогает красным». Репортеры толпами осаждали Фрэнсис и ее мать, нагнетая напряжение. Поедет ли она все-таки или не поедет?

На борту «Манхэттена». Двадцатилетняя Фрэнсис отправляется в Советский Союз.



Поездка в Россию в 1935 году оказалась самым волнующим событием юности Фрэнсис Фармер. В контексте американо-советских отношений 30-х годов это был один из сенсационных эпизодов. Оставалось только недоумевать, каким образом могущественным владельцам киноимперий удалось потом удержать его в секрете от широкой публики.

Весенним утром 1935 года Фрэнсис ступила на палубу океанского лайнера «Манхэттен». У нее были все основания чувствовать себя перепуганной насмерть — ей было всего двадцать лет, никогда раньше она не покидала родного дома, а тут ей предстояло долгое трудное путешествие в незнакомую страну, которую газеты изо дня в день именовали «сущим адом», где ее будут сопровождать люди, которых ее родители называли заклятыми врагами родины.

Москва того времени, безусловно, была одним из самых будоражащих воображение городов на земле. Со всей Европы съезжались туда актеры, художники, инженеры, чтобы принять участие в грандиозном, как тогда говорили, «эксперименте» строительства социализма. Фрэнсис полна новыми впечатлениями, поражена энергией и целеустремленностью людей, с которыми встречается. Она рассказывает своим новым знакомым о рабочем движении Северо-Запада Америки, о взглядах своих и своих друзей на социализм, о том, каким им видится будущее Америки. Спорит и возражает, когда с чем-то не согласна...

В целом же эта поездка оставила глубокий след в ее сознании. Почти все, что она слышала прежде о России, оказалось — с обеих сторон политического спектра — либо откровенной фальсификацией, либо пристрастным истолкованием фактов. Русские стремились вывести свою страну из вековой нищеты, хотели идти тем путем, который считали для себя единственно правильным, это не могло не вызывать уважения. А главное, путешествие в Россию укрепило ее веру в собственные силы, утвердило в решимости добиться в жизни чего-то значительного. «Я повидала мир,— писала она домой,— и теперь готова оставить в нем свой след».

В конце мая на борту «Президента Кливленда» она возвращается в Нью-Йорк. Не успел пароход пришвартоваться, как Фрэнсис окружили репортеры, жаждущие услышать из первых уст «неприкрытую правду» о Советском Союзе.

Россия, рассказывала им Фрэнсис, превзошла самые смелые ее ожидания. Она видела захватывающий первомайский парад, ездила в новом московском метро, которое считает «просто замечательным». В конце интервью Фрэнсис заявила: «Я никогда не считала себя коммунисткой. Театр — вот мой главный интерес в жизни. Я актриса или по крайней мере пытаюсь ею стать. Но Россия произвела на меня огромное впечатление,

там есть все условия для расцвета искусства. И я искренне симпатизирую и самой стране, и ее людям».

Это высказывание Фрэнсис появилось на первых полосах газет — как пощечина тем, кто всеми силами старался удержать ее от поездки в Россию. Спустя годы, подобно многому из того, что она тогда говорила и делала, и это ей припомнят и обратят против нее.

После того как поднятая шумиха поутихла, Фрэнсис решила бросить колледж, остаться в Нью-Йорке и попытаться осуществить свою заветную мечту — стать настоящей актрисой. Вместе с подругой из Сиэтла она поселилась в небольшой квартирке в Гринвич-Виллидж, и они принялись обходить бродвейские театры в поисках работы. Чтобы внести свой пай квартирной платы, Фрэнсис подрабатывала манекенщицей в рекламных агентствах. Она понимала, что путь к успеху будет долгим и трудным, и готовила себя к этому.

Но все получилось иначе. Через две недели случай свел ее с Шепардом Траубе, агентом по рекламе, который с первого взгляда сумел оценить возможности Фрэнсис. Они подписали семилетний контракт.

Он познакомил ее с Оскаром Серлином, представителем студии «Парамаунт пикчерз» в Нью-Йорке. Серлин — позднее продюсер популярных бродвейских спектаклей — назначил Фрэнсис кинопробу. Он сам отвез ее в павильон «Парамаунта» на Лонг-Айленде, где Фрэнсис попала в руки гримеров и парикмахеров. Экран еще больше подчеркнул красоту и обаяние молодой женщины, неуловимо напоминавшей Грету Гарбо. «От нее невозможно было отвести глаз»,— говорил потом Серлин. Особенно волновал ее грудной, «обволакивающий» голос. Фрэнсис был предложен контракт: «Думаю, у вас есть все данные, чтобы стать настоящей звездой».

Контракт с одной из ведущих киностудий — это было похоже на сон. Но сомнения не покидали Фрэнсис. Она хотела стать актрисой театра. А все, что воплощал собой Голливуд, претило ее художественному вкусу и жизненным принципам. Фрэнсис не собиралась ими жертвовать и рассматривала открывающуюся перед ней карьеру как шаг на пути к Бродвею.

5 октября 1935 года Фрэнсис Фармер приехала в Голливуд. В те дни на студии «Метро-Голдвин-Майер» Кларк Гейбл снимался в прогремевшем потом фильме «Сан-Франциско», а Бетт Дэвис только что получила своего первого «Оскара». Киноиндустрия переживала расцвет, прибыли были колоссальны, влияние на жизнь американцев — огромно. Московские знакомые Фрэнсис называли Голливуд «Меккой загнивающего капитализма»; теперь она сама становилась одним из винтиков этой машины.

С трудом привыкала Фрэнсис к новой жизни. Она ненавидела приемы, полуделовые свидания, все те унизительные ритуалы, через которые проходят молоденькие «старлетки» в расчете на то, что их заметят. Даже сам процесс киносъемки вызывал у нее неприязнь. «О какой актерской игре здесь может идти речь? Разве в таких условиях возможно создать образ?» — жаловалась Фрэнсис друзьям. Ей было так не по себе, что она совсем было уж собралась бросить всю эту затею с кино и вернуться в Сиэтл, как вдруг режиссер картины «Слишком много родителей» предложил ей главную роль.

Фильм получился слабый, но зрители расходились из кинотеатра, унося в памяти лицо Фрэнсис, ее голос и ощущение, что перед ними актриса с большим будущим. В целом дебют Фрэнсис-киноактрисы состоялся.

Вскоре студия предложила Фрэнсис серьезную роль в фильме «В стихии ритма», где ей предстояло играть с Бингом Кросби. Сюжет картины представлял собой очередную версию истории богатой наследницы, сбежавшей из дома и полюбившей простого парня. Успех Фрэнсис превзошел все ожидания. Ее внешность, манера игры отодвинули на второй план популярнейшего Кросби. «Фрэнсис Фармер — это чудо!» — восхищались критики. Фильм попал в число двадцати лучших картин года, и руководство «Парамаунта» стало внимательнее присматриваться к молодой актрисе.

Жизнь Фрэнсис обретала стабильный ритм. На студии она проводила обычно до десяти часов в день: снималась, репетировала, пробовалась на новые роли. Она отдавала работе все свои силы, не щадила себя. После этого фильма еще неистовее окунулась в работу, до изнеможения трудилась, словно готовя себя к своей главной роли.

Такую роль она получила в мае 1936 года, спустя семь месяцев после своего появления в Голливуде. Режиссер Говард Хокс просматривал пробы в поисках актеров для эпизодов своего будущего фильма «Приди и возьми». Среди прочего материала ему попались отрывки из фильма «В стихии ритма». Фрэнсис Фармер произвела на Хокса такое впечатление, что он решил снять ее не в эпизодической, а в главной роли, первоначально предназначавшейся для другой актрисы.

Для Фрэнсис это было необыкновенной удачей. Картина, в основу которой лег известный роман Эдны Фербер о двух поколениях лесорубов из Висконсина, была «престижной», студия связывала с ней большие надежды. Фрэнсис отводилось в фильме особое место — ей предстояло сыграть не одну, а две роли: изрядно потрепанной жизнью проститутки и ее юной, наивной дочери. Фрэнсис почувствовала, что впервые у нее появилась возможность полного художественного самоосуществления.

Съемки, однако, проходили в сложной обстановке. Причиной тому послужил сценарий. В романе Фербер героя охватывает сильное чувство к дочери некогда любимой им женщины, но выбор

девушки падает на его собственного сына. Консервативный Сэмюел Голдвин был недоволен таким поворотом сюжета и, когда съемки были уже в самом разгаре, решил изменить концовку фильма. Хокс самолично написал несколько финальных сцен на выбор, без ведома Голдвина отснял их и... был уволен за самоуправство. Его место занял Уильям Уайлер, который вовсе не хотел заниматься этим фильмом и взялся за него лишь после того, как ему пригрозили экономическими санкциями. И в лучшие времена Уайлер слыл в буквальном смысле слова бездушным режиссером, который изводил актеров, добиваясь от них желаемого эффекта. Теперь же он отравлял жизнь всем участникам съемок, работать с ним было невыносимо. Фрэнсис, прекрасно ладившая с Говардом Хоксом, болезненно переживала его уход. «Работать с Уайлером,— говорила она,— все равно что попасть в рабство. Просто подлинный ад!». Единственным спасением было полное погружение в роль. Стремясь к совершенству, она репетировала день и ночь. Ее невероятное трудолюбие многих коллег Фрэнсис вовсе не устраивало — некоторые даже заявляли, что никогда больше не станут с ней сниматься.

Так или иначе, в итоге ей удалось блестяще передать и внутреннюю опустошенность матери, и свежесть чувств, наивность дочери. Своим громадным успехом картина «Приди и возьми» обязана прежде всего ее игре.

Слава Фрэнсис докатилась до Сиэтла. Что бы там ни было в прошлом, Фрэнсис теперь знаменитость, и родной город готов был принять ее в свои объятья. Премьера «Приди и возьми» в «Либерти-тиэтр», прием у губернатора штата Вашингтон в отеле «Олимпик», толпы желающих хотя бы одним глазком взглянуть на кинозвезду, ажиотаж прессы.

Фрэнсис между тем не желала играть роль блудной дочери, с триумфом возвратившейся домой. Она глубоко презирала всех, кто теперь заискивал перед ней: ведь это были те же самые почтенные граждане, не так давно бичевавшие ее за «безбожное» эссе и мечтавшие вздернуть за поездку в Россию. Она отказывалась давать автографы, своими саркастическими высказываниями ставила в тупик осаждавших ее репортеров, а также «отцов города». Когда один конгрессмен из правых представился ей, она обозвала его «лицемером» и спокойно отошла в сторону. Независимость Фрэнсис, ее равнодушие к общественному мнению многим сиэтлцам показались «в общем-то оскорбительными».

Потом было еще три восторженно встреченных фильма с ее участием. Казалось, так будет всегда. Фрэнсис стала одной из ведущих звезд Голливуда — подобно Ломбард, Колберт или Дитрих. Студия планировала новые роли для нее с такими партнерами, как Кларк Гейбл и Гарри Купер. Ей было всего двадцать два года, талант ее только-только начал раскрываться, и окружающие были уверены, что Фрэнсис Фармер уготовано судьбой стать одной из величайших актрис в истории американского кино.

Но именно в эту самую пору люди, знавшие Фрэнсис, утверждали, что Голливуд стал ей ненавистен, как будто она, проснувшись однажды утром, прозрела: нельзя больше жить в мире теней, в мире фальши. Это теперь можно сказать, что на самом деле Фрэнсис ничуть не изменилась, осталась в глубине души все той же верной себе, независимой, остро реагирующей на любую несправедливость девочкой из Сиэтла. Голливуд отнюдь не был к этому подготовлен. Фрэнсис не соглашалась ни на какие компромиссы во взаимоотношениях с руководством студии (например, наотрез отказалась изменить свое имя), казалось, она готова была в одиночку сразиться с фальшью и лицемерием всего голливудского уклада.

Она упорно отметала все попытки навязать ей образ жизни, соответствующий статусу кинозвезды: не красилась, не причесывалась у парикмахера, ездила на дребезжащей от старости машине, жила с мужем в домишке, который называла «хижиной». Одевалась очень просто, отказывалась давать интервью и не придавала никакого значения сплетням и толкам о себе.

Имя Фрэнсис Фармер вновь связывают с левыми политическими группировками. Она участвует в работе организаций, входящих в движение сторонников мира, поддерживающих республиканцев в гражданской войне в Испании. Общественная деятельность так увлекает ее, что она начинает отдавать ей все свободное время. С присущим ей темпераментом и энергией включается в борьбу за улучшение положения сельскохозяйственных сезонных рабочих в Калифорнии. Побывав с друзьями в долине Сан-Хоакин и увидев, в каких страшных условиях живут и трудятся рабочие-сезонники, Фрэнсис дает себе клятву приложить все силы для изменения их участи. Она организует в Голливуде митинги, произносит пламенные речи, собирает деньги в фонд помощи сельскохозяйственным рабочим (как позже выяснилось, Фрэнсис жертвовала в этот фонд значительные суммы).

Я собирал эти факты, разыскивая в Голливуде тех, кто примыкал тогда к левому движению. И хотя сейчас от эпохи маккартизма нас отделяет почти четверть века, мои собеседники неохотно возвращались к давним событиям, опасаясь, по-видимому, очередной волны политических репрессий. Но о том, что в 1937 году Фрэнсис Фармер была одной из самых независимых, бескомпромиссных и чуждых условностям звезд Голливуда, помнили все.

Летом 1937-го Фрэнсис решила, что настала пора осуществить свою давнюю мечту — попробовать себя на театральной сцене. Несмотря на недовольство руководства студии и уговоры друзей, она

добивается отпуска на год и принимает приглашение участвовать в двух постановках драматической труппы, дающей представления в штатах Нью-Йорк и Коннектикут. Позже Фрэнсис скажет, что этот период был самым плодотворным в ее актерской судьбе: «Более чем когда-либо я убеждена, что душой и телом принадлежу театру». И еще: «Как замечательно, что имеешь возможность работать над образом без вмешательства студии, когда над тобой не стоит олухрежиссер и не вопит все время: «Стоп!»

Она углубленно работала над ролями, которые удались ей и были широко освещены прессой. Фотография Фрэнсис появилась на развороте журнала «Вог» с подписью: «Величайшее обретение сцены со времен Гарбо, самая многообещающая актриса современного кино».

Вскоре последовал телефонный звонок Харольда Клермена, режиссера «Нью-Йорк груп-тиэтр», с которым Фрэнсис познакомилась на митинге добровольцев, отправлявшихся сражаться за республиканскую Испанию. Клермен разделял ее политические взгляды и считал выдающейся актрисой. Он сразу же пригласил ее в свой театр. «Мы собираемся ставить пьесу Клиффорда Одетса «Золотой мальчик»,— сказал Клермен,— мне кажется, главная женская роль в ней написана специально для вас»...

«Груп-тиэтр» возник в начале тридцатых годов как экспериментальный творческий коллектив, обратившийся к системе Станиславского; там преподавали бывшие актеры Московского Художественного театра Ричард Болеславский и Мария Успенская. В «Груп-тиэтр» ставились пьесы в основном леворадикального направления, и Фрэнсис поначалу была в полном восторге от нового окружения, настолько оно, казалось ей, отвечало представлениям о настоящем искусстве.

В сентябре Фрэнсис приступает к репетициям, работает над ролью с такой отдачей, что завоевывает уважение и любовь труппы. В ноябре состоялась премьера спектакля «Золотой мальчик». Критики единодушно превозносили постановку, особо выделяя игру Фрэнсис Фармер. Журнал «Лайф» посвятил ее исполнению большую статью, где рассказывалось о современной Золушке из Сиэтла, завоевавшей Голливуд, а сейчас, в двадцать три года, покоряющей Бродвей.

Отныне каждый спектакль превращался в подлинный триумф актрисы. За кулисы к ней приходили с поздравлениями прославленные Бинг Кросби и Спенсер Трейси. Ее осаждали собиратели автографов, поклонники и репортеры. «Весь мир,— писал один из театральных критиков,— у ее ног».

Радость стали омрачать наблюдения, напоминавшие Голливуд. При ближайшем рассмотрении и атмосфера «Груптиэтр» мало соответствовала тому идеалу честности и бескомпромиссности, который она искала в театре: и здесь сплетни, интриги, тщеславие, столь презираемые ею в Голливуде. И здесь мечты ее коллег — попасть в этот самый Голливуд и зарабатывать кучи денег! Тем не менее Фрэнсис испытывала удовлетворение от сознания, что работает в таком известном театре вместе с настоящими профессионалами, что добилась всего, о чем мечтала, покидая Сиэтл.

В то время как я исследовал связи Фрэнсис с «Груп-тиэтр», я опубликовал в одной из газет большую статью о загадочной судьбе актрисы, а вскоре после этого выступил в передаче по радио. В течение последующих недель на меня обрушилось множество телефонных звонков и писем от людей, жаждущих передать мне ту или иную информацию касательно жизни Фрэнсис, причем все они считали, что по отношению к ней была допущена грубейшая несправедливость.

Единственным человеком, не сомневавшимся в правильности решения властей, оказалась старшая сестра Фрэнсис Эдит. У нас с ней завязалась переписка, хотя поначалу она отнеслась ко мне настороженно, даже враждебно. Эдит утверждала: все, что было написано о Фрэнсис, в том числе и ее автобиография,— ложь, но когда-нибудь правда восторжествует, а раскроет ее не кто иной, как она, Эдит. (Большую часть своей сознательной жизни Эдит провела вдали от Сиэтла, и, мне думается, трагедия Фрэнсис оставалась для нее такой же загадкой, как и для меня). Эдит уверяла, что ее сестра стала жертвой коммунистов. Особенно непримиримо Эдит была настроена по отношению к «Груп-тиэтр» и тем членам труппы, кто примыкал к левому движению. По ее мнению, они преступно воспользовались добросердечием Фрэнсис и довели ее до помешательства. Эдит, по-видимому, исходила в своих умозаключениях из того, что сразу же после постановки «Золотого мальчика» на Фрэнсис посыпались неприятности.

Начать с того, что спектакль вызвал негативную реакцию в Сиэтле. Да, соглашались сиэтлцы, Фрэнсис сыграла великолепно, но сыграла в «левой» постановке «коммунистической» труппы. Вновь всплыли истории с ее пресловутым эссе и поездкой в Россию. «Отцы города», приветствовавшие Фрэнсис после премьеры «Приди и возьми», были донельзя шокированы тем обстоятельством, что актриса покинула Голливуд и работает за гроши в такой «гнусной организации».

Как только успех «Золотого мальчика» стал очевиден, против Фрэнсис возбудил судебное дело Шепард Траубе. Он заявил, что первым «открыл» ее и привлек к ней внимание студии «Парамаунт», и потому, как агенту Фрэнсис, ему надлежит получить компенсацию в размере семидесяти пяти тысяч долларов, что составляло десять процентов тогдашних заработков актрисы. На самом же деле с тех пор, как Фрэнсис подписала контракт со студией — что фактически перечеркнуло ее контракт с Траубе,— Шепард Траубе ни разу не выступал в качестве ее агента. Его иск в итоге был признан необоснованным, но судебное

разбирательство длилось несколько недель. Траубе яростно отстаивал свои права, все это стоило Фрэнсис немалых денег, отнимало столь драгоценное время и силы.

Между тем отношения ее с Голливудом серьезно осложнились. Ее импресарио, родственники, а главное, боссы «Парамаунта» выражали крайнее недовольство работой актрисы в «Груп-тиэтр». Когда предоставленный ей отпуск окончился, студия незамедлительно отозвала ее и предложила роль певички из бара в третьеразрядном фильме «Побег из вчерашнего дня». Хозяева ее даже не пытались скрыть, что Фрэнсис получила эту роль в наказание за все нелестные замечания в адрес Голливуда, которые она позволила себе в интервью представителям прессы Восточного побережья.

Фрэнсис очутилась перед дилеммой: с одной стороны, успех на Бродвее ей хотелось подкрепить действительно стоящим фильмом, а предназначенная ей роль могла бы только нанести ущерб ее актерской репутации; с другой стороны, если она откажется сниматься в «Побеге», то по крайней мере целый год ее не допустят к съемкам, и за это время публика успеет забыть ее. В конце концов под нажимом мужа Фрэнсис соглашается играть в фильме.

После съемок она отправляется в двухнедельную гастрольную поездку с «Золотым мальчиком» и возвращается в Нью-Йорк репетировать пьесу «Тихий город» Ирвина Шоу, которую ставил на сцене «Груп-тиэтр» Элиа Казан. Несколько недель репетиций, премьера — и спектакль проваливается. Не то чтобы Фрэнсис плохо сыграла, но, по мнению Казана, она могла сыграть гораздо лучше. Виною тому, считал он, был судебный процесс и осложнения с Голливудом. Первая крупная неудача сильно травмировала Фрэнсис.

Немного оправившись, она с энтузиазмом берется за роль в спектакле «Скала грома». И снова провал: пьеса не продержалась на сцене даже трех недель. Две серьезные неудачи побуждают Фрэнсис на время покинуть труппу.

Были у нее на то и другие причины. Теперь ее стало смущать, что труппу больше интересует политика, нежели искусство, и в этом плане взаимоотношения с «Груп-тиэтр» начали ее тяготить.

Когда же Фрэнсис объявила о своем намерении расстаться с труппой, Клифорд Одетс, возглавивший к тому времени «Груп-тиэтр», решил воспрепятствовать этому и даже прибегнул к угрозам. Члены труппы также пытались оказать на нее давление (имели место телефонные звонки с угрозами в ее адрес). Дело в том, что Фрэнсис должна была играть главную роль в пьесе Эрнеста Хемингуэя «Пятая колонна», посвященной событиям гражданской войны в Испании. Постановку осуществляла Театральная гильдия, и в ней участвовала почти вся труппа «Груп-тиэтр», которая рассчитывала на большой кассовый успех. Фрэнсис отказалась от роли, ее обвинили в том, будто она загубила спектакль, репутация Фрэнсис в Нью-Йорке была подорвана.

Фрэнсис ощущала растерянность, но сдаваться не собиралась. Первое, что пришло ей в голову,— упрочить свои позиции в Голливуде. Ей предложили роль в приключенческом фильме. Никогда еще в руки Фрэнсис не попадал такой негодный сценарий. Но если раньше она возмущалась бы, спорила, то теперь работала спокойно, испытывая даже удовольствие от того, что создает характер буквально из ничего. Однако съемки следующего фильма — «Жидкое золото» — доставили Фрэнсис немало тягостных минут. Многие сцены снимались на ранчо, на открытом воздухе. В одной из них Фрэнсис должна была падать лицом в грязь. Актриса с горечью обнаружила, что режиссер Альфред Грин требовал все новых и новых дублей этой сцены только для того, чтобы унизить ее.

Фильм был отснят, и Фрэнсис решила вернуться на Бродвей. Ей был оказан там более чем холодный прием. Фрэнсис упрекали в том, что по ее вине распался «Груп-тиэтр». Люди, еще недавно боготворившие актрису, отвернулись от нее. Такое неприятие поразило Фрэнсис. Ей оставалось лишь покинуть Нью-Йорк.

В апреле 1941 года она возвращается в Голливуд. Снимает дом на побережье в Малибу и погружается в книги. Позже она сообщит в одном из интервью, что начала писать там автобиографический роман (рукопись сгорит во время пожара), и вспомнит, что мечтала стать писательницей. В конце месяца она вновь приступает к работе, снимаясь в трех фильмах подряд.

Фрэнсис по-прежнему необыкновенно хороша собой на экране, игра ее просто превосходна. И все же что-то в ней словно надломилось. Снимавшиеся вместе с ней актеры рассказывали, что Фрэнсис изнуряла себя работой, приходила в отчаяние, не видя перспектив для творческого роста. Нервное перенапряжение сказывалось в раздражительности, утомляемости, головных болях...

Выход на экраны третьего фильма совпал по времени с нападением на Пирл-Харбор. Страна оказалась вовлеченной в мировую войну. Многие знакомые Фрэнсис отправились на фронт, переходили на работу в военную промышленность или находили другие способы приобщиться к великой цели — сражению с фашизмом. По сравнению с этим все, в том числе съемки в Голливуде, казалось незначительным, мелким.

Фрэнсис загорелась мыслью собрать группу крупных актеров и организовать их выступления на военных базах, показывая солдатам отрывки из классических пьес. Тщательно продумала этот план, даже сделала соответствующее заявление для прессы, но голливудские магнаты не простили ей критики в свой адрес и здесь перекрыли ей дорогу — все студии запретили своим актерам иметь дело с «этой коммунисткой».

Впоследствии много будет сказано и написано о том, что Фрэнсис Фармер

якобы превратилась в алкоголичку, заболела психически. Это явное искажение истины, хотя к этому времени в ее жизни скопилось немало мучительных личных проблем и комплексов; брак ее расстроился, чувствовала она себя страшно одинокой, здоровье подрывали непосильная работа (в свои двадцать семь лет она успела сняться в восемнадцати фильмах, сыграла в трех бродвейских пьесах, участвовала в тридцати радиопостановках и семи летних гастрольных поездках), допинги, амфетамин, который врач рекомендовал как средство для похудения.

Октябрьским вечером 1942 года Фрэнсис ехала на своей машине в гости к Дине Дурбин. В Санта-Монике ее остановил дорожный патруль: у машины не были включены фары. Фрэнсис не очень-то жаловала полицию и не пожелала выслушивать нотации. Когда ее попросили показать права, оказалось, что она забыла их в другой сумочке. Она отказалась уплатить штраф и была арестована. Громко протестующую Фрэнсис потащили в суд, где безо всякой проверки и в отсутствие адвоката ей было предъявлено обвинение в вождении машины в нетрезвом состоянии. Приговор гласил: 180 дней тюрьмы условно.

В сороковые годы такого рода скандал мог положить конец карьере актрисы. Фрэнсис — ее имя и без того не раз становилось одиозным в глазах обывателей — перестали принимать. Ее имя исчезло со страниц киножурналов. Студия не могла даже застраховать фильм с ее участием. Положение ее стало настолько шатким, что менеджер посоветовал ей куда-нибудь уехать, пока все не уляжется.

За несколько недель до ареста, на митинге в защиту прав сельскохозяйственных рабочих, Фрэнсис встретила продюсера, предложившего ей роль в картине, которую он намеревался снимать в Мексике. Тогда она отказалась, но теперь ухватилась за это предложение.

По приезде в Мехико Фрэнсис заболела. Слухи об этом доходят до Голливуда, газеты объявляют, что актрису поместили в клинику для душевнобольных и что американское посольство приняло в этом непосредственное участие. На самом деле Фрэнсис подхватила какую-то форму дизентерии, ей было настолько плохо, что съемочная группа действительно обратилась за помощью в посольство США. Но вместо того, чтобы положить ее в больницу, посольские чиновники решили поскорее выдворить из страны актрису с «сомнительной репутацией». Отряд полицейских вывез больную Фрэнсис в пограничный городок Ларедо (штат Техас), где она и оставалась до полного выздоровления.

В Голливуде тем временем поползли новые слухи: Фрэнсис Фармер депортирована из Мексики за «непристойное поведение». Все эти сплетни усугубили враждебность к ней в Голливуде, кто-то подхватил версию о ее душевном заболевании — спустя несколько месяцев все это приведет к непоправимой катастрофе.

Среди тех, кто тогда хорошо знал Фрэнсис Фармер, был Далтон Трамбо — известный прогрессивный голливудский сценарист. Я разыскал его. «Вы должны понять одну вещь, — сказал он мне.— Они давно собирались на чем-нибудь подловить Фрэнсис, и она прекрасно это знала. Кто? Полиция, конечно. Почему? Из-за политики, из-за рабочих-сезонников да мало ли еще из-за чего. Они хотели ее раздавить и, наконец, заполучили эту возможность».

Когда Фрэнсис вернулась в Голливуд, друзья посоветовали ей не скрываться. Она и сама понимала, что необходимо бороться, отстаивая свое актерское будущее. Она пыталась объяснить репортерам, что произошло на самом деле. Согласилась на первую предложенную роль.

И все-таки Фрэнсис была на грани нервного срыва. Утром 13 января 1943 года она отправляется в студию, но возбуждение ее столь велико, что работать она не может. Там, на съемках, между ней и студийной парикмахершей Эдной Бердж разгорается спор, перерастающий в громкий скандал, во время которого Фрэнсис, потеряв над собой контроль, ударяет Эдну по лицу.

Возмущенная Эдна решает предъявить ей судебный иск. В полиции она узнает, что там уже подписан ордер на арест Фрэнсис Фармер за неуплату оставшейся половины штрафа, наложенного на нее в октябре. Несколько полицейских немедленно отправляются к Фрэнсис, стучат в дверь и, не дождавшись ответа, взламывают ее. При виде полицейских Фрэнсис пытается бежать. Ее хватают и, отчаянно сопротивляющуюся, тащат в тюрьму Санта-Моники. Наутро Фрэнсис предстает перед судьей Маршаллом Хиксоном, который приговаривает ее к 180 дням тюремного заключения.

То, что последовало за судом, почти необъяснимо. Случилось так, что на следующий день после вынесения приговора некий Томас Леонард, врач-психиатр, узнав из газет о суде и предположив, что актриса страдает психическим расстройством, явился в суд и — это допускалось калифорнийскими законами — попросил разрешения обследовать Фрэнсис. Почему он активно подключился к этому делу, до сих пор остается загадкой. Поставив диагноз «маниакально-депрессивный психоз», Леонард рекомендовал отправить ее на лечение.

Собрали консилиум, из Сиэтла прилетели родители. Доктора настаивали на том, что образ жизни и поведения актрисы: ее политические убеждения, якобы произошедший в Мексике нервный срыв, сопротивление полиции, вызывающее поведение на суде — все якобы свидетельствует о душевном помешательстве.

Одним из главных аргументов, «доказывающим» невменяемость Фрэнсис, послужило неожиданное «открытие», что у нее не оказалось сбережений. Согласно документам ее бывшего агента Траубе, с 1936 года она заработала больше миллиона долларов, но деньги никуда не вкладывала и недвижимости не приобре-

Январь, 1943. Санта-Моника. У городского суда.

тала. Ведущие ее дела агенты утверждали, что все заработки она жертвовала коммунистическим организациям, сельскохозяйственным рабочим, республиканцам в Испании, помогала родным и поэтому осталась без гроша.

Единственной доступной для Фрэнсис частной клиникой была лечебница для киноактеров в Ла-Кресчента, куда ее могли принять бесплатно.

Голливуд бурлил. Фотографии Фрэнсис, вырывавшейся из рук полицейских, мелькали на страницах газет и журналов. Заголовки статей били наотмашь: «Фрэнсис Фармер — в сумасшедшем доме», «Душевная болезнь кинозвезды», «Фрэнсис Фармер сошла с ума».

Вопреки травле, многие тогда считали, что с актрисой расправились, отомстив за ее политические взгляды и независимое поведение. Более трехсот театральных деятелей Нью-Йорка подписали петицию, в которой ходатайствовали перед судом об освобождении Фрэнсис Фармер. Но ее уже отправили в Ла-Кресченту.

Поначалу Фрэнсис даже понравилась спокойная, размеренная жизнь в клинике. Она находилась в отдельной светлой палате, играла в пинг-понг, много читала и гуляла в больничном парке. Медсестры относились к ней заботливо. «Она совсем выздоровела и вновь стала прежней Фрэнсис Фармер»,— сказал ее врач репортерам. Но после нескольких месяцев вынужденного безделья Фрэнсис впадает в угнетенное состояние, начинает ссориться с врачами, не желает принимать посетителей. Врачи пришли к выводу, что для «успокоения» пациентки необходима радикальная терапия. 15 мая 1943 года Лиллиан Фармер дает свое согласие на лечение дочери инсулиновыми шоками.

Фрэнсис упорно отказывалась от инъекций, однако ей несколько месяцев, по два-три раза в неделю, вводили инсулин, все более увеличивая дозу.

Состояние ее резко ухудшилось. Фрэнсис жаловалась на провалы в памяти, на то, что она даже не может читать и вообще не способна на чем-то сосредоточиться. В отчаянье она решилась на побег. Ей удалось добраться до дома сводной сестры Риты, откуда она позвонила матери.

Врачи Ла-Кресченты не желали отпускать пациентку. Но поскольку Фрэнсис официально не была признана умалишенной, в сентябре 1943 года Лиллиан Фармер увезла дочь в Сиэтл.

Необычно суровую зиму 1943—1944 годов Фрэнсис проводит в родительском доме, стараясь оправиться от пережитого. Навещавшие ее друзья вспоминают, что, пытаясь осмыслить минувшие десять лет своей жизни, она постепенно склонялась к решению навсегда оставить кино. Фрэнсис вообще не любила быть в центре внимания, слава и деньги мало что для нее значили.

Семидесятилетняя Лиллиан Фармер намерение дочери отказаться от мечты каждой американской девушки — лавров кинозвезды, от славы и богатства — истолковала как подтверждение диагноза врачей.

Утром 21 марта 1944 года в комнате, где Фрэнсис завтракала, появились три санитара. Они схватили ее, надели смирительную рубашку и, кричащую и сопротивляющуюся, доставили в психиатрическое отделение сиэтлского госпиталя Харборвью.

Это выглядит невероятным, но по существующим законам заявления матери оказалось достаточно, чтобы Фрэнсис сочли невменяемой. И вот, сидя в переполненной общей палате психиатрического отделения, она ждала, когда суд присяжных, выбранный из самых уважаемых граждан Сиэтла, решит ее участь. Трагизм ее положения состоял в том, что теперь она, объявленная душевнобольной, должна была доказывать свою вменяемость.

Председательствовавший на этом процессе судья Джон А. Фрэтер принадлежал к столпам сиэтлского общества. Пастырь конгрегационалистской церкви, масон, важная фигура в республиканской партии штата, Американском легионе, консерватор до мозга костей, этот суровый, безжалостный человек, в свое время даже предложил ввести в Сиэтле публичную порку как меру наказания за

нарушение общественного спокойствия. Всю жизнь он боролся с радикалами. В десятые годы травил членов движения «уобблиз», в двадцатые — помогал ФБР организовывать нелегальные процессы над радикалами, в тридцатые — в разгар антикоммунистического психоза — призывал к расправе над «красными». Для него Фрэнсис Фармер всегда была бельмом на глазу. Этого набожного христианина шокировала ее полученная в детстве премия за антирелигиозное эссе. Этого патриота возмущала поездка актрисы в Советский Союз, этот образцовый гражданин Сиэтла не мог пережить, что в своих интервью она крайне нелестно отзывалась о родном городе. Короче говоря, он считал Фрэнсис «паршивой овцой» обожаемого им Сиэтла, олицетворением ненавистной крамолы.

Никто точно не знает, что происходило утром 24 марта 1944 года, когда Джон Фрэтер вошел в свой кабинет и пустил в ход судебную машину, которой предстояло окончательно раздавить Фрэнсис Фармер. Несколько часов он провел в телефонных переговорах с отцами города о предстоящем процессе. С кем и о чем именно он договаривался — неизвестно. Но поскольку решение суда неминуемо должно было привлечь внимание всей страны, Фрэтер, видимо, консультировался с влиятельными политическими деятелями. Достоверно известно лишь одно: он позвонил своему старому другу, психиатру Дональду А. Никольсону, и попросил его обследовать Фрэнсис Фармер.

Теперь уже еще более очевидным становилось, что речь шла вовсе не о душевном заболевании. Скорее всего психическое перенапряжение и нервные срывы послужили предлогом, чтобы разделаться с Фрэнсис Фармер. Судили актрису, чье имя стало своего рода символом левого движения в Америке. Но кто судил? Один из самых ярых реакционеров. Фрэнсис и не догадывалась, что исход ее встречи с Фрэтером предрешен. Как, какими путями удалось судьям Фрэнсис привлечь на свою сторону и психиатров? Ясно было лишь, что не случайно Джон Фрэтер обратился именно к Дональду Никольсону.

Известный и преуспевающий психиатр, он пользовался достаточно одиозной репутацией: в свое время по его вине тысячи людей попали в сумасшедшие дома штата Вашингтон; вместе с действительно страдавшими психическими недугами сюда попало много тех, кого считали социально опасными — анархисты из «уобблиз», просто граждане, выказывавшие свои левые убеждения. Никольсон похвалялся тем, что, задав три кратких вопроса, может точно определить состояние психического здоровья пациента. Любой человек, сочувствовавший коммунизму, представлял собой, на его взгляд, потенциального помешанного. Принадлежа к правящей верхушке штата, он к тому же тесно сотрудничал с ФБР.

Я не располагаю решающими доказательствами того, что в 1944 году действительно был организован заговор против Фрэнсис Фармер, но политический климат тех лет, обстоятельства, с которыми удалось познакомиться, характер лиц, привлеченных к процессу над ней, подводят именно к такому выводу.

Диагноз Дональда Никольсона гласил: шизофрения. Подписав медицинское заключение, официально признающее актрису невменяемой, он росчерком пера лишил Фрэнсис всех гражданских прав. Судья Фрэтер распорядился отправить актрису, как не имеющую собственных средств, в психиатрическую лечебницу штата Вашингтон в Стилакуме. Когда санитары волокли из зала суда Фрэнсис в смирительной рубашке, у выхода собралась громадная толпа — поглазеть на представление. Охваченная ужасом, Фрэнсис кричала, молила о помощи. Толпа молча смотрела, как ее затолкали в машину...

В отдаленном уголке штата Вашингтон, в Стилакуме, располагалось одно из старейших поселений белых. Во время стычек с индейцами в середине прошлого века оно служило сторожевым фортом. Потом в этих строениях разместили больницу для умалишенных, но люди по-прежнему продолжали называть ее «форт Стилакум». Окутанные туманом, приносимым с залива, массивные здания клиники и в самом деле напоминали неприступную крепость.

Психиатрическая лечебница Стилакума ничем не походила на комфортабельную, окруженную парком частную клинику Ла-Кресченты. Она была переполнена, денег на ее содержание выделялось ничтожно мало, медицинского персонала не хватало. С началом войны и без того ужасающие условия в Стилакуме резко ухудшились. Посетители не раз говорили о сходстве этого заведения с нацистским концентрационным лагерем.

В Стилакуме с Фрэнсис сняли смирительную рубашку и раздели донага. В таком виде она предстала перед любопытствующей кучкой больных и служителей во время снятия отпечатков пальцев. Затем ее, по-прежнему нагую, отвели в большую палату с четырьмя голыми деревянными скамьями, где ютилось десятка два вопящих и рыдающих пациентов. Там, забившись в угол, Фрэнсис провела первую ночь в Стилакуме.

Наутро ее перевели в другую палату и начали усиленный курс электрошоковой терапии. (Следует заметить, что электрошоковая терапия, как новый метод, была в ту пору освоена далеко не достаточно: губительные для мозга последствия зачастую имели место.) Санитары насильно уложили Фрэнсис на стол посреди комнаты, присоединили к вискам электроды, в рот засунули кляп и включили рубильник. Тело Фрэнсис свели судороги, и она потеряла сознание...

В Стилакуме за Фрэнсис сразу же установилась репутация непокорной и трудной пациентки. Она постоянно пре-

Июль, 1944. В полицейском участке, Антиок, Калифорния.

рекалась с врачами, утверждая, что вполне здорова, и требуя немедленного освобождения. Ее упорство и несгибаемая воля были расценены как симптомы «антисоциального» поведения, а посему еженедельная доза электрошока была увеличена. Помимо этого ей назначили курс гидротерапии (теперь запрещенной): пациента на шесть — восемь часов погружали в ледяную ванну.

После нескольких месяцев подобного «лечения» сопротивление Фрэнсис было сломлено. «Я стала податливой, как желе на блюдечке,— напишет она позже,— согласной на все». Фрэнсис словно подменили: она слушалась врачей, не дерзила медсестрам, соглашалась, что рассудок ее действительно повредился.

Наконец, Дональд Никольсон объявил в Сиэтле: «Случай с Фрэнсис Фармер показывает, как можно модифицировать антисоциальное поведение больных. Еще три месяца назад женщина эта была абсолютно невменяемой, а сейчас, излечившись, возвращается в лоно семьи. Это ли не успех психиатров нашего штата?!»

2 июля 1944 года Фрэнсис выпускают из клиники домой. Накануне, однако, суд вынес решение о назначении матери ее официальной опекуншей: без позволения матери Фрэнсис не могла встречаться с друзьями, даже просто выходить из дома. Миссис Фармер были полностью вручены бразды контроля над ее жизнью, и она тут же устроила пресс-конференцию, дабы репортеры сиэтлских газет самолично удостоверились в выздоровлении актрисы.

На следующий день дочь сбежала из дома. Мать вызвала полицию, и Фрэнсис незамедлительно вернули. Отец повез ее в Неваду пожить на ранчо у тетки, по дороге Фрэнсис опять пыталась бежать — и снова неудача. Казалось, перед ней высилась несокрушимая преграда. Методы лечения и обращения с ней, которым ее подвергли, могли лишить рассудка любого здорового человека — Фрэнсис все еще страдала от их последствий. Она не желала возвращаться в Голливуд, не могла сниматься и, разумеется, не хотела опять попасть в Стилакум. Но, живя под надзором матери, чувствовала себя как в тюрьме и, подобно всем заключенным, мечтала лишь о побеге.

Она убежала от тетки и добралась до Калифорнии, где была задержана и арестована за бродяжничество. Сообщение об этом попало на страницы газет, репортеры со всей страны собрались в полицейском участке, чтобы увидеть знаменитую кинозвезду на последней стадии ее падения. Фрэнсис тщетно пыталась объяснить мотивы своего поступка — никто ее не слушал. Она больше не хочет быть киноактрисой, уверяла Фрэнсис. Она предпочитает разделить судьбы сельскохозяйственных рабочих, теперь хочет сама поработать на уборке фруктов («К тому же мне необходим физический труд»), лишь бы не оставаться с родными, которые не дают ей свободно вздохнуть, лишь бы покинуть Сиэтл, попытаться жить своей жизнью...

И все же на какое-то время после этого Фрэнсис, казалось, оставила мысль о побеге. Почти шесть месяцев она тихо прожила в доме у тетки в Неваде. Жизнь ее походила на тюремное заключение. Ей не разрешали никого видеть, не давали читать те книги, которые, с точки зрения родственников, могли бы оказаться вредными для нее. За каждым жестом Фрэнсис внимательно следили, опасаясь рецидивов болезни. И самое тягостное — ни на минуту не оставляли одну.

Ранней весной 1945 года мать забирает Фрэнсис в Сиэтл, но и здесь не освобождает из-под жесткого контроля. 5 мая Фрэнсис решает навестить старых друзей, не спросившись у матери. Не об-

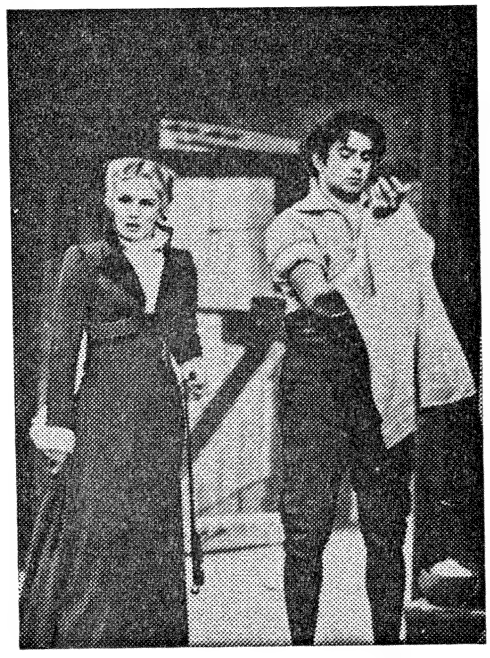
наружив дочери дома, миссис Фармер вновь поднимает на ноги полицию. Через несколько часов Фрэнсис возвращают домой, и мать, даже не взглянув на дочь, отправляет ее в психиатрическую больницу. На сей раз Фрэнсис предстояло провести в Стилакуме пять лет.

В автобиографии Фрэнсис Фармер, изданной после ее смерти, подробно рассказано о бесчеловечном обращении в Стилакуме с пациентами, об охранниках-садистах, о вопиющих антисанитарных условиях. После того как я встретился с очевидцами — служителями и бывшими пациентами Стилакума, я понял, что в своей книге Фрэнсис сделала достоянием гласности лишь ничтожную часть пережитого ею в стенах этого заведения.

Попав сюда вторично, Фрэнсис была автоматически зачислена в категорию неизлечимых больных. Ее водворили в отделение для буйнопомешанных. Снова раздели, остригли ногти, обрили голову и бросили в толпу воющих и рыдающих обнаженных людей.

Деревянное здание отделения для буйнопомешанных, построенное больше ста лет назад, ни разу не ремонтировалось. Полы покрывал толстый слой грязи. Сотни больных — безумные шизофреники, беспомощные, впавшие в маразм старики, умственно отсталые дети — теснились на стоявших вплотную койках. Многие были прикованы к ним. Еду швыряли прямо на пол, и больные жадно на нее накидывались, расталкивая друг друга и отгоняя шныряющих вокруг крыс. Люди ели, тут же испражнялись, спаривались, словно звери в переполненной клетке.

Фрэнсис Фармер с Тайроном Пауэром в фильме «Сын гнева» (1942).



Не было таких унижений, каким бы не подвергались обитатели Стилакума. Почти каждую ночь сюда тайком прокрадывались солдаты из близлежащего форта Льюис и насиловали пациенток. Стилакум недаром называли «борделем форта Льюис»: санитары получали от этого бизнеса немалый доход. Не избежала подобной участи и Фрэнсис. Один из бывших служителей лечебницы рассказывал мне, что его до сих пор преследует зрелище толпы гогочущих солдат над распятой на полу Фрэнсис Фармер. Медсестра Нэнси Лилли, работавшая в этом отделении лечебницы в 1945—1946 годы, рассказывала мне о том, что пришлось пережить знаменитой актрисе. Поскольку физически она была еще крепка, ей поручали самую грязную работу — очищать полы и стены от экскрементов и блевотины. За отказ назначали дополнительные сеансы электрошока. Трудно поверить, вспоминала Нэнси Лилли, но сломить Фрэнсис все-таки не могли. Она оставалась бунтаркой, быть может, самой «трудной» пациенткой за всю историю Стилакума.

Только раз удалось затронуть сокровенные струны ее души. Однажды на рождество санитары велели Фрэнсис надеть больничный халат и отвели в общую столовую. Уже в дверях она увидела собравшихся там пациентов и персонал — многие из них довольно ухмылялись. Погас свет, и начался фильм. Крутили «Сына гнева». Когда Фрэнсис увидела на экране себя в роскошном платье и бриллиантовой диадеме, томно склоняющуюся на грудь Тайрона Пауэра, она громко разрыдалась. И продолжала рыдать и биться в руках санитаров, пока ее тащили обратно в палату.

Мне довелось поговорить с одной из бывших студенток медицинского факультета университета штата Вашингтон, проходившей в то время практику в Стилакуме и сумевшей проникнуть в запретную палату и повидать Фрэнсис. Она вспоминала о Фрэнсис как о женщине, обладавшей живым умом и стремившейся сохранить собственное достоинство. И еще вспоминала она о ее красоте: даже там, униженная и бесправная, Фрэнсис все еще была хороша собой.

1947 год в истории Соединенных Штатов открыл эру маккартизма. Активизируя свою работу, комиссия по расследованию антиамериканской деятельности обратила взоры и на Голливуд. Лица, имевшие хотя бы малейшее отношение к леворадикальному движению и каким-либо образом связанные с Фрэнсис Фармер, пытались это скрыть: сам воздух, казалось, был пропитан страхом.

Осенью 1947-го миссис Фармер дала специальное интервью репортеру из «Сиэтл таймс». Политическая атмосфера сейчас настолько изменилась, заявила Лиллиан Фармер, что она может, наконец, не опасаясь за свою жизнь, поведать всю правду о Фрэнсис: еще со сту-

денческих лет ее дочь была агентом мирового коммунизма. Коммунисты всячески использовали ее, даже тянули из нее деньги. Когда же Фрэнсис пыталась с ними порвать, они своими угрозами довели ее до теперешнего состояния.

Между тем в Стилакуме начали осуществлять программу по испытанию химических методов воздействия на сознание. Достоверно известно, что на Фрэнсис были опробованы практически все экспериментальные препараты, включая самые рискованные. Но и это не дало ожидаемых результатов. Чтобы сломить Фрэнсис, надо было прибегнуть к новым, кардинальным мерам.

Изучение документов, фотографий, беседы с ветеранами Стилакума вплотную подвели меня к трагической развязке этой истории.

Еще в 1935 году португальский нейрохирург Эдгар Мониц разработал новый метод модификации человеческого поведения — лоботомию, за который позже получил Нобелевскую премию. Суть его заключалась в хирургическом воздействии на определенные участки мозга; в 40-е годы он распространился по миру в качестве универсального способа лечения людей с различными психическими отклонениями.

Наиболее ярым приверженцем лоботомии в США был ученик Моница, доктор Уолтер Фримен, заведующий кафедрой неврологии Джорджтаунского университета в Вашингтоне. В 1947 году Фримен предложил свой вариант операции Моница, который, как он считал, открывал неограниченные возможности не только перед психиатрией, но и перед будущим всего человечества. Его метод был намного проще и надежнее, чем практикуемые способы лоботомии. Хирург вводил между веком и глазным яблоком пациента прямо в мозг тонкий заостренный инструмент и слегка поворачивал его, воздействуя таким образом на участок мозга, «контролирующий» волю и эмоции. Операция длилась всего несколько минут, не оставляя у пациента даже шрама. Фримен был убежден, что может хирургически корректировать поведение психически неполноценных и потому опасных для общества людей и любого буйнопомешанного превратить в законопослушного гражданина. Для своих экспериментов он выбрал «форт Стилакум», возможно, именно из-за Фрэнсис Фармер, считавшейся самой знаменитой из пациенток государственных психиатрических лечебниц страны.

Однажды — это было осенью 1948 года — по указанию Фримена Фрэнсис привезли в дальнюю операционную и с помощью электрошока привели в бессознательное состояние, после чего хирург велел всем покинуть помещение. Никто в точности не знает, что произошло потом, однако в Стилакуме подозревали, что Фримен ввел иглу в мозг пациентки. Ибо, когда Фрэнсис пришла в себя, она была уже совершенно другим человеком: никогда больше не станет она прежней Фрэнсис Фармер. Она будет ходить, дышать и говорить как прежде. Однако отныне никогда не заявят о себе ни бурные проявления ее неукротимого темперамента, ни порывы вдохновения сложной творческой натуры, ни всплески озарений интеллекта. Не будет конфликтов с властями, вечного противостояния и бунтарства. Фрэнсис Фармер больше ни для кого не опасна.

Впервые за десять лет усилия врачей не пропали даром. Казалось, Фрэнсис будто родилась заново — робкая, покорная, отягощенная сознанием собственной вины. Она говорила, что отступила от бога и только теперь осознала, что заблуждалась. Она действительно была очень больна, но теперь все будет хорошо.

Тем временем ее мать перенесла инсульт, была парализована и отчаянно нуждалась в человеке, который мог бы за ней ухаживать. В феврале 1950 года она пишет в Стилакум письмо с просьбой отпустить Фрэнсис, и врачи соглашаются вновь передать ее под опеку матери. Дождливым холодным утром 23 марта Фрэнсис Фармер проводили к воротам больницы. Она сама доехала на автобусе до Сиэтла и поселилась в родительском доме.

Более пяти лет она не читала газет, не слушала радио, не общалась ни с кем, кроме обитателей Стилакума. Не помнила о том, что с ней случилось. В ту пору ей было тридцать шесть лет.

Последующие годы Фрэнсис живет в родном доме на правах служанки, ухаживает за матерью и отцом (под конец жизни они вновь съехались). Она не читает газет, не пишет стихов. Творческая деятельность ей уже не по силам. Она избегает людей, из дома решается выходить лишь раз в неделю — на воскресную службу в церкви. Угроза, что при малейшем неповиновении ее могут возвратить в психиатрическую лечебницу, неотступно висит над нею. Старые друзья, которые иногда навещают ее, потрясены: они видят лишь пустую оболочку той, что была когда-то Фрэнсис Фармер.

Лишь в начале 1953 года намечаются некоторые перемены. Она чаще выходит из дома, начинает интересоваться происходящим вокруг. Родители решают, что Фрэнсис пора найти работу и вносить свою лепту в семейный бюджет. Фармеры нанимают адвоката и обращаются в суд с просьбой признать дееспособность Фрэнсис. Так три года спустя она вновь попадает в Стилакум — на сей раз для обследования. Фрэнсис говорит врачам, что родители ее нуждаются в уходе, что она должна содержать их. Она согласна на любую работу, гарантирующую постоянный заработок. Душевное заболевание ее, благодаря лечению в Стилакуме, совершенно прошло. Ее слова производят на психиатров столь благоприятное впечатление, что 27 июля 1953 года они

официально объявляют Фрэнсис выздоровевшей, тем самым возвращая ей гражданские права. На следующий день Фрэнсис отправляется в отель «Олимпик», где когда-то губернатор штата устраивал прием в ее честь, и нанимается в прачечную сортировщицей грязного белья.

Окончательно вернуться к нормальной жизни Фрэнсис не было суждено. Ей с трудом давались контакты с окружающими: итоги испробованных на ней методов лечения оказались трагическими — она была обречена на неполноценность.

В 1957 году Фрэнсис предпринимает широко разрекламированную попытку вернуться в искусство — играет в спектаклях маленького театрика, участвует в нескольких телешоу и даже снимается на студии «Парамаунт» в третьеразрядной картине о жизни подростков. Но усилия ее оказались тщетными; Фрэнсис не могла запомнить текста, не реагировала на реплики партнеров. В июле она начала пить. Все, что горело в ней раньше — редкостный талант, пленительное обаяние и красота, высокий профессионализм, все, что делало ее звездой, погасло навсегда.

В апреле 1970 года Фрэнсис слегла. Врачи обнаружили рак пищевода, который оказался неизлечимым. Первого августа Фрэнсис Фармер не стало. Она умерла в страшных мучениях. Ей было пятьдесят шесть лет.

Перевод с английского Н. ТОЛКУНОВОЙ

◆

ВРАТА АДА

Вот и перевернута последняя страница этой трагической жизни, о которой мало что знают даже сами американцы. «Фрэнсис Фармер? Не помню...». И неудивительно. В США сделано все для того, чтобы мятежная актриса была забыта: ведь ее растоптанная судьба — суровый приговор всему американскому обществу.

Фрэнсис Фармер — поистине незаурядная личность. Одаренная живым, острым умом, она выступала поборницей справедливости, нетерпимой ко лжи и лицемерию, неизменно вставала на защиту обездоленных. Примкнув в студенческие годы к левому движению, она сохраняла верность своим принципам и идеалам. Власти не простили Фрэнсис ее свободомыслия.

Она была необыкновенно красива и талантлива. Еще не появились на свет Джейн Фонда и Джин Сиберг, а ее уже называли современной Золушкой, простой девушкой из провинциального Сиэтла, которой понадобилось всего два года, чтобы вслед за Голливудом покорить и Бродвей. Но и на гребне славы Фрэнсис преступала границы «дозволенного», обличая фальшь и пустоту «фабрики грез». Этого ей тоже не простили.

Кто знает, быть может, останься Фрэнсис Фармер прежней Фрэнсис, она не молчала бы и в годы грязной войны во Вьетнаме: так же, как и Джейн Фонда, встала бы в ряды тех своих соотечественников, кто обличал преступления Пентагона. И возможно, на нее также обрушились бы потоки гнусной клеветы, травля «большой прессы», круглосуточная слежка ФБР.

Не исключено, что Фрэнсис Фармер оказалась бы и среди тех, кто выступал против безжалостного уничтожения «черных пантер» и кто поднимает сегодня голос протеста против расового неравенства. Ее бы и сейчас не оставили в покое и, быть может, так же подло уничтожили, как и Джин Сиберг — с помощью фальшивки, подброшенной в редакцию одной из респектабельных газет. ФБР прекрасно знало, к чему это приведет: разрушенная семейная жизнь, позор, общественный остракизм, одиночество, наркотики и, наконец, самоубийство.

Прочитав книгу Уильяма Арнольда, невольно задаешься вопросами: не слишком ли много общего между сегодняшней истерией по поводу «советской военной угрозы» и тогдашней пропагандистской шумихой насчет «большевистской отравы», которой якобы заражали своих сограждан такие прогрессивно мыслящие люди, как Фрэнсис Фармер? Как могло случиться, что и по сей день не перевелись фрэтеры и никольсоны, которые, прикрываясь законом, объявляли умалишенным и надевали смирительную рубашку на любого, кто симпатизировал левому движению, кто разделял коммунистические воззрения. Мы знаем, как, воспользовавшись нервным срывом актрисы, ее признали невменяемой и упрятали в психиатрическую лечебницу. Знаем, как, насилуя тело и сознание, из нее изгоняли бунтарский дух, подавляли мысль. Она очутилась в ужасающих условиях, посетители не раз сравнивали их с условиями в гитлеровских концентрационных лагерях. Бесконечные дозы инсулина, наркотиков, электрошок и, наконец, хирургические манипуляции...

Фрэнсис Фармер стала отнюдь не последним подопытным кроликом идеологов и практиков модификации человеческого поведения. Ныне они проводят уже не только отдельные эксперименты, но пытаются наладить конвейер по «производству» смоделированных «людей будущего», которые были бы послушны сильным мира сего.

«Я предвижу наступление времени, когда у нас появится возможность управлять поведением и интеллектуальными функциями всех людей, воздействуя на их мозг путем изменения окружающей среды или же с помощью биохимии»,— заявил психиатр Д. Креч. Причем не где-нибудь, а на слушаниях сенатской подкомиссии по исследовательским работам. Эти «надежды» разделяют и многие законодатели. Те, кто занимается «научным» обоснованием причин массовых выступлений американцев против социального неравенства, уже приготовили рецепт борьбы с ними. Так, представители медицинского факультета Гарвардского университета утверждают, что бунты и волнения в гетто вызваны не чем иным, как биологическими особенностями поведения определенной группы людей. Лечение данной «болезни» они, естественно, видят не в борьбе с пороками империализма, а... в стерилизации умов инакомыслящих. Сторонники подобных взглядов, некие Марк и Эрвин, психиатры по профессии, подсчитали, что хирургической коррекции сознания необходимо подвергнуть более пятнадцати миллионов их сограждан.

К чему это может привести? Рэй Брэдбери в своей фантастической повести «451° по Фаренгейту» нарисовал ужасающую картину будущего американского общества. Перед нами страна, где наложен запрет на беседы, где книги объявлены вне закона; тех, кто интересуется ими, отправляют в сумасшедший дом, а непокорных уничтожают. Чем же живут люди? Каждодневный эмоциональный заряд они получают с экранов «телевизионных гостиных», из «ракушек»-радиоприемников, откуда нескончаемым потоком выплескивается запланированное кем-то «ничто».

«...Мы живем в век, когда люди уже не представляют ценности. Человек в наше время — как бумажная салфетка: в нее сморкаются, комкают, выбрасывают, берут новую, сморкаются, комкают, бросают... Люди не имеют своего лица»,— такую мысль писатель вкладывает в уста одного из персонажей романа, идея которого зародилась как раз в период маккартизма.

Однако, вопреки предостережению фантаста относительно опасности создания в будущем психофашистского общества, в США, подведя научную, социальную и материальную базу под теорию массовой модификации поведения людей, приступили к крупномасштабным «разработкам» такого рода. В конце 1976 года официально созданная правительственная комиссия санкционировала проведение операций на мозге заключенных и душевнобольных. Правда, с оговоркой, что подобные операции будут проводиться под правительственным контролем, с соблюдением специальных инструкций.

Предупреждая о социальных последствиях, которые может повлечь за собой данное решение, издатель медицинских журналов С. Чафкин вынужден констатировать: хотя поборники принудительной психохирургии и заявляют, что она дает хорошие результаты при лечении различных эмоциональных расстройств, в целом эта методика, ввиду «ее потенциальных возможностей как орудия для управления поведением инакомыслящих», чревата серьезной опасностью. Среди заключенных, признает он, широко представлены национальные меньшинства, и потому споры по поводу принудительной психохирургии приобретают еще один, дополнительный аспект. Суть его, по мнению психиатра Г. Фостера, заключается в том, что, «наверное, восемьдесят процентов всех опытов на людях в нашей стране проводится на неимущих».

Фрэнсис Фармер попала в руки скальпирующих разум в тот период, когда, как сообщалось в одном из секретных меморандумов, «в военных и разведывательных целях» [1] ЦРУ и Пентагон положили начало осуществлению в психиатрических больницах и тюрьмах широкой программы тайных экспериментов по изменению поведения человека. Уильям Арнольд высказывает предположение, что среди подопытных оказалась и бывшая голливудская звезда Фрэнсис Фармер. Вполне вероятно. Проверка воздействия гипноза, десятков наркотических препаратов, электрошока, вживления электродов на ничего не подозревающих заключенных, а также на пациентах психиатрических лечебниц — вот чем занимаются институты власти «общества свободы и

1 Более подробно о программах античеловеческих экспериментов ЦРУ и Пентагона читатель может узнать из публикации в № 12, 1981, «ИЛ» (Вэнс Паккард «Формовщики людей»), а также из книги «Похитители разума» автора этой статьи (Москва, «Советская Россия», 1980 — *прим. ред.*).

демократии». Положения конституции США, те или иные статьи международно-правовых документов, которые предусматривают защиту прав человека и под которыми стоит подпись Соединенных Штатов, как известно, до сих пор не служили и теперь не служат препятствием для инициаторов этих чудовищных программ. Более того, во имя политики «дискредитации коммунизма» правящие круги Америки готовы оплатить любые начинания подобного рода: столь велик их страх перед силой идей социализма, демократии и прогресса, которые оказывают все возрастающее влияние на широкие массы трудящихся.

Но предположим, что Фрэтеру, Никольсону и К° не удалось бы сгноить Фрэнсис Фармер в психолечебнице, подавить ее разум. Что бы тогда ожидало ее в будущем? Продолжалась бы головокружительная карьера киноактрисы в Голливуде, смогла бы она и дальше дарить свой талант людям? Вряд ли. Скорее всего, Фармер оказалась бы на скамье подсудимых вместе с прогрессивными деятелями искусства, с которыми расправлялись маккартисты.

Бывшая кинозвезда была выпущена на свободу как раз в тот момент, когда реакция начала приснопамятную «охоту на ведьм»... В число ее жертв попал известный актер Джон Фолк.

Мы познакомились с ним на берегу живописного озера близ небольшого техасского городка Мэдисонвилл. Ему сейчас за шестьдесят. Влюблен в Техас, в его людей и природу. Живет с ощущением, словно никогда не уезжал отсюда в Нью-Йорк на поиски счастья. Казалось бы, все забыто и похоронено. Но стоило разговориться, и память снова вернула его к тем, уже далеким, временам.

Тогда, в сороковых и в начале пятидесятых, у Джона Фолка был свой телевизионный «городок», где он перевоплощался то в мэра, то в полицейского, то в ревнивого мужа. Когда объявлялись передачи этого популярного актера, юмориста и сатирика, люди с удовольствием смотрели на телеэкран. Улыбались, правда, не все. Сатирик смело и зло разоблачал тех, чьим идолом были милитаризм и антисоветизм, кто травил его коллег. Ему, как и Фрэнсис Фармер, не простили такого свободомыслия. Однажды боссы телестудии Си-би-эс вызвали его и объявили, что расторгают контракт. Одна за другой с ним отказались сотрудничать и другие теле- и радиостудии. Его имя было занесено в черный список «агентов коммунизма». «Городок» Фолка был навсегда уничтожен. Состряпала же это дело «Эуэр-инкорпорейтед» — реакционнейшая компания политиканов и монополистов.

Нет, ничто из прошлого Джоном Фолком не забыто. Он помрачнел, и мне даже показалось, что лицо его осунулось.

— Как вы думаете, почему началась «холодная война»? — спросил Фолк. И сам же ответил на свой вопрос: — После окончания второй мировой войны, как, впрочем, и в первые годы вашей революции, Запад жаждал задушить Советы. Поэтому стремились создать атмосферу страха и напряженности. Гонкой вооружений пытались лишить вас возможности восстановить экономику, поставить на колени. А здесь — здесь травили всех, кто выражал малейшую симпатию вашей стране. На нас клеветали, выгоняли с работы.

Беседуя с Фолком, я вспомнил встречу с человеком, который провел вошедший в историю своей страны опрос общественного мнения: это был Джон Хантер. И вот что я услышал от него.

4 июля 1951 года из здания «Кэпитл таймс», газеты, издающейся в Мэдисоне, столице штата Висконсин, вышел молодой репортер. В его кармане лежала пачка листов с текстами Декларации независимости США и Билля о правах, в которых более двух столетий назад были провозглашены принципы американской демократии. Молодой человек направился в центральный парк города, где было полно народу по случаю празднования очередной годовщины Дня независимости. Репортер подошел к первому встречному и протянул лист с просьбой подписать его. Пробежав глазами текст, тот неуверенно ответил: «Вы не можете этого от меня требовать. Я государственный служащий и сохраняю лояльность правительству». «Уберите к черту эту коммунистическую агитку!» — сердито буркнул другой мэдисонец.

Журналист безуспешно пытался собрать подписи. Двадцать опрошенных обругали его коммунистом, из ста двенадцати лишь один осмелился подписать эти, казалось бы, священные для любого американца документы...

Я поинтересовался, кто был тот единственный смельчак. Вместо ответа Хантер подошел к телефону и набрал номер.

— Мистер Миллер, это говорит Хантер. Не могли бы вы завтра зайти ко мне в оффис?

Свидание состоялось точно в назначенное время.

За столом напротив меня сидел подтянутый сухощавый мужчина весьма преклонного возраста — Уэнтворс Миллер, проживший в Висконсине всю свою жизнь. Типичный американец, он родился на небольшой ферме в нескольких десятках миль от Мэдисона, окончил Висконсинский университет, потом учительствовал, а с 1946 года на протяжении тридцати лет работал в страховой компании. Сейчас уже нигде не служит.

— Почему же,— допытывался я,— люди отказывались подписать Декларацию и Билль?

— Джо Маккарти и его подручные виновны в этом, — ответил мистер Миллер. — Хотя сам он всего лишь мелкий жулик-демагог, однако же стал одним из столпов «большой политики», которая вовсю раздувала антисоветский психоз. Люди

тогда боялись России. Ждали, что завтра вы сбросите на Мэдисон бомбу. Не все, конечно. Были и разумные люди. Но с теми, кто не молчал, расправлялись: ведь психоз был массовым. К сожалению, и сегодня кое-кто усиленно его нагнетает...

Как раз в тот период, когда глумились над личностью Фрэнсис Фармер, изгоняли с Си-би-эс Джона Фолка, а на просьбу Джона Хантера подписать выдержки из Декларации независимости США и Билля о правах из ста мэдисонцев откликнулся лишь один,— тогда-то и началась политическая карьера Рональда Уилсона Рейгана, которому суждено было стать сороковым по счету президентом США.

Профессиональный актер кино и телевидения на протяжении почти тридцати лет, он в конце сороковых — начале пятидесятых возглавил один из крупнейших голливудских профсоюзов — Гильдию киноактеров. То были времена, когда антикоммунистические религиозные организации посылали в Голливуд списки актеров, сценаристов, режиссеров с требованием немедленно изгнать их за левые, прогрессивные взгляды и убеждения. В противном случае они грозились объявить им общенациональный бойкот и срывать демонстрации фильмов с их участием.

Накануне последней баталии за Белый дом Р. Рейган получил письмо от одного из избирателей с вопросом: правда ли, что кандидат на президентский пост в те годы разделял левые взгляды, сочувствовал радикалам? «Я никогда не был коммунистом,— ответил Рейган. — Наоборот, с пеной у рта сражался с ними, когда они пытались захватить (?!) Голливуд». С гордостью и сознанием выполненного долга он вспоминал и о том, как давал показания против своих же коллег в комиссии палаты представителей по расследованию антиамериканской деятельности. Эти показания дорого обошлись многим членам Гильдии.

«От периода маккартизма нас отделяет более четверти века. Однако с приходом в Белый дом Р. Рейгана и его окружения вновь восторжествовала идеология правых консерваторов. Общественность, интеллектуальный мир высказывают тревогу в связи с нарастающей в стране волной неомаккартизма»,— пишет журнал «Нейшн». Тревога довольно обоснованная. Ведь сейчас эта волна захлестывает девятым валом политическую, общественную жизнь страны.

...На телеэкране — полноватый господин с лисьей мордочкой. В его руках библия, а на лацкане почему-то всегда синего пиджака значок в виде флага США. «Необходимо вернуть нашу страну на правильный, угодный богу путь. Мы должны восстановить духовные ценности, которые создали великую Америку, и противостоять сатанинским силам коммунизма»,— патетически вещает его преподобие Джерри Фоуэлл — звезда «новых правых», крестный отец движения «моральное большинство».

Как бежит время и как оно меняет людей! В период маккартизма Фоуэлл был всего лишь заштатным баптистским священником на заводике безалкогольных напитков. «Сегодня же Фоуэлл — самый могущественный электронный евангелист»,— свидетельствует «Вашингтон пост». Он желанный гость в Белом доме, в оффисах конгрессменов, ему внимают не только жители Линчберга, штат Вирджиния, но и вся страна. Под сводами его церкви размещены телекамеры, микрофоны. Двадцать пять миллионов американцев каждое воскресенье смотрят и слушают шоу-проповеди «электронного евангелиста», которые транслируют более шестисот восьмидесяти радио- и телевизионных станций. Добавим к этому других фоуэллов, рангом пониже, еженедельные пожертвования более чем в миллион долларов, пропагандистские издания, тиражи которых превышают сотни тысяч экземпляров.

Религиозная оболочка «морального большинства» прикрывает конкретные политические цели. Но даже такой правоверный баптист из Джорджии, как Джимми Картер, не устроил Фоуэлла и К°. Зато им более чем подошел Рейган с его откровенной философией правого консерватора. Залпы мощнейшей пропагандистской машины этих новоявленных мракобесов преследуют одну цель — дискредитировать, изгнать с Капитолийского холма не только либеральных, но и умеренных законодателей. Они пока что еще не корректируют на хирургическом конвейере сознание инакомыслящих, не вживляют электроды в мозг своих сограждан. Однако в нашпигованной электроникой церкви Джерри Фоуэлла, из которой он вещает на всю страну о необходимости возвратить ее на «богоугодный путь», отчетливо просматривается быстро развивающийся зародыш того психофашистского общества, которое показано Брэдбери в «451° по Фаренгейту». В Монтелло, штат Висконсин, небольшом городишке с населением около тысячи трехсот душ, последователи бесноватого проповедника, с виду такие же, как и он, достопочтенные горожане, врываются в публичную библиотеку и пачками бросают в костер «богохульные» книги, среди которых — произведения Фолкнера, Стейнбека, «Дневник Анны Франк», «Над пропастью во ржи» Сэлинджера. Такое происходит пока лишь в Монтелло. Но что будет дальше?

«Разжигание шовинизма, ура-патриотизма, милитаристский натиск, бесстыдное сокращение социальных программ, раздавленный профсоюз авиадиспетчеров». Это не одиночные выстрелы, а фронтальное наступление на демократию в духе маккартизма»,— услышал я от знакомого журналиста, который попросил не называть его фамилии. Что ж, у него есть все основания опасаться упоминаний в печати своего имени в связи с таким высказыванием.

Три тысячи страниц — таков объем доклада по вопросам внутренней безопасности, подготовленного исследовательской организацией «Хэритидж фаундейшн». В его составлении приняли участие ближайшие помощники и доверенные лица Р. Рейгана. Что же предложила в этом докладе «вся президентская рать»? Заявляя,

что после окончания второй мировой войны внутренняя безопасность Америки никогда еще не была так подорвана происками противника, как в настоящее время, составители доклада настаивают на необходимости развернуть массированную кампанию «общественного образования». Первый шаг в этом направлении — воскрешение комиссии конгресса по расследованию антиамериканской деятельности, предоставление ЦРУ и ФБР широких полномочий в целях слежки за прогрессивными организациями. Не последняя роль отводится и самому президенту, который должен «постоянно указывать на всю реальность подрывной деятельности, на антиамериканизм так называемых инакомыслящих».

Белый дом не замедлил воспользоваться этими рецептами. «Администрация, ее союзники в конгрессе, так называемые новые правые,— пишет на страницах «Вилидж войс» журналист А. Кокборн,— готовят наступление на тех, кто борется против гонки вооружений. Возглавляет эту кампанию травли только что созданная сенатская подкомиссия по безопасности и терроризму. Ее председатель, сенатор Дж. Дентон, планирует расследование деятельности антивоенных организаций».

Как известно, «слушания» уже начались. А судьи кто? Первыми в качестве свидетелей обвинения были любезно приглашены А. де Борчгрейв и Р. Мосс, авторы нашумевшего романа «Спайк». Вот такие, как они, и травили на страницах печати Фрэнсис Фармер, Джона Фолка, вопили о «советской угрозе». Ремесло довольно прибыльное и беспроигрышное. Особенно в теперешней Америке.

Итак, «Спайк»: о чем этот роман?

...Окончив университет Беркли в разгар вьетнамской войны, Боб Хоукни решает стать репортером № 1. Первая же его статья в либеральном журнале «Баррикады» разоблачает нечистоплотные методы работы ЦРУ, что вынуждает подать в отставку шефа департамента контрразведки Ника Флауэра... Из Вьетнама Хоукни гневно пишет о зверствах сайгонского режима, первым сообщает об уничтожении американскими войсками целой деревни, с симпатией отзывается о повстанцах. Как же был наивен бывший студент Беркли, как не смог догадаться, что первая же написанная им строчка сделала его одним из винтиков «операции Москвы» по дезинформации общественного мнения, дискредитации неугодных ей американских политиков, бизнесменов, журналистов. Да и это — всего лишь звено глобального плана по захвату и уничтожению Запада: достигнув военного превосходства, лишив США жизненно важных для нее нефтяных богатств Ближнего и Среднего Востока, Советы к 1985 году загонят в угол весь свободный мир. Более того, к тому времени в Вашингтоне в высших эшелонах власти всеми делами будут заправлять агенты Москвы, а западные страны попадут в сети всемирной террористической «организации» «Звезда».

И вот уже недавний друг Боба Хоукни, ныне высокопоставленный чиновник администрации, под диктовку красных комиссаров манипулирует сознанием вице-президента США, а сотрудники института прогрессивных реформ, этого осиного гнезда советского шпионажа, захватывают ключевые посты в аппарате конгресса, госдепартамента, Пентагона. Прозрев, наш герой пытается разоблачить происки Советов. Однако никто ему не верит. Либералы навешивают на Боба Хоукни ярлык мракобеса, а красные агенты пытаются убрать его. Вот тут-то и приходят на помощь недавние противники, старая гвардия в лице сенатора О'Рейли, давно предупреждавшего об экспансионистских планах русских, и отставника Ника Флауэра, хранившего до лучших времен в своем комоде, под нижним бельем, досье на всю красную агентуру. Лишь в самый последний момент, когда, казалось уже ничто не спасет бедную Америку, удается показать русским кулак. Западная цивилизация спасена, а Боб Хоукни становится национальным героем...

Поборники мифа о советской угрозе восхваляют авторов псевдоромана, который, как говорят, стал настольной книгой Рейгана и его окружения, за то, что в занимательной, детективной форме им якобы удалось поведать истину о советском экспансионизме и тем самым привлечь к нему внимание сотен тысяч читателей. Между тем от каждой страницы «Спайка» несет не только злобным антисоветизмом, но и маккартизмом. Проводя параллели с реальностью, читатель без труда может обнаружить «московских агентов». Вымышленный радикальный журнал «Баррикады» — это существующий «Прогрессив». Проникнувший в ЦРУ предатель Фил Крепс из «Спайка» — Филлип Эйджи, посмевший разоблачить преступные деяния этого ведомства. Осиное гнездо советского шпионажа, мифический институт прогрессивных реформ — реально существующий либеральный институт политических исследований. И, наконец, в голливудской звезде с экзотическим именем Тесса, ставшей в руках «красных» орудием для обработки паршивых интеллектуалов-либералов, невольно угадывается Джейн Фонда, которую журнал «Моральное большинство» предает анафеме за антиамериканскую деятельность, утверждая, что по ней давно решетка плачет.

Пока что «охота на ведьм» ведется на страницах подобных изданий. Но вспомним: точно так же начинался и маккартизм. Вот почему похождения Боба Хоукни вызвали отвращение у прогрессивных литераторов и журналистов. «Когда, преследуя идеологические цели, авторы книг пытаются представить извращенную картину реальности, их произведения оказываются не более чем политической порнографией»,— с презрением отзывается о «Спайке» журнал «Харперс».

Став бестселлером, перекочевав из твердой обложки в мягкую, «Спайк» завоевал «масс маркет», так называемый массовый книжный рынок. Вам могут положить

«Спайк» в пакет вместе с продуктами в супермаркете, вместе с журналом — в газетном киоске, с аспирином — в аптеке. Захожу в один из крупнейших книжных магазинов «Барнс энд ноубл». Увы, его полки так и пестрят подобным чтивом: «Дьявольская альтернатива», «Парк Горького», «Человек, который проиграл мир», «Первый удар»... Это для тех, кто не выдерживает умствований «советологов», шарахается от стратегических выкладок бывших и нынешних военных чинов. В таких книжках все намного проще и доходчивее. Любовные сцены перемежаются погонями и убийствами, а агенты Москвы с помощью предателей-радикалов лихо, тоннами, крадут военные секреты Запада. Иногда эта заваруха кончается ядерной войной, разгромом западной цивилизации, в другой же раз бдительным коллегам Джеймса Бонда, Боба Хоукни и иже с ними с помощью истинных патриотов удается в последнюю секунду разоблачить «коварных русских»...

Молодой человек в сером плаще берет с полки «Дьявольскую альтернативу» и идет к кассе. Седовласый господин, поколебавшись, останавливает свой выбор на «Спайке». Только в твердой обложке книга эта разошлась двухсоттысячным тиражом. А сколько сотен тысяч экземпляров разойдется в дешевой, мягкой? А вот и он, «электронный проповедник», ретиво сражающийся за нравственную чистоту нации. Все в том же синем костюме, он указывает куда-то перстом с обложки еще одного бестселлера «Слушай, Америка: говорит Джерри Фоуэлл! Рецепт для твоего морального возрождения».

«Спайк» — жаргонное словечко американских журналистов, означающее «выбросить в корзину», не допустить на газетную полосу материал по политическим причинам. Оно как нельзя лучше подходит для обозначения того, чем продолжает заниматься американская пропаганда, вытравливающая со страниц печати правду о нашей стране, компрометирующая тех, кто посмел не подчиниться официальной антикоммунистической догме. Как и вчера, продолжается тотальная психологическая обработка населения. Это и репрессии, которым подвергают борцов за гражданские права, и манипуляции средствами массовой информации, и навязчивая, бьющая в глаза голливудская реклама американского образа жизни. Наконец, это еще и бесчеловечные эксперименты на людях, которые, как отмечает в книге «Операция — контроль над сознанием» журналист У. Боуэт, «пытаются оправдать тем, что они якобы патриотичны и необходимы, чтобы одержать победу над коммунизмом».

Подхожу к полке с книгами-биографиями. «В мире теней»... На обложке — прекрасное, гордое лицо. Эта женщина была обречена. Более сорока лет назад они изнасиловали ее разум. Но вот передо мной строки предостережения из недавнего номера журнала «Паблишерс уикли»: «Эти врата ада и сейчас могут захлопнуться за любым из нас...».

АНДРЕЙ ТОЛКУНОВ

Нью-Йорк, февраль 1982 года

◆

Советская литература за рубежом

НИДЕРЛАНДЫ

Повествование в рассказах Виктора АСТАФЬЕВА «Царь-рыба». Издательство «Мёленхоф».

Повесть Александра ГРИНА «Алые паруса». Издательство «Пегасус».

Сборник рассказов Андрея ПЛАТОНОВА. Издательство «Мёленхоф».

ПОЛЬША

«Кануны (Хроника конца 20-х годов)» Василия БЕЛОВА. Издательство «Нове ксёнжки».

Повесть Анатолия МАКАРОВА «Человек с аккордеоном». Издательство «КИВ».

Рассказы и повести Юрия НАГИБИНА «Остров любви». Издательство «Выдавництво литерацке».

Повесть Валентина РАСПУТИНА «Прощание с Матёрой». Издательство «ПИВ».

ФИНЛЯНДИЯ

Повесть Аркадия ГАЙДАРА «Тимур и его команда». Издательство «Кансанкулттуури».

Роман Анатолия РЫБАКОВА «Тяжелый песок». Издательство «Тамми».

Повесть Юлиана СЕМЕНОВА «ТАСС уполномочен заявить...» Издательство «Кансанкулттуури».

ФРАНЦИЯ

Повести Чингиза АЙТМАТОВА «Первый учитель» и «Белый пароход». Издательство «Эдитёр франсе реюни».

Роман Саввы ДАНГУЛОВА «Кузнецкий мост». Издательство «Табль ронд».

Повесть Юрия ДОМБРОВСКОГО «Хранитель древностей». Издательство «Жюлиар».

Сказка Вениамина КАВЕРИНА «Аптека голубых шаров». Издательство «Фернан Натан».

Повесть Виктора ШКЛОВСКОГО «Марко Поло». Издательство «Пайо».

Антирубрика

ЭДВАРД ЛИР — КОРОЛЬ НОНСЕНСА

Перевод с английского и предисловие СЕРГЕЯ ТАСКА

Сто лет назад в Англии вышла книжка «Травожаднейший Пип и прочие *мнезнакомцы*». С обложки на читателей смотрело диковинное существо: очки на птичьем клюве, ослиные уши, модный жилет, обтягивающий солидное брюшко, стрекозиные крылышки-фалды, ноги кенгуру, рыбий хвост... Таким изобразил себя Эдвард Лир (1812—1888).

Его современнику и почти такому же оригиналу Льюису Кэрроллу, обронившему загадочную фразу о том, что в словах заключено больше смысла, чем мы в них вложили, повезло в России куда больше: над кэрролловским абсурдом ломает себе голову не одно поколение наших переводчиков. А ведь Лир в своих лимериках (пятистрочных «бессмыслицах») рифмовал и Камчатку, и Молдавию, и Россию. Но пока взаимностью ему ответили лишь однажды, и сделал это С. Я. Маршак, если не считать отдельных попыток перевода лировских лимериков молодыми переводчиками.

Он, «человек с тысячью болячек», у которого при одном покашливании «отлетали бакенбарды и выпадали зубы», спасаясь от «людской суеты, нудных проповедей, кудахтанья кур и плохой музыки», он — поэт, художник, орнитолог — исходил вдоль и поперек Мальту и Антибы, Грецию и Крит, Калабрию и Индию.

Он придумал мир, где добропорядочные джентльмены живут в чайнике, а их супруги пьют на завтрак чернила. И, удивительное дело, чопорная викторианская Англия, узнав себя, полюбила этот мир.

Этот человек нигде и никогда не учился. Правда, он свободно говорил на нескольких языках, включая древнегреческий, но, согласитесь, когда ты всю жизнь предоставлен самому себе, и десяти языков не хватит, чтобы наговориться всласть.

Однажды он признался, что хотел бы быть яйцом, из которого вот-вот кто-то вылупится. Подобная скромность сопутствует только большому таланту.

Про дядюшку Арли, большого *чудачника*

1

Мастеря сачки из марли,
Жил на даче дядя Арли,
  Сидя на мешке муки.
Шли вприпрыжку дни и ночки,
Стрекотал Сверчок в лесочке,
Лопались на шляпе почки.
  (Правда, жали башмаки.)

2

Сам из Челси, непутевый,
Он от шума городского
  Убегал к реке тайком.
Там учил он петь рыбешек,
Красил мак в цветной горошек
И ловил стрекоз и мошек
  Продырявленным сачком.

3

Пожимая догам лапу,
Ш е в е л ю р о в у ю шляпу
  Он почтительно снимал.
Завывала дружно стая,
Дядин п ё с е н н и к читая.
О, собачья жизнь простая,
  Как ее он понимал!

4

Как-то раз он топал мимо
Тополя, и тополиный
  Пух на шляпу сел к нему.
Дядя в облачко вгляделся:
Может, весточка из Челси?
Вдруг Сверчок на нос уселся,
  Непонятно почему.

5

Видно, на нос сел он вместо
Травки, сел он — и ни с места.
  С той поры они дружки.
Можно слушать бесконечно,
Как поет Сверчок беспечно.
(Примиряясь с тем, что вечно
  Жмут при этом башмаки.)

6

Сорок три зимы минуло,
И немножечко сутулым
Стал наш дачник и чудак.
Башмаки совсем растопал,
Боевой забыл свой вопль,
А на шляпе вырос тополь —
Своенравный, как ветряк.

7

...Пива ль он хватил? Удар ли
Вдруг хватил беднягу Арли?
Истекли его деньки.
Под мешком муки в лесочке
Слушает он дни и ночки,
Как Сверчок влюблен в листочки.
(Ну, а как там башмаки?)

Стол и Стул

Стол сказал однажды Стулу:
— Что-то в город потянуло!
В этой сырости шалит
У меня радикулит.
Сэр, на что это похоже:
Я покрыт гусиной кожей!
Нам помочь, я убежден,
Может только моцион.

Стул сказал в ответ Столу:
— Наше место здесь, в углу.
Сэр, я очень сожалею,
Но ходить я не умею.
Стол сказал: — Любезный Стул,
Я бы все-таки рискнул.
Кот гуляет по дороге —
Что ж, и мы... четвероноги.

Так-то так, но им друг другу
Оказать пришлось услугу,
Чтобы встать на две ноги.
Дверь распахнута — беги!

Цок-цок (с лестничной площадки),
Цок-цок-цок-цок (по брусчатке)...
Удивляется народ:
Стол плетется! Стул идет!

Допоздна они гуляли,
Р у к о н о г о к о в ы л я л и,
Сбились с ног, потом с пути.
Как же быть? Куда идти?
Смотрят: Крот-Смешное-Ушко,
Утка-Кряква, Мышь-Норушка.
— Проводите нас домой.
— С радостью. С а б о с о м о й!

Вот и дом. Ура! Ура!
— Гости, ужинать пора.
Стол накрыл себя в два счета,
Стул проделал круг почета,
Утка спела гимн без слов,
Мышка съела двух котов,
Крот, танцуя, уморился
И, зевнув, под Стол свалился.

Квинтер Финтер Жос

1

Есть в кроне У р о д о д е н д р о н а
Дом Квинтера Финтера Жоса.
Сказать вам по правде, из кроны
Не может он высунуть носа.
Дело в шляпе, друзья мои, в шляпе с пером,
Разукрашенной лентой и ярким шнуром,
С бубенцами, что так мелодично звенят,
Чудо-шляпе, которая скрыла до пят
Квинтера Финтера Жоса.

2

И однажды такую он речь произнес
В пышной кроне У р о д о д е н д р о н а:
— Хоть бы кто-то сейчас пастилы мне принес,
Я ведь, знаете, жуткий сластена!
Но при этом беда з л о к л ю ч а е т с я в том,
Что никто пастилу не приносит в мой дом.
Я не спорю, у гнома запросы малы,
Но я очень, я ОЧЕНЬ хочу пастилы! —
Донеслось из У р о д о д е н д р о н а.

3

Вдруг уселись рядком на У р о д о д е н д р о н
Пожилой Канарей с Канарейкой.
— Как здесь чудно,— запел он.— Я вновь окрылен!
Поселиться бы тут всей семейкой.
Ах, сэр Квинтер... сэр Финтер... сэр Жос, наконец,
Я прошу вас как птица, как муж и отец,
Ну позвольте гнездо свить на шляпе скорей,
Вы нас этим обяжете, нас и детей!
И взвились Канарей с Канарейкой.

4

С той минуты на шляпе кто только не жил,
Кто там только с семьею не побыл!
Голубой Гамадрил — он уже старожил,
И Сова, и медлительный Поббл.
Все от счастья с трудом подбирают слова:
— О-ля-ля! Как кружится у нас голова!
Если шляпа такая, наверное, ум
И з ю м и т е л ь н е й, чем настоящий изюм!—
Так любой говорил, кто там побыл.

5

К у р о п я т к а спешит на У р о д о д е н д р о н,
И Ленивец, хотя он и мямля,
Африканоушастый бесхоботный Слон,
И Лягушка, солистка ансамбля,
И Дудок, чей сияет сиятельный нос,
И Журавль, изучающий детский вопрос,
И опять на попятный пустившийся Краб,—
Все на шляпу спешат, эту шляпу из шляп,
В том числе синерукие Джамбли.

6

Теперь на У р о д о д е н д р о н е
У Квинтера Финтера Жоса
Так шумно и весело в кроне,
Хоть век не высовывай носа.
— Танцуйте,— кричит он,— и пусть надо мной
Звенят бубенцы в этой чаще лесной:
Динь-дон и динь-дон и динь-дон и динь-дон...
Ну, чем был бы этот У р о д о д е н д р о н
Без Квинтера Финтера Жоса?!

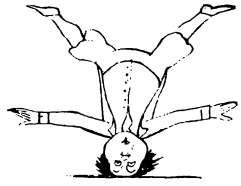
Занимательная азбука

А пишет: «**А**йк **А**дн**А**жды съел **А**громный **А**гурец...»
Б **Б**уркнуло: «Не Айк, а **Б**илли, который пас овец».
В, **В**озразив: «**В**олко**В** он пас!», из класса **В**ышло **В**он.
Г **Г**аркнуло: «Не о**Г**урец! **Г**рыз только **Г**руши он!»
Д: «**Д**ыню он искал, **Д**рузья, **Д**а не нашел ниг**Д**е».
Е вдруг **Е**лозить начало, подумав о **Е**д**Е**.
Ё **Ё**рзало и руку вверх тянуло что есть сил.
Ж про**Ж**у**ЖЖ**ало уши всем: Айк — **Ж**мот, и **Ж**улик — Билл!»
З **З**авопило: «Ах, **З**лодей! **З**лословишь ты опять?»
И **И**спугалось, как всегда, **И** начало **И**кать.
Й кратки**Й** за водо**Й** пошел, да, видно, утонул.
К за**К**ричало на весь **К**ласс: «**К**онец!» и «**К**араул!»
Л **Л**япнуло: «П**Л**евать! Он бы**Л** **Л**гунишка и **Л**ентяй».
М **М**я**М**лило: «Не **М**ог... за у**М**... он взяться... целый **М**ай».
Н, Незамет**Н**о улиз**Н**ув, домой помчался, **Н**о
О **О**чень гр**О**мк**О** **О**хнул**О**, увидев **Н** в **О**кн**О**.

П ПроПыхтело: «Пуфф... Подлец!.. Представьте, вот Позор».
Р Рассмеялось: «ЕРРунда! ДуРРацкий РРазговоРРР!»
С вдруг СпроСило: «Можно мне прочеСть Свои Стихи?»
Т ТараТорило: «Без «С» Твои сТихи Тихи».
У Удирало с воплями: «Ура!», «Долой Урок!»
Ф, заигравшись в Фантики, прослушало звонок.
Х так Храпело, что у всеХ заХватывало дуХ.
Ц Цыкало на мух Це Це и прочих Цокотух.
Ч Чертыхалось битый Час. (Ужасная Черта!)
Ш Шепелявило: «ШейчаШ Шгорю я Шо Штыда!»
Щ Щекотало Ъ (твердый знак), но тот остался тверд.
Ы с Ь (мягким знаком) втихаря под партой съели торт.
Э оглушил весь Этот гвалт — сидит ни бЭ ни мЭ.
Ю перед ним давай Юлить: «Сыграем в буримэ?»
Я завопило в Ярости: «Что за галдеж такой?
Я всех вас в Яму посажу! Пусть будет вновь покой».

Лимерики,

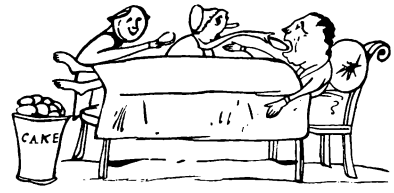
или Смешные бессмыслицы



Вольнодумец из города Талси
До конца себе верен остался:
Он уселся на шкаф,
Ноги кверху задрав.
Не гулять же по городу Талси!

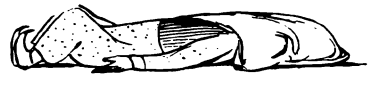
Молодой джентльмен из Малайи
Воду пил, сам того не желая.
«Вы же лопнете, Алан!»
«Да»,— печально кивал он,
Молодой водохлеб из Малайи.

Скромный труженик из Гваделупы
Прожил жизнь удивительно глупо.
От зари до зари
Он пускал пузыри,
Этот труженик из Гваделупы.



Целый год уроженцу Амштадтена
На обед подавалась зайчатина.
Так устал он от зайца,
Что на тухлые яйца
Перешел уроженец Амштадтена.

Пожилой джентльмен из Ганновера
Не снимал даже ночью пуловера.
На вопрос: «Вам не мал он?»
«Еще как! — отвечал он. —
Видно, так и не снять мне пуловера».



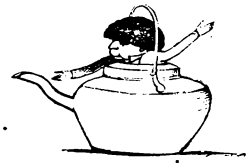
На крылечке вдова из Кейптауна
Все решала — где флора, где фауна.
Появившийся лев
Съел ее, пожалев
Стало ясно, что вот она, фауна!

Старику из местечка Приснилси
Сон плохой (про соседа) приснился.
Старичок загрустил,
Даже дух испустил
И в отместку... соседу приснился.

Престарелая дама из Плимута
Задыхалась от местного климата.
Лишь совсем не дыша,
Отдохнула душа
Излечившейся дамы из Плимута.

Пожилой маловер из Шанхая
Жил, сомнениям все подвергая.
Он был просто сражен
Тем, что он — это он,
А Шанхай — лишь названье Шанхая.

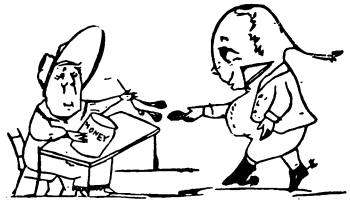
Сокрушалась девица из Дублина,
Что ученьем полжизни загублено.
Довелось тут начать
Ей других обучать,
И воспряла девица из Дублина.



Шеф-повар из Даугавпилса
Нечаянно в чайник свалился.
Бедняга так злился
И так кипятился,
Что чай сам собой заварился.

Пожилого вдовца из Наварры
Одолели ночные кошмарры.
Обратился к врачам.
«Надо спать по ночам»,—
Объяснили вдовцу из Наварры.

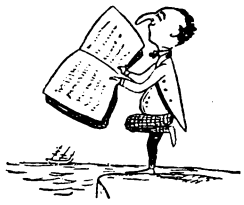
В ожиданье войны мэр Флоренции
Отменяет все аудиенции.
Стал отращивать бороду
И шататься по городу...
А войны нет как нет во Флоренции.



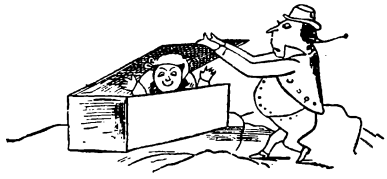
Хлебосольные люди в Килкенни.
Тот, кто первый накопит полпенни,
Всех давай угощать:
«Уж гулять так гулять!»
Хлебосольные люди в Килкенни.

Пятый месяц бурлит вся Манила:
Миссис Инк попивает чернила!
Убеждал ее муж,
Что полезнее тушь,
Но... она покупает чернила.

Одна сумасбродка из Гдыни
Всю жизнь проторчала в кувшине.
Чтоб дни свои скрасить,
Кувшин она красить
Решила — то в желтый, то в синий.



Пожилая вдова из Рапалло,
Став на пятки, поэму читалла.
Чтоб сменить эту позу,
Временами на прозу
Отвлекалась вдова из Рапалло.



Держал парижанин Трике
Супругу свою в сундуке.
На крик: «Отопри!»
Говорил он: «Шери,
Ты — прелесть... когда в сундуке».

Диалог с джентльменом из Кении
Доставляет всегда наслаждение.
На вопрос: «Как дела?»
Он вздыхает: «Мала,
К сожаленью, рождаемость в Кении!»

О люди, живущие в Сиднее...
Участи нет незавиднее!
Им и их детям,
Вечно сидеть им
В этом погибельном Сиднее.

Пожилой джентльмен-борода
Сел на лошадь лицом не туда.
«Пусть дает задний ход,
И все в норму войдет!» —
Так смекнул джентльмен-борода.

Джентльмену из города Галле
Ребятишки порой досаждали:
То посадят в ведро,
То сломают ребро
Шалунишки из города Галле.

◆

Наши гости

Кришна Шринивас
(ИНДИЯ)

В вечном космическом ритме танцует бог Шива, окруженный огненным кольцом — символом Вселенной. В одной руке он держит барабан, в другой — смертоносную молнию. Еще две руки вскинуты ритуальным танцевальным движением. Шива топчет ногами зловещего карлика — Прошлое, чтобы расчистить путь Будущему.

Пластическая метафора бесконечности перемен, широко известное изображение Шивы-натараджа, не так уж неожиданно стала предметом разговора в редакции «Иностранной литературы», когда нашим гостем был индийский поэт Кришна Шринивас.

Кришна Шринивас родом из Южной Индии, из приморского города Мадрас. Его родной язык — тамильский, на котором говорит примерно 75 миллионов человек, но пишет Кришна Шринивас на английском. Кришне Шринивасу шестьдесят, и его возраст объясняет тот факт, что стихи его написаны на чужом языке. В Индии часто говорят, что Великобритания завоевывала свои колонии оружием и интригами, а удерживала их в подчинении интригами и английским языком.

Кришна Шринивас представляет то поколение индийской интеллигенции, которое англичане всеми силами старались превратить в «маленьких коричневых сахибов». Система просвещения, введенная чужеземными правителями, должна была внушать просвещенному индийцу пренебрежение к родному языку — «туземному наречию» — и к национальной культуре, суммарно объявляемой «застойной». Но и воспитание на английский лад не становилось для этого просвещенного индийца вратами во внешний мир — скорее дверцей, приоткрытой только в Англию.

Идет тридцать пятый год существования свободной суверенной Индии, и хотя британское владычество в ней — перевернутая страница истории, его последствия еще не стали фактом прошлого.

Кришна Шринивас — один из тех, кто видит смысл своей жизни и работы в том, чтобы заменить колониальный миф о доброй старой Англии как о начале и конце культуры реалистическим представлением о культурной карте мира, включая изменения, нанесенные на нее крахом колониальных империй. Два десятка лет назад Кришна Шринивас учредил организацию, которая получила название «Международного сообщества поэтов». Он стал бессменным главным редактором ежемесячника «Поэт», выходящего в Мадрасе на английском языке. Девиз журнала — «Мир и братство народов через поэзию».

Вот уже двадцать с лишним лет из месяца в месяц журнал печатает стихи поэтов мира. Ну и естественно, что большое место уделяется в журнале «Поэт» публикации индийской поэзии в английских переводах. Кришна Шринивас планирует свой журнал таким образом, чтобы его читатель мог, в первую очередь, получить хоть общее представление о поэзии, создаваемой вне сферы английского языка. Вышли в свет тщательно подготовленные специальные номера «Поэ-

та», посвященные поэзии Японии, Африки, Латинской Америки и даже Океании.

В 1967 году появился специальный номер «Поэта», на обложке которого значилось: «Русская поэзия. Гость-редактор Евгений Долматовский». Первый спецномер журнала, посвященный нашей поэзии, был по просьбе Кришны Шриниваса подготовлен в Москве.

Кришна Шринивас рассказывает:

— Я не мог не знать, как велик в мире интерес ко всем формам выражения духовной жизни людей, построивших первое в истории социалистическое государство. Пожалуй, в Индии этот интерес особенно велик — и потому, что мы соседи, и потому, что в колониальные времена к нам был запрещен ввоз литературы о Советском Союзе. В некотором смысле мы еще продолжаем наверстывать упущенное. Я уже сказал, что все это было отлично мне известно, когда я планировал русский номер «Поэта», но, сознаюсь, я не ожидал такого потока читательских откликов — как из Индии, так и из других стран, где распространяется журнал.

Полгода назад Кришна Шринивас выпустил еще один номер журнала «Поэт», целиком отведенный нашей современной поэзии, но в этом, втором, номере ее панорама выглядит и шире, и глубже, стереоскопичней.

— Мне помогли отобрать стихи поэтов,— говорит Кришна Шринивас,— пишущих на различных языках вашей страны. Я очень рад, что рядом со стихами Евгения Долматовского, Риммы Казаковой, Расула Гамзатова, Эдуардаса Межелайтиса, имена которых уже хорошо известны в Индии, я сумел дать нашему читателю — насколько позволяет объем журнала, конечно,— произведения Ивана Драча, Иманта Аузинь, Антонины Кымытваль и других.

Кришна Шринивас предполагает продолжить начатое: он рассказал, что, находясь в Москве, собирает материалы для сборника стихов советской поэтической молодежи.

— Я назову его просто «25 молодых советских поэтов»,— говорит Кришна Шринивас,— и думаю, что первыми его читателями будут наши молодые литераторы. Им и интересно, и полезно познакомиться с творчеством их ровесников.

Тамилы гордятся богатством художественного опыта, накопленного их литературой. Тамильская литературная традиция ведет свое летосчисление с начала нашей эры. Старое оттеснялось в ней новым — танец бога Шивы непрерывен, так было и так будет. Но в наши дни кажется, будто убыстрился даже ритм его танца — так стремительно появляются в Индии приметы новой жизни, не оттесняя старое, нет,— входя в причудливейшее взаимодействие с ним.

Писатель ищет способа осмыслить суть этого взаимодействия и способа выразить свое отношение к нему. Для этого недостает тех жанров и форм, которые писатель, родившись индийцем, вобрал в себя; непригодным оказывается и арсенал европейских выразительных средств — нужно отыскать свое.

Поиск сближает сегодня тамильскую поэзию с прозой: поэты нарушают просодические и лексические табу классики, расширяют диапазон поэтического действия; прозаики же все чаще обращаются к поэтическим метафорам — простой описательностью невозможно передать сложность современной индийской действительности.

— Классическая тамильская поэзия не читается, а поется,— объясняет Кришна Шринивас.— Я же читаю свои стихи. Я пишу верлибром потому, что рифмованная поэзия всегда казалась мне чуть-чуть искусственной. Рифму я не отрицаю — хотя бы как средство, дисциплинирующее мысль и чувство, но ведь у поэзии есть и другая сторона: магическая, заклинательная, не подвластная линейной логике. Мне лично ближе всего поэзия, как полет сквозь тьму смутных движений души к сияющему свету гармонии, объединяющей великое и малое, в человеке и во вселенной. Рифма сковала бы свободный полет.

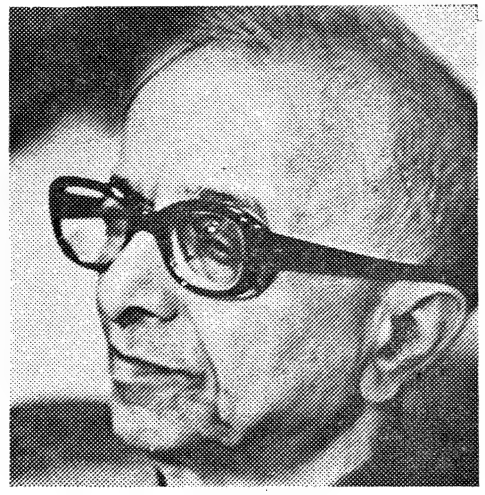
Наш гость не приемлет и поэзию, в которой формальная сторона властвует над смысловой.

— Я живу в двадцатом веке,— говорит он,— и живу проблемами века. Дело моей жизни — сближение поэзии народов мира, укрепление взаимопонимания между народами. Поэзия должна говорить людям об их изначальном единстве, должна звать их к гармонии, добру и красоте... Пока не поздно...

И все же Кришну Шриниваса нельзя отнести к разряду поэтов, непосредственно откликающихся на события,— он скорее следует традиции индийской классики, творцы которой видели свою цель не в прямом отображении действительности, а ожидали, что их произведения вызовут определенное состояние души и разума,— поэтому, в соответствии с канонами индийской эстетики, произведение искусства не может считаться завершенным, не будучи воспринятым.

— Я отдаю себе отчет в том, что, как поэт, я просто не существую вне индийской традиции, вне великих идей мира, добра, нравственного самосовершенствования, составляющих суть наших древних «Упанишад» или «Бхагавад-Гиты». Мне много приходится путешествовать по делам моего журнала, я бывал и в Америке, и в Европе. Я вижу, как растет интерес к Востоку, как переводится и читается восточная классика, и я считаю — это хорошо. Нет спору, для части западной интеллигенции здесь дело просто в моде на интеллектуальную экзотику. Нет спору, иные тянутся к восточной философии в надежде найти в ней прибежище от обесчеловечивающего хаоса механической цивилизации Запада. Но вместе с тем разве не открывается таким образом перед людьми истина, великая в своей простоте,— человечество едино и мир, в котором оно живет,— прекрасен?! Он прекрасен и заслуживает права на Будущее. Я стараюсь всегда помнить строки из «Бхагавад-Гиты»:

> Лишь на деяние имеешь ты право и никогда — на его плоды; да не будут плоды твоего деяния побуждением к нему; да не будет у тебя оправдания бездеятельности.



Умашанкар Джоши

(ИНДИЯ)

Умашанкар Джоши вошел в индийскую литературу в начале 30-х годов, когда Индия прощалась со своим колониальным прошлым. Молодой поэт, студент колледжа сделал свой выбор: на все последующие годы — борьба. Вера в разум и силу человека определила его творчество. В одном из своих стихотворений он писал: «Свобода в природе парит — так почему ж человек должен рабом оставаться навек?» [1] С этим противоречием У. Джоши не мирился никогда. Поэтому, очевидно, на его долю выпали четыре года тюрьмы — «политические каникулы», прервавшие учебу.

Он закончил колледж, защитил докторскую диссертацию по экономике. Общественная деятельность, много времени, отданного людям... Но главное дело его жизни — творчество. Он работал в разных жанрах: пьесы, эссе, литературоведческие работы, но всегда оставался верен жанру своего сердца — поэзии.

Он считает, что ему очень повезло: Джоши — современник и соотечественник Ганди — «несравненного волшебника добра и правды»: «Разломать ледяное молчанье ссоры... Утирать обездоленных жгучие слезы. Хоть однажды в дом привести скитальца. Горстью пыли зловонную грязь засыпать... Осквернённое место, расчистив, удобрить... Чтобы вырастить всходы новой жизни...» Вот каким должен быть итог жизни человека, по мнению поэта.

Сейчас ему 74 года. Он удивительно энергичен. Этот человек наделен редкой способностью — слушать собеседника. В нем слушает все: уши, глаза и даже руки. Где бы он ни был — в яснополянской усадьбе, на горластом тбилисском рынке, в залах ЦДЛ — он впитывает в себя мир. «Я приехал сюда учиться. Иначе к чему было пускаться в столь дальнюю дорогу».

Советских читателей познакомил со стихами Умашанкара Джоши сборник, выпущенный издательством «Прогресс» в 1981 году. В июне этого же года Умашанкар Джоши приехал на VII съезд советских писателей, где он представлял Индийскую литературную Академию, президентом которой он является. В дни работы съезда Умашанкар Джоши был неутомим. Он находил время для многочисленных встреч, бесед и принял приглашение редакции «Иностранная литература». Мы попросили рассказать его об основных направлениях развития современной индийской литературы.

— В нашей многонациональной стране, разговаривающей на многих языках и на многих из них читающей, задача писателей — сделать все возможное для взаимного знакомства.

Говоря о литературах Индии, поэт рассказал об их древних традициях, о том, что, вбирая в себя все веяния современности, они сохраняют национальный колорит. Легче всего влияние современности прослеживается на таких мобильных жанрах, как повесть и рассказ, особенно популярных в 50-е годы. В послевоенный период они потеряли свое первенство в соревновании жанров, поскольку возникла потребность глубже осмыслить все происходящее. Появился роман, новелла. Естественно, что эти литературные формы были заимствованы из мировой литературы. Затем У. Джоши заговорил о поэзии:

— Есть что-то общее у наших народов в любви к поэзии. В Индии, как и во многих других странах Востока, и поныне жива многовековая традиция поэтических состязаний, когда на городской площади поэт встречается с десятками тысяч своих почитателей. На Западе сейчас говорят об упадке популярности поэзии. В Индии любят стихи, как и в Советском Союзе.

Об этом говорят его личные наблюдения: огромная аудитория на творческом вечере Евг. Евтушенко, за какие-то двадцать минут в магазине были распроданы все поступившие экземпляры нового сборника стихов Д. Самойлова...

— У вас колоссальные тиражи... Вечера поэзии — это часть культуры народа.

Говорить в двадцатом веке о развитии литературы в такой большой стране, как Индия, невозможно без учета влияния других литератур. И не только литератур. Большое влияние оказывает «массовая культура»

[1] Здесь и далее перевод С. Северцева.

Запада. Особенно это чувствуется в крупных портовых городах Бомбее и Калькутте.

Умашанкар Джоши разделяет мнение той части интеллигенции, которая считает необходимым противопоставить импорту западного «китча» развитие национальных культур. Поэт считает важнейшим долгом литературы формирование национального сознания и вкуса современного индийского читателя.

Вопрос о роли литературы как средства общения между народами был следующим вопросом, интересовавшим редакцию.

— Хорошо, что в наше время стало возможным шире общаться друг с другом. В тесном общении я вижу залог мира. Движение за мир близко мне, как последователю Ганди,— говорит У. Джоши. Его лаконичная, но емкая речь с трибуны VII съезда писателей была проникнута тревогой и болью за будущее человечества: «За всю свою историю человечество, вероятно, еще никогда не сталкивалось с такой глобальной проблемой, как сегодня: быть или не быть нашей планете?.. Раньше или позже, лучше было бы раньше, человеку предстоит научиться мудрой осмотрительности в обращении с дарами научно-технической революции... Человек, как существо общественное, обязан сделать все, чтобы не отставать в морально-нравственном развитии от технического прогресса и не допустить уничтожения рода человеческого».

Разговор возвращается к особенностям индийской литературы. В многоязыкой Индии поэта, пишущего на гуджаратском, не может не волновать проблема языкового барьера. В этой связи Джоши коснулся вопроса о судьбе английского языка. Сегодня он утрачивает свои позиции, и отношение к этому явлению не может быть однозначным. Для страны и литературы проблема эта встает очень остро.

— Людей, знающих английский язык, становится все меньше и меньше. Мои сверстники, получив образование в Индии еще в колониальное время, свободно читали литературу любой степени сложности и, конечно, без труда объяснялись Иное дело теперь. Избавиться от чужого языка, принесенного и насажденного колонизаторами, было необходимым для индийской культуры и благотворно сказалось на ее развитии. Прошли те времена когда человек, сознавая свою беспомощность в английском, испытывал комплекс неполноценности, когда, изучая английский язык индиец забывал свой родной. А ведь еще в 50-е годы было настолько престижным владеть английским языком, что знание родного языка отходило на второй план.

Все негативное, что было связано с английским языком, а вернее, с историей его «популярности» в Индии, отходит на второй план. Но то, что нам дано, как правило, имеет две стороны. Английский язык — язык международный. На этом языке впервые раскрылась перед моим народом сокровищница мировой литературы. Благодаря английскому языку мы получили доступ к научной, социальной литературе, смогли познакомиться с величайшей художественной англоязычной литературой и с помощью переводов с литературой многих народов мира.

Да, было время, когда мы, литераторы, испытывали неприятное чувство вторжения чужого языка в дух нации — это не могло не тревожить. Но история рассудила мудро и справедливо: сейчас у нас отношение к английскому языку такое же, как у Ганди, Тагора. Они использовали этот язык, великолепно знали его, но всегда стояли за развитие всех национальных языков Индии. И еще: они всегда высмеивали так называемую «престижность» английского языка и боролись с поборниками этой престижности.

Умашанкар Джоши встречался во время работы съезда со многими писателями. У него сложилось свое впечатление о развитии национальных литератур в нашей стране. Его личное знакомство с Айтматовым, Сулейменовым, Федоренко позволило высказать такую мысль: «Ваши национальные литературы очень естественны. Они не выращены на искусственной почве, но идут от народных корней, и в то же время они сливаются с литературой мира в своем гуманизме, широте тем, сохраняя свое своеобразие, становятся факторами мировой литературы».

Впечатлений от личных встреч с советскими писателями у У. Джоши много. Как поэту, ему интересно творчество А. Вознесенского. Встреча с ним на съезде запомнилась, разговор был интересным.

Мы расстаемся с нашим гостем. Словами прощания звучат строки из его стихов:

Ни от кого ничего не хочу
без любви получать.
Ни на кого не хочу взирать,
Не стремясь опять и
опять,
Что-то прекрасное в нем
отыскать!

Т. НЕЗАБЫТОВСКАЯ

◆

К нашим иллюстрациям

Жан Карзу

Современный французский художник Жан Карзу (настоящее его имя Гарник Залумян) родился в 1907 году в сирийском городе Алеппо, в армянской семье, окончил в Каире французский лицей и в 1925 году обосновался в Париже. Здесь Карзу проучился 4 года в Архитектурной школе, но архитектором так и не стал, хотя сохранил на всю жизнь любовь к прекрасным зданиям. В течение ряда лет он посещал также живописные классы Академии Гран Шомьер на Монпарнасе, и в конце 20-х годов на парижских выставках стали появляться первые его пейзажи (в основном виды парижских улиц) и натюрморты. В начале 30-х художник пережил период исканий в области чистой формы. Однако Карзу не поддался соблазнам абстракционизма (как позже он не поддастся искушениям сюрреализма). Уже в середине 30-х годов художник возвращается к натурным композициям. Главную роль в этих композициях играют женские фигуры, как бы состоящие наполовину из плоти, наполовину из стихий воздуха и огня...

В период войны в творчество Карзу входят трагические образы. Он пишет в это время по преимуществу пустынные деревенские ландшафты, в которых мирные сельскохозяйственные орудия превращаются в символы разрушения. К концу 40-х годов формируется неповторимый стиль французского мастера, определяется круг его образов и тем, которые находят наиболее законченное воплощение уже в последующие десятилетия.

50-е — 70-е годы — период расцвета творчества Карзу. Он пишет картины, создает многочисленные графические циклы в технике цветной литографии, акварели, офорта и рисунка тушью, иллюстрирует множество книг, активно работает в области сценографии — выполняет декорации и эскизы костюмов к оперным и балетным постановкам; занимается также прикладным искусством.

Начиная с первой персональной выставки, состоявшейся в 1939 году, Карзу постоянно выставляет свои работы во Франции и за ее пределами, удостаивается многих наград и почестей. Высшей из них явилось избрание художника в конце 70-х годов в члены французской Академии.

Все искусство Карзу питается живыми впечатлениями от окружающей действительности. Отдельная страница его творчества — портреты реальных городов и местностей: виды Парижа или Венеции, городки и ландшафты Иль-де-Франс, Руссильона, Прованса, Бургундии, Ланд и Пиренеев; гавани и вокзалы, парки Версаля или Тюильри. Иногда по соседству с достоверным архитектурным или пейзажным мотивом, из вороха линий и плетения ветвей естественно рождается Арлекин или таинственный женский образ, как бы собирающий в себе лирическое начало композиции. В этих картинах язык художника становится свободно метафорическим, линия и цвет уже не следуют покорно за натурой, а приобретают автономность и волшебную многозначность выражения. Карзу создает невесомо прозрачные, прихотливые образы, в которых предметы, персонажи и само пространство возникают из сгущений и разряжений, кажутся сотканными из света и мрака. С помощью сочетаний линий художник добивается ощущения обособленной замкнутости или устремленности в пространство, дает почувствовать живую прелесть природы или враждебность человеку современной «ощетинившейся» цивилизации. Все это не означает, однако, что Карзу равнодушен к цвету. Именно цвет создает у него живое наполнение пространства, смягчает колкость, передает радость, восхищение красотой мира или тревогу.

В 50-е и 60-е годы художник создает циклы картин и литографий на темы «современного Апокалипсиса», в которых соединяет воспоминания о пережитой войне с мрачными видениями будущей. Из одной работы в другую переходят образы обезлюдевшей и «обезбоженной» земли, городов, захваченных призрачными рыцарями, площадей с руинами или лесом антенн, шестов, телевизионных башен и ракет, нацеленных в небо, в котором летят похожие на страшных жалящих ос самолеты.

Контрастом к этим мрачным пророчествам в творчестве художника в последние годы все сильнее звучат жизнеутверждающие мотивы «земного рая». Этот специфический рай Карзу одновременно достоверен и похож на театральную феерию, родствен легкому и праздничному миру музыки и балета.

«Реальность богата, и каждая вещь в ней кажется мне освещенной таинственным сиянием,— писал Карзу.— Я хотел бы извлечь ту магию, которая таится в вещах, меня постоянно преследует сочетание реальности и мечты».

Н. АПЧИНСКАЯ

Иностранная лит-ра, 1982, №3.

Среди книг

Издано в СССР

Озеров, Л.

ЗАЩИТА ПОЭЗИИ

И.-Р. Бехер. О литературе и искусстве. Составление, переводы и примечания Е. Кацевой. Вступительная статья Т. Мотылевой. Москва, «Художественная литература», 1981.

В словосочетании «Защита поэзии», давшем имя книге И.-Р. Бехера, изданной в Берлине в 1952 году, двойной смысл. Лучше сказать — двоякий смысл. Поэт защищает поэзию. Поэзия защищает поэта. Защищающий поэзию, ею и защищен. Эта диалектика убедительно прослеживается в сборнике «О литературе и искусстве», вобравшем в себя, помимо названной, и другие последние книги Бехера.

Сборник подготовлен к печати давней и последовательной пропагандисткой творчества поэта Е. Кацевой. Предварен том основанной на серьезном и долговременном изучении Бехера вступительной статьей Т. Мотылевой, большим знатоком западноевропейской литературы.

Эту книгу нельзя читать бегло. Это чтение-работа, чтение-спор. Без отчеркиваний на полях, без рабочего блокнота здесь не обойтись. Сужу по себе. Мне казалось, что я знаком с высказываниями Бехера о поэзии. Выяснилось, что эти знания недостаточны. Собранные воедино статьи, эссе, заметки поэта складываются в дневник его духовной жизни, его напряженных поисков сути, поисков пути немецкого поэта решительных десятилетий нашего века. Мы как бы присутствуем при беседе поэта с самим собой. Присутствие наше условно, но мы видим, как от самопознания он переходит к познанию эпохи, общества, литературы. От субъективного Бехер неизменно переходит к объективному и от объективного к субъективному. Происходит постоянная проверка одного другим, и читатель присутствует при этой быстрой и разумной смене регистров. Это в высшей степени поучительно.

В этом сказываются архитектонические начала всей творческой жизни Иоганнеса Р. Бехера (1881—1958), сочетавшей государственную, общественную, публицистическую деятельность с поэзией и прозой. Он не подчинялся стихии ежедневности, а выстраивал свою жизнь, как здание, сопрягая общие планы с частными, своды — с отделкой деталей.

Вам, зодчие, вам, архитекторы, слава!
Строители — вам! Основатели — вам!
Вовеки да зиждется ваша держава
И каждый ваш, гением созданный, храм!
Я строю стихи. Это строфы — опоры.
Над ними, как купол, я Мысль подниму.
Те строфы — как хмель, обвивающий хоры,
А эти ворвутся, как свет в полутьму.

(*Перевод В. Левика*)

Это строфы из «Высоких строений», программного стихотворения Бехера. Мысль, как купол, вздымается над опорами. Так повелел зодчий, он же — поэт. Между стихотворным корпусом сочинений Бехера и его статьями, эссе, заметками прямые и косвенные связи. Они перекликаются. Они подпирают друг друга. В конечном счете это — сообщающиеся сосуды. В них один — весьма высокий — уровень, уровень Мысли, стремящийся быть заодно с веком двадцатым в лучших его, гуманных проявлениях.

Желание установить гармонию между теорией и практикой характеризует Бехера как поэта нового типа, антифашиста, революционера. В ранних своих статьях (1925—1932) Бехер — решительный защитник боевого слова, слова-оружия, хранящегося в арсенале революции. Характерно, что поэт защищает не только лозунг и маршевую песню, он оставляет за искусством особую роль — пробуждать в человеке «те его чувства, которые часто остаются незатронутыми политической злобой дня. Искусство прокладывает себе здесь дорогу, оно отыскивает эти чувства и приводит их в движение, оно вливает в них кровь, оно не дает человеку превратиться в тумбу для объявлений...» Это сказано прозорливым человеком, тонким художником, не догматиком. И еще — в завершение этой мысли: «Искусство объемлет все. Оно проникает вглубь, до последнего неосознанного и сокровеннейшего движения чувств...»

В книге Бехера встречается в разных вариантах слово «самопознание». Поэт работает над стихами, над прозой, над публицистикой. И одновременно с этим он познает себя, свой стиль, свою манеру, художест

венные течения современности, культурное наследие Германии и других народов. Это не только самопознание. Это — самопроверка. Самокритика, строгость и откровенность которой подчас напоминают самосуд. Человек очень противоречивый — по его же утверждению, человек, богатый конфликтами, Бехер боится самообольщения, самоупоенности, самообмана.

Если читать эту книгу последовательно — от страницы к странице,— то она воспринимается, как я уже сказал, в виде дневника, который вел поэт, можно считать, всю жизнь. Несмотря на тематическую чересполосицу, книга выглядит рабочей тетрадью поэта. Летописью его «трудов и дней».

Этот жанр оправдал себя. Он все больше и больше привлекает внимание как самих художников слова, так и читателей.

Последнее столетие дало нам статьи, эссе, заметки о литературе и искусстве Бодлера и Валери, Маяковского и Цветаевой, Пастернака и Сельвинского, Аргези и Далчева, Арагона и Ивашкевича, Тычины и Неруды... Этот перечень легко продолжить, не умаляя значения каждого из упомянутых здесь имен. Эти высказывания о литературе и искусстве — явление высокой культуры, опыт ее самопознания. К когорте перечисленных выше авторов с полным правом можно причислить и Бехера. Настоящая его книга в русском издании изобилует ценнейшими высказываниями в области литературы и искусства, важными для современной культуры мыслями. Вот почему это не только наследие поэта, скончавшегося два с лишним десятилетия назад, но и свидетельство его непосредственного участия в строительстве современной культуры. Важно знать намерения автора книги, знать точку отсчета его рассуждений о литературе и искусстве. Бехер занят не столько рассмотрением технологии поэтического искусства, сколько размышляет над природой художества, над сущностью творчества. Это скорее философия, чем филология.

Пишущему эти строки посчастливилось встречаться с большими мастерами. Конечно, каждого из них не могла не интересовать технология их дела. Асеев, Коненков, Нейгауз, Пастернак, Гудиашвили, Тычина, Твардовский, Ахматова, Светлов — такие разные художники, конечно, касались в своих беседах и переписке частностей стихотворчества. Но главенствовали не эти частности, а общие вопросы философии, психологии, стиля, способов изобразительности и выразительности. То же и у Бехера: его интересует все, что может интересовать художника, пропускающего через свое сердце все радости и беды современности.

Это правило. Но есть исключения. И о них грешно умолчать.

Это блестящий краткий трактат «Философия сонета, или Малое наставление по сонету». Это рассыпанные по всей книге заметки о ритмике и рифмовке, о свободном и каноническом стихе (о соотношении их, о способах их взаимообогащения), об искусстве стихотворного перевода и о многом другом. Основываясь на своей многолетней практике, Бехер приходит к интереснейшим выводам.

Немало содержательных страниц уделено в книге Бехера истории немецкой литературы прошлого и настоящего. Здесь многие имена мастеров немецкого художественного слова. Но над всеми этими именами возвышается имя Гёте. С нескрываемой любовью, с восхищением, покоящемся на солидных знаниях, говорит Бехер о Гёте. Самопознанию поэта помогает кто? Гёте. Познанию мира помогает кто? Гёте. «Он ближе всех подошел к сущности человека». «Гёте — прекрасное, нерасчлененное целое». Для Бехера великий создатель «Фауста» — образец человека и творца, мыслителя и деятеля. «Гёте раскрывается лишь тому, кто встречает его с естественностью свободного человека». Много говорится в книге об участии гётевского наследия в современности. И в будущем.

На страницах книги мы встречаем имена Гёльдерлина и Шиллера, Келлера и Рильке, Томаса Манна и Арнольда Цвейга. Имена Данте и Стендаля, Пушкина и Толстого, Горького и Макаренко. Характеристики краткие, но самостоятельные, самобытные.

Многие материалы книги «О литературе и искусстве» мне становились известны по публикациям в прессе, по книге «Любовь моя, Поэзия» [1]. Вместе с тем, нынешнее издание обновляет восприятие знакомого. Кое-что значительно укрупняет, а кое-что отводит на второй план. Некоторые рассуждения поэта кажутся сейчас «повторением пройденного», однако моменты социологизирования остались в книге, к счастью, в небольших дозах. Эти материалы читатель не отбросит, он без труда поймет, что это дань времени. Но главное — здесь ярко и наглядно выступает та бескомпромиссная позиция, которую как художник и мыслитель Бехер обозначил рано и ясно.

Он гордится Германией Гёте и Шиллера. Он ненавидит Германию Гитлера и Геринга.

Весь трагизм, вся гамма чувств немецкого поэта, тяжело переживавшего гитлеровские злодеяния, отражены в этой книге.

Последовательно проводящий в своей практике и теории учение Ленина о культуре, Бехер выступает против «единого потока». Его не убедишь в том, что Пушкин и Лермонтов, Некрасов и Толстой в том же стане, что Аракчеев и Бенкендорф, Булгарин и Победоносцев. Учение Ленина Бехер воспринял не начетнически, а впитал в себя с молодых лет, укрепил в себе в битвах времени, в жестоких спорах со своими идейными противниками. Здесь Бехер непримирим. И отечественным молодым и моложавым защитникам Булгарина и Бенкендорфа есть чему поучиться у него...

Никто так горячо и заинтересованно не напишет о художестве, как сам художник. Он-то знает, во что обходятся ему душевные усилия (даже если пишется легко), напряженность всей его жизни. Одни оставляют мемуары, другие — дневники, третьи — статьи, эссе, заметки, из суммы которых складывается нечто целое, большое. Бехер создал свою огромную мозаику в защиту поэзии и во имя ее. Он чужд наукообразности, обильной цитатности, праздного мудрствования. Он говорит по делу и о деле. Пытливая мысль пытливого читателя получает обильную пищу для себя. Бехер беспокоится и беспокоит.

[1] Москва, «Художественная литература», 1965.

Бехер любит монолог. Но знает его пределы. И тогда вступает в силу диалог. В предисловии к «Поэтическому вероисповеданию» Бехер обращает внимание на то, что монолог, перешедший в общий разговор, в дальнейшем может привести к более высокой форме самопознания. Какова она? Неведомо. Бехер ее искал. В этом его обращенность к будущему. Он, Бехер, говорит о поисках более высоких, чем нынешние, форм самопознания. Более широкого раскрытия возможностей художника, возможностей, не стесняющих его творческой воли. Поэт ищет вместе с содержательной мыслью наиболее удобной, емкой, острой, мобильной формы выражения. Иногда это короткая запись по поводу прочитанного у другого автора. Бехер приводит слова Паскаля: «Величие человека составляет мысль». И это дает возможность Бехеру еще и еще раз выступить против бездумной литературы. Подчас это лапидарная дневниковая запись. Только сейчас пришедшей важной мысли. Например: «Когда ярче всего сияет небо поэзии? После грозы. После конфликта». Порой это сообщение нового для читателя. Бехер рассказывает о молодом русском переводчике Е. И. Садовском, погибшем от фашистской пули под Смоленском. В его полевой сумке был найден томик стихов Гёльдерлина, «Гиперион» уже был переведен им. Он готовился (и делал это на фронте) к новым переводам.

Многообразие форм бехеровских записей не поддается учету. Важно общее для него стремление к выяснению сути, в его движении к истине. Поиск сути одновременно с поиском выражающей ее формы проходит через всю книгу. И не в силу того, что Бехер в дни своей поэтической молодости принадлежал к группе левых экспрессионистов. Нет, активная жизнь в искусстве, опыт истории, опыт жизни поэта пытливого, тонкого, несамообольщающегося — вот что диктовало Бехеру настойчивый поиск новизны.

В книге убедительно показано эссеистическое мастерство поэта, его умение каждый раз для определенной серии идей и образов находить соответствующее им выражение.

Как и в лирических миниатюрах, в бехеровских эссе есть недосказанность (но вовсе не незавершенность). Бехер с доверием относится к воображению своего читателя. Он намекает, читатель подхватывает намек и довершает его своей мыслью. Например, запись о балладе занимает у Бехера всего двадцать типографских строк. «О языке» — три с половиной страницы, но рассуждения Бехера об истории и красоте его родного, немецкого, языка — нереализованная заявка на большой труд на эту тему. Заметки об искусстве поэтического перевода складываются в стройную систему взглядов поэта на «высокое искусство», как назвал его К. И. Чуковский.

Книга Бехера существует в трех временах. Говоря о настоящем, ее автор опирается на прошлое и вглядывается в будущее. При всем почтении к культурному прошлому как Германии, так и других стран Бехер предостерегает нас от моментов реставраторства, праздного и бездумного любования стариной как таковой. «Вспомним, что одно время было даже модно строить руины замков. Да предохранит нас *творческое* восприятие классического наследия от такой моды на руины». Эти две фразы могут вразумить нас больше, чем пространная речь.

Разум и страсть, страсть и разум ведут автора, владеют им. «Неверно предположение, будто наша эпоха стала рационалистичной и в ней господствует только ratio, разум. Дело обстоит не так». Нам остается согласиться с Бехером. В книге разум не господствует. Он лишь следит за тем, чтобы страстная мысль поэта не заплуталась в дебрях чувства.

Но ни разум, ни чувство поэта не были бы столь притягательны, если бы не его мужество художника, если бы не его постоянное стремление к правдивости. «Мужество писателя заключается прежде всего в том, чтобы иметь мужество заниматься литературой». По виду это — тавтология. По смыслу — глубокое понимание положения и миссии писателя. Иметь «мужество заниматься литературой — значит иметь мужество для овладения настоящим мастерством и мужество быть правдивым».

Книга Бехера имеет свою драматургию: мы следим за тем, как поэт прорубается к правде века, к правде искусства. И этот увлекательный процесс заставляет возвращаться к книге снова и снова.

ЛЕВ ОЗЕРОВ

АНАТОМИЯ ОБЫВАТЕЛЬЩИНЫ

Эндре Фейеш. Кладбище ржавчины. Роман и рассказы. Сборник. Перевод с венгерского. Составитель Т. Воронкина. Москва, «Прогресс», 1981.

«Кладбище ржавчины — это обнесенный каменной стеной двор позади складского помещения. Заводская узкоколейка делит его пополам, по обе стороны от нее в хаотическом беспорядке громоздятся браковáнные станки, исполины котлы, в черный лак глубоко, всей тяжестью вдавились изуродованные металлические чудовища, их мощные, разъеденные ржавчиной руки взметнулись к небу в ожидании всепожирающего огня...

На этом кладбище железного лома весной 1962 года токарь Янош Хабетлер-младший убил подсобного рабочего».

В таком внешне сдержанном, почти репортажном ключе начинается роман Эндре Фейеша. Однако читателю предстоит познакомиться с историей отнюдь не детективного порядка.

Судьба книги решилась тотчас с появлением ее на прилавках магазинов, хотя тираж первого издания, даже по венгерским понятиям, довольно скромен: семь тысяч. Уже на следующий год эта цифра возрастет до двадцати пяти тысяч экземпляров. И далее, словно цепная реакция, серия новых переизданий — двенадцать в самой Венгрии и тридцать за рубежом. С успехом идет театральная инсценировка романа. Автор удостаивается звания лауреата литератур-

ной премии имени Аттилы Йожефа, а затем и высшей государственной — имени Кошута. И по сегодняшний день произведение Фейеша не перестает быть объектом оживленной полемики в кругах критиков, на многочисленных читательских конференциях.

Чем же объяснить столь активный и, подчеркнем, особоустойчивый (ведь прошло уже без малого двадцать лет!) отклик на «Кладбище ржавчины»?

В романе главный фронт писательского исследования сконцентрирован на удивительно малой по своим размерам «территории»: перед нами хроника будней одной венгерской семьи — старшего и младшего поколений Хабетлеров, людей из среды, как принято говорить, «обыкновенных, рядовых тружеников». В социальном отношении Хабетлеры — пестрый симбиоз представителей ремесленничества, крестьянства, мелких служащих и рабочего класса (точнее, его арьергардных слоев).

Порой создается впечатление, что автор намеренно уводит объектив своей «скрытой камеры» от эпицентра крупных социально-общественных потрясений, классовых схваток, политических и военных катаклизмов, пережитых страной, нацией, человечеством на протяжении более чем сорокалетнего периода, начиная с момента окончания первой мировой войны. История у Фейеша действует как бы исподволь, через едва приметные и, казалось бы, малозначительные житейские эпизоды и детали, но действует властно, внося свои неумолимые, подчас жестокие поправки в судьбы героев хроники. А что же Хабетлеры? Их жизненная позиция предельно проста: по возможности остаться в стороне, «с краю», выжить, причем нередко любой ценой, подладиться под обстоятельства. Автор скрупулезно анализирует социально-нравственную природу этой мещанской по сути своей системы взглядов, ее корни, глубоко уходящие в прошлое, связанное с эксплуатацией человека человеком, бесправием, рабской приниженностью. На примере судьбы Хабетлера-старшего хорошо показано, как в годы хортистского режима действовал механизм массового культивирования идеологии приспособленчества, лакейской покорности перед власть имущими, потребительской алчности, эгоизма.

Миропонимание Хабетлера-старшего (и подобных ему) формируется под влиянием — в переносном и прямом смысле — подачек с «барского стола», грошовых «авансов», расчетливо выдаваемых господствующим классом и призванных создать у Хабетлеров иллюзию некоей исключительности, некоего, опять же призрачного в конечном счете, продвижения вверх по лестнице материального благополучия и положения в обществе. Трясина обывательщины засасывает супругов Хабетлеров, и порой кажется, что все складывается чуть ли не помимо их воли, как бы само собой. Вот Хабетлер-старший, которому грозит нужда, ищет поддержки у своего бывшего военного начальника, а тому хорошо запомнилась благонамеренность и услужливость подчиненного. И в самом деле, Хабетлер — человек порядочный, надежный, «которого не коснется даже тень политического подозрения, сколько бы ни копались в его прошлом», к тому же «против закона никогда не шел». И вот бывший подмастерье, которому так и не довелось заняться своим ремеслом, бывший солдат, чудом уцелевший на итальянском фронте первой мировой войны, делает «головокружительную» карьеру: его берут на службу полицейским, которая дает приличное жалованье, квартиру, безбедную жизнь. Его жена Мария Пек поначалу восстает против принятого решения («порядочные люди ищут заработка... а не готовенькое ухватить норовят»), но ее оппозиция длится недолго. («Через два дня Хабетлеры получили квартиру. Когда Мария Пек взяла в руки официальный ордер, у нее на глазах выступили слезы».) Исполняя службу, требующую жизни трезвой и рассудительной», Хабетлер-старший продолжает расти в собственных глазах, да и, как ему кажется, в глазах соседей по дому и улице. Еще бы!.. «Вина выпивает только по большим праздникам, да и то в меру». «Жалованье... до последнего филлера» жене отдает. Богатство его «сроду не прельщало», и к чужому он не притронется. Черной работы не боится (он же не чистоплюй какой-нибудь!) и уж «в любом случае доставил бы чемоданы на квартиру начальству, чего бы... это ни стоило». Он готов прислуживать в офицерской столовой и «брать остатки еды домой» и почитает за честь сопровождать непосредственного начальника в привокзальный ресторан, где ему тоже кое-что по мелочи перепадает («Подполковник заказывал кружку пива и соленый рогалик. Выпив полкружки, он отламывал себе кусочек рогалика, а остатки того и другого отдавал Хабетлеру»...)

И при этом Хабетлеры «не отрываются от народа», они по-своему отзывчивы и добры, их дом открыт для всякого, даже самого последнего изгоя. Но при одном непременном условии: если это прямо или косвенно не затрагивает их личного благополучия, не угрожает их интересам. В противном случае им ничего не стоит «по забывчивости» бросить на произвол судьбы свою невестку вместе с внучкой (дочь ушедшего на фронт Яноша Хабетлера-младшего), которым уготована одна дорога — в печи Освенцима. В дальнейшем в семье Хабетлеров постараются не думать об этом «случайном» эпизоде — словно его не было (разве это не напоминает, пусть и отдаленно, символический вопрос из горьковской «Жизни Клима Самгина»: «Да — был ли мальчик-то, может, мальчика-то и не было?»).

Закончилась вторая мировая война. Освобожденная от фашистского ига страна залечивает раны, вступает на путь нового развития. Хабетлеры опять собираются под одной крышей. Первым приходит из армии Хабетлер-старший. Анкета у него и на сей раз оказывается чистой («В министерстве обороны его подробнейшим образом обо всем выспросили, проверили политическое прошлое, занесли в список благонадежных».) Возвращается из плена и Хабетлер-младший, устраивается токарем на металлообрабатывающий завод. Семья увеличилась. Подрастает новое поколение. Жизнь постепенно входит в привычное русло. Но свежий ветер общественных перемен вры-

вается и в квартал, где живут Хабетлеры. Новый строй несет с собой не только зримые улучшения в материальном положении людей, но и еще нечто, может быть, даже более важное: атмосферу освобожденной человеческой личности, реальные возможности для всестороннего нравственного обновления. Хабетлеры и в этой ситуации не изменяют своей потребительско-приспособленческой философии, этика человеческих отношений, складывающихся в ходе строительства нового общества, глубоко чужда их усвоенным за долгие годы мещанским идеалам. Назревает конфликт. Но взрыв происходит не от какого-то внешнего толчка, а под действием внутрисемейного детонатора: бунт поднимает Хабетлер-младший. На первый взгляд его поступки можно принять за импульсивные вспышки неуравновешенного от природы характера, к которым примешаны последствия сурового опыта, пережитого на фронте, и личной драмы — потери любимой женщины и ребенка. Но тут, думается, срабатывает и фактор более глубинного, объективного свойства. Ведь Хабетлер-младший, работая на заводе, связан со своим классом не только отношениями чисто производственными, трудовыми, но и нравственно-духовными, и логика этих отношений так или иначе ведет к формированию у него как личности новой психологии, новой этики, не совместимых с теми моральными принципами, по которым он воспитывался с детства. Бунт Хабетлера-младшего еще во многом полусознательный, скорее интуитивный, но этот человек лихорадочно ищет избавления от внутрисемейного мещанского гнета, порывается уйти, начать иную жизнь. Но оказывается, что оборвать пуповину родства непросто.

В романе поднимается проблема, которая по масштабам своей общественно-нравственной значимости выходит далеко за рамки одной социальной прослойки или класса. Судя по тому, как воспринят идейно-художественный пафос произведения на родине и за рубежом, хабетлеризм — явление нарицательное и отнюдь не узконациональное. «Хабетлеры,— тонко подмечает один из видных современных писателей Венгрии Шандор Шомоди Тот,— фигуры венгерские и в то же время общечеловеческие, в них уживается прошлое и настоящее, они в своей сущности неизменны и вместе с тем постоянно обновляются».

Сильная сторона книги не только в том, что в ней всесторонне, с психологической и художественной достоверностью анализируются рецидивы обывательщины на новом, можно сказать, «целинном» для венгерской литературы социальном пласте, но и в той гражданской смелости, верности жизненной правде, которые правят писательским пером. Строительство социалистического общества, как уже не раз доказано историческим опытом,— процесс многомерный, не прямолинейный, требующий чуткого, глубоко заинтересованного внимания к проблемам нравственным, непримиримого отношения к таким, доставшимся в наследство от старого мира стойким и опасным болезням, как потребительство, приспособленчество, социальная инертность, равнодушие к людям. Роман Эндре Фейеша находится на передовой борьбы с ржавчиной обывательщины, разъедающей человеческие души.

Нельзя не отметить и полноценности перевода Т. Воронкиной, благодаря которому талантливый роман входит в наш духовный мир, не утратив своих лучших качеств. Кроме «Кладбища ржавчины» в сборник, предлагаемый советскому читателю, включен также ряд других произведений, преимущественно «малого жанра», которые дают представление о разнообразии творческого дарования писателя.

В. ЕЛЬЦОВ

Издано за рубежом

ОТКРЫТИЕ РОМАНДСКОЙ ШВЕЙЦАРИИ

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ

Encyclopédie illustrée du Pays de Vaud. Volume VII. Les Arts de 1800 à nos jours. Littérature, peinture, musique, architecture, théâtre, cinéma, radio. Volume publié sous la direction de Claude Reymond. Lausanne, «24 heures», 1978.

Иллюстрированная энциклопедия кантона Во. Том VII. Искусство с 1800 года до наших дней. Литература, живопись, музыка, архитектура, театр, кино, радио. Под общей редакцией Клода Реймона. 1978.

«Швейцария входит в литературу вместе с «Новой Элоизой» Руссо. До него страна являла собой лишь заповедник пьяниц и ландскнехтов; не существовало для европейца худшего оскорбления, нежели «швейцарец»; после Жан-Жака она стала необходимым для романтической любви местом». Строки эти взяты из редакционного предисловия парижского журнала «Магазин литтерэр», который три года назад опубликовал большую подборку материалов под названием «Литература французской Швейцарии». Хотя о «заповеднике пьяниц и ландскнехтов» сказано чересчур сильно, но Руссо действительно мощью художественного гения словно создал ауру вокруг тех мест, где жила его добродетельная героиня. Местечко Кларан, расположенное на живописном берегу озера Леман в кантоне Во, как магнит притягивало падких на слезы сентименталистов и пылких романтиков — этих паломников из всех уголков Европы, чьей религией стала «поэзия чувства и сердечного воображения».

Кантон Во — об этом свидетельствует тщательно составленная литературная карта, которая помещена в рецензируемой книге — без преувеличения можно назвать священной землей европейской культуры. Какое ослепительное созвездие великих имен бывало, жило или творило здесь: Вольтер и Гиббон, Шатобриан и Гёте, Байрон и Шелли, Стендаль и Бальзак, Диккенс и Андерсен, Песталоцци и Мицкевич, Пруст и Риль-

ке, Роллан и Мартен дю Гар. Не чужда эта земля и русской культуре: здесь, в Веве, Гоголь в 1836 году работал над «Мертвыми душами», а Достоевский в 1868 году писал третью часть «Идиота».

Читая VII том «Иллюстрированной энциклопедии кантона Во», совершаешь удивительное путешествие во времени. Перед глазами (книга иллюстрирована с безупречным вкусом) проходит два века культурной истории франкоязычной Швейцарии. Однажды Поль Валери назвал Европу «мысом Азии». Но местный поэт Жюст Оливье задолго до него говорил: «Европа, этот маленький континент, который всего-навсего является полуостровом Азии». Однако, знакомясь с развитием литературы и искусства в кантоне Во, убеждаешься в той непреходящей истине, что нет «больших» и «малых» народов, что люди, которым природа отпустила малое географическое пространство, способны обогатить сокровищницу человеческой цивилизации. Мало кому известно, например, что национальный художник кантона Во Шарль Глейр (1806—1874), работавший в Париже, был учителем таких замечательных мастеров мировой живописи, как Моне, Ренуар, Сислей, Уистлер.

История любит парадоксы. Хотя первая книга на территории кантона была напечатана в 1481 году, а каждая хрестоматия романдской литературы начинается проповедями сурового протестантского реформатора Кальвина, жителям «страны Во» пришлось ждать получения независимости (1798 год) и воцарения романтизма, чтобы «открыть» прошлое собственной родины и осознать самобытность своего национального характера. Именно «революция 1798 года», подчеркивается в энциклопедии, породила литературу национальной независимости. «Кантону Во, который отныне существует,— писал патриот, политик и писатель тех давних времен Анри Моно,— надо придать душу». Поэтому первые шаги независимой литературы кантона Во одушевляли горячий патриотизм и жажда свободы, которые особенно ярко выразились в песнях и публицистике. О том, какое сильное воздействие оказывала эта проникнутая неистовым патриотизмом публицистика на общественное мнение Европы, свидетельствует любопытный факт: первой печатной работой Гегеля был перевод на немецкий язык «Писем» Жан-Жака Кара — одного из деятелей кантона Во.

Среди местных романтиков выделяется фигура поэта Жюста Оливье (1807—1876), благодаря усилиям которого в кантоне возродился широкий интерес к поэзии и родной истории. Все помыслы Оливье были связаны с его прекрасной землей: он без устали повторял, что «между страной и народом существует родство». Широкую славу классика романдской литературы принесло Оливье двухтомное сочинение «Кантон Во» (1837—1841), которое жителям кантона раскрыло глаза на их прошлое и настоящее.

1830—1845 годы были периодом расцвета литературы франкоязычной Швейцарии. Тогда жил и творил прославленный Александр Вине (1797—1847) — литературный критик, моралист и мыслитель. Взгляды его, отмеченные протестантским ригоризмом, отличались оригинальной несвоевременностью: Вине не принимал романтизма и резко осуждал литературу «безбожного» XVIII века. Идеалом его был Блез Паскаль, которому он посвятил глубокое исследование. Сила влияния Вине на современников и потомков — в его непоколебимой честности, в моральной требовательности к человеку. Литературу он рассматривал как мысль в действии, видел в ней творца и хранителя этических ценностей. Мне кажется, что моральный максимализм и нравственная чистота роднят, несмотря на все громадные различия, Александра Вине с нашим «неистовым» Виссарионом Белинским.

Третье значительное имя прошлого века в романдской литературе — это Эжен Рамбер (1830—1886), посвятивший жизнь и творчество родным Альпам, которые он воспел в шеститомном сочинении «Швейцарские Альпы». В жанровом отношении это произведение представляет собой причудливую смесь научных наблюдений, рассказов о путешествиях в горах и поэтически-проникновенных описаний родной природы. Писатель подлинно национальный, Эжен Рамбер призывал преодолеть узкий, провинциальный патриотизм тогдашней Швейцарии и видел предназначение своей страны в «примирении культур». Будучи свидетелем событий франко-прусской войны и Парижской Коммуны, Эжен Рамбер опубликовал знаменитый «Дневник нейтрального». Он требовал от соотечественников «изыскивать все средства и использовать все возможности для того, чтобы сделать наш нейтралитет полезным для Европы».

Но в конце прошлого века интеллектуальная и литературная жизнь романдской Швейцарии все-таки оставалась слишком провинциальной, чтобы в ее атмосфере могли дышать и творить талантливые писатели и художники, которые, как правило, отправлялись искать славу в Париж. Власти поддерживали официальное искусство, создававшее патриархально-идиллические картины швейцарского «рая», где живут, не ведая никаких забот, пейзане и пейзанки в альпийских костюмах, которые вызывали умиление туристов.

Возрождение романдской литературы в XX веке связано с Шарлем-Фердинандом Рамю (1878—1947), который обратился в творчестве к действительности своей родины. Появившаяся в 1905 году повесть «Алина» открыла романдцам мир простых людей, показала их душу, их беды, радости и страсти.

Рамю мощно воплощал таинственную загадочность бытия человеческого, но не менее сильные краски находил для воспевания «поэтического величия», которое он нашел у крестьян, сохранивших верность земле. Все творчество Рамю — романы, эссе, пьесы, новеллы — это одна грандиозная пантеистическая песнь во славу Земли и Человека. Не случайно первый выпуск знаменитого журнала «Романдские тетради», который выходил с 1912 по 1919 год, был отдан эссе Рамю.

С этим изданием связано все самое талантливое в романдской литературе тех лет. Наряду с Рамю деятельное участие в нем приняли прозаики и публицисты Поль Бюдри (1883—1949) и Эдмон Жильяр (1875—1969). Программа журнала заключалась в

бунте против конформизма и властей, борьбе с провинциальной застойностью, казенным ура-патриотизмом и официальным образованием, в котором был необычайно силен дух протестантизма. «Романдские тетради» выиграли историческую битву»,— отмечается в «Иллюстрированной энциклопедии». После них романдскую литературу стали рассматривать как самобытную, а не бледную копию французской, она вышла на европейскую арену.

Период между двумя мировыми войнами был временем расцвета романдской культуры. Необходимо отметить (об этом, кстати, в энциклопедии сказано довольно приглушенно) и влияние Октябрьской революции на швейцарскую интеллигенцию. Рамю, например, приветствовал ее в эссе «Великая весна». Свое воздействие оказала она и на выдающегося ученого Андре Боннара (1888—1959), автора переведенной на русский язык трехтомной работы «Греческая цивилизация». Замечательным памятником русско-швейцарских культурных связей стала «История солдата» Игоря Стравинского (он шесть лет прожил в кантоне Во) по либретто Рамю, премьера которой состоялась 28 сентября 1918 года.

Но вернемся к литературе. В тот период особенно успешно развивалась поэзия. В прозе завораживающее влияние мощной эпики Рамю, имевшего много последователей, не помешало таким прозаикам, как Катрин Коломб, Бернар Барбэ, Жак Меркантон, Жорж Боржо, создать свой оригинальный мир и утвердить высокую репутацию романа. Блестящее развитие получила эссеистика, в которой работали мастера этого жанра Эдмон Жилльяр, Альбер Бегюэн и Дени де Ружмон.

Вторая мировая война, охватившая Европу, пощадила нейтральную Швейцарию. В те огненные годы, сказано в энциклопедии, Швейцария стала перекрестком европейской культуры, лучшие, передовые силы которой включились в активное Сопротивление фашизму. Большинство французских писателей и поэтов, участников антифашистского Сопротивления, печатались в издательствах и периодической печати кантона Во. Романдская культура, деятели которой оружием слова сражались с фашизмом, внесла свой вклад в борьбу с коричневой чумой.

После войны в романдской литературе утверждается так называемое «поколение двадцатых годов». Группа молодых писателей и публицистов организует журнал «Ранконтр» (выходил с 1950 по 1952 год), где — под влиянием Сартра и Камю — требует создания социально-«ангажированной» литературы. Эти литераторы усматривали главный недостаток романдской литературы в ее исключительной сосредоточенности на внутренних, психологических проблемах личности. Они стремились протестовать против конформизма швейцарских обывателей, пытались ставить социальные вопросы, осознать место Швейцарии, которую официальная пропаганда представляла «страной без проблем». Основным для них было стремление преодолеть одиночество художника в буржуазной Швейцарии и найти своего заинтересованного читателя. Их усилия не были напрасными.

В 1973 году в истории литературы романдской Швейцарии произошло большое событие: Гонкуровской премии за роман «Людоед» впервые удостоился живущий в кантоне Во писатель Жак Шессекс. Члены Академии Гонкуров оказали лауреату высокую честь, приехав в Лозанну вручать ему премию. «У вас были,— заявил Арман Лану,— писатели большого таланта. Мы не всегда оценивали их по справедливости». В литературе франкоязычной Швейцарии действительно немало талантливых художников. Это кроме Жака Шессекса Ив Велан, С. Коринна Биль, Мишель Гёльдлин, Жак Меркантон, Жорж Боржо, Гастон Шерпийо, Жан-Марк Ловэ и другие. Они исследуют действительность, стремясь, как писал в журнале «Магазин литтерэр» швейцарский критик Габриэль Хирш, создавать «собственную, специфическую культуру, укорененную в повседневной, социальной и политической жизни» своей страны. «Иностранная литература» рассказывает сегодня читателям о двух представителях романдской литературы. Хочется надеяться, что нас ждут и новые встречи с писателями этой земли.

ЛЕВ ТОКАРЕВ

ОКОЛЬНЫЕ ПУТИ ИСТИНЫ

Michel Goeldlin. Le vent meurt a midi. Vevey, Editions Bertil Galland, 1976.

Мишель Гёльдлин. Ветер умирает в полдень. 1976.

Летом минувшего года во Франции состоялся симпозиум на тему «Смерть сегодня». Отчет об этой встрече опубликовал французский еженедельник «Революсьон». Автор статьи Клоди Дюамель Амадо коснулась разных аспектов дискутировавшейся темы, но выделила один из них, основываясь на выступлении Мишеля Вовеля. «Начиная с 1960 года,— говорил Вовель,— смерть вписывается в жизнь Запада в качестве как бы вновь открытого феномена». «Кажется,— комментирует Клоди Дюамель Амадо,— что эта болтливая смерть действительно завоевала за последние двадцать лет весьма значительное место в области литературы, искусства и гуманитарных наук...» Одну из причин такого явления автор отчета усматривает в том, что при переживаемом Западом духовном кризисе тема смерти нередко может поддаваться легкой эксплуатации, так как связанные с нею образы сами по себе «...зрелищно-сенсационны, способны потрясти, несут в себе сильный аффективный заряд».

Памятуя об этом симптоме, отмеченном «Революсьон», я, признаться, не без некоторого опасения стал читать роман швейцарского франкоязычного писателя Мишеля Гёльдлина «Ветер умирает в полдень». Настораживала уже сама форма подачи этой книги. Ее первые пять страниц, включая титульный лист, отданы под большую панорамную фотографию пустынной холмистой местности, прорезанной двумя убегающими вдаль полотнами широкой автострады, обочина которой припорошена снегом. Вверху фотографии, над телеграфными столбами,

напечатаны набранные шрифтом телеграммы слова: «Я ждал одиннадцать часов, что кто-нибудь остановится, я умираю от холода, я больше не могу... а они продолжают мчаться мимо».

Короткая издательская аннотация уведомляет нас: «Это сообщение обошло весь мир. Его опубликовали все ежедневные газеты Европы. Один автомобилист на главной автостраде американского Запада в течение одиннадцати часов, замерзая, взывал о помощи. Ни одна машина не остановилась. Человек в конце концов застрелился. По американскому телевидению ведущий телекомментатор заявил своим соотечественникам: «Извлечем урок, друзья мои, из этой непостижимой драмы». Волна стыда захлестнула США... Мишель Гёльдлин решил поехать и посмотреть поближе, что же произошло».

Два десятка слов в предсмертной записке. Роман, насчитывающий без малого двести страниц. Что это — еще один пример того, как можно развязать язык смерти? Нет! В данном случае убеждаешься, закрывая прочитанную книгу, что мы имеем дело с попыткой заставить смерть рассказать о том, о чем она хотела бы умолчать.

Газеты в поисках сенсаций поспешили опубликовать сообщение о смерти «автомобилиста». В том виде, в котором эта смерть была преподнесена публике, ее «привлекательность» состояла в чудовищно шокирующей невероятности. И не потребовалось большого времени, чтобы расследование установило совершенно иные факты: нет, Дэвид Уоррен (такое имя дано герою в романе) не мог замерзнуть, мотор его машины долгое время работал на систему отопления, в багажнике осталась невынутая теплая меховая куртка, в февральское утро, когда произошла драма, не было никакой дикой стужи, молодой человек — Уоррену двадцать пять лет — мог без труда, оставив машину, проделать путь до мотеля «Литл Америка», расположенного всего в одной миле. О том, что мотель так близко, Уоррен прекрасно знал, ибо именно в «Литл Америка» снимал номер.

Легко доказанная «невероятность» газетно-телевизионной версии случившегося лишь подчеркивала, что приблизиться к вероятности, к относительно правильному представлению о том, что же произошло, будет очень нелегко, тоже почти невероятно. И все же Мишель Гёльдлин попытался это сделать.

Как писатель — за плечами его был уже опыт создания целого ряда имевших успех книг, в том числе и романа «Окольные пути»,— он понимал, что финальный жест «автомобилиста» был порожден стремлением оборвать все свои связи с жизнью, с окружающим его миром. Каков же был этот мир в конкретных формах? Какие «окольные пути» придется избрать, чтобы приблизиться здесь к истине, поскольку ясно, что прямых путей к ней нет?..

Мотель «Литл Америка». Целый микрогородок на отрогах Скалистых гор, в пустыне Ред Дезерт. Современные корпуса гостиниц. Огромное неоновое рекламное панно: «Самая большая заправочная станция в мире. 115 колонок. Одна из них вас ждет».

У входа в главное здание — большая статуя пингвина, держащего плакат: «Литл Америка» — сдержанное обещание. Мечта, ставшая действительностью». Мимо этого пингвина за месяц до катастрофы прошел Дэвид, выйдя из своей машины и направившись в регистратуру, где он улыбнулся дежурной девушке. «Он,— отмечает автор,— не мог оставаться мрачноватым и угрюмым при встрече с кем бы то ни было. Как только его глаза останавливались на чьем-то лице, как только слово завязывало тоненькую нить человеческих отношений, Дэвид начинал улыбаться».

Всего несколько слов, но мы уже проникаемся симпатией к герою романа. В эту симпатию закрадывается смутное чувство тревоги, когда мы заглядываем в карточку, которую заполняет Уоррен. Профессия: офицер службы безопасности. Дэвиду нравится именовать себя так, но он мог бы написать более прозаично: полицейский из частного охранного агентства «Бэннистон». Ему предстоит нести охранную службу на минеральных шахтах в соседнем городе Рок-Ривер.

Это не первое его служебное место. Он уже пробовал свои силы в строительном деле, был шофером, был механиком. И вот теперь — полицейское агентство? Дэвида влекло к должностям, связанным с ношением форменной одежды, это придает какую-то определенность в глазах других людей и в своих собственных. Со своим назначением на работу на шахтах в Рок-Ривер молодой человек связывает самые высокие надежды. «...Проложить себе дорогу... Добиться со временем создания особого отделения. Стать его главой... Начальником. Шефом. Эти мысли придают силы и энергию».

Через две недели после приступления к обязанностям — телефонный звонок. У аппарата начальник отделения, направившего Дэвида на шахты: «Ваша миссия в Рок-Ривере закончена. Я вами удовлетворен. В понедельник в девять утра явитесь в бюро. Мы поговорим о работе в штате Монтана...»

Обыкновенное служебное распоряжение. Для Дэвида, однако, это гром среди ясного неба. Это не только крах его надежд, но, если можно так выразиться, всей кожей прочувствованное сознание того, что надетая им форма, придающая ему якобы вес в глазах людей — в глазах тех, кто повелевает его судьбой, делает его всего лишь агентом со служебным номером 13091, как выдавлено на его нагрудной форменной бляхе, внизу под когтями горделиво расправившего свои крылья орла. Не попался ли сам Дэвид в когти этой птицы?

Герой романа запрещает себе выполнить распоряжение начальника, он хочет сделать как бы паузу, остановку на своем жизненном пути и разобраться в себе, понять, кто он есть на самом деле и что с ним происходит. Дэвид создавал себе в жизни много иллюзий, он расплачивался за них, его надежда, пришедшая на смену мечте о филиале агентства,— разобраться во всем происходящем с ним и вокруг него — является его последней иллюзией, которая станет ловушкой, капканом. Короткие главы книги не подчинены хронологическому развитию действия. «Ветер умирает в полдень» — роман-раздумье, в самом его построении отражен характер работы человеческой мысли, кото-

рая при осмыслении какого-нибудь события сопоставляет его разные временные моменты. О творческой манере Гёльдлина один из критиков, писавших о романе, сказал: «Его стиль дисциплинирован, дедраматизирован». Но — и это нетрудно предвидеть — в своих раздумьях о себе и своем месте в жизни герой романа не смог (и не мог) подчинить себя какой-либо дисциплине, и внутренняя драматизация происходящего с ним вскоре приняла угрожающий характер. Не так велик повод, повергший героя романа в отчаяние, но не следует забывать, что в психологическом плане самое опасное — попасть под ноги слона, которого ты создал из мухи.

Дэвид хотел все осмыслить, но, увы, в действительности его мысли начали ходить по кругу и слились в одну мысль, навязчивую и неотступную. «Дэвид Чарльз Уоррен,— шепчет герой романа себе, глядя в ночь, в черный провал опущенного в машине стекла,— у тебя нет пути... Столько жалких усилий, и только лишь мечты об успехе... ты — ничто!» И таких ночей, проведенных в пустыне, в железной ракушке «шевроле», после злополучного звонка шефа, в разных местах на обочине дороги, было четырнадцать.

«Ветер умирает в полдень» — роман, но вымысел, необходимый для создания каждого художественного произведения, остается в рамках естественного домысла, и поэтому писатель не делает нас свидетелями умственной агонии Дэвида, мы можем о ней лишь догадываться по коротким, действительно дедраматизированным кадрам.

После смерти Дэвида колокол средств массовой информации зазвонил на какое-то время очень громко, но — и писатель с большим мастерством показывает это — тянувшим за веревки было очень мало дела до того, по ком они звонят, просто звон был их профессиональным занятием. Оглушающий, он таил в себе угрозу, что незаметным образом окажется погребенным и то единственное, что герой романа мог оставить в наследство людям: доброту, какую-то крупицу от жившего в нем уитменовского — «вам люди всей земли приветственно протягиваю руку».

Роман спасает это наследство от забвения. Все происшедшее с героем до и после его смерти лишь подчеркивает, сколь драгоценна была улыбка, обращенная к нам Дэвидом на первых страницах книги. На последних, на предпоследних сказано: «Его лицо отныне где-то внутри. Не встречать никого, избегать взгляда кого бы то ни было». Такое состояние называется уходом в себя, и финальный поступок героя книги — крайнее выражение, необратимая форма такого ухода. Это следует понять, и об этом следует помнить уже хотя бы потому, что на симпозиуме «Смерть сегодня», о котором шла речь выше, к существующим этикеткам «индустриальная», «постиндустриальная», «общество потребления» была прибавлена еще одна — «общество ушедших в себя». Так некоторым социологам хотелось бы именовать духовный климат Запада и тем самым возвести «уход в себя» в какую-то естественную норму. Тенденция к такой «нормализации» наметилась не сегодня. Как раз в год выхода романа «Ветер умирает в полдень» соотечественник Мишеля Гёльдлина, доктор экономических наук, профессор Женевского университета Эмилио Фонтела писал во французском журнале «Фютюрибль» в статье «Европа перед лицом будущего»: «Насилие становится системой разрешения трудностей... Эти проблемы порождают у среднего европейца все растущее чувство беззащитности и неуверенности, он замыкается во всевозрастающем одиночестве, отстраняется от мира, сложность которого внушает ему все больший и больший страх».

Роман «Ветер умирает в полдень» на индивидуальной судьбе показывает, к чему может привести такая «замкнутость». Обложка того номера «Революсьон», где опубликован отчет о симпозиуме «Смерть сегодня», показывает, какой конец может грозить политически легко управляемому «обществу ушедших в себя». Здесь напечатан — во всю обложку — снимок: улица, заваленная трупами людей. Снимок пересечен надписью «Нейтронный ужас». Люди, согласившиеся принять участие в этой сцене, мертвенно-неподвижны только на снимке, возможно, что они пришли сюда с демонстрации или, может быть, пойдут на нее, когда поднимутся с мостовой. Это снимок-предупреждение, он призывает бороться против того, чтобы запечатленное на нем когда-либо могло произойти в жизни. И люди борются. И в этой борьбе крепнут нити человеческой солидарности. И ветер не умирает. Он надувает плакаты, как паруса будущего. Ветер — это дыхание жизни. И он с теми, кто борется против смерти, за право на мир, на надежды, на улыбки.

Ветер не умирает. Разве не восклицал еще Шелли, обращаясь к ветру:

Дай до людей мне слово донести...
И сам раскатом трубным возвести:
Пришла Зима, зато Весна в пути!

(*«Ода западному ветру», перевод Б. Пастернака*)

Не боящееся описывать суровости зимы перо Мишеля Гёльдлина движимо верой в возможность Весны и обновления. Во имя этого обновления и пишет он свои книги, защищающие достоинство человека и достоинство слова писателя.

НИКИТА РАЗГОВОРОВ

СНЫ КОРИННЫ

S. Corinna Bille. Le Bal Double. Vevey, Editions Bertil Galland, Paris, Editions Gallimard, 1980.
S. Corinna Bille. Les invités de Moscou. Vevey, Editions Bertil Galland, 1977.

С. Коринна Биль. Двойной праздник. 1980.
С. Коринна Биль. Гости Москвы. 1977.

Какой долгий путь нужно иногда проделать, чтобы открыть для себя и полюбить давно знакомого писателя.

Много лет назад в одном из французских журналов (он уже давно не существует) мне попался рассказ Марка Алена под названием «Ад». В этом ироничном и жутковатом рассказе студент оказывается случайно запер-

тым на ночь в библиотеке и наблюдает сокрытую от всех потустороннюю жизнь, на которую обречены знаменитые писатели прошлого.

Спустя несколько лет, читая сборник рассказов швейцарской франкоязычной писательницы С. Коринны Биль, я обратила внимание на близкий по сюжету, но более светлый по тональности фантастический рассказ. Здесь дело происходило во сне: заснувшая рассказчица беседует с давно умершими классиками.

Удивило некоторое сходство этих рассказов, но ответ на вопрос: читала ли Коринна Биль «Ад» Марка Алена, или сюжет родился у нее совершенно независимо — можно было получить лишь от самого автора.

И когда еще сколько-то лет спустя я встретилась в Швейцарии с издателем и другом Коринны Биль — Бертилем Галаном, я сразу же вспомнила этот рассказ и принялась расспрашивать о ней. Я слушала Бертиля Галана, и эта известная писательница, дочь знаменитого художника и жена не менее знаменитого поэта, представала передо мной добросердечной, веселой, романтически-восторженной и любящей радовать людей женщиной. Как мне захотелось с ней увидеться! Но это оказалось невозможным: Коринна Биль недавно умерла.

Однако остались ее книги, которые помогают заглянуть в мир ее души. Мир ее мечты. Да, мечты. Потому что Коринна Биль до конца жизни оставалась мечтательницей. О чем бы ни писала Коринна Биль, начинавшая когда-то как поэт,— о прошлом или настоящем, поэтическая мечтательность, сны и грезы (которые во французском языке обозначаются одним словом «rêves») окрашивают романтической дымкой все ее произведения.

Как часто, чтобы похвалить писательницу, мы говорим, что у нее энергичное мужское перо. Коринна Биль не стесняется быть нежной, женственной и лиричной. Надо было бы сказать «не стеснялась», ведь писательницы уже нет в живых, но в ее книгах так ощущается ее присутствие, ее образ (к тому же многие ее произведения отразили черты ее биографии), что говорить о ней хочется в настоящем времени.

Порой мечты и грезы уносят Коринну Биль так далеко, что повествование приобретает явно фантастический характер. В многочисленных рассказах Коринны Биль (помимо двух романов и ряда повестей она выпустила семь сборников рассказов, один из которых под названием «Девушка-дикарка» в 1975 году был удостоен Гонкуровской премии) причудливо переплетаются земное и возвышенное, конкретно-реалистическое и сказочное начала.

Жительница горной страны, где природа так переменчива, где неожиданный луч солнца может мгновенно преобразить унылый пейзаж и, наоборот, набежавшей туче ничего не стоит погрузить только что озаренную светом долину в зловещий сумрак, Коринна Биль стремится и в своих рассказах уловить и показать, как переменчива, неожиданна и преисполнена волшебства человеческая жизнь.

В вышедшем посмертно сборнике рассказов Коринны Биль «Двойной праздник» (писательница умерла в 1979 году) в рассказе под этим же названием красивая и романтическая свадьба завершается жестоким похищением невесты ее родственниками — жителями затерянного в горах селения. Наводя ужас на встречных горожан своими ритуальными масками и вывороченными мехом наружу овечьими шкурами, они на глазах у всех увозят — назад, в горы — беглянку, осмелившуюся покинуть их клан.

Рассказ «Тропинка, похожая на туннель» начинается так светло: две девочки-подружки отправляются в давно манившие их горы, но полная счастливых открытий и веселых приключений прогулка завершается таинственной и зловещей встречей с монахом из прошлого века. У Коринны Биль все оказывается возможным: папоротник благодаря игре света принимает облик девушки, животные разговаривают человеческими голосами.

В коротком, но отражающем целую гамму настроений рассказе «Жених и невеста из Туссена» один неловкий жест (а точнее — неудачный подарок) жениха отталкивает только что обожавшую его невесту. Но проходит час — и отношения влюбленных приобретают уже новый оттенок, новую глубину.

Как мало нужно, чтобы сделать человека несчастным, но и как немного требуется, чтобы сделать его счастливым. Потребность самой Коринны Биль быть счастливой живет и в ее персонажах. Поэтому, когда нет настоящей, реальной любви, о ней грезят, ее видят во сне.

Как по-разному, но и как похоже мечтают ее героини: в юности — о первом поцелуе («Поцелуй»), в старости — о несостоявшемся, но таком близком, таком возможном счастье («Безумная весна») или о встрече с взбунтовавшимися и покинувшими отеческий кров детьми, когда желание увидеть хотя бы случайно, хотя бы нечаянно отринувшую родительскую любовь дочь перерастает в навязчивую идею. Этот рассказ под названием «Пришло время, когда дети проклинают своих родителей» Коринна Биль, которая сама была матерью троих детей, писала в больнице накануне смерти.

И все же, читая рассказы этого сборника, где есть место и грусти, не веришь, что их писал смертельно больной человек. Свою неиссякаемую способность мечтать (опять это слово!), радоваться утру, праздничному звону колоколов, наслаждаться мелодией, звучащей в собственном сердце, писательница выразила и в последних рассказах. Она не сомневалась, что в мечтах или наяву человек должен уметь быть счастливым, потому что одиночество ожесточает. Разнообразные по форме и по тональности рассказы Коринны Биль, обладающие традиционным сюжетом, или короткие поэмы в прозе, грустные или озорные, реалистические или сказочно-фантастические, учат, как правило, несложным, но вечным истинам. Одна из них — как важно сохранять верность самому себе. Можно взобраться высоко вверх, можно — на зависть и удивление всем — разбогатеть, но если человек поступился своей совестью и независимостью, если он предал свою любовь, от него не останется ничего, кроме оболочки, заполненной пустотой. И жизнь в этом случае попросту теряет смысл...

С обложки одной из последних книг Коринны Биль — романа «Гости Москвы» (1977) — на нас смотрит по-русски повязанная косынкой немолодая, но все еще очень красивая женщина. Лицо ее освещено тихой и доброй улыбкой, в которой проглядывает что-то робкое. Писательница словно просит извинить ее за то, что она не по возрасту молода и красива, что с годами не приобрела подобающую ее летам степенность и до сих пор не избавилась от детской наивности, простодушия и своей влюбленности в жизнь и в любовь.

Такой предстает она и в рассказах, и в этом романе-воспоминании, написанном после путешествия по Советскому Союзу, которое она совершила в 1974 году в возрасте 62 лет.

Хотя писательница и назвала героиню Катрин, в ее облике нетрудно различить саму Коринну Биль.

Подтрунивая над политической непросвещенностью своей героини, насмешливо именуя ее «старой дамой, страдающей ревматизмом», которая, несмотря на все жизнелюбие, спокойно и без сожаления сознает, что жить осталось совсем недолго, Коринна Биль вычерчивает не только внешнюю линию путешествия по трем городам: Москва — Тбилиси — Ленинград. Она решается приоткрыть и самые потайные уголки сердца этой женщины и рассказать — опять же с большой дозой иронии, а по сути самоиронии — о той любви (реальной, придуманной, кажущейся или приснившейся — неважно), которую она встретила в такой прежде далекой для нее России.

Далекой, но с детства живущей в ее снах и мечтах. С ранних лет мечтала она подержать в руках настоящую матрешку, и когда это желание сбывается, «старая дама» с восторгом раскладывает ее в своем гостиничном номере. С детства мечтала дослушать до конца русские сказки, которые она урывками слышала от приехавшей из России гувернантки.

Что-то недопоняв, а что-то перепутав из того, что эта «старая дама» увидела и узнала за тринадцать дней, проведенных в нашей стране, она тем не менее с первого и до последнего дня была здесь счастлива.

Она с наслаждением вслушивалась в музыку русской речи, она заново открывала для себя и прежде столь любимых ею Толстого, Блока, Есенина. Завороженная, долгие часы проводила она в ленинградском музее так много значившего для нее Достоевского, произведения которого она могла на память цитировать целыми страницами. Ощущением счастья наполняли ее поражающие всех обитателей маленькой Швейцарии наши необозримые пространства и бездонные небеса, в ночной тиши городов она угадывала только ей слышную песню и каждую минуту сознавала единственность и поэтическую неповторимость момента. Ей хотелось лишь одного — чтобы мгновения эти длились вечно. И как же было не влюбиться здесь этой мечтательнице (или не сочинить для себя сказку о любви), если эта женщина прожила жизнь с уверенностью, что «жить без любви — все равно что жить без крыльев».

Еще не успев покинуть нашу землю, «старая дама» поняла, что «заболела» Россией, которую ей уже не забыть. «Словно незаживающая душевная рана, ей причиняла острую боль разлука с этой страной и с этими людьми, к которым она так сильно привязалась. Она проникалась к ним чувством гораздо более глубоким, чем обычное дружеское расположение,— чувством, которого она не ждала и не искала, но которое заполнило ее целиком». И возвратившись в родную Швейцарию, в свой обжитой и уютный мир, и созерцая из окна прекрасный и привычный пейзаж, она видит перед собой другие горы, другие озера, другие реки, другие, бескрайние, степи и леса, оставленные в стране, куда ей не суждено было вернуться. Точно так же, как лесковскому Вильгельму Райнеру, увезенному из России ребенком и задыхающемуся в тесной Швейцарии, в «лете снов и мечтаний... рисуется простор, необъятный простор, не загроможденный скалами, не угрожаемый лавинами. По этому широкому раздолью тянутся широкие голубые ленты рек, стоят местами дремучие леса, колышутся буйные нивы, и в воздухе носится сильный, немножко удушливый запах головастой конопли и пустоцветных замашек».

А героине Коринны Биль по ночам снится покрытая снежным бархатом Москва, хотя она никогда не видела ее такой наяву, и красные кремлевские стены, над которыми ей чудятся подсказанные воображением крылья, рвущиеся в небеса...

Еще только собираясь писать о Коринне Биль, я придумала концовку — в стиле самой писательницы, в произведениях которой столько загадочного, где явь часто оборачивается сном, а сон — явью. Мне хотелось написать, что, перечитав все книги Коринны Биль, я не нашла запомнившийся мне когда-то рассказ об увиденной ею во сне встрече с давно умершими классиками.

Но каково же было мое удивление, когда я и в самом деле не смогла его отыскать. Все те же обложки, все те же книги, но тот самый первый для меня рассказ Коринны Биль, который, как я теперь знаю, так для нее характерен,— исчез. Напрасно я множество раз листала и перелистывала томики ее рассказов — все было тщетно. Может быть, мне показалось, что я его читала? Может быть, это был сон? Но чей — мой собственный или Коринны Биль?

Н. ПОПОВА

◆

Из месяца в месяц

БОЛГАРИЯ

ЛАУРЕАТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ ИМЕНИ ХРИСТО БОТЕВА

Болгарское правительство удостоило звания лауреатов премии имени Христо Ботева видных зарубежных писателей: Рафаэля Альберти (Испания), Ахмада Сулеймана аль-Ахмада (Сирия), недавно умершего Мирослава Крлежу (Югославия), Расула Гамзатова (СССР).

Премия имени великого болгарского поэта и революционера присуждается за заслуги в области развития революционной поэзии и публицистики. Вручая награжденным премию, Генеральный секретарь ЦК БКП, Председатель Государственного Совета тов. Тодор Живков сказал, что бессмертие Ботева — это доказательство бессмертия того, чей подвиг служит подтверждением его поэзии.

— Я счастлив, — сказал Р. Альберти,— что удостоен награды, носящей имя столь необыкновенного и мужественного поэта.

— Я преклоняюсь перед Христо Ботевым, который погиб за свободу,— заявил в своем интервью Р. Гамзатов.— Меня до глубины души тронула эта награда, данная землей Ботева.

— Для арабского народа,— сказал поэт и переводчик произведений Ботева Ахмад Сулейман аль-Ахмад,— Ботев стал знаменем в революционной борьбе. Я считаю, что эта премия — дань уважения ко всем народам, борющимся за справедливость, равенство и мир.

Продолжаются съемки фильма о Георгии Димитрове, приуроченного к 100-летию со дня рождения замечательного революционера, которое будет отмечаться в июне этого года. Как уже сообщалось (см. «ИЛ», 1981, № 9), это совместная работа кинематографистов Болгарии, Советского Союза, Венгрии и ГДР. Фильм ставит известный испанский режиссер Хуан Антонио Бардем. Как пишет газета «Работническо дело», «весь творческий коллектив стремится создать сильный, волнующий политический фильм, достойный великого Димитрова».

На снимке: исполнитель роли Георгия Димитрова — Петр Гюров.

(*Газета «Работническо дело»*)

На снимке: сцена из спектакля «Люди из Будапешта»; в главных ролях — Андреа Драгота (Моника) и Ласло Инке (Шандор).

(*Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»*)

ВЕНГРИЯ

ВСТРЕЧА С ПРОШЛЫМ

Будапештский театр «Талия» осуществил постановку пьесы Лайоша Мештерхази «Люди из Будапешта», приурочив ее к двадцатипятилетию разгрома контрреволюционного мятежа 1956 года.

В свое время венгерская печать отмечала в связи с премьерой «Людей из Будапешта» в театре имени Народной Армии в октябре 1958 года, что пьеса Лайоша Мештерхази, созданная в жанре историко-лирической хроники, по сути своей является страстным публицистическим произведением социально-философского характера, воссоздавшим панораму общественной жизни Венгрии с 1941 по 1957 год. По образному выражению одного из критиков, пьеса «Люди из Будапешта» — это «летопись Будапешта и поэма о нем».

Журнал «Фильм, синхаз, мюжика» отмечает, что нынешняя постановка — это дань памяти тем, кто отстоял социалистические завоевания. Советские зрители знают эту пьесу по спектаклю московского Театра имени Станиславского «Семеро против Фив».

ВЬЕТНАМ

НОВОСТИ ВЬЕТНАМСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Союз писателей Вьетнама присудил премии известно-

му писателю Хоанг Фу Нгаук Тыонгу за книгу очерков и рассказов «Как много огней...» и молодому автору Хыу Тхиню за поэму «Дорога в город».

Хоанг Фу Нгаук Тыонг — автор нескольких поэтических и прозаических сборников, широко известна его документальная повесть «Звезда над Фуванлау» (1969). Он представитель тех слоев прогрессивной и патриотически настроенной интеллигенции Южного Вьетнама, которые, порвав с антинародным режимом, перешли на сторону освободительных сил. При диктаторском режиме Нго Динь Зьема находился в оппозиции и был брошен в тюрьму, после свержения диктатуры в 1963 году был освобожден. Впоследствии находился в оппозиции к проамериканскому марионеточному режиму, вел активную борьбу, а весной 1968 года перешел в Освобожденную зону.

Книга «Как много огней...» вышла в ханойском издательстве «Так фам мой». Рассказ, по которому книга получила свое название, публиковался на русском языке в журнале «Иностранная литература» (1977, № 8), а также в сборнике «Повести и рассказы вьетнамских писателей 1960—70-х годов» (изд-во «Прогресс», 1980).

Хыу Тхинь пришел в литературу в начале 70-х годов, его стихи очень широко публиковались во вьетнамских газетах и журналах. Его поэма «Дорога в город» вышла в столичном издательстве «Куан дой нян зан».

ГДР

«РОМАН ОДНОЙ СЕМЬИ»

Такой подзаголовок носит новый роман Гельмута Шульца «Наследие», выпущенный в издательстве «Ферлаг дер национ» (о Гельмуте Шульце см. «ИЛ», 1976, № 10). Писатель прослеживает историю трех поколений семьи Пильграмер с начала века до 70-х годов. Глава семьи — известный архитектор, архитекторами становятся его сын и внук. Повествование идет по двум основным линиям. Гельмут Шульц рассказывает о жизненном пути старого Пильграмера — человека очень талантливого, энергичного, целеустремленного, но с трудным и противоречивым характером. Прожив большую и яркую жизнь, он сломлен старостью и болезнями и не может понять многих процессов, которые происходят в современном обществе.

Вторая линия романа — внук Пильграмера, который хочет быть хозяином своей судьбы и стремится работать самостоятельно, не пользуясь почти легендарной славой деда.

«Новый роман Гельмута Шульца охватывает большой период времени, но в основном он посвящен современности. Писателю удалось создать широкую панораму нашей действительности, показать интересных людей»,— пишет рецензент газеты «Берлинер цайтунг».

«Эта реалистическая книга посвящена многим конфликтам нашего века. С первой до последней страницы она читается с интересом»,— отмечает еженедельник «Зонntаг».

«Трезвый, деловой тон писателя перемежается в романе «Наследие» с поэтическим; Шульц и летописец, и поэт в равной мере,— пишет газета «Нойес Дойчланд».— Роман безусловно займет видное место в нашей современной литературе».

Телевидение Германской Демократической Республики вновь показало фильм, созданный по известному роману Арнольда Цвейга «Спор об унтере Грише» Хайнцем Камницером и Гельмутом Шиманом.

Выступая перед телезрителями, Хайнц Камницер сказал: «В третий раз над нами нависла угроза мировой войны. В свое время Арнольд Цвейг написал роман, потому что не мог и не хотел больше молчать. Он рассказал о разрушительной и бессмысленной войне. Тема эта остается актуальной и в наши дни, когда человечество может быть ввергнуто в новую страшную катастрофу. Именно поэтому мы снова обратились к фильму «Спор об унтере Грише».

На снимке: актеры Ютта Ваховиак и Йозеф Карлик в главных ролях телевизионного фильма «Спор об унтере Грише».

(Газета «Берлинер цайтунг»)

ИЗРАИЛЬ

ЛИТЕРАТУРА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Вышел специальный номер журнала израильских коммунистов «Аль-Джадид», посвященный литературе палестинских арабов на оккупированных в 1967 году Израилем территориях Западного берега Иордана и сектора Газы.

В номере подводятся итоги деятельности палестинских поэтов и писателей за четырнадцать лет израильской оккупации, рассказывается об их самоотверженной борьбе в защиту национальной культуры, их вкладе в развитие арабской литературы. В журнале помещены статьи, очерки и стихи палестинских авторов, живущих на оккупированных территориях. В статье «Новая культура против оккупации», в частности, говорится: «Отвратительная солдатня, запах горящей резины, пустые улицы погруженного в печаль города, бронетранспортеры, бульдозеры, автоматы, угнетенный, но не сдающийся бедняк-труженик — все это постоянно присутствует в литературе оккупированных районов».

ИНДИЯ

ЮБИЛЕЙ НАГАРДЖУНА

Газета «Джан юг», выходящая в Дели на языке хинди, опубликовала большую статью, посвященную выдающемуся представителю современной индийской литературы — поэту и прозаику Нагарджуну, 70-летие которого только что отметила общественность Индии. Нагарджун — автор повестей и романов, в которых изображена жизнь современной индийской деревни, пробудившейся от вековой спячки, бурлящей, клокочущей, сотрясаемой борьбой за землю, социальную справедливость, коренные социальные преобразования. Он выступает как новатор, остро чувствующий запросы времени; его роман «Бальчанма», вышедший в 1952 году, положил начало литературному течению «провинциального романа».

Однако наибольшей известностью и популярностью пользуется поэтическое творчество Нагарджуна. Он тончайший лирик, гневный сатирик, пламенный трибун. Многие его стихи стали хрестоматийными. Пишет он не только на хинди, но и на своем родном — майтхили. За сборник стихов «Голое безлистное дерево», написанных на майтхили, он был удостоен премии Литературной академии за 1968 год — впервые за всю историю майтхильской литературы.

ИТАЛИЯ

«ДЗАВАТТИНИ ГОВОРИТ О ДЗАВАТТИНИ»

Такое название дала книге, содержащей интервью, высказывания, суждения Чезаре Дзаваттини, ее составительница Сильвана Чирилло. И начинает она, естественно, с выяснения давнего вопроса: кто же прежде всего Дзаваттини — писатель, поэт, кинодраматург или художник? Весь сборник — доказательство разностороннего характера художественного самовыражения Дзаваттини, творчество которого при всем своем многообразии остается, однако, цельным и единым. Сборник открывается предисловием Вальтера Педулла, вводящего читателя в мир дзаваттиниевских тем, образов, персонажей, стиля, мыслей и размышлений о кино и литературе. Затем слово предоставляется самому писателю, который рассказывает о своем творческом пути, о своей повествовательной манере и технике, о своих героях, неизменно необычных, порой эксцентричных, но всегда неисправимых оптимистах. В своих высказываниях Дзаваттини ироничен и самокритичен, но еще более едкими и полемичными его интервью становятся, когда он говорит о своих коллегах по искусству и литературе, об итальянской интеллигенции, организации современной итальянской культуры и, в частности, издательского дела.

Эта книга, вышедшая в издательстве Леричи,— одна из последних в длинном ряду изданий и переизданий сочинений Дзаваттини, увидевших свет за последние несколько лет: интерес к творчеству писателя, сценариста, теоретика кино, одного из старейших лидеров итальянской прогрессивной культуры не спадает. Приближаясь к своему восьмидесятилетию, Чезаре Дзаваттини продолжает активно работать: часто выступает в печати по самым злободневным вопросам итальянской общественной жизни, руководит деятельностью массовых культурных организаций, а главное — работает над новой книгой. Будучи более полувека верен себе, писатель-сатирик вновь решил удивить и позабавить читателей, хотя и заверяет в интервью, что замысел его в высшей степени серьезен: «Заглавие книги — Tantum. Автор — господь бог. Предисловие — Чезаре Дзаваттини».

Чезаре Дзаваттини снял фильм, в котором он выступил не только как сценарист и режиссер, но и как исполнитель главной роли восьмидесятилетнего правдоискателя Антонио.

Фильм называется «Пра-а-а-авда», с четырежды повторяющимися, как в крике, гласными. Оператор фильма — сын Чезаре Дзаваттини Артуро. Как пишет газета «Унита», Дзаваттини снял фильм, истратив мало денег и проявив много изобретательности.

На снимке: Чезаре Дзаваттини в фильме «Пра-а-а-авда».

(Газета «Унита»)

КНР

«ПАМЯТИ ДЭН ТО»

В городе Фучжоу вышел сборник материалов под названием «Памяти Дэн То» известного китайского публициста, историка, общественного деятеля, который покончил жизнь самоубийством 17 мая 1966 года во время «культурной революции» в Китае. Сборник составила вдова Дэн То — Винь Илань. Дэн То был тогда вторым секретарем пекинского горкома КПК, академиком, главным редактором журнала «Цяньсянь»; его публицистика получила широкую известность и сделала его имя популярным в КНР. После гибели Дэн То его наследие привлекло к себе внимание за пределами Китая. Фельетоны Дэн То, изданные им в сборниках «Вечерние беседы в Яньшани», были изданы в Гонконге и переведены в Японии, ФРГ и СССР (изд-во «Прогресс», 1974).

Сборник «Памяти Дэн То» сообщает многие прежде неизвестные биографические сведения о погибшем. Еще в 1930 году, будучи студентом юридического института в Шанхае, Дэн То вступил в члены Коммунистической партии Китая и начал вести подпольную работу. Его дважды арестовывала гоминьдановская охранка. В 1936 году он издал книгу «История борьбы со стихийными бедствиями в Китае», которая стала обвинительным актом антинародным реакционным режимам.

Написанные в 60-х годах фельетоны Дэн То были направлены против антисоветского курса Мао Цзэдуна, он высказывался за китайско-советскую дружбу и обвинял Мао Цзэдуна в «потере памяти». В 1963 году супруга Мао Цзэдуна Цзян Цин начала «революционизировать» китайский театр; Дэн То оказал ей решительное сопротивление и отказался пропагандировать ее взгляды. Маоисты попытались угрозами и посулами привлечь Дэн То на свою сторону, но встретили решительный отказ. Тогда его отстранили от работы, и против него началась крикливая клеветническая кампания в печати.

В КНР теперь пытаются изобразить погибшего Дэн То «верным последователем» Мао Цзэдуна, а его гибель выдать за чистейшее недоразумение. Будто бы только личная неприязнь Цзян Цин и Яо Вэньюаня погубила его, а не принципиальная антимаоистская позиция.

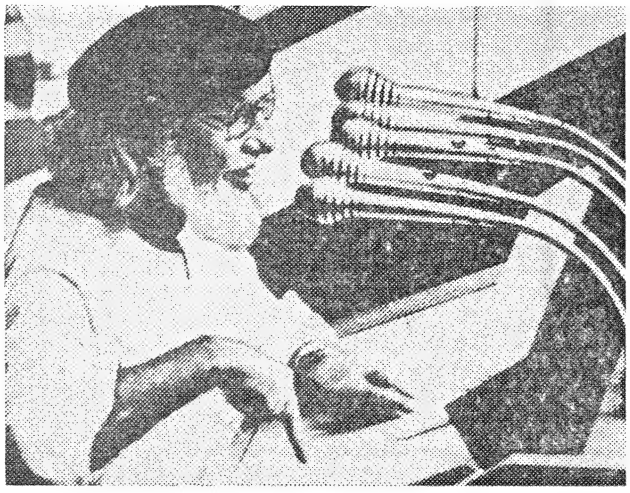
КУБА

ФОРУМ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

В Гаване прошла первая встреча «За суверенитет латиноамериканских народов» с участием виднейших представителей интеллигенции континента, среди которых — писатели Мигель Отеро Сильва (Венесуэла), Габриэль Гарсиа Маркес (Колумбия), Марио Бенедетти (Уругвай), Хуан Бош (Доминиканская Республика), Джордж Лемминг (Барбадос), Пабло Гонсалес (Мексика), Освальдо Гуайясанин (Эквадор), кубинские поэты Николас Гильен, Роберто Фернандес Ретамар, никарагуанский поэт, министр культуры Эрнесто Карденаль.

Свои приветственные послания участникам встречи направили Хулио Кортасар, Аугусто Роа Бастос, Хуан Рульфо, Мигель Литтин.

«Интеллигенция Латинской Америки,— сказал, выступая на открытии встречи член Политбюро Коммунистической партии Кубы, министр культуры Армандо Харт,— поднимает знамена подлинно народной и гуманистической культуры, то есть культуры созидающей. Эту культуру и требуется защищать. Защита нашего культурного достояния — это не только интеллектуальный принцип, но и вопрос о том,



На снимке: Эрнесто Карденаль во время выступления.

будем мы или нет творчески свободными в искусстве и культуре, будем мы или нет независимыми и суверенными странами. Империализм, осуществляя свой контроль над средствами массовой информации и культуры, применяет тактику, ведущую к расколу интеллигенции, к подмене истинно важных и существенных проблем проблемами второстепенными. Он пытается создать дымовую завесу, которая бы помешала осознавать тот факт, что система капиталистической эксплуатации — это тирания, душащая творческие способности народных масс, губящая наши лучшие таланты...»

Представители творческой интеллигенции Латинской Америки еще раз заявили в Гаване о непреклонной решимости бороться за полное право народов определять свою судьбу. Выступая на закрытии встречи, Эрнесто Карденаль сказал: «В условиях нынешней опасной международной обстановки долг каждого интеллигента состоит в том, чтобы своим творчеством бороться за суверенитет народов, за мир и безопасность... Бросить писать — это не самое лучшее. Погибнуть — тоже, наверное, не самое лучшее. Но если уж умереть, то во имя свободы наших стран. Речь идет о том, чтобы защищать Латинскую Америку. Защищать саму нашу планету».

Участники встречи приняли обращение к деятелям культуры и искусства США. «Мы всегда защищали,— говорится в обращении,— право на то, чтобы думать, писать, верить и иметь свои организации в качестве условия, необходимого для творческой деятельности. Но сегодня на карту ставится нечто куда более важное: наше право на жизнь».

КУВЕЙТ

ФИЛЬМ О ТРАГЕДИИ ПАЛЕСТИНСКОГО НАРОДА

По сообщениям кувейтской прессы, Лига арабских государств ассигновала пять миллионов кувейтских динаров на производство большого художественно - документального фильма о трагедии арабского народа Палестины.

В работе над ним принимает участие группа специалистов-историков и публицистов, режиссер Саид Марзук.

В фильме будут показаны события начиная с конца XIX века, когда в швейцарском городе Базеле собрался I Всемирный сионистский конгресс, принявший решение о создании еврейского государства в Палестине на территории, принадлежавшей тогда Османской империи и населенной арабами. Далее фильм расскажет о декларации лорда Бальфура (1917 г.), предоставившей евреям право создать в Палестине свой «национальный очаг», о разделе Палестины и создании государства Израиль (1948 г.), об изгнании палестинских арабов с их земель. Все эти события будут иллюстрироваться документальными кинокадрами и подлинными историческими документами.

В фильме будут заняты выдающиеся киноактеры из разных стран мира, среди которых Ванесса Редгрейв. Он будет озвучен на нескольких языках.

ЛИВАН

АРАБСКИЙ РОМАН СЕГОДНЯ

Редакция бейрутского журнала «Ат-Тарик» выпустила специальный «толстый» номер, посвященный современному арабскому роману.

Во вступительной статье член редколлегии журнала известный ливанский писатель Мухаммед Дакруб пишет: «Нас натолкнула на мысль выпустить этот специальный номер сама действительность: последние десять лет мы были свидетелями большого роста романического творчества в различных арабских странах. Несмотря на то, что поэзия у нас — исторически самый распространенный жанр, корни которого уходят в глубины нашей истории, роман стал «захватывать позиции» и получил, как и поэзия, широкое распространение. Иногда даже создается впечатление, что он становится самым популярным жанром».

Вслед за статьей М. Дакруба в журнале помещены заметки крупного сирийского писателя, автора многих романов Ханны Мины (его роман «Парус и буря» был опубликован в журнале «Иностранная литература», 1971, № 4, 5) «Мысли об опыте романиста», служащие как бы прологом ко всему номеру.

Весь остальной материал журнала разбит на четыре больших раздела.

В качестве авторов статей выступают видные ливанские, сирийские, палестинские, иорданские, алжирские, марокканские и египетские писатели-романисты и критики.

Особый интерес представляют второй и третий разделы, посвященные конкретным исследованиям отдельных романов и творчества писателей-романистов отдельных арабских стран. Так, ливанская исследовательница Юмна аль-Ид подробно анализирует в своей статье структуру и тематику романа суданского писателя Ат-Тайиба Салиха «Сезон паломничества на Север», опубликованного в 9, 10 номерах «ИЛ» за 1975 год; египетский критик Радва Ашур разбирает роман своего соотечественника Гамаля аль-Гейтани «Аз-Зейни Баракат», палестинский критик Фарук Вади рассматривает творчество палестинской писательницы - романистки Сихр Халифы. Отдельные статьи посвящены современным сирийскому, алжирскому и иорданскому романам. Здесь же помещена запись беседы-дискуссии членов редколлегии журнала с известным алжирским писателем Ат-Тахиром Ваттаром, посвященной его последним романам

и арабскому роману вообще.

В четвертом разделе номера приводятся ответы 24 арабских писателей-романистов и критиков на вопросы, заданные им редакцией «Ат-Тарика».

ПОЛЬША

«НОВЫЙ КОРБУТ»

В Государственном научном издательстве в Варшаве вышел словарь современных польских писателей — коллективный труд ученых Польской академии наук и института литературных исследований «Библиография польской литературы. Новый Корбут».

В основу словаря лег фундаментальный труд известного польского библиографа, языковеда и историка литературы Габриеля Корбута (1862—1936) «Польская литература от ее зарождения до первой мировой войны». Созданный более полувека назад указатель библиографических материалов по истории польской литературы и публицистики с краткими данными о жизни и творчестве писателей был доведен до 1914 года.

С 1963 года Государственное научное издательство выпускает очередные тома «Библиографии польской литературы», которые продолжают труд Габриеля Корбута. Так, были выпущены четырехтомная серия «Словари польских писателей» (1963—1966) под редакцией Евы Коженевской и последующая вторая трехтомная серия (1977—1980) под редакцией Ядвиги Чаховской.

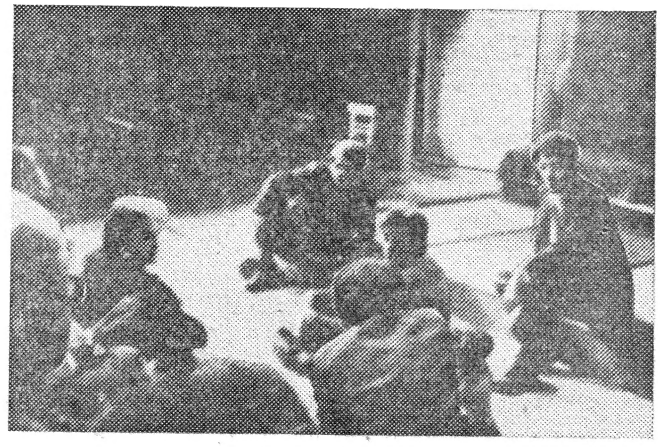
Основная задача словаря, как сообщает журнал «Новые польские книги»,— создание документальной основы для людей, профессионально занимающихся польской литературой.

РУМЫНИЯ

«КРИТИКАНЫ»

В бухарестском театре «МИК» с успехом прошел спектакль по пьесе Паула Корнела Китика «Критиканы». Событие это тем более значимо, подчеркивает рецензент журнала «Театрул» П. Тутунджиу, что автор пьесы — страстный приверженец марксизма и социальной революции, для которого театр не простое средство развлечения, а средство воспитания подлинной революционности,— до сих пор не пользовался вниманием театров страны.

Главный герой пьесы, возмущенный махинациями руководителей предприятия, на котором он работает, нездоровой атмосферой, царящей вокруг, смело вступает в борьбу со своими влиятельными противниками. Автор показывает нравственное превосходство своего героя, подлинного коммуниста, не только над теми, кто использует свое положение в корыстных целях, но и над теми, кто ограничивается бесплодным критиканством вместо активного противоборства злу. Критиканство, показанное в спектакле, отмечает «Театрул», «социальное зло, тягчайший грех, ибо лишь разъедает души, ничего не давая взамен».



На снимке: сцена из спектакля «Критиканы».

(*Журнал «Театрул»*)

США

МИР «СРЕДНЕГО АМЕРИКАНЦА» ГЛАЗАМИ ДЖ. АПДАЙКА

Вышедший в издательстве «Кнопф» роман «Кролик разбогател» стал третьей книгой Джона Апдайка о Гарри (Кролике) Энгстроме, о судьбе которого рассказывали книги «Кролик, беги» и «Исцелившийся Кролик».

Критика с одобрением встретила новый роман широко известного, весьма плодовитого, но довольно неровного прозаика, удачные произведения которого, к сожалению, нередко чередуются с книгами, рассчитанными на невзыскательный вкус буржуазного читателя. По мнению критика А. Кейзина, опубликовавшего в литературно-критическом обозрении «Нью-Йорк ревью оф букс» большую рецензию на новый роман Апдайка, «Кролик разбогател» — одно из лучших произведений писателя, написанное «более трезво и с большим мастерством, чем «Супружеские пары» и «Давай поженимся» (опубликован в «ИЛ», 1979, № 7, 8).

По своему замыслу серия социально-бытовых романов Апдайка имеет немало прецедентов в современной литературе США. Достаточно вспомнить серию «провинциальных» романов С. Льюиса-прозаика, с которым Апдайка часто сопоставляют. Впрочем, как писал сравнительно недавно в еженедельнике «Нью-Йорк таймс бук ревью» Р. Тауэрс, хотя Льюис и Апдайк изображают жизнь «среднего класса», у них разные художественные задачи: автор «Бэббита» — социальный сатирик, бичующий мещанское убожество буржуазного обывателя, а Апдайк — только бытописатель. Так и в новой книге он создает не гротескно-карикатурный образ (каким был льюисовский Бэббит), а портрет «нормального», «стопроцентного» американца конца 70-х годов.

Как и во всех своих социально-бытовых романах, Апдайк в новой книге сосредоточивает внимание главным образом на «внутренней» стороне жизни героя — его семейных проблемах, душевных переживаниях, как бы выключая личную жизнь Кролика Энгстрома из общественно-политического контекста. Но такая «десоциализация» персонажа оказывается мнимой. Если молодой Гарри («Кролик, беги»), остро ощущавший свою духовную несвободу, предпринимал отчаянные попытки «убежать» из тесного мирка житейской рутины, то повзрослевший Гарри («Исцелившийся Кролик»), переболев «недугами» молодости, навсегда расстался с мыслью о бегстве и стал довольствоваться лишь случайными бунтами (в духе «сексуальной революции» 60-х годов), прорывавшими липкую паутину повседневности. И вот Кролик совсем повзрослел и даже разбогател. Он — владелец крупной фирмы по продаже автомобилей. Он достиг наконец «материальной стабильности» — цели многих современных «стопроцентных» американцев. Однако Кролик так и не обрел того, к чему стремился всю

жизнь,— душевного покоя, сознания личного благополучия. Напротив, как пишет А. Кейзин, «самая суть душевного бытия Кролика ныне — чувство глубокого опустошения». «Этой жизни, со всем ее внешним блеском, уже коснулось дыхание смерти,— заключает рецензент.— Не инфляция и не нефтяной кризис 1979 года, а смерть национального мифа — вот причина крушения всех надежд Кролика».

В беседе с корреспондентом журнала «Тайм», охарактеризовавшего новый роман как «горькую комедию о несбывшихся мечтах», Апдайк поделился своими творческими планами. В частности, отвечая на вопрос, вернется ли он вновь к образу Кролика, писатель сказал: «Не знаю, какими лично для меня будут итоги нынешнего десятилетия. Но надеюсь, что я буду к тому времени все так же бодр и не перестану писать. А если так, то, должно быть, я не расстанусь с моим Кроликом».

Большим успехом у пражской публики пользуется постановка чеховской «Чайки» в Реалистическом театре имени Зденека Неедлы.
На снимке: Марта Ванчурова в роли Нины Заречной.

(Газета «Руде право»)

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

НОВЫЕ КНИГИ МИРОСЛАВА ФЛОРИАНА

«Руде право» поместила на своих страницах рецензию на новые сборники одного из наиболее известных современных чешских поэтов Мирослава Флориана. (В 1979 году «Художественная литература» выпустила его книгу «Инициалы».)

Три книги Флориана почти одновременно появились на прилавках книжных магазинов: «Завтрашние снега» (издательство «Млада фронта»), «Отлив ночи» («Чехословенски списовател») и первый том «Избранного».

Глазами пражанина, знающего и любящего свой город, видим мы мосты через Влтаву, уголки Старого места, современные кварталы. Вера в завтрашний день, в весну, побеждающую холод и снег, лежит в основе сборников.

Недавно писателю исполнилось пятьдесят. К этой дате и был приурочен выпуск первого тома «Избранного» Флориана, куда вошли произведения, созданные поэтом в период с 1948 по 1963 год. В поэзии Мирослава Флориана нет тем больших и маленьких, однодневных и вечных: он пишет о жизни, о мире людей, и именно поэтому, отмечает автор рецензии Я. Неедла, его произведения стали составной частью жизни современной Чехословакии.

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

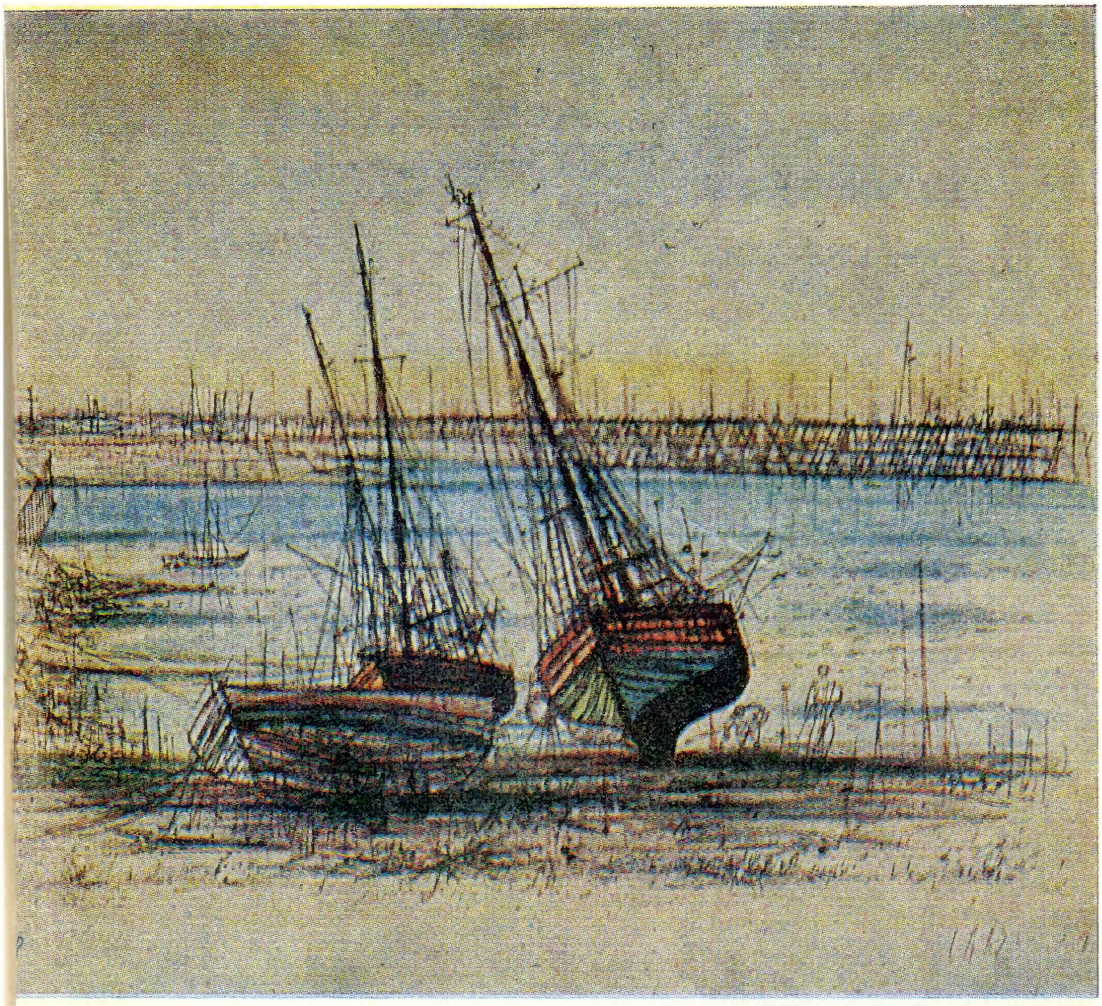
Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 27. 11. 81. Подписано в печать 16.02.82. А 08064, формат 70×108¹/₁₆.
Печать высокая, 16 п. л. (22,4) усл. п. л., уч.-изд. л. 28.0.

Тираж 449 000 экз. (1-й завод: 1 — 400 000 экз.) Зак. 3915

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

15 ИЛ



истреам. **Лодки**

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394